

КУРТ ВОННЕГУТ

СИРЕНЫ ТИТАНА

КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ КОШКИ

Сирены Титана. Колыбель для кошки

Курт Воннегут

Аннотация
Курт Воннегут. Сирены Титана. Колыбель для кошки
Сирены Титана
Глава первая. МЕЖДУ ВРЕДОМ И ВРЕДИЩЕМ
Глава вторая. ЗАВЫВАНИЯ В КОСМОСЕ
Глава третья. ПРЕДПОЧИТАЮ ОБЪЕДИНЕННУЮ КОМПАНИЮ «ПЫШКИ-ПОНЧИКИ»
Глава четвертая. ДРЯНЬ И ДРЕБЕДЕНЬ
Глава пятая. ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОГО ГЕРОЯ
Глава шестая. ДЕЗЕРТИР С ПОЛЯ БОЯ
Глава седьмая. ПОБЕДА
Глава восьмая. ГОЛЛИВУДСКИЙ НОЧНОЙ РЕСТОРАН
Глава девятая. ЗАГАДКА РЕШЕНА
Глава десятая. ВЕК ЧУДЕС
Глава одиннадцатая. МЫ НЕНАВИДИМ МАЛАКИ КОНСТАНТА ЗА ТО...
Глава двенадцатая. ДЖЕНТЛЬМЕН С ТРАЛЬФАМАДОРА
Колыбель для кошки

1. ДЕНЬ, КОГДА НАСТАЛ КОНЕЦ СВЕТА
2. ХОРОШО, ХОРОШО, ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО
3. ГЛУПОСТЬ
4. ПОПЫТКА ПОИСКАТЬ ПУТИ
5. ПИСЬМО ОТ СТУДЕНТА-МЕДИКА
6. ВОЙНА ЖУКОВ
7. ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ХОНИККЕРЫ
8. РОМАН НЬЮТА И ЗИКИ
9. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ВУЛКАНАМИ
10. ТАЙНЫЙ АГЕНТ ИКС-9
11. ПРОТЕИН
12. ПРЕДЕЛ НАСЛАЖДЕНИЯ
13. ТРАМПЛИН
14. КОГДА В АВТОМОБИЛЯХ ВИСЕЛИ ХРУСТАЛЬНЫЕ ВАЗОЧКИ
15. СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!
16. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСКИЙ САД
17. ДЕВИЧЬЕ БЮРО
18. САМОЕ ЦЕННОЕ НА СВЕТЕ
19. КОНЕЦ ГРЯЗИ
20. ЛЕД-ДЕВЯТЬ
21. МОРСКАЯ ПЕХОТА НАСТУПАЕТ
11. МОЛОДЧИК ИЗ ЖЕЛТОЙ ПРЕССЫ
23. ПОСЛЕДНЯЯ ПОРЦИЯ ПИРОЖКОВ

24. ЧТО ТАКОЕ ВАМПИТЕР
25. САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ ДОКТОРА ХОНИККЕРА
26. ЧТО ЕСТЬ БОГ!
27. ЛЮДИ С МАРСА
28. МАЙОНЕЗ
29. УШЛИ, НО НЕ ЗАБЫТЫ
30. ТЫ УСНУЛА
31. ЕЩЕ ОДИН БРИД
32. ДЕНЬГИ-ДИНАМИТ
33. НЕБЛАГОДАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
34. ВИН-ДИТ
35. «УГОЛОК ЛЮБИТЕЛЯ»
36. МЯУ
37. НАШ СОВРЕМЕННИК – ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
38. АКУЛЬЯ СТОЛИЦА МИРА
39. ФАТА-МОРГАНА
40. ОБИТЕЛЬ НАДЕЖДЫ И МИЛОСЕРДИЯ
41. КАРАСС НА ДВОИХ
42. ВЕЛОСИПЕДЫ ДЛЯ АФГАНИСТАНА
43. ДЕМОНСТРАТОР
44. СОЧУВСТВУЮЩИЙ КОММУНИСТАМ
45. ЗА ЧТО НЕНАВИДЯТ АМЕРИКАНЦЕВ
46. КАК БОКОНОН УЧИТ ОБРАЩАТЬСЯ С КЕСАРЕМ
47. ДИНАМИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

48. СОВСЕМ КАК СВЯТОЙ АВГУСТИН
49. РЫБКА, ВЫБРОШЕННАЯ ЗЛЫМ ПРИБОЕМ
50. СЛАВНЫЙ КАРЛИК
51. О'КЕЙ, МАМУЛЯ!
52. СОВСЕМ БЕЗБОЛЕЗНЕННО
53. ПРЕЗИДЕНТ ФАБРИ-ТЕКА
54. НАЦИСТЫ, МОНАРХИСТЫ, ПАРАШЮТИСТЫ И ДЕЗЕРТИРЫ
55. НЕ ДЕЛАЙ УКАЗАТЕЛЯ К СОБСТВЕННОЙ КНИГЕ
56. САМООКУПАЮЩЕЕСЯ БЕЛИЧЬЕ КОЛЕСО
57. СКВЕРНЫЙ СОН
58. ОСОБАЯ ТИРАНИЯ
59. ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ
60. ОБЕЗДОЛЕННЫЙ НАРОД
61. КОНЕЦ КАПРАЛА
62. ПОЧЕМУ ХЭЗЕЛ НЕ ИСПУГАЛАСЬ
63. НАБОЖНЫЙ И ВОЛЬНЫЙ
64. МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ
65. УДАЧНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ САН-ЛОРЕНЦО
66. СИЛЬНЕЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ
67. КУ-РЮ-КА
68. «СИТО МУСЕНИКИ»
69. ОГРОМНАЯ МОЗАИКА
70. ПИТОМЕЦ БОКОНОНА

71. ИМЕЮ СЧАСТЬЕ БЫТЬ АМЕРИКАНЦЕМ
72. ПИССАНТНЫЙ ХИЛТОН
73. ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ
74. КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ КОШКИ
75. ПЕРЕДАЙТЕ ПРИВЕТ ДОКТОРУ ШВЕЙЦЕРУ
76. ДЖУЛИАН КАСЛ СОГЛАШАЕТСЯ С НЬЮТОМ, ЧТО ВСЕ НА СВЕТЕ – БЕССМЫСЛИЦА
77. АСПИРИН И БОКО-МАРУ
78. В СТАЛЬНОМ КОЛЬЦЕ
79. ПОЧЕМУ МАККЭЙБ ОГРУБЕЛ ДУШОЙ
80. ВОДОПАД В РЕШЕТЕ
81. БЕЛАЯ НЕВЕСТА ДЛЯ СЫНА ПРОВОДНИКА СПАЛЬНЫХ ВАГОНОВ
82. ЗА-МА-КИ-БО
83. ДОКТОР ШЛИХТЕР ФОН КЕНИГСВАЛЬД ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ТОЧКЕ РАВНОВЕСИЯ
84. ЗАТЕМНЕНИЕ
85. СПЛОШНАЯ ФОМА
86. ДВА МАЛЕНЬКИХ ТЕРМОСА
87. Я – СВОЙ В ДОСКУ
88. ПОЧЕМУ ФРЭНК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ
89. ПУФФ…
90. ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАГВОЗДКА
91. МОНА
92. ПОЭТ ВОСПЕВАЕТ СВОЕ ПЕРВОЕ БОКО-МАРУ

93. КАК Я ЧУТЬ НЕ ПОТЕРЯЛ МОЮ МОНУ
94. САМАЯ ВЫСОКАЯ ГОРА
95. Я ВИЖУ КРЮК
96. КОЛОКОЛЬЧИК, КНИГА И КУРИЦА В КАРТОНЕ
97. ВОНЮЧИЙ ЦЕРКОВНИК
98. ПОСЛЕДНЕЕ НАПУТСТВИЕ
99. «БОСА СОСИДАРА ГИРИНУ»
100. И ФРЭНК ПОЛЕТЕЛ В КАМЕННЫЙ МЕШОК
101. КАК И МОИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ, Я ОБЪЯВЛЯЮ БОКОНОНА ВНЕ ЗАКОНА
102. ВРАГИ СВОБОДЫ
103. ВРАЧЕБНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЗАБАСТОВКИ ПИСАТЕЛЕЙ
104. СУЛЬФАТИАЗОЛ
105. БОЛЕУТОЛЯЮЩЕЕ
106. ЧТО ГОВОРЯТ БОКОНИСТЫ, КОНЧАЯ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ
107. СМОТРИТЕ И РАДУЙТЕСЬ!
108. ФРЭНК ОБЪЯСНЯЕТ, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ
109. ФРЭНК ЗАЩИЩАЕТСЯ
110. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ТОМ
111. ВРЕМЯ ИСТЕКЛО
112. СУМОЧКА МАТЕРИ НЬЮТА
113. ИСТОРИЯ

114. «КОГДА МНЕ В СЕРДЦЕ ПУЛЯ ЗАЛЕТЕЛА»
115. СЛУЧИЛОСЬ ТАК
116. ВЕЛИКИЙ А-БУММ!
117. УБЕЖИЩЕ
118. ЖЕЛЕЗНАЯ ДЕВА И КАМЕННЫЙ МЕШОК
119. МОНА БЛАГОДАРИТ МЕНЯ
120. ВСЕМ, КОГО ЭТО КАСАЕТСЯ
121. Я ОТВЕЧАЮ НЕ СРАЗУ
122. СЕМЕЙСТВО РОБИНЗОНОВ
123. О МЫШАХ И ЛЮДЯХ
124. МУРАВЬИНЫЙ ПИТОМНИК ФРЭНКА
125. ТАСМАНИЙЦЫ
126. ИГРАЙТЕ, ТИХИЕ ФЛЕЙТЫ!
127. КОНЕЦ

Аннотация

Курт Воннегут — культовая фигура в литературе двадцатого века. Американский писатель, сатирик, журналист и художник, перед глазами которого прошел чуть ли не весь двадцатый. Многие важнейшие события этого сумасшедшего века в его произведениях обретают самые неожиданные формы, обрастают причудливыми образами.
В творческой манере Воннегута сочетаются едкая сатира, философия, фантастика, гротеск и черный юмор.



«Сирены Титана». Знаменитый роман, по признанию автора — лучшее из того, что он написал. Классический образец сплава фантастики и трагикомедии.
Если ваш мир несвободен по определению... Если ваша жизнь повинуется математическим расчетам... Если унижение стало нормой, а хруст людских костей под колесами государственной машины уже просто никто не слышит из-за его обыденности... А что такое это «если»? Антиутопия — или «общество процветания»? Каждый решает для себя, раб он или свободный человек!

«Колыбель для кошки». Послушайте — когда-то, две жены тому назад, двести пятьдесят тысяч сигарет тому назад, три тысячи литров спиртного тому назад... Тогда, когда все были молоды... Послушайте — мир вращался, богатые изнывали от глупости и скуки, бедным оставалось одно — быть свободными и умными. Правда была неправдоподобнее всякого вымысла. Женщины были злы и красивы, а мужчины — несчастны и полны глупых надежд. И крутилась, крутилась жизнь, запутывалась все сильнее — как дикая, странная игра под названием «КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ КОШКИ»...

Курт Воннегут
Сирены Титана. Колыбель для кошки

Сирены Титана

Посвящение:
Алексу Воннегуту, доверенному лицу, с любовью, «С каждым часом Солнечная система приближается на сорок три тысячи миль к шаровидному скоплению М13 в созвездии Геркулеса – и все же находятся недоумки, которые упорно отрицают прогресс».

Рэнсом К. Фэрн

Все действующие лица, места и события в этой книге – подлинные. Некоторые высказывания и мысли по необходимости сочинены автором. Ни одно из имен не изменено ради того, чтобы оградить невиновных, ибо Господь Бог хранит невинных по долгу своей небесной службы.

Глава первая.
МЕЖДУ ВРЕДОМ И ВРЕДИЩЕМ

"Мне кажется, что кто-то там, наверху,
хорошо ко мне относится".
— Малки Констант

Теперь-то всякий знает, как отыскать смысл жизни внутри самого себя.

Но было время, когда человечество еще не сподобилось такого счастья. Меньше сотни лет назад мужчины и женщины еще не умели запросто разбираться в головоломках, спрятанных в глубине человеческих душ. Дешевые подделки — религии плодились и процветали. Человечество, не ведая, что истина таится внутри каждого живого человека, вечно искало ответа вовне вечно стремилось вдаль. В этом вечном стремлении вдаль человечество надеялось узнать, кто же в конце концов сотворил все сущее, и попутно — зачем он это все сотворил.

Человечество вечно забрасывало своих посланцев-пионеров как можно дальше, на край света. Наконец, оно запустило их в космическое пространство — в лишенную цвета, вкуса и тяжести

даль, в бесконечность. Оно запустило их, как бросают камушки. Эти несчастные пионеры нашли там то, чего было предостаточно на Земле: кошмар бессмыслицы, которой нет конца. Вот три трофея, которые дал нам космос, бесконечность вовне: ненужный героизм, дешевая комедия, бессмысленная смерть.

Мир вне нас наконец потерял свою выдуманную заманчивость.

Мир внутри нас — вот что предстояло познать. Только душа человеческая осталась terra incognita*. Так появились первые ростки доброты и мудрости. Какие же они были, люди стародавних времен, души которых оставались еще непознанными?

/* Неведомая земля (лат.). — Здесь и далее прим. переводчика. /

Перед вами истинная история из тех Кошмарных веков, которые приходятся примерно (годом больше, годом меньше) на период между Второй мировой войной и Третьим Великим Кризисом.

***

Толпа гудела.

Толпа собралась в ожидании материализации. Человек и его пес должны материализоваться,

возникнуть из ничего — поначалу они будут похожи на туманные облачка, но постепенно станут такими же плотными, как любой человек и любой пес из плоти и крови.

Но толпе не суждено было поглазеть на материализацию. Материализация была в высшей степени частным делом и происходила в частном владении, так что ни о каком приглашении полюбоваться всласть не могло быть и речи.

Материализация, как и современная, цивилизованная казнь через повешение, должна была происходить за высокими, глухими стенами, под строгой охраной. И толпа снаружи ничем не отличалась от тех толп, которвге собирались за стенами тюрьмы в ожидании казни.

В толпе все знали, что видно ничего не будет, но каждый получал удовольствие, пробиваясь поближе, глазея на голую стену и воображая себе, что там творится! Таинство материализации, подобно таинству казни, как бы умножалось за стеной, превращалось в порнографическое зрелище — цветные слайды нечистого воображения — цветные слайды, которые толпа, как волшебный фонарь, проектировала на белый экран каменной стены.

Это было в городе Ньюпорте, Род-Айленд, США,

Земля, Солнечная система, Млечный Путь. Это были стены поместья Румфордов.

За десять минут до назначенного времени материализации сотрудники полиции пустили слух, что материализация произошла досрочно, и что она произошла за пределами поместья, и что человека с собакой каждый может увидеть своими глазами в двух кварталах отсюда. Толпа с топотом повалила на перекресток, смотреть материализацию.

Толпа обожала чудеса.

За толпой не поспевала женщина с зобом, весившая триста фунтов. У нес был еще яблочный леденец и шестилетняя девчушка. Девчушку она крепко держала за руку и дергала ее туда-сюда, как шарик на резинке.

— Ванда Джуп, — сказала она, — если ты не будешь себя хорошо вести, я тебя больше никогда в жизни не возьму на материализацию.

Материализация происходила в течение девяти лет, каждые пятьдесят девять дней. Ученейшие и достойнейшие мужи со всего света униженно молили о милости быть допущенными на материализацию. Но их всех, невзирая на лица, ждал категорический отказ. Отказ в неизменной форме, написанный от руки личным секретарем

миссис Румфорд.

"Миссис Уинстон Найлс Румфорд просит меня уведомить Вас о

том, что она не в состоянии удовлетворить Вашу просьбу. Она

уверена, что Вы поймете ее чувства: феномен, который Вы

хотите наблюдать, — семейная трагедия, едва ли предназначенная

для посторонних, какими бы благородными побуждениями ни была

вызвана их любознательность"

Ни сама миссис Румфорд, ни ее слуги и помощники не отвечали ни па один из многих тысяч вопросов о материализации, которыми их засыпали. Миссис Румфорд считала, что она вправе давать миру лишь минимальное количество информации. И это исчезающе малое обязательство она считала выполненным, выпуская бюллетень через двадцать четыре часа после каждой материализации. Отчет никогда не превышал ста слов. Ее дворецкий помещал бюллетень в стеклянный ящик, прикрепленный к стене возле единственного входа в поместье.

Единственный вход в поместье был похож на дверцу из «Алисы в стране чудес» и находился

в западной стене. Дверца была высотой всего в четыре с половиной фута. Она была железная и запиралась на автоматический замок.

Широкие ворота поместья были заложены кирпичом.

Бюллетени, появлявшиеся на стеклянном ящике, были всегда одинаково скупы и отрывочны. Те сведения, которые в них сообщались, способны были нагнать тоску на любого человека, в котором теплилась хоть искорка любопытства. В бюллетенях указывалось точное время, когда муж миссис Румфорд, Уинстон и его пес Казак материализовались, и точное время, когда они дематериализовались. Самочувствие человека и собаки неизменно характеризовалось как ХОРОШЕЕ. Между строк можно было прочесть, что муж миссис Румфорд обладает способностью ясно видеть прошлое и будущее, но ни одного примера такого прозрения там не приводилось.

А толпу отвлекли обманным путем от стен поместья, чтобы очистить дорогу к железной дверце в западной стене для наемной закрытой машины. Стройный мужчина, одетый, как денди начала века, вышел из машины и предъявил какую-то бумагу полисмену, охранявшему вход. Чтобы его не узнали, он был в темных очках и с

фальшивой бородой.

Полисмен кивнул, и мужчина, достав ключ из кармана, сам отпер дверь, нырнул внутрь и с грохотом захлопнул ее за собой.

Лимузин отъехал.

Над низкой железной дверью висел плакатик: «Осторожно, злая собака!» Огненные блики заката играли на бритвенных лезвиях и осколках битого стекла, заделанных в бетон на верху высокой стены.

Человек, открывший дверцу собственным ключом, был первым, кого миссис Румфорд пригласила на материализацию. Но это был вовсе не великий ученый. Наоборот, он был недоучкой. Его вышвырнули из университета штата Виргиния в конце первого семестра. Это был Малаки Констант из Голливуда, Калифорния, — самый богатый американец и один из самых отчаянных прожигателей жизни.

«Осторожно, злая собака!»– предупреждал плакатик над железной дверцей. Но за дверцей у стены оказался только скелет собаки. Это был скелет громадного пса-мастифа. На нем болтался ошейник с шипами, прикрепленный к стене тяжелой цепью. Длинные клыки пса были сомкнуты. Его черепная коробка с парой челюстей

представляла собой хитроумно сконструированную, безобидную действующую модель механизма, рвущего плоть. Челюсти защелкивались: крак! Вот здесь раньше были горящие глаза, здесь — настороженные уши, вот тут — чуткий нос, а тут — мозг хищника. Вон там и там были прикреплены приводные ремни мышц, и они смыкали клыки в глубине живой плоти вот так: крак!

Скелет был символом, бутафорией, был затравкой для разговора, подстроенной женщиной, которая почти ни с кем не разговаривала. Никакая собака не жила и не подыхала на посту у этой стены. Кости миссис Румфорд купила у ветеринара, их для нее отбелили, вылощили и скрепили проволокой. Этот скелет стоял в ряду многочисленных горьких и непонятных намеков миссис Румфорд на то, какую глупую и злую шутку сыграло с ней время и ее собственный муж.

Миссис Уинстон Найлс Румфорд стоила семнадцать миллионов долларов. Миссис Уинстон Найлс Румфорд занимала в обществе самое высокое место, какого можно достичь в Америке. Миссис Уинстон Найлс Румфорд была здорова, хороша собой и к тому же талантлива.

Она была талантливой поэтессой. Она опубли-

ковала анонимно тоненькую книжечку стихов под странным названием «Между ВРЕДОМ и ВРЕТИЩЕМ». Книгу приняли довольно хорошо.

Название намекало на то, что все слова, находящиеся в карманных словариках между ВРЕДОМ и ВРЕТИЩЕМ, относятся к слову ВРЕМЯ.

При всем своем богатстве и одаренности миссис Румфорд все же совершала странные поступки — например, сажала на цепь у стены собачий скелет, замуровывала въездные ворота, запускала прославленный классический парк в Новой Англии до состояния джунглей.

Мораль: деньги, положение в обществе, здоровье, красота и талант — это еще не все.

Малаки Констант, самый богатый американец, запер за собой дверцу из «Алисы в стране чудес». Он повесил свои темные очки и фальшивую бороду на плющ, покрывающий стену. Он быстро прошел мимо собачьего скелета, глядя на свои часы, работавшие на солнечной батарейке. Через семь минут живой мастиф, Казак, материализуется и пустится рыскать по парку.

"Казак кусается, — написала миссис Румфорд в своем приглашении. — Поэтому прошу вас быть пунктуальными.

Констант улыбнулся — его рассмешила просьба

быть пунктуальным. Быть пунктуальным буквально значит «существовать в одной точке», а употребляется также в значении «быть точным, появляться в точно назначенное время». Констант существовал в одной точке — и не мог вообразить, как можно существовать иначе.

А именно это ему и предстояло узнать, кроме всего прочего: как можно существовать иначе. Муж миссис Румфорд существовал иначе.

Уинстон Найлс Румфорд бросил свой личный космический корабль прямо в середину не отмеченного на картах хроно-синкластического инфундибулума, в двух днях полета от Марса. С ним был только его пес. И вот теперь Уинстон Найлс Румфорд и его пес Казак существуют в виде волнового феномена — очевидно, пульсируя по неправильной спирали, начинающейся на Солнце и кончающейся около звезды Бетельгейзе.

И орбита Земли вот-вот пересечется с этой спиралью.

Как ни пытайся объяснить покороче, что такое хроносинкластический инфундибулум, обязательно вызовешь возмущение специалистов. Как бы то ни было, мне кажется, что лучшее из коротких объяснений принадлежит доктору Сирилу Холлу, оно помещено в четырнадцатом издании

«Детской энциклопедии чудес и самоделок». С любезного разрешения издателей привожу эту статью полностью:

ХРОНО-СИНКЛАСТИЧЕСКИЙ ИНФУНДИБУЛУМ. — Представь себе, что твой папа — самый умный человек на Земле и знает ответы на все вопросы, и всегда и во всем прав, и может это доказать. А теперь представь себе другого малыша на какой-нибудь уютной планете за миллион световых лет от нашей Земли, и у этого малыша есть папа, который умное всех на этой милой далекой планете. И он тоже знает все на свете и всегда во всем прав, как твои папа. Оба папы самые умные на свете и всегда во всем правы"

Но вот беда — если они когда-нибудь встретятся, начнется ужасный спор, потому что они ни в чем друг с другом не согласны! Конечно, ты можешь сказать, что твой папа прав, а папа другого малыша неправ, но ведь Вселенная — такое большое пространство! В ней достаточно места для множества людей, которые все правы и все же ни за что не согласятся друг с другом.

А оба папы правы и все же готовы спорить до драки — по той причине, что существует бесконечное множество возможностей быть

правым. Однако есть во Вселенной такие места, где до каждого папы доходит наконец то, о чем говорит другой папа. В этих местах все разные правды соединяются так же ловко, как детали в электронных часах твоего паны. Такое место мы и называем «хроносинкластический инфундибулум».

Судя по всему, в Солнечной системе не счесть таких хроносннкластических инфундибулумов. Мы точно знаем, что в одно такое место можно попасть где-то между Землей и Марсом. Мы это знаем потому, что земной человек с земной собакой угодили прямо в него.

Ты. наверное, подумал, что было бы неплохо попасть в хроносинкластический инфундибулум и увидеть все многочисленные возможности быть абсолютно правым, но к сожалению, это очень опасно. Этого несчастного вместе с его собакой раздробило и рассеяло вдаль и вширь — не только в пространстве, но и во времени.

Хроно значит «время». _Синкластический_ значит «изогнутый в одну и ту же сторону во всех направлениях», Наподобие шкурки апельсина. Инфундибулум — так древние римляне, например Юлий Цезарь или Нерон, называли воронку. Если ты никогда не видел воронки, попроси свою

маму, она тебе покажет.

Ключ к дверце из «Алисы в стране чудес» был прислан вместе с приглашением. Малаки Констант сунул ключ в отороченный мехом карман своих брюк и пошел по единственной тропе, которая перед ним открывалась. Он шел в густой тени, по скользящие лучи закатного солнца высвечивали верхушки деревьев, как на картинах Максвелла Паррнша.

Констант небрежно помахивал письмом с приглашением, ожидая, что его вот-вот остановят. Приглашение было написано фиолетовыми чернилами. Миссис Румфорд было всего тридцать четыре, но она писала, как старуха, — вычурным почерком с острыми завитушками. Она явно презирала Константа, хотя никогда его не видела. Тон приглашения был, мягко выражаясь, брезгливый, словно оно писалось на несвежем носовом платке.

«В последний раз, когда мой муж материализовался, — писала она в приглашении, — он настаивал на том, чтобы вы присутствовали на следующей материализации. Мне не удалось отговорить его, хотя это крайне неудобно по множеству причин. Он настаивает на том, что прекрасно с вами знаком и что вы встречались

на Титане, — насколько я поняла, это спутник планеты Сатурн».

Почти в каждой фразе приглашения было слово «настаивает». Муж миссис Румфорд настаивал на чем-то, что она была вынуждена сделать против своей воли, и она, в свою очередь, настаивала на том, чтобы Малаки Констант вел себя как можно лучше, как подобает джентльмену, хотя он явно не джентльмен.

На Титане Малаки Констант никогда не бывал. Насколько это было ему известно, он ни разу в жизни не покидал атмосферу, окружающую его родную планету, Землю. Очевидно, ему предстояло убедиться в обратном.

Тропа прихотливо извивалась, так что предел видимости был ограничен. Констант шел по сырой зеленой тропке, не шире валика для стрижки газона — это и был след от машины для стрижки газона. По обе стороны тропинки стеной стояли зеленые джунгли, заполонившие регулярный парк.

След машинки для стрижки газона огибал безводный фонтан. В этом месте человек с машинкой для стрижки газона проявил изобретательность и сделал развилку, так что посетитель мог сам решать, с какой стороны обходить фонтан. Кон-

стант остановился на перепутье, взглянул вверх. Фонтан тоже был чудом изобретательности. Он представлял собой конусообразную конструкцию из каменных чаш, диаметр которых все уменьшался. Все эти чаши были похожи на воротнички, нанизанные на цилиндрический стержень в сорок футов высотой.

Повинуясь внезапному побуждению. Констант не пошел ни вправо, ни влево, а полез прямо на фонтан. Он карабкался с чаши на чашу, намереваясь добраться до самого верха и поглядеть, откуда он пришел и куда идти дальше.

Вскарабкавшись в самую верхнюю, самую маленькую из вычурных чаш фонтана, попирая ногами птичьи гнезда, Малаки Констант увидел с высоты все поместье. большую часть Ньюпорта и Нараганзеттского залива. Он повернул свои часы к солнцу, чтобы они впивали свет свой насущный, — часы на солнечных батарейках жаждут света, как люди Земли — золота.

Свежий ветерок с моря тронул иссиня-черные волосы Константа. Он был хорош собой — сложен, как боксер полутяжелого веса, смуглый, с губами поэта и мечтательными карими глазами в глубокой тени кроманьонских надбровных дуг.

Ему был тридцать один год.

Он стоил три миллиарда долларов, по большей части полученных в наследство.

Его имя означало «надежный гонец».

Он занимался биржевыми спекуляциями, главным образом ценными бумагами.

В периоды депрессии, которые всегда настигали его после злоупотребления алкоголем, наркотиками или женщинами, Константа тосковал только об одном: чтобы ему поручили единственное послание, весть великую и важную, достойную того, чтобы он смиренно пронес ее от места до места.

Под гербом, который Константа сам изобрел для себя, стоял простой девиз: «Гонец всегда готов».

Очевидно, Константа имел в виду послание первостепенной важности от самого Господа Бога к столь же высокопоставленному лицу.

Константа снова взглянул на свои солнечные часы. На то, чтобы слезть с фонтана и дойти до дома, у него оставалось две минуты — через две минуты Казак материализуется и примется рвать всех чужих, какие ему попадутся. Константа рассмеялся, представив себе, как обрадуется миссис Румфорд, если вульгарный выскочка, мистер Константа из Голливуда, все отведенное для визита время просидит на верхушке фонтана, осаждаемый чистокровным мастифом. Может,

миссис Румфорд даже прикажет пустить воду.

Вполне возможно, что она уже видит Констан-та — дом, окруженный стриженым газоном раза в три шире чем тропинка, был всего в минуте ходьбы.

Особняк Румфордов был мраморный — раздутая копия банкетного павильона в Уайтхолле в Лондоне. Этот особняк, как большая часть богатых домов в Ньюпорте, был похож, как родной брат, на почтовые конторы и федеральные здания суда, разбросанные по всей стране.

Особняк Румфордов до смешного буквально воплощал образное выражение «люди с весом». Бесспорно, это было одно из грандиознейших воплощений увесистости — после пирамиды Хеопса. В своем роде он был даже более убедительным утверждением незыблемости, чем Великая пирамида: ведь Великая пирамида по мере приближения к небу сходит на нет. А в особняке Румфордов ни одна деталь не сходила на нет но мере приближения к небу. Переверни его вверх ногами — и он будет выглядеть точно так же, как раньше.

Увесистость и устойчивость особняка, безусловно, казалась явной насмешкой над тем, что сам бывший хозяин дома материализовывался всего

на один час каждые пятьдесят девять дней, а в остальное время весил не больше лунного луча

Констант слез с фонтана, ступая на ободки чаш, диаметр которых все увеличивался. Когда он добрался до самого низа, ему ужасно захотелось посмотреть, как фонтан действует. Он подумал о толпе за стенами, о том, как им, наверное, поправится, если фонтан заработает. Они прямо обалдеют, глядя, как малюсенькая чашечка на самой верхушке переполняется и вода стекает в другую маленькую чашечку… а из этой маленькой чашечки перетекает в следующую маленькую чашечку… а из следующей маленькой чашечки переливается в следующую маленькую чашечку… и дальше, и дальше: рапсодия переливов, где каждая чашечка поет свою радостную водяную песенку. А внизу, под всеми этими чашечками, разверстая пасть самой большой чаши… подлинный зев Вельзевула, пересохший, ненасытный… жаждущий, жаждущий, ждущий первой, сладостной капли.

Констант впал в транс, вообразив, что фонтан действует. Фонтан превратился почти в галлюцинацию — а галлюцинации, обычно под действием наркотиков, — это было едва ли не единственное, что еще могло удивить и позабавить Константа.

Время летело. Констант не двигался.

Где-то в саду раздался гулкий лай мастифа. Это мог быть только Казак, космический пес. Казак материализовался. Казак почуял чужака, выскочку.

Констант одним духом пролетел расстояние, отделявшее его от дома.

Дворецкий, глубокий старик в старомодных штанах до колен, открыл дверь Малаки Константу из Голливуда. Дворецкий плакал от радости. Он показывал в глубь комнаты, а что там, Малаки не было видно. Дворецкий старался объяснить, чему он так радуется, отчего заливается слезами. Говорить он не мог. Челюсть у него ходила ходуном, и мог только бормотать: «Па-па-па-па-па».

Пол в вестибюле был выложен мозаикой, изображавшей золотое Солнце в окружении знаков Зодиака.

Уинстон Найлс Румфорд, материализовавшийся минуту назад, вышел в вестибюль и встал прямо на Солнце. Он был гораздо выше и сильнее Малаки Константа — и, собственно говоря, это был первый человек, при виде которого Малаки подумал, что кто-то может в самом деле дать ему сто очков вперед. Уинстон Найлс Румфорд протянул ему мягкую ладонь, поздоровался с

ним запросто, почти пропел свои слова сочным тенором.

— Как я рад, как я рад, как я рад, мистер Константа, — пропел Румфорд. — Как мило. что вы пришли к намммммммммм!

— Это я рад, — сказал Константа.

— Мне говорили, что вы, очевидно, самый счастливый человек на свете.

— Пожалуй, немного сильно сказано, — сказал Константа.

— Но вы же не станете отрицать, что с деньгами вам всегда сказочно везло"– сказал Румфорд. Константа покачал головой.

— Да нет. Чего уж тут отрицать, — сказал он.

— А почему вам такое счастье привалило, как вы считаете? — спросил Румфорд.

Константа пожал плеч^и.

— Кто его знает, — сказал он. — Может, кто-нибудь там, наверху, хорошо ко мне относится

Румфорд поднял глаза к потолку.

— Какая прелестная мысль — думать, что вы пришлись по душе кому-то там, наверху.

Пока шел этот разговор, рукопожатие все длилось и Константу вдруг показалось, что его собственная рука стала маленькой, вроде когтистой лапки.

Ладонь Румфорда была мозолистая, но не загрубевшая местами, как у человека, обреченного до конца дней своих заниматься одним видом труда. Эта ладонь была покрыта изумительно гладкой и ровной мозолью, образованной тысячью разных приятных занятий, — ладонь деятельного представителя праздного класса.

Констант на минуту позабыл, что человек, чью руку он держит в своей, — просто некий аспект, временное сгущение волнового феномена, распыленного на всем пространстве от Солнца до Бетельгейзе. Но рукопожатие напомнило Константу, с чем он соприкоснулся: его руку покалывал слабый, едва ощутимый электрический ток.

Приглашение миссис Румфорд на материализацию нисколько не запугало Константа, он не обратил внимания на высокомерный тон, тушеваться перед ней он не собирался. Констант был мужчиной, а миссис Румфорд — женщиной, и Констант был уверен, что при первой же возможности докажет ей свое несомненное превосходство.

А вот Уинстон Найлс Румфорд — тут дело другое, он куда сильней во всем, что касается духа, пространства, положения в обществе, секса и

даже электричества. Рукопожатие и улыбка Унистона Найлса Румфорда разрушили самомнение Константа так же быстро и умело, как рабочие после карнавала разбирают карусель.

Констант, считавший себя достойным гонцом для самого Всемогущего Господа Бога, вдруг совершенно сник перед весьма ограниченным величием Румфорда. Констант лихорадочно искал в своей памяти доказательств своего собственного величия. Он рылся в своей памяти, как воришка, вытряхивающий чужой бумажник. Констант убедился, что память его битком набита мятыми, передержанными фотографиями всех женщин, с которыми он спал, неправдоподобными свидетельствами об участии в еще более невероятных предприятиях, удостоверениями, которые приписывали ему достоинства и добродетели, какие можно было найти только в трех миллиардах долларов. Там оказалась даже серебряная медаль на красной ленточке — награда за второе место в тройном прыжке на соревнованиях в закрытом помещении в университете штата Виргиния.

Улыбка Румфорда продолжала сиять.

Если продолжить сравнение с вором, который роется в чужом бумажнике: Констант вспорол даже швы в своей памяти в надежде обнаружить

что-нибудь стоящее, в секретном кармашке. Не было там никакого секретного кармана — и ничего стоящего. У Константа в руках остались только ошметки от памяти — распотрошенные, жеваные лоскутья.

Древний дворецкий, с обожанием глядя на Румфорда, корчился и извивался в приступе раболепия, напоминая уродливую старуху, пытающуюся позировать для изображения Мадонны.

— Мой хо-сяин, — умильно блеял он, — мой молодой хо-сяин!

— Кстати, я читаю ваши мысли, -сказал Румфорд.

— Правда? — робко отозвался Константа.

— Нет ничего легче, — сказал Румфорд. В глазах у него замелькали искорки. — Вы неплохой малый, знаете ли, — сказал он, — особенно когда забываете, кто вы такой.

Он легко коснулся руки Константа. Это был жест политикана — вульгарный, рассчитанный на публику жест человека, который у себя дома, среди себе подобных, готов изворачиваться изо всех сил, только бы до кого-нибудь не дотронуться.

— Если уж вам так необходимо на данном этапе наших отношений чувствовать себя хоть в чем-то

выше меня, — сказал он ласково, — думайте вот о чем: вы можете делать детей, а я не могу.

Он повернулся к Константу широкой спиной и пошел впереди через анфиладу великолепных покоев.

В одном зале он остановился и заставил Константа любоваться громадной картиной, писанной маслом, на которой маленькая девочка держала в поводу белоснежного пони. На девочке была белая шляпка, белое накрахмаленное платьице, белые перчатки, белые носочки и белые туфельки.

Это была самая чистенькая, белоснежная, замороженная маленькая девочка из всех, кого Малаки Констант когда-либо видел. У нее на лице застыло странное выражение, и Констант решил, что она очень боится хоть чуточку замараться.

— Хорошая картина, — сказал Констант.

— Представляете себе, какой будет ужас, если она шлепнется в грязную лужу? — сказал Румфорд.

Констант неуверенно ухмыльнулся.

— Моя жена в детстве, — отрывисто пояснил Румфорд и вышел из комнаты впереди Константа.

Он повел гостя в темный коридор, а оттуда в

крохотную комнатушку, не больше кладовки для щеток. Она была десяти футов в длину, шести в ширину, но потолок, как в остальных комнатах, был высотой в двадцать футов. Так что комната смахивала на трубу. Там стояли два кресла с подголовниками.

— Архитектурный курьез, — сказал Румфорд, закрывая дверь и глядя вверх, на потолок.

— Простите? — сказал Констант.

— Эта комната, — сказал Румфорд. Мягким движением правой руки он описал магическую спираль, словно показывая на невидимую винтовую лестницу. — Одна из немногих вещей, которых мне хотелось больше всего на свете, когда я был мальчишкой, — вот эта комнатка.

Он кивком указал на застекленные стеллажи, поднимавшиеся на шесть футов у стены, где было окно. Стеллажи были отлично сработаны. Над ними была прибита доска, выброшенная морем, а на ней голубой краской было написано: «МУЗЕЙ СКИПА».

Музей Скипа был музеем бренных останков-эндоскелетов и экзоскелетов*– там были раковины, кораллы, кости, хрящи, панцири хитонов, **– прах, огрызки, объедки давно отлетевших душ. Большинство экспонатов были из тех, которые

ребенок — судя по всему Скип — мог без труда собрать на пляжах или в лесах возле Ньюпорта. Среди них были и явно дорогие подарки мальчику, который серьезно интересовался биологией.

/* Имеются в виду скелеты животных (эндоскелеты) и раковины моллюсков, и наружные «панцири» членистоногих (экзоскслеты). /

/** Хитоны — небольшие съедобные моллюски с панцирем из восьми налегающих друг на друга пластин. /

Главным экспонатом музея был полный скелет взрослого мужчины.

Там был также пустой панцирь броненосца, чучело дронта и длинный, закрученный винтом бивень нарвала, на который Скип в шутку прицепил этикетку «Рог Единорога».

— А кто это Скип? — спросил Констант.

— Это я, — сказал Румфорд. — То есть был я.

— Не знал, — сказал Констант.

— Семейное прозвище, понимаете ли, — сказал Румфорд.

— Угу, — сказал Констант.

Румфорд сел в одно из удобных кресел, жестом пригласил Константа занять другое.

— Ангелы, кстати, тоже не могут, — сказал Румфорд.

— Чего не могут? — спросил Констант

— Делать детей, — ответил Румфорд. Он предложил Константу сигарету, сам взял другую и вставил ее в длинный костяной мундштук.

— Очень сожалею, что моя жена наотрез отказалась спуститься вниз и познакомиться с вами, — сказал он. — Это она не от вас прячется, а от меня.

— От вас? — сказал Констант.

— Именно, — сказал Румфорд. — После первой материализации она меня ни разу не видела. — Он невесело засмеялся. — С нее одного раза было достаточно.

— Я — простите, — сказал Констант. — Я не понял.

— Ей не по вкусу мои предсказания, — сказал Румфорд. — То немногое, что я ей сообщил о ее будущем, очень ее расстроило. Она больше ничего слышать не хочет.

Он откинулся в кресле и глубоко затянулся.

— Говорю вам, мистер Констант, — сказал он благодушно, — неблагодарное это. дело — твердить людям, что мы живем в жестокой, суровой Вселенной.

— Она пишет, что вы заставили ее пригласить меня, — сказал Констант.

— Я ей передал через дворецкого, — сказал Румфорд. — Я просил ей сказать, что она ни за что вас не пригласит А то бы она вас ни за что и не пригласила. Можете запомнить, единственный способ заставить ее что-то сделать — это сказать, что у нее на это не хватит духу. Разумеется, этот прием не всегда безотказно действует. Например, если бы я сейчас велел ей передать, что у нее не хватит духу заглянуть в свое будущее, она бы передала мне, что я совершенно прав.

— А вы — вы и вправду можете видеть будущее? — спросил Констант Кожа у него на лице словно съежилась, ему казалось, что она усохла. Ладони у него были мокрые от пота

— Если говорить точно — да, — сказал Румфорд. — Когда я загнал свой космический корабль в хроно-синкластический инфундибулум, меня мгновенно озарило сознание, что все когда-либо бывшее пребудет вечно. а все, что будет, существовало испокон веков. — Он снова посмеялся немного. — Когда это знаешь, в предсказаниях ничего завлекательного не остается, — дело простое, житейское, проще не придумаешь.

— Вы сказали своей жене все, что с ней должно случиться? — спросил Констант. Вопрос был задан походя. Константу не было никакого дела

до того, что случится с женой Румфорда. Ему не терпелось узнать о собственном будущем. Но прямо спросить он постеснялся, поэтому спросил про жену Румфорда.

— Да нет, не все, — ответил Румфорд. — Она не дала мне рассказать все. Та малость, которую она успела услышать, начисто отбила у нее желание слушать дальше.

— Да-да, понимаю, — сказал Констант, хотя ничего не понял.

— Например, — добродушно сказал Румфорд, — я ей сказал, что вы с ней поженитесь на Марсе. — Он пожал плечами. — Не то чтобы поженитесь, — добавил он. — Просто марсиане подберут вас в пару друг другу, как подбирают племенной скот.

Уинстон Найлс Румфорд был представителем единственного подлинно американского класса. Это был подлинный класс, потому что он был четко ограничен в течение по меньшей мере двух столетий, и эти границы отчетливо видны любому, кто что-нибудь смыслит в определениях. Из небольшого класса, к которому принадлежал Румфорд, вышла десятая часть американских президентов, четверть путешеотвенников-первопроходцев, треть губернаторов восточного

побережья, половина ученых-орнитологов, три четверти великих американских яхтсменов и практически все жертвователи средств на содержание Гранд-оперы. В этом классе отмечается поразительное отсутствие шарлатанов, если не считать шарлатанов политических. Но политическое шарлатанство было всего лишь средством для завоевания важных постов — и никогда не касалось частной жизни. Добившись поста, представители этого класса, почти без исключения, становились на редкость честными и надежными людьми.

И если Румфорд ставил в вину марсианам то, что они разводили людей, как разводят породистый скот, то ведь он обвинял их в том, что практиковал его собственный класс. Сила его класса в известной степени объяснилась разумными финансовыми операциями — но она куда больше зависела от браков, заключенных с циничным расчетом на то, какие дети от этого получатся.

Здоровые, обаятельные, умные дети — вот к чему они все стремились.

Самый компетентный, хотя н невеселый анализ класса, к которому принадлежал Румфорд, дан, несомненно, в книге Уолтема Киттриджа

«Волхвы американского философа». Киттридж доказал, что класс по сути дела — большая семья, где все свободные концы подтягивают обратно к крепкому ядру кровною родства, аккуратно наматывают на общий клубок посредством родственных браков. Румфорд и его жена, к примеру, были троюродные брат и сестра и терпеть друг друга не могли.

И когда Киттридж дал графическое изображение класса Румфорда, оно оказалось разительно похожим на жесткий, похожий на тугой клубок, узел, называемый «мартышкин кулачок».

Уолтем Киттридж много напутал в своей книге «Волхвы американского философа», тщетно пытаясь выразить дух румфордского класса в словах. Как любой другой преподаватель колледжа, Киттридж норовил выискать как можно более замысловатые и длинные слова, а когда не находил подходящих слов, сам сочинял сложные и непереводимые ученые термины.

Из всего высосанного из пальца киттриджского жаргона общеупотребительным стал только одни термин. Он звучал так: НЕНЕВРОТИЧЕСКАЯ ХРАБРОСТЬ.

Именно храбрость этою рода заставила Уинстона Найлса Румфорда отправиться в космос Это

была храбрость в чистом виде — не только не связанная с жаждой славы или денег, но н без малейшей примеси побуждений, которые толкают вперед неудачника или сумасброда.

Кстати сказать, есть два самых обыкновенных слова, любое из которых может прекрасно заменить всю киттриджскую заумь. Вот эти слова: СТИЛЬ н ДОБЛЕСТЬ.

Когда Румфорд стал первым частным владельцем космического корабля и выложил за это пятьдесят восемь миллионов долларов из собственного кармана это был стиль.

Когда все правительства земных государств прекратили космические запуски из-за хроносинкластичсских инфундибулумов, а Румфорд заявил во всеуслышание, что отправляется на Марс, — это был стиль.

Когда Румфорд объявил, что берет с собой громадного злющего пса, как будто космический корабль — просто усовершенствованная спортивная машина, а путешествие на Марс — не больше, чем прогулочка по коннектикутской автомагистрали, — это был стиль.

Когда никто не знал, что произойдет с космическим кораблем, если он попадет в хроно-синкластический инфундибулум, а Румфорд без оглядки

швырнул свой корабль прямо в центр воронки — это была уже доблесть, без дураков.

Попробуем сравнить два контраста Малаки Константа из Голливуда и Уинстона Найлса Румфорда из Ньюпорта и Вечности.

Во всем, что бы ни делал Румфорд, был СТИЛЬ, и все человечество от этого выигрывало и казалось лучше.

А Малакн Констант всегда вел себя, как СТИЛЯГА — агрессивный, крикливый, ребячливый, расточительный, — что не делало чести ни ему самому, ни роду человеческому.

Константа так и распирала храбрость — только неневротической ее не назовешь. Если он когда-нибудь проявлял храбрость, то чаще всего кому-то назло или потому, что с детства ему вбили в голову: трусят одни слабаки.

Когда Констант услышал от Румфорда, что ему предстоит быть спаренным с женой Румфорда на Марсе, он не мог смотреть в глаза Румфорду и перевел взгляд на стеллажи с бренными останками, занимавшие одну из сотен. Констант крепко сцепил пальцы, чтобы унять дрожь.

Констант несколько раз откашлялся. Потом он тоненько засвистел, прижав кончик языка к небу. Короче говоря, он вел себя, как человек, ко-

торый старается перетерпеть острую боль, пока не полегчает. Он закрыл глаза и втянул воздух сквозь стиснутые зубы.

— О-ла-ла, мистер Румфорд, — сказал он негромко. — Значит, на Марс?

— На Марс, — сказал Румфорд. — Разумеется, это не конечный пункт назначения. И не Меркурий.

— Меркурий? — повторил Констант. Это красивое имя прозвучало, как неблагозвучное карканье.

— Конечный пункт назначения — Титан, — пояснил Румфорд. — Но сначала вы побываете на Марсе, на Меркурии и еще раз вернетесь на Землю.

Чрезвычайно важно понять, в какой именно точке истории точного исследования космоса Малаки Констант услышал о предстоящих ему визитах на Марс, Меркурий, Землю и Титан. Отношение землян к космическим исследованиям сильно напоминало отношение жителей Европы к плаваниям через Атлантику — еще до того, как Колумб отправился в путь.

Однако можно отметить три существенных различия: чудовищные трудности, преграждавшие космическим исследованиям путь к цели, были не воображаемые, а неисчислимые, ужасные,

разнообразные и все без исключения грозили катастрофой; стоимость даже самого скромного запуска способна была пустить по миру почти любую нацию; к тому же было досконально известно что ни одна космическая экспедиция не принесет прибыли тем, кто вложит в нее деньги.

Короче говоря, все — от простого здравого смысла до глубочайших научных знаний — говорило не в пользу исследований космоса.

Давно миновало то время, когда одна нация старалась переплюнуть другую, запуская в бездонную пустоту разные тяжелые предметы. Кстати, «Галактическая Космоверфь»– корпорация, полностью подчиненная Малаки Константу, — получила самый последний заказ на изготовление такого рекламного чудища — ракеты высотой в три сотни футов и тридцати шести футов в диаметре. Ее даже построили, но «добро» на запуск так и не было дано.

Космический корабль назвали просто «Кит», и он был рассчитан на пять пассажирских мест.

А все работы были так резко прекращены из-за открытия хроносникластических инфундибулумов. Открытие было сделано на основе математических расчетов причудливых траекторий кораблей, которые запускали, по-видимому,

для предварительных испытаний, без экипажа.

Открытие хроно-синкластических инфундибулумов как бы сказало всему человечеству «С чего это вы взяли, что вы куда-то доберетесь?»

Этой ситуацией воспользовались американские проповедники — фундаменталисты. Они раньше философов или историков, или кого бы то ни было извлекли смысл из этого усекновения Космической Эры. Не прошло и двух часов после того, как запуск «Кита» был отложен на неопределенное время, а преподобный Бобби Дентон уже разглагольствовал перед своими Крестоносцами Любви в Уилинге, Западная Виргиния:

— И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, _и_не_отстанут_они_от_ _того, _что_задумали_сделать; _ сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы ни один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли и оттуда рассеял их Господь по всей земле.

Бобби Дентон нанизал всех своих слушателей, как на вертел, на свой пронзительный, горячий

и полный любви взгляд и принялся поджаривать их целиком над раскаленными угольями их собственных прегрешении.

— Не настало ли время, реченное в Библии? — вещал он, — Разве мы не воздвигли башню из стали, гордыни и всякой мерзости превыше древней Вавилонской башни? И разве мы не стремились, как те древние строители, добраться до самого Неба? Разве мы не слышали собственными ушами, как язык ученых называют интернациональным языком? Все они дают вещам одинаковые греческие и латинские клички, и все они переговариваются на языке математики.

Судя по всему, это было самое страшное свидетельство обвинения для самого Дентона, а Крестоносцы Любви смиренно согласились с ним, не особенно вникнув в суть дела.

— Так что же мы вопием в ужасе и унынии ныне, когда Господь говорит нам, как строителям Вавилонской башни: «Стойте! Разойдитесь! По этой штуке вы ни на небо, ни куда бы то ни было не взмоститесь! Рассейтесь, повелеваю вам! Перестаньте говорить друг с другом на ученом языке! Не отстанете вы ни от чего, что задумаете сделать, а мне это ни к чему! Я, ваш Господь Вседержитель, ХОЧУ, чтобы вы отстали от много-

го, чтобы вы перестали помышлять о дурацких ракетах и башнях до самого Неба, а задумались бы о том, как стать лучше, как стать хорошими мужьями, женами, дочерьми и сыновьямии. Не ищите спасения в ракетах — ищите его в ваших домах и храмах!»

Голос Бобби Дентона зазвучал хрипло и приглушенно.

— Хотите летать в космосе? Господь даровал вам самый чудесный космический корабль во Вселенной! Да! Скорость? Мечтаете о скорости? Данный вам Богом космический корабль несется со скоростью шестьдесят шесть тысяч миль в час — и будет вечно нестись с такой скоростью, если будет на то божья воля. Вам нужен вместительный, комфортабельный космический корабль, со всеми удобствами? Он у вас есть! И на нем есть место не только для богатея с его псом, и не для пяти, и не для десятка пассажиров! Нет! Бог — не какой-нибудь крохобор! Он дал вам корабль, который может нести миллиарды мужчин, женщин и детей! Да! И им не надо пристегиваться ремнями к креслам или надевать на головы аквариумы для рыбок. Нет! На божьем корабле это ни к чему. Пассажиры на космическом корабле Господа Бога могут плескаться в речке, гулять

по солнышку, играть в бейсбол и кататься на коньках, и всей семьей выезжать на природу в собственной машине по воскресеньям после церкви, и подавать курицу на семейный стол!

Бобби Дентон кивнул.

— Да! — сказал он. — И если кто-нибудь считает, что Бог нас обездолил, создав в космосе препятствия, мешающие нам летать в небо, пусть тот вспомнит, какой космический корабль Господь уже даровал нам. И нам даже тратиться не надо на топливо для корабля и ломать голову, соображая, какое топливо лучше. Нет! Бог сам об этом позаботился.

И Бог сказал нам, что МЫ САМИ должны делать на этом чудесном космическом корабле. Он написал такие простые правила поведения, что любому понятно. Не надо быть физиком или великим химиком, или Альбертом Эйнштейном, чтобы их понять. Нет! И этих правил совсем немного. Мне говорили, что перед стартом «Кита» необходимо проверить одиннадцать тысяч разных параметров, чтобы убедиться, что он готов к полету: закрыт ли тот клапан, открыт ли этот, натянута ли та проволока, заполнен ли этот бак — и так далее, пока не проверят все одиннадцать тысяч мелочей. А у нас, на космическом

корабле Господа Бога, нужно проверить только десять пунктов — и не ради какого-то мелкого перелетика к отравленным каменным громадам, разбросанным в космосе, а ради путешествия в Царство Небесное! Подумайте только! Где бы вам хотелось быть завтра — на Марсе или в Царстве Небесном?

Вы знаете тот список, по которому проверяется готовность округлого зеленого космического корабля Господа Бога? Нужно ли мне напоминать вам его? Хотите услышать стартовый отсчет Господа Бога?

Крестоносцы Любви дружно закричали: «Хотим!»

— Десять! — провозгласил Бобби Дентон. — Желаешь ли ты дом своего ближнего, или слугу его, или служанку его, или вола его, или осла его, или что-либо, принадлежащее ближнему твоему?

— Нет! — закричали хором Крестоносцы Любви.

— Девять! — провозгласил Бобби Дентон. — Даешь ли ты на ближнего своего свидетельство ложно?

— Нет! — крикнули Крестоносцы Любви.

— Восемь! — провозгласил Бобби Дентон. — Крадешь ли ты?

— Нет! — крикнули Крестоносцы Любви.

— Семь! — провозгласил Бобби Дентон. -Творишь ли ты прелюбодеяние?

— Нет! — крикнули Крестоносцы Любви.

— Шесть! — провозгласил Бобби Дентон. -Убиваешь ли ты?

— Нет! — крикнули Крестоносцы Любви.

— Пять! — провозгласил Бобби Дентон. — Почитаешь ли ты отца твоего и матерь твою?

— Да! — крикнули Крестоносцы Любви.

— Четыре! — провозгласил Бобби Дентон. — Почитаешь ли ты день субботний и отдыхаешь ли ты от трудов?

— Да! — крикнули Крестоносцы Любви.

— Три! — провозгласил Бобби Дентон. — Поминаешь ли ты имя Господа твоего всуе?

— Нет! — крикнули Крестоносцы Любви.

— Два! — провозгласил Бобби Дентон. — Сотворил ли ты себе кумиров?

— Нет! — крикнули Крестоносцы Любви.

— Один! — провозгласил Бобби Дентон. — Почитаешь ли ты иных богов, кроме Господа истинного?

— Нет! — крикнули Крестоносцы Любви.

— Пуск! — во весь голос радостно возгласил Бобби Дентон. — Мы летим к тебе, Рай! Стартуйте,

дети мои и аминь!

— Что ж, — пробормотал Малаки Констант, сидя в похожей на трубу комнатушке под лестницей в Ньюпорте, — похоже, что гонец в конце концов понадобился.

— Это вы о чем? — спросил Румфорд.

— Мое имя — оно означает «надежный гонец», — сказал Констант. — Какое будет послание?

— Извините, — сказал Румфорд. — Я ничего не знаю ни о каком послании. — Он насмешливо наклонил голову набок. — А вам что, ктонибудь говорил о послании?

Констант протянул к нему руки ладонями вверх.

— То есть как — зачем же мне тогда мучиться, добираться до этого Тритона?

— До Титана, — поправил его Румфорд.

— Титан, Тритон, — сказал Констант. — За каким бесом я потащусь в такую даль?

«Бес» было жалкое, девчонское, бойскаутовское слово, непривычное для Константа И он сразу понял, почему оно напросилось ему на язык. «Бес!»– так говорили космонавты в телевизионных сериях, когда метеорит сшибал у них панель управления или когда навигатор оказывался кос-

мическим пиратом с планеты Циркон. Он встал.

— За каким чертом я туда потащусь?

— Так надо — даю вам слово.

Констант подошел к окну, постепенно обретая прежнюю силу и самоуверенность.

— Я вам прямо говорю, — сказал он. — Я отказываюсь.

— Очень жаль, — сказал Румфорд.

— Я должен что-то сделать для вас, когда попаду туда?

— Нет, — сказал Румфорд

— Тогда почему это вам «очень жаль»? — спросил Констант. — Вамто какое дело?

— Никакого, — сказал Румфорд — Это мне вас жаль.

Вы многое потеряете.

— Например? — сказал Констант.

— Скажем — самый приятный климат во всей Вселенной, для начала, — сказал Румфорд.

— Климат? — презрительно бросил Констант. — У меня дома в Голливуде, в Кашмирской долине, в Акапулько, в Манитобе, на Таити, в Париже, на Бермудских островах, в Риме, Нью-Йорке и Кейптауне, и я еще должен куда-то лететь в поисках более приятного климата?

— На Титане не только приятнейший кли-

мат, — сказал Румфорд. — Женщины, например, — самые прекрасные существа в космосе между Солнцем и Бетельгейзе.

Констант рассмеялся горьким смехом.

— Женщины! — сказал он. — Похоже, вы думаете, что мне здесь никак не добиться любви красивых женщин? — то я истосковался по любви и единственное, что мне осталось, — это забраться в ракету и вылететь на одну из лун Сатурна? Вы что, шутите? У меня были такие красавицы, что любой мужик в космосе между Солнцем и Бетелыейзе плюхнется на пол и разревется, если такая скажет ему «здрасьте!».

Он вытащил бумажник и вытянул из него фотографию своей последней любовницы. Спорить было не о чем — девушка на фотографин была сногсшибательно хороша. Это была «мисс Панамский канал» а в соревновании на звание «мисс Вселенная» она заняла второе место хотя была в сто раз красивее победительницы. Просто ее красота перепугала судей.

Констант протянул фотографию Румфорду.

— Есть такие красотки там, на Титане? — сказал он Румфорд внимательно рассмотрел фотографию, отдал ее обратно.

— Нет, — сказал он — На Титане ничего подоб-

ного нет

— 0-кей, — сказал Констант, снова чувствуя себя полновластным хозяином своей судьбы, — климат красивые женщины — что там еще?

— Больше ничего, — миролюбиво сказал Румфорд. Он пожал плечами — Произведения искусства, если вы интересуетесь искусством.

— У меня самая большая коллекция произведений искусства в мире, — сказал Констант.

Свою прославленную коллекцию произведепий искусства Констант получил в наследство. Коллекцию собрал его отец — точнее, агенты его отца. Она была разбросана по музеям всего мира, но на каждом экспонате было отмечено, что он принадлежит Коллекции Константа. Эта коллекция была приобретена и распределена таким образом по совету Управляющего внешними сношениями концерна «Магнум Опус», который был создан с единственной целью — заниматься делами Константов.

Коллекция должна была доказать, какими щедрыми и великодушными могут быть миллиардеры. Кстати, коллекция оказалась также колоссально выгодным способом помещения денег.

— Значит, об искусстве говорить нечего, — ска-

зал Румфорд.

Констант уже собирался положить фотографию «мисс Панамский канал» обратно в бумажник, как вдруг почувствовал на ощупь, что у него в руках не одна фотография, а две. Он подумал, что это фото предшественницы «мисс Панамский канал», и решил, что ее тоже можно показать Румфорду — пусть посмотрит, какую потрясную красотку — первый сорт! — он взял да и выставил за дверь.

— А вот тут еще одна, — сказал Констант, протягивая вторую фотографию Румфорду.

Румфорд пальцем не пошевельнул. Он даже не взглянул на нее. Он посмотрел прямо в глаза Константу и лукаво усмехнулся.

Констант взглянул на фотографию, к которой так пренебрежительно отнеслись. Он увидел, что это вовсе не портрет предшественницы «мисс Панамский канал». Эту фотографию Румфорд ему подсунул. Фотография была необыкновенная, хотя глянцевая и с белыми краями.

В белой рамке открывалась мерцающая глубина. Казалось, что это прямоугольное стеклянное окно, за которым лежит прозрачный, неглубокий залив с коралловым дном. На дне этого как бы кораллового залива были три женщины — белая,

золотая, темнокожая. Они глядели вверх, на Константа, моля его сойти к ним и одарить их своей любовью, сделать их совершенными.

Их красота затмевала красоту «мисс Панамский канал», как сияние Солнца — мерцание светлячка.

Константа снова опустился в кресло. Ему пришлось отвести глаза от этой красоты, чтобы не заплакать.

— Если хотите, можете оставить картинку себе, — сказал Румфорд. — Она как раз по размеру бумажника. Константа не знал, что сказать.

— Моя жена будет с вами, когда вы попадете на Титан, — сказал Румфорд, — но она не помешает, если вам захочется порезвиться с этими юными леди. Ваш сын тоже будет с вами, но проявит такую же терпимость, как Беатриса.

— Сын? — повторил Константа. Никакого сына у него не было.

— Да — славный мальчик, по имени Хроно, — сказал Румфорд.

— Хроно? — повторил Константа.

— Имя марсианское, — сказал Румфорд. — Он родится на Марсе, от вас и Беатрисы.

— Беатрисы? — повторил Константа.

— Это моя жена, — сказал Румфорд. Он сделал-

ся совсем прозрачным. И голос у него начинал дребезжать как в дешевом транзисторном приемнике.

— Все на свете летает туда-сюда, мой мальчик, — сказал он. — Одни несут послания, другие — нет. Настоящий хаос, это точно, потому что Вселенная только рождается. Великое становление — вот что производит свет, теплоту и движение и бросает вас то туда, то сюда.

— Пророчества, пророчества, пророчества, — задумчиво протянул Румфорд. — Не позабыл ли я чею-нибудь сказать? О-о-о-да, да, да. Этот ваш сын, мальчик по имени Хроно.

— Хроно подберет на Марсе маленькую металлическую полоску, — сказал Румфсрд, — и назовет ее своим талисманом. Не спускайте глаз с этого талисмана, мистер Констант. Это невероятно важно.

Уинстон Найлс Румфорд исчез постепенно, начиная с кончиков пальцев и кончая улыбкой. Улыбка держалась еще некоторое время спустя после того, как он исчез.

— Увидимся на Титане, — сказала улыбка. И растаяла в воздухе.

— Все кончено, Монкрайф? — спросила миссис Уинстон Найлс Румфорд у дворецкого, стоя на-

верху винтовой лестницы.

— Да, мэм, он от нас ушел — ответил дворецкий — И собака тоже.

— А этот мистер Констант? — спросила миссис Румфорд, Беатриса. Она притворялась тяжело больной — нетвердо стояла на ногах, щурилась и моргала, а голос у нее был еле слышный, как шелест ветра в листве На ней был длинный белый пеньюар, падавший мягкими складками, которые легли спиралью, закрученной против часовой стрелки, как и винтовая лестница. Шлейф пеньюара стекал, как водопад, с верхней ступеньки, и Беатриса как бы становилась архитектурной деталью особняка

Ее высокая прямая фигура была зрительным завершением, острием всей рассчитанной на зрителя конструкции Черты ее лица никакого значения не имели. Величественная композиция нисколько бы не пострадала, если бы у Беатрисы вместо головы было пушечное ядро.

Но у Беатрисы было лицо — интересное и необычное. Оно могло бы напомнить лицо индейского воина, с чуть выдающимися передними зубами. Но любой, кому это пришло бы в голову, поспешил бы прибавить, что от нее глаз не оторвешь. У нее, как и у Малаки Константа, было

единственное в своем роде лицо — поразительная вариация на избитую тему, — так что каждый собеседник невольно ловил себя на мысли: «Да, лицо не как у людей, а красота? Побольше бы таких!»

А Беатриса обошлась со своим лицом, по сути дела, как могла бы любая дурнушка. Она покрыла его гримом достоинства, страдания, ума, добавив пикантную черточку презрительного высокомерия.

— Да, — откликнулся снизу Констант. — Этот мистер Констант все еще здесь.

Он стоял у нее на виду, опершись на колонну под аркой, ведущей в вестибюль. Но его так заслоняли архитектурные излишества, он помещался так низко в общей композиции, что стал практически невидимым.

— О! — сказала Беатриса– Здравствуйте.

Это было очень холодное приветствие.

— Здравствуйте! — подчеркнуто любезно отозвался Констант.

— Мне остается только воззвать к вашему врожденному благородству, — сказала Беатриса, — и просить вас, как джентльмена, не распространять повсюду слухи о вашей встрече с моим мужем. Конечно, я вполне могу понять, какое это

великое искушение.

— Ну да, — сказал Констант. — я мог бы получить за рассказ об этой встрече кучу денег, выкупить закладную на домишко и стать всемирной знаменитостью. Мог бы якшаться с великими мира сего и с их охвостьем и кривляться перед коронованными особами в Европе на манер цирковой собачонки.

— Простите великодушно, — сказала Беатриса– но ваши ядовитые шуточки и блистательный сарказм до меня как-то не доходят, мистер Констант. После визитов мужа я чувствую себя совсем больной.

— Вы же с ним больше не видитесь как будто? — спросил Констант.

— Я виделась с ним в первый раз, — сказала Беатриса, — и этого достаточно, чтобы мне стало тошно до конца жизни.

— А мне он очень понравился, — сказал Констант.

— Подчас и сумасшедшие не лишены обаяния.

— Сумасшедшие? — переспросил Констант.

— Вы же знаете жизнь, мистер Констант, — сказала Беатриса. — Как можно, по-вашему, назвать человека, который изрекает путаные и в высшей степени неправдоподобные предсказания?

— Это как посмотреть, — сказал Констант. — Разве так уж безумно и неправдоподобно — сказать владельцу самого большого космического корабля, что он отправится в космос?

Эта новость — о том, что Констант владеет космическим кораблем, — поразила Беатрису. Она ее так напугала, что Беатриса отступила на шаг и нарушила непрерывность восходящей спирали, отделившись от лестницы. Этот маленький шаг назад преобразил ее, вернул ей ее истниннный облик — перепуганной, одинокой женщины в громадном доме.

— У вас и вправду есть космический корабль? — спросила она.

— Компания, которой я заправляю, держит один такой в своих руках, — сказал Констант — Про «Кита» слыхали?

— Да, — сказала Беатриса.

— Моя компания продала его правительству, — сказал Констант. — Сдается мне, что они будут счастливы, если кто-нибудь предложит им по пяти центов за доллар.

— Желаю вам счастливого пути, — сказала Беатриса.

Констант поклонился.

— А я желаю ВАМ счастливого пути, — сказал

он.

И он вышел, не прибавив ни слова. Проходя по яркому изображению Зодиака на полу вестибюля, он почувствовал, что теперь винтовая лестница струится вниз, а не возносится вверх. Констант стал самой нижней точкой в водовороте рока. Выходя из дверей, он с радостью сознавал, что тащит за собой низвергнутое величие дома Румфордов.

Раз уж было точно предсказано, что он снова встретится с Беатрисой, чтобы зачать сына по имени Хроно, Констант не собирался увиваться за ней. добиваться ее, — даже открытки с пожеланием доброго здоровья он ей посылать не собирался. Он был намерен заниматься своими делами, а эта гордячка Беатриса все равно сама к нему приползет, как простая девка.

Нацепив на себя темные очки и фальшивую бороду, он смеялся, смеялся, выходя из низенькой дверцы в стене.

Лимузин вернулся, и толпа зрителей тоже.

Полиция расчистила узкую дорожку в толпе, Констант пробрался по ней, нырнул в машину. Толпа сомкнулась, как волны Красного моря за детьми Израиля. Крики толпы сливались в один общий вопль, полный возмущения и обиды. Люди, которым ничего не обещали, не получив

ничего, чувствовали, что их бессовестно провели.

Мужчины и подростки принялись раскачивать лимузин Константа.

Шофер включил скорость, заставляя машину ползти сквозь бушующие волны живой плоти.

Какой-то лысый тип, готовый убить Константа, ударил по стеклу булочкой с запеченной котлетой внутри, раздавил булочку, расплющил котлету — на стекле осталось тусклое, тошнотворное пятно от горчицы и соуса, похожее на солнышко с лучами.

— Ай-яй-яй! — вопила хорошенькая молодая женщина, показывая Константу то, что, наверно, не показывала ни одному мужчине. Она показала ему, что передние резцы у нее вставные. Она так надрывалась, что протез выпал. Она завывала, как ведьма.

Мальчишка влез на капот, заслоняя ветровое стекло. Он выдрал дворники, швырнул их в толпу. Машина выбиралась из толпы сорок пять минут. Там, поближе к краю, уже не было психов, люди вели себя почти нормально.

И только тогда их крики стали членораздельными.

— Скажите же нам! — прокричал человек,

попросту разобиженный, но не потерявший человеческий облик.

— Мы имеем право! — крикнула женщина. Она показывала Константу двух славных детишек.

Другая женщина объяснила Константу, на что они имеют право.

— Мы имеем право знать, что происходит! — крикнула она.

Значит, весь этот тарарам-всего лишь научно-теологическое упражнение: живые люди хотят узнать хоть что-нибудь о цели и назначении жизни.

Шофер наконец увидел перед собой открытую дорогу и выжал акселератор до отказа. Машина с ревом рванулась вперед.

Мимо пронеслось огромное объявление: ВОЗЬМЕМ С СОБОЙ ПРИЯТЕЛЯ В НАШУ ЦЕРКОВЬ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ!

Глава вторая.
ЗАВЫВАНИЯ В КОСМОСЕ

"Порой мне кажется, что создавать думающую и чувствующую материю было большой ошибкой. Она вечно жалуется. Тем не менее я готов признать, что валуны, горы и луны можно упрекнуть в некоторой бесчувственности".

— Уинстон Найлс Румфорд

Лимузин с ревом вырвался из Ньюпорта, свернул на проселочную дорогу, вовремя поспел к вертолету, ожидавшему на лугу.

Малаки Констант задумал эту пересадку из машины на вертолет, чтобы никто не смог за ним угнаться, не смог разузнать, кто такой этот посетитель поместья Румфордов, замаскированный темными очками и фальшивой бородой.

Никто не знал, где находится Констант.

Шофер и пилот тоже не знали, кого везут. Оба они считали, что Констант — мистер Иона К. Раули.

— Мист-Раули, сар? — сказал шофер, когда Констант вылез из машины.

— Что? — сказал Константа.

— Вы не испугались, сар? — спросил шофер.

— Испугался? — повторил Константа, чистосердечно озадаченный вопросом. — А чего мне пугаться?

— Чего? — переспросил шофер, словно не веря своим ушам. — Да всех этих психов, которые нас линчевать хотели!

Константа улыбнулся и покачал головой. В какую бы передрягу он ни попадал, ему ни разу в голову не приходило, что он может пострадать.

— Паника еще никому не помогала, знаете ли, — сказал он. И почувствовал, что говорит, подражая не только словам Румфорда, но и певучим аристократическим переливам его голоса.

— Вот это да! У вас, наверное, есть какой-то ангел-хранительоттого-то вы и глазом не моргнули в такой заварухе! — восхищенно сказал шофер.

Это замечание показалось Константу интересным — шофер точно описал его поведение среди озверевшей толпы. Поначалу он воспринял его слова, как некое поэтическое описание своего настроения. Человек, у которого есть свой личный ангелхранитель, чувствовал бы себя точь-в-точь, как Константа…

— Да, сар! — сказал шофер. — Кто-то вас обере-

гает, это уж точно!

И тогда Константа осенило: А _ведь_так_оно_и_есть_.

До этого момента озарения Констант воспринимал свое ньюпортское приключение, как очередное видение наркомана — как привычное сборище потребителей пейотля — яркое, непривычное, увлекательное — но абсолютно ни к чему не обязывающее.

Эта низенькая дверца — словно во сне… нереальный фонтан… громадный портрет девочки-недотроги в белом, с белой, как снег, лошадкой… похожая на трубу комнатка под винтовой лестницей… фотография трех сирен Титана… пророчества Румфорда… и Беатриса Румфорд, растерянная, на верхней ступеньке лестницы…

Малаки Константа прошиб холодный пот. Колени у него грозили подломиться, а веки задергались. До него наконец дошло, что все это было на самом деле! Он ничуть не волновался в водовороте взбешенной толпы, потому что знал, что ему не суждено умереть на Земле.

Его и вправду кто-то оберегал.

И кто бы это ни был, он берег его шкуру для -

Констант только постанывал, считая на пальцах главные пункты назначения в одиссее,

которую ему предрек Румфорд.

Марс.

Потом Меркурий.

Потом снова Земля.

Потом — Титан.

Если маршрут кончался на Титане, то, наверное, там Малаки Константа и ждет смерть. Его там ждет _смерть_!

Чему это Румфорд так радовался?

***

Константа дотащился до вертолета, ввалился внутрь, заставив голенастую, неустойчивую птицу закачаться.

— Вы Раули? — спросил пилот.

— Точно, — сказал Константа.

— Имя у вас чудное, мистер Раули, — сказал пилот.

— Простите? — неприязненно бросил Константа.

Он смотрел через пластиковый купол, прикрывавший кабину, смотрел на вечернее небо. Он думал: неужели оттуда, сверху, и вправду чьи-то глаза следят за каждым его шагом? И если там наверху есть такие глаза и они хотят, чтобы он совершал какие-то поступки, посещал какие-то

места — то как они его заставят?

Боже ты мой, как там наверху холодно, как пусто!

— Я говорю, имя у вас чудное, — повторил пилот.

— Какое еще имя? — спросил Констант. Он начисто забыл дурацкое имя, которое придумал ради маскировки.

— Иона, — сказал пилот.

Через пятьдесят девять дней Уинстон Найлс Румфорд и его верный пес Казак материализовались снова. За это время многое произошло.

Во-первых, Малаки Констант продал все принадлежавшие ему акции «Галактической Космоверфи»– того концерна, который владел космическим кораблем под названием «Кит». Он это сделал нарочно — чтобы его ничто не связывало с единственным реальным средством сообщения, способным лететь на Марс. А вырученные деньги он вложил без остатка в акции табака «Лунная Дымка».

Во-вторых, Беатриса Румфорд ликвидировала все свои вклады в разнообразные бумаги и все вырученные деньги — без остатка — вложила в «Галактическую Космоверфь», тем самым добившись решающего голоса во всем, что касалось

«Кита».

Далее, Малаки Констант стал писать Беатрисе Румфорд издевательские письма, чтобы оттолкнуть ее от себя — чтобы стать для нее абсолютно и навеки отвратительным. Достаточно прочесть одно такое письмо, чтобы получить представление обо всех. Вот самое последнее, написанное на фирменном бланке корпорации «Магнум Опус», корпорации, которая занималась исключительно финансовыми делами Малаки Константа.

Привет из солнечной Калифорнии, Космическая Крошка! Ух, не

терпится мне трахнуть такую классную дамочку под парой лун на

Марсе! Таких, как ты, у меня еще не было, а я могу поспорить,

что в вас-то и есть главная сладость. С любовью и поцелуями -

для аппетита!

Мал.

Кроме того, Беатриса купила ампулу с цианистым калием — гораздо более смертельную, чем аспид Клеопатры. Беатриса была намерена проглотить ее, если когда-нибудь окажется хотя бы в пределах одного часового пояса с Малаки Константом.

Кроме того, произошел крах на бирже, который в числе других разорил и Беатрису Румфорд. Она купила акции «Галактической Космоверфи» по ценам от 151,5 до 169 долларов. К десятой перепродаже они упали до 6 и на этом замерли, дрожа на табло мелькающими цифрами десятых и сотых. А так как Беатриса покупала не только за наличные, но и в кредит, она потеряла все, в том числе и свой дом в Ньюпорте. У нее осталась только одежда, благородное имя да утонченное образование.

Далее, Малаки Констант по прибытии в Голливуд закатил вечеринку, и только теперь, на пятьдесят шестой день, она подходила к концу.

Далее, молодой человек, обросший самой натуральной бородой, по имени Мартин Корадубьян, назвался таинственным незнакомцем, которого пригласили в поместье Румфордов посмотреть на материализацию. Он был часовщиком из Бостона, ремонтировал часы на солнечных батарейках и был очень милый лгунишка.

Его россказни закупил журнал за три тысячи долларов.

Сидя в музее Скипа под винтовой лестницей, Уинстон Найлс Румфорд с удовольствием и восхищением читал рассказ Корадубьяна в журнале.

Корадубьян врал, будто Румфорд сказал ему, что произойдет в десятимиллионном году от Рождества Христова.

В десятимиллионном году, по словам Корадубьяна, произойдет грандиозная генеральная уборка. Все документы, относящиеся к периоду между смертью Христа и миллионным годом нашей эры, свалят в одну кучу и сожгут. Это придется сделать, сказал Корадубьян, потому что всякие музеи и архивы займут столько места, что людям буквально негде будет жить.

Тот период в миллион лет, к которому относилась вся спаленная ветошь, будет подытожен в учебниках истории одной-единственной фразой: «_После_кончины_Иисуса_Христа_начался_период_ _перестройки, _длившейся_примерно_один_миллион_лет_».

Уинстон Найлс Румфорд рассмеялся и отложил журнал со статьей Корадубьяна. Он больше всего на свете любил здорово закрученные розыгрыши.

— Десять миллионов от Рождества Христова, — сказал он вслух, — самый подходящий год для фейерверков, парадов и всемирных ярмарок. Самое время подкладывать порох под краеугольные камни и вытаскивать на свет божий контейнеры

с посланиями потомкам.

Румфорд вовсе не разговаривал сам с собой. В Музее Скипа он был не один.

С ним была его жена Беатриса.

Беатриса сидела напротив него в кресле с подголовником. Она сошла вниз, чтобы попросить у мужа помощи в великой беде.

Румфорд невозмутимо заговорил о другом.

Беатриса, и без того похожая на привидение в своем белом пеньюаре, стала белее свинцовых белил.

— Человек — великий оптимист! — умиленно сказал Румфорд. — Только подумай — надеется, что наш вид протянет еще десять миллионов лет, — как будто человек так же приспособлен к жизни, как черепаха! — Он пожал плечами. — Что ж — может, люди и дотянут до десятимиллионного года — из чистого упрямства. Как ты думаешь?

— Что? — сказала Беатриса.

— Угадай, сколько продержится род человеческий? — сказал Румфорд.

Из-за стиснутых зубов Беатрисы прорвался вибрирующий, пронзительный, непрерывный звук такой высоты, что человеческое ухо его почти не воспринимало. Этот стон звучал жутко, угрожаю-

ще, как свист стабилизаторов падающей бомбы.

И грянул взрыв. Беагриса опрокинула кресло, бросилась на скелет и швырнула его в угол, так что кости загремели: Она смела все начисто со стеллажей Музея Скипа, разбивая экспонаты о стены, дробя их об пол.

Румфорд был ошеломлен.

— Боже правый, — сказал он. — Что с тобой стряслось?

— Ах, ты разве не знаешь? — истерически выкрикнула Беатриса. — Тебе надо объяснять? Можешь читать мои мысли!

Румфорд прижал ладони к вискам, широко раскрыл глаза.

— Помехи и шум — больше ничего не слышу, — сказал он.

— А чему же там еще быть, кроме шума! — сказала Беатриса. — Меня вот-вот выкинут на улицу, мне хлеба купить будет не на что — а мой муж посмеивается и предлагает поиграть в угадайку!

— Да ведь это не _просто_ игра! — сказал Румфорд. — Я спрашивал, сколько протянет род человеческий. Мне казалось, что это позволит тебе взглянуть на собственные дела как бы в перспективе.

— К черту род человеческий! — сказала Беат-

риса.

— А ведь ты его частица, — сказал Румфорд.

— Тогда я попрошусь, чтобы меня перевели в обезьяны! — сказала Беатриса. — Ни один муж — обезьян не будет стоять, сложа руки, когда у его обезьянихи отнимают все кокосовые орехи. Ни один орангутан не подумает отдавать свою жену в космические наложницы Малаки Константу из Голливуда, Калифорния!

Выпалив эти ужасные слова, Беатриса вдруг успокоилась. Она устало покачала головой.

— Сколько же протянет род человеческий, мудрец?

— Не знаю, — сказал Румфорд.

— А я-то думала, ты все знаешь, — сказала Беатриса. — Загляни в будущее, чего тебе стоит.

— Я заглядываю в будущее, — сказал Румфорд, — и я вижу, что меня не будет в Солнечной системе к тому времени, когда род человеческий вымрет. Так что для меня это такая же тайна, как и для тебя.

В Голливуде, Калифорнии, голубой телефон в хрустальной телефонной будке возле плавательного бассейна Малаки Константа заливался звоном.

Всегда прискорбно, когда человек падает ниже

любого животного. Но еще более прискорбно падение человеческое, если ему были предоставлены все земные блага!

Малаки Констант спал мертвецким сном пьяницы, лежа в сточном желобе своего плавательного бассейна, изогнутого в форме почки. В стоке застоялось с четверть дюйма тепловатой воды. Констант был в вечернем костюме: зеленовато-голубые шорты и смокинг из золотой парчи. Костюм промок до нитки.

Он был совершенно один.

Когда-то бассейн скрывался под неровным ковром плавучих гардений. Но стойкий утренний бриз отогнал цветы к одному краю бассейна, как будто свернул одеяло в ногах кровати. Свернув одеяло, ветерок открыл дно бассейна, усеянное битым стеклом, вишневыми косточками, спиральками лимонной кожуры, «почками» пейотля, апельсиновыми дольками, консервированными оливками, маринованным луком. Среди мусора валялся телевизор, шприц и обломки белого рояля. Окурки сигар и сигарет — некоторые были с марихуаной — болтались на поверхности воды.

Плавательный бассейн был совсем не похож на спортивное сооружение, а смахивал на чашу для пунша в преисподней.

Одна рука Констаята свесилась в бассейн. Под водой у него на запястье поблескивали золотом часы на солнечной батарейке. Часы остановились.

Телефон не умолкал.

Констант что-то пробормотал, но не пошевелился.

Звонок умолк. А потом, через 20 секунд, снова зазвенел.

Констант застонал, сел, застонал.

Из глубины дома послышался энергичный, деловитый топоток — стук каблучков по выложенному плитками полу.

Сногсшибательная красотка с волосами цвета меди прошла от дома к телефонной будке, бросив на Константа заносчивый и презрительный взгляд

Она жевала резинку.

— Да? — сказала она в телефон. — А, это вы. Ага, проснулся. Эй! — крикнула она Константу, Голос у нее был резкий, как у галки. — Эй ты, звездный кот! — орала она.

— Ум-м? — сказал Констант

— Тут с тобой хочет говорить тип, что заправляет твоей компанией

— Какой компанией?

— Вы какой компании президент? — спросила блондинка по телефону. Ей ответили. — «Магнум Опус», — сказала она. — Рэнсом К. Фэрн из «Магнум Опуса», — сказала она.

— Скажи ему — скажи, что я позвоню попозже, — сказал Констант.

Женщина повторила это Фэрну, выслушала ответ.

— Он говорит, что уходит.

Констант, шатаясь, поднялся на ноги, потер ладонями лицо.

— Уходит? — тупо повторил он. — Старый Рэнсом К. Фэрн уходит?

— Ага, — сказала женщина. Она злорадно улыбнулась. — Он говорит, это его жалованье тебе не по карману. Он говорит, чтобы ты зашел к нему поговорить, пока он не ушел домой. — Она захохотала. — Он говорит, что ты прогорел.

А тем временем в Ньюпорте Монкрайф, дворецкий, услышал грохот и шум, поднятый разъяренной Беатрисой, и явился в Музей Скипа.

— Кликали, мэм? — спросил он.

— Скорее кричала, Монкрайф, — сказала Беатриса.

— Спасибо, ей ничего не нужно, — сказал Румфорд. — У нас просто шел горячий спор.

— Как ты смеешь говорить, нужно мне что-то или не нужно? — набросилась Беатриса на Румфорда. — Я только сейчас начинаю понимать, что ты вовсе не всезнайка, только представляешься. Вообрази, что мне что-то очень нужно. Мне _многое_ очень нужно!

— Мэм? — сказал дворецкий.

— Будьте добры, впустите Казака, — сказала Беатриса. — Мне хочется приласкать его па прощание. Мне хочется узнать, пропадает ли в хроно-синкластическом инфундибулуме любовь собаки, как пропадает любовь человеческая.

Дворецкий поклонился и вышел.

— Хорошенькую сцену ты разыграла перед дворецким, -заметил Румфорд.

— Если уж на то пошло, я сделала для чести семейства куда больше, чем ты. Румфорд сник.

— Я в чем-то не оправдал твоих надежд? Ты это хочешь сказать?

— В _чем-то_? Да буквально во _всем_!

— А чего бы ты от меня хотела?

— Ты мог бы меня предупредить, что назревает крах на бирже! — сказала Беатриса. — Ты мог бы меня спасти от беды.

Румфорд горестно развел руками, словно прикидывая размеры и весомость своих доводов в

споре.

— Ну что? — сказала Беатриса.

— Хотелось бы мне, чтобы мы с тобой вместе попали в хроносинкластический инфундибулум, — сказал Румфорд. — Ты бы сразу поняла, о чем я говорил. А пока могу только сказать, что я не предупредил тебя о биржевом крахе, повинуясь законам природы, точно так же, как комета Галлея, — и восставать против этих законов просто глупо.

— У тебя нет ни воли, ни чувства ответственности передо мной. Вот что ты сказал, — перебила Беатриса. — Извини за прямоту, но это чистая правда.

Румфорд замотал головой,

— Правда — боже ты мой, — какая точечная правда! — сказал он.

Румфорд снова углубился в свой журнал. Журнал сам собой раскрылся посередине на цветном вкладыше — это была реклама сигарет «Лунная Дымка». Компания «Табак „Лунная Дымка“» была недавно закуплена Малаки Константом.

_Бездна_наслаждений_! — бросалась в глаза надпись на рекламе. А картинка под этим заголовком изображала трех сирен Титана. Вот они, во всей красе: белая девушка, золотая девушка,

темнокожая девушка.

Золотая девушка прижала левую руку к груди, и два пальца случайно чуть раздвинулись, так что художник ухитрился сунуть в них сигарету «Лунная Дымка». Дымок от сигареты вился возле ноздрей белой и шоколадной девушек, и получалось, что их неземной, уничтожающий пространство чувственный экстаз был вызван мятным дымком — и только.

Румфорд знал, что Констант попробует опошлить картину, сделав из нее торговую рекламу. Папаша Константа устроил примерно то же самое, когда оказалось" что он не может купить «Мону Лизу» Леонардо да Винчи ни за какие деньги. Старик отомстил «Моне Лизе», изобразив ее на рекламе аптекарских свечей от геморроя. Так свободные предприниматели расправлялись с красотой, которая грозила их победить.

Румфорд произвел губами звук, напоминающий жужжание. Обычно этот звук означал, что он кого-то едва не пожалел. На этот раз он едва не пожалел Малаки Константа, которому пришлось куда хуже, чем Беатрисе.

— Это все, что ты скажешь в свою защиту? — сказала Беатриса, заходя за спинку кресла. Руки у нее были скрещены на груди, и Румфорд ясно

читал у нее в мыслях, что собственные острые, торчащие локти кажутся ей шпагами тореадора.

— Прошу прощенья -_не_понял? _– сказал Румфорд.

— Молчишь? Прячешь голову в журнал — и это все твои возражения? — сказала Беатриса.

— Возражение — самое точечное слово из всех, — сказал Румфорд. — Я говорю, потом ты мне возражаешь, потом я тебе возражаю, а потом появляется третий и возражает нам обоим. — Его пробрала дрожь. — Как в страшном сне, когда все становятся в очередь, чтобы возражать друг другу.

— Ну, а сейчас, сию минуту, ты не мог бы подсказать мне, как играть на бирже, чтобы вернуть все и даже выиграть побольше? — сказала Беатриса. — Если в тебе осталось хоть немного сочувствия, ты мог бы мне сказать, как именно Малаки Констант из Голливуда собирается меня заманить на Марс — я бы хоть попробовала его перехитрить.

— Послушай, — сказал Румфорд. — Для пунктуального — точечного — человека жизнь вроде «лабиринта ужасов». — Он обернулся и потряс руками у нее перед глазами. — Тебя ждут сплошные острые ощущения! Конечно, — сказал он, — я ви-

жу сразу весь лабиринт, по которому запустили твою тележку. И, само собой, я могу нарисовать тебе на бумажке все спуски и виражи, обозначить все скелеты, которые будут наскакивать на тебя в темных туннелях. Но это тебе ни капельки не поможет.

— Да почему же? — сказала Беатриса.

— Да потому, что тебе _все_равно_ придется прокатиться по этому лабиринту, — сказал Румфорд. — Не я придумал аттракцион, не я его владелец, и не мне назначать, кто будет кататься, а кто нет. Я просто знаю профиль трассы, и все.

— И Малаки Констант тоже входит в маршрут? — сказала Беатриса.

— Да, — сказал Румфорд.

— И его никак не объехать?

— Нет, — сказал Румфорд.

— Ладно, — тогда скажи мне хотя бы, по порядку, какие шаги приведут к нашей встрече, — сказала Беатриса. — А я уж постараюсь сделать все, что смогу.

Румфорд пожал плечами.

— Хорошо — если ты настаиваешь, — сказал он. — Если тебе от этого легче станет…

— В эту минуту, — сказал он, — президент Соединенных Штатов провозглашает Новую Кос-

мическую Эру, которая покончит с безработицей. Миллиарды долларов будут вложены в производство радиоуправляемых космических кораблей, чтобы дать людям работу. В ознаменование начала Новой Космической Эры в следующий вторник будет торжественно запущен в космос «Кит». «Кит», переименованный в «Румфорда»– в мою честь, — будет укомплектован командой из обыкновенных мартышек и направлен в сторону Марса. Вы оба — ты и Констант — будете почетными гостями. Вы войдете на борт корабля для церемонии осмотра и из-за неисправности пускового механизма отправитесь на Марс вместе с мартышками.

В этой точке стоит прервать повествование и отметить, что неправдоподобная история, которую услышала Беатриса, — редчайший пример того, как Уинстон Найлс Румфорд говорил заведомую ложь.

А вот что в рассказе Румфорда — правда: «Кит» будет действительно переименован и запущен во вторник, а президент Соединенных Штатов и _вправду_ провозгласит начало Новой Космической Эры.

Некоторые высказывания президента по этому случаю небезынтересно вспомнить, учитывая,

что президент произносил слово «прогресс» особенно щегольски, и получалось «прог-эрс». Он также придавал своеобразный шик словам «завоевания» и «мебельные гарнитуры», произнося их как «завывания» и «мебельные гарнэдуры».

— Есть еще люди, — сказал президент, — которые направо и налево кричат, что американская экономика устарела и прогнила насквозь. Честно говоря, я не пойму, как у них язык поворачивается: ведь именно сейчас перед нами открываются такие возможности для прогэрса, каких еще не знала история человечества.

И самый великий путь для прогэрса — это дорога в космос. Вселенная казалась неприступной крепостью, но американцам не к лицу отступать, когда дело касается прогэрса.

Есть еще такие люди — малодушные нытики, они каждый божий день надоедают мне, приходят в Белый дом, скулят и льют слезы, и причитают: «Ох, мистер Президент, склады забиты автомобилями и аэропланами, и кухонными и мебельными гарнэдурами, и прочей пэрдукцией», — и они говорят: «Ох, мистер Президент, теперь никому не нужна никакая фабричная пэрдукция, потому что у всех уже есть всего по два, по три, по четыре».

Помню я одного типа, он фабрикант-мебельщик, у него на фабрике перепроизводство пэрдукции и в голове тоже одни мебельные гарнэдуры. Я ему и говорю: за двадцать лет население мира удвоится, и всем этим миллиардам новых людей надо же будет на чем-то сидеть, так что мой вам совет: держите свои мебельные гарнэдуры про запас. А пока что выкиньте-ка из головы все эти гарнэдуры, лучше подумайте про наши завывания в космосе!

Я говорю это ему, и вам говорю, и всем говорю: космос может проглотить пэрдукцию триллиона таких планет, как Земля. Мы можем без конца строить и запускать ракеты и никогда не заполним космос, никогда не познаем его до конца.

Конечно, все эти нытики и паникеры обязательно захныкают: «Ох, мистер Президент, а как же хроно-синкластические инфундибулумы, а как быть с тем, как быть с этим?» А я им говорю: "Если бы народы слушали таких, как вы, человечество бы не ведало, что такое прогэрс! Не было бы ни телефона, ни прочего. А самое главной, говорю я им, и вам говорю, и всем говорю:

«Людей в ракеты сажать не обязательно! Мы будем запускать только низших животных».

Он еще много чего говорил.

Малаки Констант из Голливуда, Калифорния, вышел из хрустальной телефонной будки трезвый, как стеклышко. Ему казалось, что вместо глаз у него тлеющие головешки. Во рту был гнусный вкус, как будто он наелся пюре из попоны.

Одно он знал точно: рыжую красотку он раньше и в глаза не видал.

Он задал ей стандартный вопрос, пригодный на любой случай, когда все перевернулось вверх ногами:

— А где все остальные?

— Ты их выставил, — ответила красотка.

— Я? — сказал Констант.

— Ага, — ответила рыжая. — Ты что, забыл? Констант слабо кивнул. За пятьдесят шесть суток вечеринки он забыл практически все, начисто. У него было одно-единственное желание: лишить себя какого бы то ни было будущего — стать недостойным какой бы то ни было миссии, непригодным для какого бы то ни было путешествия. И это ему удалось — да так, что жуть брала.

— Да уж, это был чистый цирк, — сказала женщина. — Ты веселился не хуже других, даже помогал топить рояль в бассейне. А когда он утоп, ты вдруг разревелся.

— Разревелся, — как эхо, откликнулся Констант.

Это было что-то новенькое.

— Ага, — сказала женщина. — Ты сказал, что у тебя было ужасно тяжелое детство, и заставил всех слушать про это несчастное детство. Мол, твой папаша ни разу в жизни на тебя ласково не посмотрел — он вообще на тебя ни разу не смотрел. Никто почти не понимал, что ты бубнишь, а когда было поразборчивей, то все про одно — мол, ни разу не посмотрел.

— А потом ты и про мамашу заговорил, — сказала женщина. — Ты сказал, что она была потаскуха и что ты сын потаскухи и этим гордишься, если все потаскухи такие, как твоя мать. Потом ты обещал подарить нефтяную скважину любой женщине, которая подойдет, пожмет тебе руку и крикнет погромче, чтобы все слыхали: «Я потаскуха, точь-в-точь, как твоя мать».

— А дальше что? — сказал Констант.

— Ты дал по нефтяной скважине каждой женщине, которая здесь была, — сказала рыжая. — А потом ты окончательно разнюнился, и ухватился за меня, и всем говорил, что я единственный человек во всей Солнечной системе, которому ты веришь. Ты сказал, что все они только и ждут, чтобы ты заснул, чтобы сунуть тебя в ракету и выпулить на Марс. Потом ты всех выставил, кро-

ме меня. И прислугу, и гостей.

— Потом мы полетели в Мексику и поженились, а потом вернулись сюда, — сказала она. — А теперь выходит, что у тебя ни кола, ни двора — даже этот хрустальный писсуар уже не твой! Ты бы лучше сходил в свою контору и разобрался, что к чему, а то мой дружок, гангстер, с тобой разберется — скажу ему, что ты не можешь меня обеспечить, как положено, он тебе шею свернет.

— Черт подери, — сказала она. — У меня детство было похуже твоего. Мать моя была потаскуха, и отец дома тоже не бывал — но мы-то были еще и _нищие_, У тебя хоть были твои миллиарды.

Беатриса в Ньюпорте повернулась спиной к своему мужу. Она стояла на пороге Музея Скипа, лицом к коридору. С дальнего конца коридора доносился голос дворецкого. Двбрецкий стоял у входной двери и звал Казака, космического пса.

— Я тоже кое-что знаю про «лабиринты ужасов», — сказала Беатриса.

— Очень хорошо, — устало сказал Румфорд.

— Когда мне было десять лет, — сказала Беатриса, — моему отцу взбрело в голову, что я получу громадное удовольствие, если прокачусь по «лабиринту ужасов». Мы проводили лето на мысе Код, и он повез меня в парк развлечений за

Фолл-Ривер.

— Он купил два билета на «лабиринт ужасов». Он сам хотел прокатиться со мной.

— А я как увидела эту дурацкую, грязную, ненадежную тележку, так просто наотрез отказалась в нее садиться. Мой родной отец не сумел меня заставить в нее сесть, — сказала Беатриса, — хотя он был председателем Правления Центральной Нью-Йоркской железной дороги!

— Мы повернулись и ушли домой, — гордо заявила Беатриса. Глаза У нее разгорелись, и она высоко подняла голову.

— Вот как надо отделываться от катанья по разным лабиринтам, — сказала она.

Она выплыла из Музея Скипа и прошествовала в гостиную, чтобы там подождать Казака.

В ту же секунду она почувствовала — по электрическому току, — что муж стоит у нее за спиной.

— Би, — сказал он. — Тебе кажется, что я не сочувствую тебе в беде, но ведь это только потому, что я знаю, как хорошо все кончится. Тебе кажется, что я бесчувственный, раз так спокойно говорю о твоем спаривании с Константом, но ведь я только смиренно признаю, что он будет лучшим мужем, чем я был или могу быть.

— Жди и надейся — у тебя впереди настоящая любовь, первая любовь, Би, — сказал Румфорд. — Тебе представится возможность быть благородной, не имея ни малейшего доказательства твоего благородного происхождения. Знай, что у тебя все отнимется, кроме достоинства, разума и нежности, которые дал тебе Бог, — и радуйся, что тебе предстоит _только_ из этого материала создать нечто совершенное и прекрасное.

Румфорд издал дребезжащий стон. Он начинал терять материальность.

— Господи, — сказал он. — Ты еще говоришь про «лабиринты ужасов». Вспоминай хоть изредка, на какой тележке я качусь. Когда-нибудь, на Титане, ты поймешь, как жестоко со мной обошлись и ради каких ничтожных пустяков.

Казак одним прыжком ворвался в дом, брыли у него мотались. Он приземлился, заскользил по натертому паркету.

Он перебирал лапами на одном месте, стараясь повернуть под прямым углом, подбежать к Беатрисе. Он бежал все быстрей и быстрей, но лапы скользили на месте.

Он сделался прозрачным.

Он начал съеживаться, шипеть и испаряться с диковинным звуком, как мячик для пинг-понга

на раскаленной сковородке.

Потом он исчез.

Собаки больше не было.

Беатриса знала, не оглядываясь, что ее муж тоже исчез.

— Казак! — позвала она жалким голосом. Она щелкнула пальцами, словно подзывая собаку. Пальцы у нее так ослабели, что щелчка не получилось.

— Славный ты песик, — прошептала она.

Глава третья.
ПРЕДПОЧИТАЮ ОБЪЕДИНЕННУЮ КОМПАНИЮ «ПЫШКИ-ПОНЧИКИ»

"Сынок-говорят, что в нашей стране нет никаких королей, но, если хочешь, я тебе скажу, как стать королем в Соединенных Штатах Америки. Проваливаешься в дырку в уборной и вылезаешь, благоухая, как роза. Вот и все".

— Ноэль Констант

«Магнум Опус»– корпорация в ЛосАнджелесе, занимавшаяся финансовыми делами Малаки Константа, — была основана отцом Малаки. Она помещалась в небоскребе, имевшем тридцать один этаж. «Магнум Опус», будучи владельцем всего небоскреба, занимала только три верхних этажа, а остальные сдавала в аренду корпорациям, находившимся под ее контролем.

Некоторые компании, недавно проданные корпорацией «Магнум Опус», выезжали. Другие, только что купленные, въезжали на их место.

Среди арендующих компаний были «Галактическая Космоверфь», «Табак „Лунная Дым-

ка“», «Фанданго-Нефть», «Монорельс Леннокс», «Гриль „Момент“», Фармацевтическая компания «Здоровая юность», серный концерн «Льюис и Марвин», «Электроника Дюпре», «Всемирный Пьезоэлектрик», «Телекинез (Нелимитированный)», «Ассоциация Эда Мьюра», «Инструменты Макс-Мор», «Краски и Лакокрасочные Покрытия Уилкинсона», «Американская Левитация», «Рубашки „Счастливый король“», «Союз Крайнего Безразличия» и «Калифорнийская компания по страхованию жизни».

Небоскреб «Магнум Опус» представлял собой двенадцатиугольную стройную колонну, по всем двенадцати граням облицованную голубовато-зеленым стеклом, ближе к основанию приобретавшим розоватый оттенок. По утверждению архитектора, двенадцать граней должны были представлять двенадцать великих религий мира. До сих пор никто не просил архитектора их перечислить.

И слава богу, потому что он не смог бы этого сделать.

На самой верхушке примостился личный вертолет.

Констант прилетел на вертолете, и тень, снижающаяся на крышу в трепетном ореоле враща-

ющегося винта, многим снизу показалась тенью и ореолом крыл Светоносного Ангела Смерти. Им это показалось, потому что биржа прогорела, и ни денег, ни работы взять было неоткуда.

Им это показалось еще и потому, что из всех прогоревших предприятий самый страшный крах постиг предприятия Малаки Константа.

Константа сам вел свой вертолет, потому что вся прислуга ушла накануне вечером. Пилотировал Константа из рук вон плохо. Он приземлился так резко, что дрожь от удара потрясла все здание.

Он прибыл на совещание с Рэнсомом К. Фэрном, президентом «Магнум Опуса».

Фэрн ждал Константа на тридцать первом этаже в единственной громадной комнате, которая служила Константу офисом.

Офис был обставлен призрачной мебелью — без ножек. Все предметы поддерживались на нужной высоте при помощи магнитного поля. Вместо столов, конторки, бара и дивана были просто парящие в воздухе плоские плиты. Кресла были похожи на готовые опрокинуться плавающие чаши. А самое жуткое впечатление производили висящие в воздухе где попало карандаши и блокноты, так что всякий, кому пришла бы в голову мысль, достойная записи, мог выловить блокнот

прямо из воздуха.

Ковер был травянисто-зеленый — по той простой причине, что он и был травяной — настоящая травка, густая, как на площадке для гольфа.

Малаки Констант спустился с крыши в офис на своем личном лифте. Когда дверь лифта с мягким шорохом растворилась, Константа поразил мебель без ножек и парящие в воздухе карандаши и блокноты. Он не был у себя в офисе восемь недель. Кто-то успел сменить всю обстановку.

Рэнсом К. Фэрн, престарелый президент «Магнум Опуса», стоял возле зеркального окна от пола до потолка, откуда открывался вид на город. На нем была фетровая шляпа и старомодное черное пальто. Свою бамбуковую тросточку он держал наизготовку. Он казался невероятно тощим — впрочем, тощим он был всегда. «Задница — что пара дробин, — говаривал отец Малаки, Ноэль. — Рэнсом К. Фэрн смахивает на верблюда, который уже переварил оба своих горба, а теперь переваривает и остальное, кроме волос и глаз».

Согласно данным, опубликованным налогово-финансовым управлением, Фэрн был самым высокооплачиваемым служащим в стране. Он получал жалованье миллион долларов в год чистыми — да плюс к тому премиальные и про-

житочные.

Он поступил в «Магнум Опус», когда ему был двадцать один год. Теперь ему было шестьдесят.

— Кто… кто-то сменил всю мебель, — сказал Констант.

— Да, — сказал Фэрн, не отрывая взгляда от города за окном, — кто-то ее сменил.

— Вы? — спросил Констант.

Фэрн фыркнул носом. С ответом он не торопился.

— Я решил, что пора проявить внимание к нашей собственной продукции.

— Я … я в жизни ничего подобного не видел, — сказал Констант. — Никаких ножек — все плавает в воздухе.

— Магниты — если хотите знать, — сказал Фэрн.

— Признаться — признаться, выглядит это здорово, когда попривыкнешь, — сказал Констант. — А что, их делает какая-нибудь из наших компаний?

— "Американская Левитация", — сказал Фэрн. — Вы велели ее купить, и мы ее купили.

Рэнсом К. Фэрн отвернулся от окна. У него на лице непостижимым образом уживались черты юности и старости. Лицо не сохранило никаких

следов постепенного старения, никакого намека на то, что этому человеку было когда-то тридцать, сорок или пятьдесят. Оно сохранило лишь черты подростка и приметы шестидесятилетнего старика. Словно бы на семнадцатилетнего юнца налетел какой-то горячий вихрь и мгновенно обесцветил, засушил его.

Фэрн прочитывал по две книги в день. Говорят, что Аристотель был последним человеком, который знал современную ему культуру в полном объеме. Рэнсом К. Фэрн всерьез попытался сравняться с Аристотелем. Правда, ему было далеко до Аристотеля в умении открывать взаимосвязи и законы в том, что он знал.

Интеллектуальная гора родила философскую мышь — скорее, мышонка-недоноска. Вот как Фэрн излагал свою философию в самых простых, житейских понятиях:

— Подходите вы к человеку и спрашиваете: «Как делишки, Джо?» А он отвечает: «Прекрасно, прекрасно — лучше некуда». А вы глядите ему в глаза и смекаете, что хуже некуда. Если докопаться до самой сути, то все живут черт знает как, все до одного, поняли? А подлость в том, что ничего с этим не поделаешь.

Эта философия его не огорчала. Она не нагоняла

на него тоску.

Он сделался бессердечным и всегда был начеку.

А в делах это было очень полезно — Фэрн автоматически исходил из того, что другой только хорохорится, а на самом деле просто слабак и жизнь ему не мила.

Случалось, что люди с крепкими нервами усмехались, слушая его «реплики в сторону».

Его положение-работа на Ноэля "Константа, а потом на Малаки, — вполне располагало к горькой иронии — потому что он был выше, чем Констант-pere и Констант-fils, во всех отношениях, кроме одного, но это единственное и было поистине решающим. Оба Константа — невежественные, вульгарные, беспардонные — были счастливчиками, им сказочно, неимоверно везло.

По крайней мере, до сих пор.

Малаки Констант все еще никак не мог осознать, что счастье изменило ему — окончательно и бесповоротно. Ему еще предстояло это осознать, несмотря на то, что Фэрн по телефону сообщил ему жуткие новости.

— Ишь ты, — сказал Констант с видом знатока, — чем больше смотрю на эту мебель, тем

больше она мне нравится. Эти штуки расхватают, как горячие пирожки.

Слушать, как Малаки Констант-миллиардер — говорит о бизнесе, было жалостно и противно. То же было и с его отцом. Старый Ноэль Констант ровным счетом ничего не смыслил в делах, как и его сынок, и скромное обаяние, которым их одарила природа, бесследно испарялась в ту секунду, когда они пытались сделать вид, что разбираются в делах лучше, чем свинья в апельсинах.

Когда миллиардер хочет казаться оптимистом, напористым и изворотливым дельцом, в этом есть что-то непристойное.

— Если хотите знать мое мнение, — сказал Констант, — это самое надежное помещение капитала — компания, выпускающая такую вот мебель.

— Я бы лично предпочел «Пышки-пончики», — сказал Фэрн. Это была его излюбленная шутка: «Предпочитаю объединенную компанию „Пышки-пончики“». Когда к нему кто-нибудь цеплялся, как репей, умоляя посоветовать, куда бы вложить деньги, чтобы за шесть недель получить сто на сто, он серьезно рекомендовал им эту вымышленную компанию. И кое-кто даже пытался следовать его совету

— Усидеть на кушетке «Американской Левитации» потруднее, чем устоять в пироге из березовой коры, — сухо заметил Фэрн. — А если вы с маху сядете в так называемое кресло, оно вас катапультирует, как камень из пращи. Присядьте на край письменного стола, и он закружит вас в воздухе, как одного из братьев Райт в Китти Хоук*.

/* Китти Хоук — местность в Северной Каролине, где в 1903 г. братья Райт совершили первый полет на аэроплане. /

Констант осторожно дотронулся до письменного стола. Тот нервно затрепетал.

— Ну что ж, просто мебель нуждается в кое-каких доделках, — сказал Констант.

— Золотые слова, — сказал Фэрн.

И тут Констант попытался оправдаться — впервые в жизни.

— Может же человек хоть иногда ошибиться, — сказал он.

— Хоть иногда? — повторил Фэрн, поднимая брови. — Три месяца кряду вы только и делали, что ошибались, и вы добились, я бы сказал, невозможного. Вам удалось уничтожить плоды более чем сорокалетнего вдохновенного предвидения и много больше того.

Рэнсом К. Фэрн взял висевший в воздухе карандаш и сломал его пополам.

— "Магнум Опус" больше не существует. Мы с вами — последние люди в этом здании. Все остальные получили расчет и разошлись по домам.

Он поклонился и пошел к двери.

— Все звонки с коммутатора будут поступать непосредственно сюда. Когда будете уходить, мистер Констант, сэр, не забудьте выключить свет и запереть за собой дверь.

Думается, именно теперь будет уместно рассказать историю концерна «Магнум Опус».

Идея создания «Магнум Опуса» пришла в голову янкикоммивояжеру, торговавшему кухонной посудой с медным дном. Янки этот был Ноэль Констант, уроженец Нью-Бедфорда, штат Массачусетс. Это был отец Малаки.

Отцом Ноэля, в свою очередь, был Сильванус Констант, наладчик ткацких станков на Нью-Бедфордской фабрике Наттауинского филиала Большой государственной компании по выпуску шерстяных тканей. Он был анархистом, но ни с кем, кроме собственной жены, никогда не ссорился.

Семейство происходило по побочной линии от

Бенжамена Константа, который был трибуном при Наполеоне с 1799 по 1801 год и любовником Анны Луизы Жермены Неккер, баронессы де СтальГольштинской, жены тогдашнего шведского посланника во Франции.

Как бы то ни было, как-то ночью в Лос-Анджелесе Ноэль Констант решил заняться биржевыми спекуляциями. Ему было тридцать девять, он был одиноким, физически и духовно непривлекательным неудачником.

Мысль заняться биржевыми спекуляциями пришла ему в голову, когда он сидел один-одинешенек на узкой кровати в номере 223 отеля «Уилбурхэмптон».

Мощнейшая корпорация, когда-либо принадлежавшая одному человеку, родилась в самой убогой обстановке. В номере 223 отеля «Уилбурхэмптон» площадью одиннадцать на восемь футов не было ни телефона, ни письменного стола.

А были там кровать, комод с тремя ящиками, старые газеты, закрывавшие дно ящиков, и Гедеоновская бесплатная Библия в нижнем ящике. На газетной странице, постланной в среднем ящике, оказались сведения о биржевых операциях четырнадцатилетней давности.

Есть такая загадка. Человека заперли в комнате,

где есть только ореховый комод и электропровода. Вопрос: как ему не умереть от голода и жажды?

Ответ: пусть ест орехи и запивает водой.

Это все очень похоже на историю зарождения «Магнум Опуса». Материалы, из которых Ноэль Констант сотворил свое громадное состояние, были едва ли более питательными сами по себе, чем орехи из орехового комода и вода из электропроводов.

«Магнум Опус» был создан при помощи пера, чековой книжки, нескольких почтовых конвертов для чеков, Гедеоновской Библии и банковского счета, на котором было восемь тысяч двести двенадцать долларов.

В банке хранилась доля Ноэля Константа, полученная в наследство от отца-анархиста. В основном она состояла из государственных облигаций.

У Ноэля Константа был план распределения капиталовложений. План был проще простого. Своим оракулом в финансовых операциях Ноэль Констант избрал Библию.

Те, кто анализировал систему капиталовложений Ноэля Константа, утверждали, что он либо гений, либо владелец изумительной сети про-

мышленного шпионажа.

Он неукоснительно предвидел самые блестящие биржевые успехи, обычно за несколько дней или часов до того, как начинался очередной бум.

За двенадцать месяцев, почти безвыходно сидя в номере 223 отеля «Уилбурхэмптон», он увеличил свое состояние до миллиона с четвертью.

Ноэль Констант достиг этого, не нуждаясь ни в гениальности, ни в шпионах.

Его система была проста до идиотизма, но некоторые люди никак не поймут, сколько им ни толкуй. Это те люди, которым ради мира душевного необходимо верить, что неслыханного богатства можно добиться только неслыханной хитростью.

Вот в чем заключалась система Ноэля Константа:

Он взял Гедеоновскую Библию, находившуюся в его номере, и начал с первой фразы Книги Бытия.

Первая фраза в Книге Бытия, как вы, может быть, знаете, звучит так: «В начале сотворил Бог небо и землю». Ноэль Констант записал всю фразу заглавными буквами, ставя точку после каждой буквы, а затем разделил все буквы на пары, и вот что получилось: «В. Н., А.Ч., А.Л., Е.С, О.Т., В.О., Р.И.,

Л.Б., О.Г., Н.Е., Б. 0., И.З., Е.М, Л.Ю.»

Потом он выискал корпорации, начинавшиеся с этих букв, и скупил их акции. Поначалу он взял себе за правило владеть акциями только одной корпорации, вкладывать в нее все свои средства и сбывать акции с рук, как только их стоимость удвоится.

Первой такой корпорацией был «Всемирный Нитрат». Затем последовали «Австралийский Чай», «Американская Левитация», «Единый Скотопромышленник», «Оптовая Торговля», «ВОАП „Океан“», «Рационализатор — Изобретатель» и «Лактоидные Бактерии».

На следующие двенадцать месяцев он запланировал «Огден Геликоптерз», «Нефть — Европе», «Багамский Октаэдр», «Интернациональный Зодиак», «Ежедневный Монитор» и «Литиум Юнайтед».

Наконец, он купил уже не часть акций «Огден Геликоптерз», а всю компанию целиком.

Не прошло и двух дней, как эта компания заключила долгосрочный контракт с правительством на производство межконтинентальных баллистических ракет, и уже один этот контракт взвинтил цену пакета акций компании до пятидесяти девяти миллионов долларов. Ноэль

Констант закупил все акции за двадцать два миллиона.

Единственное руководящее указание, которое он дал как владелец этой компании, было написано на открытке с видом отеля «Уилбурхэмптон». Открытка была адресована президенту компании, и ему предлагалось изменить название на «Галактическую Космоверфь, инкорпорейтед»– компания давно оставила позади и Огденов, и геликоптеры.

Как ни маловажно было это ценное указание, оно все же имело определенное значение — как свидетельство того, что Констант проявлял интерес к своей собственности. И хотя его капитал, вложенный в эту компанию, более чем удвоился, он все акции не продал. Он продал только сорок девять процентов.

С тех пор он, продолжая следовать указаниям Гедеоновской Библии, оставлял за собой крупные пакеты акций тех фирм, которые ему нравились.

В первые годы жительства Ноэля Константа в номере 223 отеля «Уилбурхэмптон» его посещал только один человек. Этот человек не знал, что он — богач. Этим единственным посетителем была горничная, которую звали Флоренс Уайтхилл, и она проводила с ним каждую десятую ночь за

скромное вознаграждение наличными.

Флоренс, как и все в отеле «Уилбурхэмтон», верила, что он торгует почтовыми марками — он ей сам так говорил. Личная гигиена не была сильной стороной Ноэля Константа. Было легко поверить, что он постоянно возится с гуммиарабиком.

О его богатстве знали только чиновники налогово-финансового управления и служащие авторитетной фирмы Клау и Хигинс.

Но через два года в номер Ноэля Константа вошел второй посетитель.

Это был худощавый и энергичный юноша двадцати двух лет. Он сразу заинтересовал Ноэля Константа, объявив, что он из Государственного налогового управления Соединенных Штатов.

Констант пригласил молодого человека в свой номер, жестом предложил ему сесть на кровать. Сам он остался стоять.

— Послали ко мне молокососа, а? сказал Ноэль Констант.

Гость нисколько не обиделся. Он обратил насмешку в свою пользу, построив на обидном слове такой образ себя самого, что и впрямь мороз подирал по коже.

— У молокососа сердце из камня и ум, изворотливый, как мангуст, мистер Констант, — сказал

он. — Кроме того, я окончил экономический факультет Гарвардского университета.

— Может, и так, — сказал Ноэль Констант. — Да только мне вы ничем не повредите. Я не должен государству ни гроша.

Неоперившийся юнец кивнул.

— Знаю, — сказал он. — Я все проверил — у вас комар носу не подточит.

Молодой человек оглядел комнату. Убожество обстановки его не удивило. Он достаточно знал жизнь и ожидал чего-то противоестественного.

— Я занимался вашими подоходными налогами последние два года, — сказал он. — и, по моим расчетам, вы самый везучий человек в истории человечества.

— Везучий? — сказал Ноэль Констант.

— Я так считаю, — сказал юный посетитель. — А вы не находите, что это так? К примеру — что производит «ВОАП „Океан“»?

— "ВОАП «Океан»"? — как попугай, повторил Ноэль Констант.

— Вы владели тридцатью тремя процентами акций в течение двух месяцев, — сказал юный посетитель.

— Ну, добывает рыбу, китов, морскую капусту, — сказал Ноэль Констант скрипучим

голосом. — Разные там «дары моря».

Молодой посетитель улыбнулся, и морщинки у него под носом образовали как бы кошачьи усы.

— Для вашего сведения, — сказал он, — сообщаю, что «ВОАП „Океан“»– кодовое название, которым правительство во время последней войны обозначило сверхсекретный военно-акустический проект, разрабатывающий подводные прослушивающие устройства. После войны предприятие перешло в частные руки, но название не изменилось — так как этот проект до сих пор является сверхсекретным, а единственный клиент компании — правительство.

— А не могли бы вы мне сказать, — спросил юный посетитель, — что вы знаете о компании «Рационализатор-Изобретатель», коль скоро вы вложили в нее крупные средства? Может, вы думали, — что они производят игрушечные конструкторы для ребятишек?

— Я обязан отвечать на вопросы налогово-финансового управления? — спросил Ноэль Констант. — Обязан рассказать про каждую из принадлежащих мне компаний все как на духу, а то у меня отберут все деньги?

— Я просто полюбопытствовал, — сказал юный гость. — Насколько я понял по вашему ответу, вы

не имеете ни малейшего представления о том, что производит компания «РационализаторИзобретатель». К вашему сведению, она ничего не производит, но держит в руках ряд важнейших патентов на станки для реставрации автопокрышек.

— А не перейти ли нам к делам налогово-финансового управления? — оборвал его Ноэль Констант.

— А я в управлении больше не служу, — сказал юный гость. — Сегодня утром я отказался от места, где мне платили по сто четырнадцать долларов в неделю, и собираюсь работать на новом месте за две тысячи долларов в неделю.

— На кого это вы собираетесь работать? — спросил Ноэль Констант.

— На вас, — ответил юнец. Он встал, протянул руку. — Зовут меня Рэнсом К. Фэрн, — добавил он.

— У меня в Гарварде был профессор, — поведал Рэнсом К. Фэрн Ноэлю Константу, — который все твердил, что я — ловкий малый, только если я хочу разбогатеть, мне придется _найти_нужного_ _человека_. И не желал больше ничего объяснять. Говорил, что рано или поздно я сам соображу. Я его спросил, как мне искать своего нужного

человека, и он посоветовал поработать с годик в налогово-финансовом управлении. Когда я проверял ваши налоговые декларации, мистер Констант, до меня внезапно дошло, что он имел в виду. Да, ума и дотошности мне не занимать, а вот удачливостью хвастаться не приходилось. Мне надо было найти человека, которому сказочно везет, счастливчика, — и я его нашел.

— А с чего это я стану платить вам по две тыщи долларов в неделю? — сказал Ноэль Констант. — Вот тут перед вами вся моя контора и весь мой штат, а чего я достиг, вы сами знаете.

— Конечно, — сказал Фэрн, — но я-то могу вам показать, как можно было сделать двести миллионов там, где вы сделали только пятьдесят девять. Вы абсолютно ничего не смыслите в корпоративных законах и налоговых законах — да и о простых правилах бизнеса вы понятия не имеете.

Далее Фэрн окончательно убедил в этом Ноэля Константа, отца Малаки, и развернул перед ним план корпорации под названием «Магнум Опус». Это был чудодейственный механизм, при помощи которого можно было нарушить тысячи законов, оставляя в неприкосновенности букву каждого закона, вплоть до мелкого городского

указа.

Ноэль Констант был так поражен этим величественным зданием лицемерия и жульничества, что решил вложить в него деньги, даже не справляясь со своей Библией.

— Мистер Констант, сэр, — сказал юный Фэрн. — Неужели вы не понимаете: «Магнум Опус»– это вы, вы будете председателем совета директоров, а я — президентом концерна.

— Мистер Констант, — сказал он, — в настоящей момент вы весь на виду у федерального налогово-финансового управления, как торговец яблоками и грушами на людном перекрестке А геперь представьте себе, как им трудно будет до вас добраться, если вы битком набьете целый небоскреб разными промышленными бюрократами-чиновниками, которые теряют нужные бумаги и заполняют не те бланки, потом сочиняют новые бланки и требуют представлять все в пяти экземплярах, которые понимают не больше трети того, что им говорят; чиновниками, которые привыкли давать путаные ответы, чтобы выиграть время и сообразить, что к чему, которые принимают решения, только если их припрут к стенке, а потом заметают следы; они вечно делают ошибки в сложении и вычитании, созывают

собрания, когда им станет скучно, строчат циркуляры, как только их о чемто попросят; эти люди никогда ничего не выбрасывают, разве что под угрозой увольнения. Одинединственный достаточно деятельный и опасливый промышленный бюрократ способен произвести за год тонну бессмысленных бумаг, которые федеральному налогово-финансовому управлению придется разбирать. А в нашем небоскребе «Магнум Опус» таких типов будут тысячи! Мы с вами займем два верхних этажа, и оттуда вы сможете следить за делами точно так же, как и теперь.

Он обвел взглядом комнату.

— Кстати, как вы ведете учет — записываете обгорелой спичкой на полях телефонного справочника?

— Все держу в голове, — сказал Ноэлъ Колстант.

— И еще одно преимущество, на которое я хочу обратить ваше внимание, — сказал Фэрн. — В один прекрасный день ваше счастье вам изменит. Вот тогда вам и понадобится самый расторопный, самый изворотливый распорядитель, которого только можно нанять за деньги, — иначе вы опять очутитесь среди своих кастрюль и сковородок.

— Я вас нанимаю, — сказал Ноэль Констант, отец Малаки.

— Идет — а где будем строить наш небоскреб? — сказал Фэрн.

— Мне принадлежит этот отель, а отелю принадлежит участок на той стороне улицы. — сказал Ноэль Констант. — Стройте на той стороне.

Он поднял указательный палец, скрюченный, как заводная ручка для автомобиля.

— Только вот что…

— Слушаю, сэр? — отозвался Фэрн.

— Я туда не поеду, — сказал Ноэль Констант. — Я остаюсь здесь.

Тот, кто хочет узнать подробности истории концерна «Магнум Опус», может пойти в ближайшую библиотеку и взять там или романтическую книгу Лавинии Уотерс «Не сбылся ли сказочный сон?», или более жесткую версию Кроутера Гомбурга «Первобытный панцирь».

В книжечке мисс Уотерс, которой абсолютно нельзя верить во всем, что касается бизнеса, вы найдете более подробный рассказ о том, как горничная, Флоренс Уайтхилл, обнаружила, что беременна от Ноэля Константа, а потом узнала, что Ноэль Констант-мультимиллионер.

Ноэль Констант женился на горничной, пода-

рил ей особняк и банковский счет на миллион долларов. Он сказал ей, что если родится мальчик, пусть назовет его Малаки, а если девочка — Прюденс. Он вежливо попросил ее навещать его, как и раньше, раз в десять дней, но младенца с собой не приносить

В книге Гомбурга детали бизнеса изложены безукоризненно, но она много теряет из-за того, что Гомбург построил свое исследование на одной идее — а именно, что «Магнум Опус»порождение «комплекса безлюбовности». Но в подтексте книги Гомбурга все яснее читается и то, что его никто никогда, не пробил и сам он был не способен кого-то полюбить.

Кстати, ни мисс Уотерс, ни Гомбург не сумели докопаться до метода, которым руководствовался в делах Ноэль Констант. Даже Рэнсом К. Фэрн его не разгадал, как ни бился

Ноэль Констант открыл тайну только одному челозеку — своему сыну Малаки Константу, в двадцать первый день рождения Малаки. День рождения отмечали в номере 223 отеля «Уилбурхэмптон». Отец и сын увиделись на этот день впервые.

Малаки пришел в гости к Ноэлю по приглашению.

Но таков уж человек по своей природе, что на юного Малаки Константа гораздо более глубокое впечатление произвел один предмет в комнате, а не то, что он узнал, как делать миллионы — нет, миллиарды — долларов.

Тайна накопления денег была настолько проста, что не требовала большого внимания. Самое сложное в ней было в том ритуале, который должен был соблюсти Малаки Констант, подхватывая факел «Магнум Опуса», который Ноэль после стольких лет выпускал из рук. Юный Малаки должен был попросить у Рэнсома К. Фэрна список фирм, в которые были сделаны капиталовложения. Читая его, как акростих, юный Малаки должен был узнать, до какого именно места в Библии дошел сам Ноэль и с какого места он должен вачать.

Внимание Малаки приковал к себе один-единственный предмет в номере 223 — висевшая на стене фотография. На ней он увидел себя самого в возрасте трех лет прелестного, милого, задорного малыша на песочке у моря.

Фотография была прикноплена к стене.

Других фотографий в комнате не было.

Старый Ноэль, заметив, что юный Малаки глядит на фотографию, страшно сконфузился и

смутился — очень уж сложно было ему вникнуть в отношения между отцами и сыновьями. Он лихорадочно искал в своей душе какие-нибудь добрые слова, подходящие к случаю, и почти ничего не нашел.

— Мой отец дал мне всего два совета, — сказал он. — А испытание временем выдержал только один. Вот они: «Не трогай основной капитал» и «Не держи спиртное в спальне».

Но тут он окончательно пришел в замешательство, и больше вынести он не мог.

— Прощай! — внезапно выпалил он.

— Прощай? — потрясенный, повторил юный Малаки. Он пошел к двери.

— Не держи спиртное в спальне, — сказал старик и повернулся к нему спиной.

— Не буду, сэр, — сказал юный Малаки. — Прощайте, сэр, — сказал он и вышел.

Это было первое и последнее свидание Малаки Константа с отцом.

Его отец прожил еще пять лет, и Библия ни разу его не подвела.

Ноэль Констант умер, добравшись до конца фразы:

«И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило мень-

шее, для управления ночью, и звезды».

Его последние капиталовложения были сделаны в фирму «Золотой Динозавр», из расчета 17 1/4.

Сын начал с того места, где остановился отец, хотя в номер 223 отеля «Уилбурхэмптон» переезжать не стал.

Целых пять лет сыну так же сказочно везло, как и отцу.

И вот, в одночасье, «Магнум Опус» рассыпался в прах.

Стоя в своем офисе с ковром из натуральной травы и парящей в воздухе мебелью, Малаки Констант никак не мог поверить, что счастье ему изменило.

— Ничего не осталось? — слабым голосом сказал он. Он насильственно улыбнулся Рэдсому К. Фэрну. — Ладно, бросьте шутить — я же знаю, что хоть немного должно остаться.

— Я сам так думал — еще в десять утра, — сказал Фэрн. — Я поздравил себя с тем, что сумел обезопасить «Магнум Опус» от всех — мыслимых подвохов. Мы вполне благополучно справлялись с депрессией — и с вашими ошибками тоже.

— Но в десять пятнадцать ко мне зашел юрист, который, судя по всему, был на вашей вчерашней

вечеринке. Насколько я понял, вы в этот вечер раздавали нефтяные промыслы, и юрист был настолько предупредителен, что оформил соответствующие документы, которым ваша подпись придала бы законную силу. Вы их подписали. Вчера вечером вы раздали пятьсот тридцать одну нефтяную скважину, прикончив компанию «Нефть-Европе».

— В одиннадцать, — продолжал Фэрн, — президент Соединенных Штатов объявил, что «Галактическая Космоверфь», которую мы продали, получает контракт стоимостью в три миллиарда для Новой Космической Эры.

— В одиннадцать тридцать, — сказал Фэрн, — мне принесли номер Журнала американской ассоциации медиков, на котором стоял гриф для нашего заведующего рекламой — КВС. Эти три буквы, как вы догадались бы, если бы хоть изредка бывали в своем офисе, означают «к вашему сведению». Я раскрыл журнал на отмеченной странице и получил, к своему сведению, вот какую информацию: табак «Лунная Дымка» не просто _одна_из_, а _главная_ причина бесплодия у лиц обоего пола повсеместно, где продавались сигареты «Лунная Дымка». И этот факт открыли не люди, а компьютер. Каждый раз, как в маши-

ну закладывали данные о курении сигарет, она приходила в ужасное возбуждение и никто не понимал, почему. Машина явно старалась что-то сообщить операторам. Она выдумывала все что могла, чтобы ей дали высказаться, и в конце концов заставила операторов задать ей нужный вопрос. Она добивалась, чтобы ее спросили, как связаны сигареты «Лунная Дымка» с размножением рода человеческого. А связь была такая:

— Люди, курящие сигареты «Лунная Дымка», не могут иметь детей, даже если страстно этого хотят, — сказал Фэрн

— Конечно, — сказал Фэрн, — некоторые сутенеры и веселые девицы из Нью-Йорка даже рады этому освобождению от законов биологии. Но по мнению ныне распущенного Юридического кабинета «Магнум Опус», в Стране несколько миллионов лиц, которые могут вчинить нам иск, и вполне законный, — на основании того, что сигареты «Лунная Дымка» отняли у них нечто чрезвычайно ценное. Ничего не скажешь, бездна наслаждения?

— В нашей стране примерно десять миллионов бывших потребителей «Лунной Дымки», — сказал Фэрн, — и все до одного бесплодны. Если хотя бы один из десяти подаст на вас в суд за нанесение

ущерба, не исчислимого и не имеющего денежного эквивалента, и потребует возмещения убытков в скромном размерепять тысяч долларов — нам предъявят счет на пять миллиардов, не считая судебных издержек А у вас после краха на бирже и затрат на такие компании, как «Американская Левитация», не осталось и пятисот миллионов.

— "Табак «Лунная Дымка»"– это вы, — сказал Фэрн. — «Магнум Опус»– это тоже вы, — сказал Фэрн. — Все компании, которые вы воплощаете, должны будут расплатиться по иску, который будет непременно удовлетворен. И хотя истцам, как говорится, от козла молока не добиться, все же козла они доконают, это уж точно.

Фэрн снова поклонился.

— Я выполняю свой последний служебный долг, вручая вам письмо, которое ваш отец просил передать вам только в случае, если удача вам изменит. Мне было дано указание положить письмо под подушку в номере 223 отеля «Уилбурхэмптон», когда вам придется плохо. Я положил письмо под подушку час назад.

— А теперь, как скромный и лояльный служащий корпорации, я попрошу вас оказать мне незначительную услугу, — сказал Фэрн. — Если это письмо проливает хоть самый слабый свет на

то, что такое жизнь, позвоните мне по телефону прямо домой, буду премного благодарен.

Рэнсом К. Фэрн отсалютовал тросточкой, прикоснувшись к полям фетровой шляпы.

— Прощайте, мистер «Магнум Опус»– младший. Прощайте!

Старомодное, обшарпанное трехэтажное здание отеля «Уилбурхэмптон»– в тюдоровском стиле — находилось напротив небоскреба «Магнум Опус» и по контрасту напоминало незастланную койку, примостившуюся у ног архангела Гавриила. Оштукатуренная стенка отеля была обита сосновыми планками, под дерево. Конек крыши напоминал перешибленный хребет — нарочитая подделка под старину. Карниз крыши был утолщенный, низко нависающий — подделка под соломенную кровлю. Окошки узенькие, с мелкими ромбиками стекол.

Тесный холл отеля носил название «Исповедальня».

В холле «Исповедальня» находилось три человека — бармен и двое посетителей. Посетители — тощая женщина и тучный мужчина — на вид казались стариками, В «Уилбурхэмптоне» их никогда прежде не видели, но всем казалось, что они сидят в «Исповедальне» долгие годы.

Камуфляж у них был первоклассный — они были похожы на сам отель, обшитый дранкой, скособоченный, крытый соломой, с подслеповатыми окошечками.

Они выдавали себя за вышедших на пенсию учителей средней школы откуда-то со Среднего Запада Толстяк представился как Джордж М. Гельмгольц, бывший дирижер духового оркестра. Тощая дама представилась как Роберта Уайли, бывшая учительница алгебры.

Было ясно, что только на склоне лет они познали все утешительные прелести алкоголя и цинизма. Они никогда не заказывали вторично один и тот же напиток, с жадным любопытством норовили отведать и из той бутылки, и вон из той — жаждали узнать, что такое золотой пунщ, и «Елена Твелвтриз», и «Золотой дождь», и шамланское «Веселая вдова».

Бармен понимал, что они вовсе не алкоголики. Клиентов этого рода он знал и любил: это были просто постаревшие типы со страниц «Сатердей ивнинг пост».

Пока они не начинали расспрашивать о разных напитках, их невозможно было отличить от миллионов завсегдатаев американских баров в первый день Новой Космической Эры. Они

устойчиво восседали на своих высоких табуретах у бара и, не отрывая глаз, созерцали шеренги бутылок. Но их губы неустанно двигались — это была жуткая репетиция ни с чем не сообразных ухмылок, гримас и оскалов.

Образное представление Бобби Дентона о Земле, как о космическом ковчеге Господа Бога, было бы особенно уместно здесь, по отношению к этой паре завсегдатаев баров. Гельмгольц и мисс Уайли вели себя, как пилот и запасной пилот в чудовищно бессмысленном космическом странствии, которое никогда не кончится. Было легко вообразить, что они начали путешествие образцово, со щегольской выправкой, в расцвете юности, владея всеми необходимыми знаниями и навыками, и что ряд бутылок — это приборы, с которых они не сводят глаз год за годом, год за годом.

Было легко вообразить, что с каждым днем космический юноша и космическая девушка становились на какую-то микроскопическую дольку неряшливей, пока, наконец, они не превратились в стыд и позор Пангалактической космической службы.

У Гельмгольца две пуговицы на ширинке расстегнулись. На левом ухе застыл мазок крема для

бритья. Носки у него были разные.

Мисс Уайли была маленькая старушка диковинного вида со впалыми щеками. На ней был всклокоченный черный парик, такой потрепанный, словно он много лет провисел прибитый гроздей к притолоке деревенского сарая.

— Всем ясно: президент объявил начало Новехонькой Космической Эры не случайно, а чтобы хоть частично покончить с безработицей, -сказал бармен...

— Угу, — в один голос откликнулись Гельмгольц и мисс Уайли.

Только очень наблюдательный и подозрительный человек заметил бы фальшь в поведении этой пары: Гельмгольц и мисс Уайли _чересчур_интересовались_временем_. Для людей, которым было нечего делать и некуда спешить, они неподобающе часто поглядывали на часы мисс Уайли на мужские наручные часы. а мистер Гельмгольц — на золотые карманные.

А все дело в том, что Гельмгольц и мисс Уайли вовсе и не были учителями на пенсии. Оба они были мужчинами, оба умели мастерски менять обличье. Это были шпионы высшего класса из Марсианской Армии, глаза и уши марсианского пресс-центра, расположенного в летающей та-

релке, зависшей на высоте двух тысяч миль у них над головой.

И хотя Малаки Констант об этом не знал, они подстерегали именно его.

Когда Малаки Констант перешел улицу и вошел в отель «Уилбурхэмтон», Гельмгольц и Уайли не подумали к нему приставать. Они и виду не подали, что он их интересует. Они на него даже не взглянули, пока он проходил через холл и садился в лифт.

А вот на свои часы они снова взглянули, и наблюдательный, подозрительный человек заметил бы, что мисс Уайли нажала кнопку на своих часах, пустив подрагивающую стрелку секундомера обегать круг за кругом.

Гельмгольц и мисс Уайли не собирались применять насилие к Малаки Константу. Они никогда ни к кому насилия не применяли и все же завербовали на Марс четырнадцать тысяч человек.

Обычно они одевались в гражданское платье, выдавали себя за инженеров и предлагали недалеким мужчинам и женщинам по девять долларов в час, не облагаемых налогом, включая даровое питание, бесплатное жилье и проезд — за работу для правительственных организаций в отдаленных местах сроком на три года.

Между собой они посмеивались над тем, что никогда не объясняли, _какие_ правительственные организации предлагали эту работу, и ни один новобранец никогда не додумался их об этом спросить.

Девяносто девять процентов новобранцев по прибытии на Марс подвергались амнезии. Содержание их памяти стиралось под руководством специалистов-психиатров, и марсианские хирурги вживляли в их мозг радиоантенны, чтобы новобранцами можно было управлять по радио.

Затем новобранцам давали новые имена — какие в голову взбредут — и распределяли их по заводам, строительным бригадам, по учреждениям в качестве служащих или посылали в Марсианскую Армию.

Немногие новобранцы избегали общей участи, и это были те, кто без всякого хирургического вмешательства проявил горячее желание героически служить Марсу. Этих счастливчиков принимали в узкий круг власть имущих.

К этому кругу и принадлежали секретные агенты Гельмгольц и Уайли. Они полностью сохранили свою память и в управлении по радио не нуждались: они искренне и страстно любили свою работу.

— А какова на вкус вон та «Сливовица»? — спросил Гельмгольц у бармена, бросая взгляд на бутылку в нижнем ряду. Он только что допил коктейль со сливовым ликером.

— Понятия не имел, что она у нас есть, — сказал бармен. Он поставил бутылку на прилавок, наклонил горлышком от себя, чтобы удобнее было прочесть этикетку. — Сливовый коньяк, — сказал он.

— Надо попробовать, — сказал Гельмгольц.

Со дня смерти Ноэля Константа номер 223 в отеле «Уилбурхэмптон» оставался в нетронутом виде, как мемориал.

Малаки Констант вошел в номер 223. Он здесь не был ни разу после смерти отца. Он закрыл за собой дверь и взял письмо из-под подушки.

В номере ничего не меняли, кроме постельного белья. И до сих пор на стене висела единственная фотография — Малаки Констант в раннем детстве, на пляже.

Вот что было написано в письме:

Дорогой сын,

с тобой стряслась большая беда, раз ты читаешь это письмо. Я

пишу письмо, чтобы сказать тебе: успокойся, горе не беда, ты

лучше оглянись вокруг себя и подумай: может, что-нибудь
доброе или важное все же случилось оттого, что мы так
разбогатели, а потом вдруг разорились дотла? Мне бы очень
хотелось, чтобы ты постарался разузнать, есть во всем этом
какой-то смысл или одна сплошная неразбериха, как мне всегда
казалось.

Если я был никуда не годным отцом, да и вообще ни на что
не был годен, так это потому, что я стал живым мертвецом
задолго до того, как помер. Ни одна душа меня не любила и мне
ни в чем не везло — даже увлечься ничем не удалось — и мне
так осточертело торговать горшками и сковородками да пялиться
в телевизор, что я стал ни дать ни взять — мертвец и так к
этому притерпелся, что воскрешать меня было уже ни к чему.

Тут как раз я и затеял это дело, по Библии. Сам

знаешь,
что из этого вышло. Похоже было на то, что кто-то или что-то
хотело, чтобы я стал владельцем всей планеты, несмотря на то,
что я был живым трупом. Я все время присматривался, не будет
ли какого сигнала, чтобы мне понять, что к чему, но никакого
сигнала не было. А я все богател и богател.

Потом твоя мать прислала мне эту твою фотографию, на
пляже, и я посмотрел тебе в глаза и подумал, что вся эта куча
денег послана мне ради тебя. Я подумал, что если так и помру,
не найдя ни в чем никакого смысла, то хоть ты-то однажды
вдруг увидишь все яснее ясного. Честно тебе скажу: даже живой
мертвец — и тот мучается, когда приходится жить, не видя ни в
чем никакого смысла.

Я поручил Рэнсому К. Фэрну передать тебе это письмо только
в том случае, если счастье тебе изменит, и вот

почему: никто
ни о чем не задумывается и ничего не замечает, пока ему
везет. Ему это ни к чему.
Ты оглянись вокруг ради меня, сынок. И если ты прогорел
дотла и кто-нибудь предложит тебе что-нибудь дурацкое или
невероятное — соглашайся, мой тебе совет. Может статься, ты
что-то узнаешь, когда тебе захочется что-то узнать.
Единственное, что я в жизни узнал, это то, что одному везет,
а другому не везет, и даже тот, кто окончил экономический
факультет Гарвардского университета, не может сказать -
почему.
Искренне ваш -
— твой Па.
В дверь номера 223 постучали.
Не успел Константа подойти к двери, как она отворилась.
Гельмгольц и мисс Уайли вошли без приглашения. Они вошли в точно рассчитанный момент,

так как их руководство указало им, с точностью до секунды, когда Малаки Констант дочитает письмо. Им было также точно указано, что они должны ему сказать.

— Мистер Констант, — сказал Гельмгольц, — я пришел, чтобы сообщить вам, что на Марсе есть не только жизнь, но и многочисленное, деятельное население, крупные индустриальные и военные ресурсы. Все население завербовано на Земле и доставлено на Марс в летающих тарелках. Мы уполномочены предложить вам сразу чин подполковника Марсианской Армии.

На Земле ваше положение безнадежно. Ваша жена — чудовище. Более того, наша разведка информировала нас о том, что здесь, на Земле, вы не только потеряете все до последнего пенса из-за судебных исков, но и сядете в тюрьму за преступную неосмотрительность.

Мы не только предлагаем вам жалованье и надбавки, значительно превышающие жалованье подполковника в армии землян, но и гарантируем полную свободу от земных законов, возможность увидеть новую замечательную планету, возможность смотреть на вашу родную планету из нового, прекрасного и далекого мира.

— Если вы согласны принять назначение, —

сказала мисс Уайли, — поднимите вашу левую руку и повторяйте за мной…

На следующее утро пустой вертолет Малаки Константа был обнаружен в центре пустыни Мойаве. Следы человека уходили от него на расстояние сорока футов, затем обрывались.

Как будто Малаки Констант прошел по песку эти сорок футов и растаял в воздухе.

В следующий вторник космический корабль, называвшийся «Кит», был переименован в «Румфорд» и подготовлен к запуску.

Беатриса Румфорд, довольная собой, смотрела церемонию по телевизору, на расстоянии двух тысяч миль. До запуска «Румфорда» оставалось ровно одна минута. Если судьбе было угодно заманить Беатрису Румфорд на борт, времени у нее оставалось в обрез.

Беатриса чувствовала себя великолепно. Она сумела доказать, чего она стоит. Она доказала, что сама распоряжается своей судьбой, что она может сказать «нет!», когда ей заблагорассудится, и всем ясно, что нет — значит нет. Она доказала, что предсказания, которыми запугивал ее всезнайка — муж — чистый блеф, нисколько не лучше, чем сводки Американского бюро прогнозов погоды.

Мало того — она придумала, как обеспечить

себе более или менее комфортабельную жизнь до конца своих дней и заодно хорошенько насолить своему муженьку как он того заслуживает. В следующий раз, когда он материализуется, он окажется в густой толпе зевак, собравшихся в имении. Беатриса грешила брать по пять долларов с головы за вход через дверцу из «Алисы в стране чудес».

И это не бред и не химеры. Она обсудила этот план с двумя самозванными представителями владельцев закладных на имение — и они были в восторге.

Они и сейчас сидели рядом с ней у телевизора, глядя на приготовления к запуску «Румфорда». Телевизор стоял в комнате, где висел громадный портрет Беатрисы — девочки в ослепительно белом платье, с собственным белым пони. Беатриса улыбнулась, глядя на портрет. Маленькая девочка все еще оставалась чистой и незапятнанной. И пусть кто-нибудь попробует ее замарать.

Комментатор на телевидении начал предстартовый отсчет.

Слушая обратный счет, Беатриса вела себя беспокойно, как птица. Она не могла усидеть на месте, не в силах была успокоиться. Она сидела как на иголках, но беспокойство было радостное,

а не тревожное. Ей не было никакого дела до того, удачно ли пройдет запуск «Румфорда» или нет.

Двое ее гостей, наоборот, наблюдали запуск с глубокой серьезностью — словно молились, чтобы он прошел благополучно. Это были мужчина и женщина — некий мистер Джордж М. Гельмгольц и его секретарша, некая мисс Роберта Уайли. Мисс Уайли была презабавная старушенция, такая живая и остроумная.

Ракета с ревом рванулась вверх.

Запуск прошел блестяще.

Гельмгольц откинулся в кресле и облегченно вздохнул.

— Клянусь небом, — сказал он грубовато, как подобает мужчине, — я горжусь тем, что я — американец, и горжусь, что живу в такие времена.

— Хотите выпить? -спросила Беатриса.

— Премного благодарен, — сказал Гельмгольц, — но, как говорится, делу — время, потехе — час.

— А разве мы еще не покончили с делами? — сказала Беатриса. — Разве мы еще не все обсудили?

— Как сказать… Мы с мисс Уайли хотели составить список наиболее крупных построек в имении, — сказал Гельмгольц, — но я боюсь, что

уже совсем стемнело. Прожектора у вас есть?

Беатриса покачала головой.

— К сожалению, нет, — сказала она.

— А фонарь у вас найдется? — спросил Гельмгольц.

— Фонарь я вам, может быть, и достану, — сказала Беатриса, — но, по-моему, вовсе незачем туда ходить. Я вам точно все расскажу.

Она позвонила дворецкому и приказала принести фонарь.

— Там крытый теннисный корт, оранжерея, коттедж садовника — прежде в нем жил привратник, дом для гостей, склад садового инвентаря, турецкая баня, собачья конура и старая водонапорная башня.

— А новое здание для чего? — спросил Гельмгольц.

— _Новое_? — сказала Беатриса.

Дворецкий принес фонарь, и Беатриса передала его Гельмгольцу.

— Металлическое, — сказала мисс Уайли.

— Металлическое? — растерянно переспросила Беатриса. — Там никакого _металлического_ строения нет. Может быть, старая дранка стала серебристой от времени.

Она нахмурилась.

— Вам сказали, что там есть металлическое здание?

— Мы видели собственными глазами, — сказал Гельмгольц.

— Прямо у дорожки — в кустах возле фонтана, — добавила мисс Уайли.

— Ничего не понимаю, — сказала Беатриса.

— А может, пойти взглянуть? — сказал Гельмгольц.

— Разумеется — пожалуйста, — сказала Беатриса, вставая.

Трое прошли по Зодиаку, выложенному на полу вестибюля, вышли в благоухающую темноту парка.

Луч фонаря плясал впереди.

— Признаюсь, — сказала Беатриса, — мне самой не терпится узнать, что там такое.

— Что-то вроде сборного купола из алюминия, — сказала мисс Уайли.

— Смахивает на грибовидный резервуар для воды или что-то в этом роде, — сказал Гельмгольц, — только не на башне, а прямо на земле.

— Правда? — сказала Беатриса.

— Я вам говорила, что это такое, помните? — сказала мисс Уайли.

— Нет, — сказала Беатриса. — А что это?

— Придется шепнуть вам на ушко, — игриво сказала мисс Уайли, — а то как бы меня не сунули в психушку за такие слова!

Она приложила ладонь рупором ко рту и сказала театральным шепотом:

— Летающая тарелка!

Глава четвертая.
ДРЯНЬ И ДРЕБЕДЕНЬ

"Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень,
Дрянь-дребедень, дребедень.
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень".

Солдаты маршировали по плацу под треск армейского барабана. Вот что выговаривал для них барабан с ревербератором:

Дрянь дребедень-дребедень-дребедень.
Дрянь-дребедень-дребедень.
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень.

Пехотный дивизион численностью в десять тысяч человек был построен в каре на естественном плацу из сплошного железа толщиной в милю. Солдаты стояли по стойке «смирно» на оранжевой ржавчине. Сами люди — офицеры, солдаты — казались почти железными и сохраняли окоченелую неподвижность, даже когда их пробирала дрожь. Они были в грубой форме

белесоватозеленого цвета-цвета лишайника.

Вся армия разом вытянулась по стойке «смирно»,

хотя было совсем тихо. Не было дано никакого слышимого или видимого сигнала. Они все приняли стойку «смирно», как один человек, словно по мановению волшебной палочки.

Третьим с краю во втором отделении первого взвода второй роты третьего батальона второго полка Первого марсианского штурмового пехотного дивизиона стоял рядовой, разжалованный из подполковников три года назад. На Марсе он пробыл уже восемь лет.

Когда в современной армии человека разжалуют из старших офицеров в рядовые, он скорее всего окажется староват для этого чина, так что его товарищи по оружию, попривыкнув к тому, что он такой же солдат, как и они, станут звать его просто из жалости — ведь и ноги, и зрение, и дыхание начинают ему изменять — какимнибудь прозвищем: _Папаша, _Дед, _Дядек. _

Третьего с краю во втором отделении первого взвода второй роты третьего батальона второго полка Первого марсианского штурмового пехотного дивизиона звали Дядьком. Дядьку было сорок лет. Дядек был прекрасно сложенным муж-

чиной — в полутяжелом весе, смуглый, с губами поэта, с бархатными карими глазами в тени высоких надбровных дуг кроманьонца. Небольшие залысинки на висках подчеркивали эффектную прядь волос.

Вот анекдот про Дядька, весьма характерный:

Как-то раз, когда взвод мылся под душем, Генри Брэкман, сержант, командовавший взводом, предложил сержанту из другого подразделения указать самого лучшего солдата во всем взводе. Гость ничтоже сумняшеся показал на Дядька: Дядек, крепко сбитый, с отличной мускулатурой, казался бывалым мужчиной среди мальчишек.

Брэкман закатил глаза.

— О боже, — ты что, серьезно? — сказал он. — Да это же самый что ни на есть шут гороховый, посмешище всего взвода!

— Шутишь? — сказал второй сержант.

— Шучу — черта с два! — сказал Брэкман. — Ты только посмотри на него — битых десять минут стоит под душем, а к мылу и не притронулся! Дядек! Проснись, Дядек!

Дядек вздрогнул, пробудился от дремоты под тепловатым дождем. Он вопросительно, с беззащитной готовностью повиноваться, взглянул на Брэкмана.

— Да намылься ты, Дядек! — сказал Брэкман. — Намылься хоть разок, ради Христа!

И вот в каре на железном плацу Дядек стоял навытяжку, как и все прочие.

В центре каре стоял каменный столб с прикрепленными к нему железными кольцами. Сквозь кольца были пропущены лязгающие цепи, которыми был туго прикручен к столбу рыжеголовый солдат. Он был чистоплотным солдатом, но аккуратным его не назовешь все его награды и знаки различия были сорваны, и не было на нем ни ремня, ни галстука, ни белоснежных гетр.

Все остальные, и Дядек в том числе, были при полном параде. На всех остальных было любо посмотреть.

С человеком у столба должно было случиться что-то страшное — что-то такое, чего человек стремился избежать любой ценой, чтото, от чего и уклониться было нельзя — цепи не пускали.

А всем остальным солдатам предстояло быть зрителями.

Этому событию придавалось большое значение.

Даже солдат у столба стоял навытяжку — как подобает бравому солдату, применительно к обстановке, как его учили.

И опять — без какого бы то ни было видимого или слышимого сигнала все десять тысяч человек, как один, приняли строевую стойку «вольно».

И человек у столба — тоже.

Затем солдаты встали еще более непринужденно по команде «вольно». По этой команде полагалось стоять свободно, но не выходить из строя и не разговаривать в строю. Теперь солдатам было дозволено о чем-то подумать, оглядеться, обменяться взглядами с кем-то, если было с кем, или было о чем сказать.

Человек у столба натянул цепи и вытянул шею, прикидывая на глаз высоту столба, к которому он был прикручен цепями. Можно было подумать, что он старается точно угадать высоту столба и состав породы, из которой он сделан, в надежде, что отыщет какой-нибудь научный способ сбежать отсюда.

Столб был высотой в девятнадцать футов, шесть и пять тридцать вторых дюйма, не считая двенадцати футов, двух и одной восьмой дюйма, погруженных в железо. Диаметр столба в среднем равнялся двум футам, пяти и одиннадцати тридцать вторых дюйма, с максимальным отклонением от этого среднего сечения до семи и

одной тридцать второй дюйма. В состав породы, из которой был сделан столб, входили кварц, известняк, полевой шпат, слюда со следами турмалина и роговой обманки. А еще человеку в цепях не мешало бы знать, что он находится в ста сорока двух миллионах девятистах одиннадцати милях от Солнца и помощи ему ждать неоткуда.

Рыжий человек у столба не произнес ни звука, потому что солдатам даже в положении «вольно» разговоры были запрещены. Но взгляд его был красноречив, и каждый мдг бы в нем прочесть задавленный крик. Он искал взглядом, в котором бился безмолвный крик, Другие глаза, чей то ответный взгляд. Он хотел что-то передать конкретному человеку, своему лучшему другу — Дядьку. Он искал глазами Дядька.

Он не мог отыскать Дядька.

А если бы он и нашел Дядька, в глазах Дядька не увидел бы ни радости узнавания, ни жалости. Дядек только что выписался из базового госпиталя, где его лечили от психических отклонений, и в памяти у него было почти совсем пусто. Дядек не узнавал своего лучшего друга, прикованного к столбу. Дядек вообще никого не узнавал. Дядек не знал бы и собственного прозвища, не знал бы, что он солдат, если бы ему об этом не сказали, когда

выписывали из госпиталя.

Прямо из госпиталя он попал в строй, в котором сейчас и находился.

В госпитале ему твердили, внушали, вдалбливали раз за разом, что он лучший солдат лучшего отделения лучшего взвода в лучшей роте лучшего батальона лучшего полка и лучшего дивизиона в лучшей из армий.

Дядек сознавал, что ему есть чем гордиться.

В госпитале ему сказали, что он был тяжело болен, но теперь совершенно здоров.

Пожалуй, это была хорошая новость.

В госпитале ему сказали, как зовут его сержанта, объяснили, что такое сержант, и показали знаки различия по чинам, рангам и специальностям.

Они так переусердствовали, стирая память Дядька, что им пришлось заново учить его азам маршировки и строевым артикулам.

Там, в госпитале, им пришлось даже объяснять Дядьку, что такое Боевой Дыхательный Рацион — (БДР), — в просторечье дышарики, — пришлось втолковывать ему, что такой дышарик надо глотать раз в шесть часов, а то задохнешься. Это такие пилюли, выделяющие кислород и компенсирующие полное отсутствие кислорода в

марсианской атмосфере.

В госпитале им пришлось объяснять Дядьку даже то, что у него под черепом вживлена антенна и что ему будет очень больно, если он сделает что-нибудь такое, чего хорошему солдату делать не положено. Антенна будет передавать ему и прочие команды, и дробь барабана, под которую ему надо маршировать.

Они объяснили Дядьку, что такая антенна вставлена не только у него, а у всех без исключения — в том числе и у врачей, и у медсестер, у всех военных, вплоть до полного генерала. Они сказали, что армия зиждется на полной демократии.

Дядек понимал, что это очень хорошая система устройства армии.

В госпитале ему дали отведать малую толику той боли, которую антенна может ему причинить, если он сделает хоть шаг в сторону с пути истинного.

Боль была чудовищная.

Дядьку пришлось признать, что только спятивший с ума солдат не подчиняется своему долгу всегда и везде.

В госпитале ему сказали, что самое главное правило из всех вот какое: всегда выполняй прямой приказ незамедлительно.

Стоя в строю на железном плацу, Дядек стал понимать, как много ему надо узнать заново. В госпитале ему сказали не все, что нужно знать о жизни.

Антенна в голове снова заставила его встать «смирно», и из головы все вылетело. Затем антенна заставила его снова принять стойку «вольно», затем опять встать «смирно», потом заставила его взять винтовку «на плечо», потом снова встать «вольно».

Мысли к нему вернулись. Он еще раз украдкой взглянул на мир.

— Такова жизнь, — говорил себе умудренный опытом Дядек, — то что-то увидишь украдкой, то в голове опять пусто, а временами тебе могут причинить жуткую боль за то, что ты чем-то проштрафился.

Маленькая быстролетная луна неслась по фиолетовому небу низко, прямо над головой. Дядек не понимал, почему ему так кажется, но ему казалось, что луна плывет быстрее, чем нужно. Что-то было не так. И небо, подумал он, должно быть голубое, а не фиолетовое.

Дядьку было холодно, и ему хотелось тепла. Этот вечный холод казался ему таким же неестественным, несправедливым, как суетливая луна

и фиолетовое небо.

Командир дивизиона Дядька обратился к командиру его полка. Командир полка обратился к командиру батальона. Командир батальона обратился к командиру роты, в которой служил Дядек. Командир роты обратился к командующему взводом Дядька — к сержанту Брэкману.

Брэкман обратился к Дядьку, приказал ему подойти строевым шагом к человеку у столба и задушить его до смерти.

Брэкман сказал Дядьку, что это прямой приказ.

Дядек его выполнил.

Он строевым шагом двинулся к человеку у столба.

Он маршировал под жесткую, жестяную дробь строевого барабана. Барабан звучал на самом деле только у него в мозгу, его принимала антенна:

Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень,

Дрянь-дребедень-дребедень.

Дрянь-дребедень,

Дрянь-дребедень,

Дрянь-дребедень-дребедень.

Подойдя вплотную к человеку у столба, Дядек замялся на одну секунду — уж очень несчастный вид был у этого рыжего парня. В черепе Дядька вспыхнула искорка боли — как первое прикосно-

вение бормашины к зубу.

Дядек обхватил большими пальцами горло рыжего парня, и боль тут же пропала. Но Дядек не сжимал пальцы, потому что человек пытался что-то ему сказать. Дядек не понимал, почему тот молчит, но потом до него дошло, что антенна вынуждает его молчать, как все антенны вынуждали молчать всех солдат.

Героическим усилием человек у столба преодолел приказ своей антенны, заговорил торопливо, корчась от боли:

— Дядек… Дядек… Дядек… — твердил он, и судорожная борьба его воли с волей антенны заставляла его повторять имя с идиотской монотонностью. — Голубой камень. Дядек… -сказал он. — Двенадцатый барак… Письмо.

Жало боли снова угрожающе впилось в мозг Дядька.

Дядек, выполняя свой долг, задушил человека у столба — сдавливал ему горло до тех пор, пока лицо его не стало багровым и язык не вывалился наружу.

Дядек сделал шаг назад, встал навытяжку, четко повернулся «кругом» и промаршировал на свое место, опять под дробь барабана в голове:

Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень,

Дрянь-дребедень-дребедень.
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень.

Сержант Брэкман кивнул Дядьку, одобрительно подмигнул.

И вновь все десять тысяч солдат встали навытяжку. О ужас! — мертвец у столба тоже попытался выпрямиться, гремя цепями. Он не сумел встать по стойке «смирно», как образцовый солдат, — не потому, что не старался быть образцовым солдатом, а потому, что был мертв.

Громадное каре разбилось на отдельные прямоугольники. Прямоугольники механически промаршировали с плаца, и у каждого солдата в голове бил свой барабан. Посторонний зритель не услышал бы ничего — только топот сапог.

Посторонний зритель нипочем не догадался бы, кто же понастоящему командует, потому что даже генералы, как марионетки, печатали шаг в такт идиотским словам:

Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень.
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень.

Глава пятая.
ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОГО ГЕРОЯ

"Мы можем сделать память человека практически
такой же стерильной, как скальпель в
автоклаве. Но крупицы нового опыта начинают
накапливаться почти сразу же. А эти крупицы
образуют логические цепи, не вполне подобающие
образу мыслей солдата. К сожалению, проблема
такого вторичного заражения на сегодняшний
день неразрешима".

— Доктор Моррис Н Касл, Директор
Центра психического оздоровления, Марс

Подразделение Дядька остановилось возле гранитного барака. Это был один из многих тысяч бараков, ровными рядами уходивших вдаль, в бесконечность плоской железной равнины. Перед каждым десятым бараком на флагштоке развевалось знамя, щелкая на резком ветру.

Все знамена были разные.

Знамя, реявшее над бараком роты Дядька, как ангел-хранитель, было веселенькой расцветки: в красную и белую полоску, с целой россыпью звезд на синем фоне. Это был государственный флаг Соединенных Штатов Америки, что на Земле, — Old Glory. Дальше реяло знамя Союза Советских Социалистических Республик.

Еще дальше развевалось сказочное зеленое, оранжевое, желтое и пурпурное знамя с изображением льва, держащего меч. Это было знамя Цейлона.

Еще дальше было видно белое знамя с алым кругом — знамя Японии.

Эти знамена обозначали страны, которые разным воинским частям с Марса предстояло атаковать и захватить, когда начнется война Марса с Землей.

Дядек никаких знамен не видел, пока сигнал антенны не позволил ему расслабиться, чуть ссутулиться, обмякнуть — по команде «разойдись».

Он тупо смотрел на бесконечный строй бараков и флагштоков. На двери барака, перед которой он оказался, были намалеваны крупные цифры. Это был номер 576.

Что-то в сознании Дядька отклинулось на этот номер. Что-то заставило его пристально рассмот-

реть цифры. И тут он вспомнил казнь — вспомнил рыжеголового солдата, которого убил, и его слова про голубой камень и барак номер двенадцать.

В бараке номер 576 Дядек чистил свою винтовку, и делал это с громадным удовольствием. Главное — он убедился, что все еще умеет разбирать свое личное оружие. По крайней мере, из этого уголка памяти в госпитале не все вымели начисто. Он втайне обрадовался: как знать, может они пропустили еще какие-нибудь закоулки в его памяти? А почему эта надежда заставила его так обрадоваться, но не подавать виду, он и сам не знал. Он чистил шомполом ствол своей винтовки. Это была одиннадцатимиллиметровая винтовка немецкого образца, однозарядный маузер, оружием этого типа успешно пользовались испанцы еще в испано-американской войне, на Земле. Все марсианское вооружение было примерно того же срока службы. Марсианские агенты, незаметно работая на Земле, сумели закупить громадные партии маузеров, английских энфильдов и американских спрингфильдов, и притом по дешевке.

Однополчане Дядька тоже надраивали свое оружие. Масло пахло хорошо и, забившись кое-где в нарезку, оказывало местами небольшое, но

приятное сопротивление ходу шомпола. Разговоров почти не было.

Судя по всему, казнь не произвела на солдат особого впечатления. Если товарищи Дядька и извлекли какой-нибудь урок из этой казни, они переварили его так же бездумно, как армейский рацион.

Дядек услышал только одно мнение о своем участии в казни — от сержанта Брэкмана.

— Справился молодцом, Дядек, — сказал Брэкман.

— Спасибо, — сказал Дядек.

— Молодец он у нас, верно? — обратился Брэкман к остальным солдатам.

Кое-кто кивнул головой, но Дядьку показалось, что его товарищи закивали бы в ответ на любой вопрос, требующий подтверждения, и закачали бы головами, если бы вопрос был поставлен в расчете на отрицание.

Дядек вытащил шомпол с ветошью, засунул большой палец в промежуток, образованный открытым затвором, и поймал солнечный зайчик на блестящий от масла ноготь. Ноготь, как зеркальце, отбросил луч света вдоль ствола. Дядек прижал глаз к дулу и замер от восхищения — вот это настоящая красота! Он мог бы часа-

ми, не отрываясь, созерцать эту совершенную, безукоризненную спираль нарезки в мечтах о счастливой стране, круглый портал которой виделся ему на дальнем конце ствола. Его блестящий от масла ноготь, подцвеченный розовым, сиял в конце нарезки, как истинный розовый рай. Настанет день, когда Дядек проползет вдоль ствола и доберется до самого рая.

Там будет теплым-тепло, и луна там будет только одна, мечтал Дядек, и эта луна будет полной, величественной, неторопливой. Еще одно райское видение померещилось Дядьку в конце ствола, и четкость картины его потрясла. В раю были три прекрасные женщины, и Дядек видел их совершенно ясно! Одна была белая, другая — золотая, третья — шоколадно-коричневая. В представившейся Дядьку картине золотая девушка курила сигарету. Дядек поразился еще больше, когда понял, что знает даже марку сигарет, которые курила золотая девушка.

Это была сигарета «Лунная Дымка».

— Продайте «Лунную Дымку», — громко сказал Дядек. Было приятно отдавать приказ — чувствовать себя авторитетным, знающим.

— Чего? — сказал молодой солдат-негр, чистивший винтовку рядом с Дядьком. — Ты чего там

бормочешь, Дядек? — сказал он. Солдату было двадцать три года. Его имя было вышито желтым на черной полоске над левым нагрудным карманом.

Звали его Вооз*. Если бы в Марсианской Армии допускалась подозрительность, Боз сразу же попал бы под подозрение. Он был простым рядовым первого класса, а форма на нем, хотя и установленного белесовато-зеленого, как лишайник, оттенка, была из отличного, гораздо более тонкого материала, да и сшита была не в пример лучше, чем у остальных, в том числе и у сержанта Брэкмана.

/*Вооз-имя одного из библейских персонажей (кн. Руфь). В дальнейшем дается его английское произношение — Боз. /

У всех остальных форма была из грубой, ворсистой материи, кое-как сшитая неровными стежками, толстыми нитками. На всех остальных форма выглядела пристойно, только когда они стояли навытяжку. При любом другом положении каждый солдат замечал, что форма у него пузырится в одних местах, а в других трещит, словно сделанная из бумаги.

Одежда Боза с шелковистой податливостью уступала каждому его движению. Она была

сшита мелкими, многочисленными стежками. А самое удивительное было вот что: ботинки Боза отливали ярким, сочным темно-рубиновым блеском — этого блеска другому солдату вовек не добиться, как бы он ни начищал свою обувку. В отличие от ботинок всех солдат в ротном бараке, ботинки Боза были сделаны из натуральной кожи, импортированной с Земли.

— Говоришь, продавать что-то будем, а, Дядек? — сказал Боз.

— Избавьтесь от «Лунной Дымки». Сбывайте все подчистую, — пробормотал Дядек себе под нос. Смысла слов он не понимал. Он просто дал им выговориться, раз уж они так рвались на волю. — Продавайте, — сказал он.

Боз улыбнулся с насмешливой жалостью.

— Продавать? Подчистую? — переспросил он. — О`кей, Дядек, — мы ее продадим. — Он поднял одну бровь. — А что продавать-то будем, Дядек?

Зрачки у него были какие-то особенно блестящие, острые.

Дядек забеспокоился под прицелом этих светящихся желтым светом зрачков, под сверкающим взглядом Боза — и ему становилось все больше не по себе, потому что Боз не сводил с него глаз. Дядек посмотрел в сторону, случайно заглянул в

глаза нескольким своим соседям — увидел, что глаза у всех одинаково тусклые, даже у сержанта Брэкмана были тусклые, снулые глаза.

Боз неотступно сверлил глазами Дядька. Дядек почувствовал, что придется снова встретиться с ним взглядом. Зрачки Боза казались яркими, как бриллианты.

— Ты меня-то помнишь, Дядек? — спросил Боз.

Этот вопрос насторожил Дядька. По какой-то причине было очень важно, чтобы он Боза не помнил. Он обрадовался, что и вправду его не помнит.

— Боз, Дядек, — сказал темнокожий солдат. — Я — Боз.

Дядек кивнул.

— Как поживаешь? — сказал он.

— Поживаю — не то, чтобы очень уж плохо, — сказал Боз. Он тряхнул головой. — А ты обо мне совсем ничего не помнишь, Дядек?

— Нет, — сказал Дядек. Память его подзуживала, нашептывала, что он мог бы вспомнить кое-что про Боза, если бы постарался как следует. Он заставил свою память заткнуться.

— Виноват, — сказал Дядек. — Ничего не припомню.

— Да мы же с тобой — приятели, напарники, —

сказал Боз. — Боз и Дядек.

— А-а, — сказал Дядек.

— Помнишь, что такое «система напарников», Дядек? — сказал Боз.

— Нет, — сказал Дядек.

— У каждого солдата в каждом взводе есть напарник, — сказал Боз. — Напарники сидят в одном окопе, плечом к плечу идут в атаку, прикрывают друг друга. Один напарник попал в беду в рукопашной второй приятель приходит на помощь, сунул нож под ребро — и порядок.

— А-а, — сказал Дядек.

— Забавно, — сказал Боз, — что человек забывает в госпитале, а что он все же помнит, как они там ни бьются. Мы с тобой целый год работали на пару, а ты взял да забыл. А вот про сигареты ты что-то плетешь. Какие сигареты, Дядек?

— Я позабыл, — сказал Дядек.

— Давай припоминай, — сказал Боз. — Ты же только что помнил.

Он нахмурился и сощурил глаза, как будто помогал Дядьку вспоминать.

— Уж больно хочется знать, что человек может вспомнить после госпиталя. Постарайся, припомнить все, что сможешь.

В манере Боза была какая-то женственная

вкрадчивость — так опытный сутенер треплет педика по подбородку, улещивая его, как младенца.

Но Дядек Бозу нравился, и это тоже проглядывало в его обращении.

Дядька охватила жуть: показалось, что он и Боз — единственные живые люди в этом бараке, а кругом — одни роботы со стекляшками вместо глаз, да притом еще и плоховатые роботы. А у сержанта Брэкмана, которому полагалось по должности быть командиром, энергии, инициативы и прочих командирских качеств была не больше, чем в мешке с мокрыми перьями.

— Ну, рассказывай, рассказывай все, что помнишь, Дядек, — льстиво пел Боз. — Дружище, — уговаривал он, — ты уж вспомни, сколько можешь, а?

Но не успел Дядек ничего вспомнить, как в голове вспыхнула боль, которая заставила его там, на плацу, своими руками совершить казнь. Но на этот раз боль не прошла после первого предупредительного удара. Под бесстрастным взглядом Боза боль в голове Дядька нарастала, билась, бесновалась, жгла огнем.

Дядек встал, уронил винтовку, вцепился пальцами в волосы, зашатался, закричал и свалился,

как подкошенный.

Дядек пришел в себя, лежа на полу барака, а Боз, его напарник, смачивал ему виски мокрой холодной тряпкой.

Товарищи Дядька стояли кольцом вокруг Дядька и Боза. На лицах солдат не было ни удивления, ни сочувствия. По их лицам можно было понять, что Дядек сморозил какую-то глупость, недостойную солдата, и получил по заслугам.

У них был такой вид, будто Дядек проштрафился, высунувшись из окна на виду у противника, или стал чистить винтовку, не разрядив, или расчихался в дозоре, или подцепив венерическую болезнь и не доложил об этом, а может, не выполнил прямой приказ или проспал побудку, держал у себя в сундучке книжку или гранату на взводе, а может, еще стал расспрашивать, кто организовал Армию и зачем…

Единственным, кто пожалел Дядька, был Боз.

— Я один во всем виноват, Дядек, — сказал Боз.

Сержант Брэкман растолкал солдат, встал над Дядьком и Бозом.

— Что он натворил, Боз? — сказал Брэкман.

— Да я над ним подшутить хотел, сержант, — без улыбки ответил Боз, — подначил его, чтобы вспомнить прошлое, сколько сумеет. Откуда я

знал, что он и вправду начнет копаться в своей памяти.

— Хватило ума — шутить с человеком, когда он пришел из госпиталя, — проворчал Брэкман.

— Да знаю, знаю я, — ответил Боз, мучаясь раскаянием. — Он же мой напарник, — сказал он. — Черт бы меня побрал!

— Дядек, — сказал Брэкман. — Тебя что, не предупреждали в госпитале, чтобы не смел вспоминать? Дядек слабо помотал головой.

— Может, и предупреждали, — сказал он. — Они мне много чего говорили.

— Вспоминать, Дядек, — это последнее дело, — сказал Брэкман. — Тебя и в госпиталь за это самое забрали — слишком много помнил.

Он сложил свои короткопалые ладони лодочкой, держа в них ту головоломную задачу, которую представлял собой Дядек.

— Святые угодники, — сказал он. — Ты слишком много вспоминал, Дядек, так что солдатом ты был никудышным.

Дядек уселся на полу, приложил ладонь к груди, почувствовал, что рубашка спереди вся намокла от слез. Он думал, как сказать Брэкману, что он вовсе и не старался вспомнить прошлое, он сердцем чувствовал, что этого делать нельзя — и что

боль поразила его, несмотря на это. Но он ничего не сказал Брэкману, боясь новой вспышки боли.

Дядек застонал и смахнул с век последние капли слез. Он не хотел ничего делать без прямого приказа.

— А что до тебя, Боз, — сказал Брэкман, — сдается мне, что если ты с недельку помоешь нужник, это тебя, может быть, и отучит лезть с шутками к человеку, который только что из госпиталя.

Что-то неуловимое в памяти Дядька подсказало ему, чтобы он повнимательней следил за Брэкманом и Бозом, за выражением их лиц. Это было почему-то очень важно.

— С недельку, сержант? — переспросил Боз.

— Да, черт меня… — сказал Брэкман и вдруг затрясся и зажмурился. Ясно — антенна только что угостила его легким уколом боли.

— Целую неделю, а? — повторил Боз с невинным видом.

— День, — сказал Брэкман, и это прозвучало как-то вопросительно, безобидно.

И снова Брэкман дернулся от боли в голове.

— А когда приступать, сержант? — спросил Боз. Брэкман замахал короткопалыми руками.

— Да ладно, -сказал он. Вид у него был потрясенный, потерянный, затравленный, как будто его

предали. Он набычился, опустил голову — словно для того, чтобы лучше справиться с болью, если она снова накатит. — Покончить с шуточками, черт побери, — сказал он хрипло, с натугой. И заторопился, бросился в свою комнату в конце барака и изо всех сил хлопнул дверью.

Командир роты, капитан Арнольд Барч, вошел в барак без предупреждения, чтобы застать всех врасплох.

Боз первым увидел его. Боз сделал то, что должен был сделать солдат в подобных обстоятельствах. Боз закричал:

— Смммии-р-р-р-на!

Боз дал команду, хотя был простым рядовым. По причудам военного регламента самый последний рядовой может скомандовать остальным солдатам и вольноопределяющимся офицерам «смирно!», если он раньше всех заметит присутствие строевого офицера в любом крытом помещении вне поля боя.

Антенны всех военнослужащих мгновенно включилрсь, выпрямляя спины солдат, заставляя их встать навытяжку, втянуть животы, подобрать зады — опустошая их мозг. Дядек вскочил с полу и стоял, окаменев, сдерживая дрожь.

Только один человек помедлил, прежде чем

встать по стойке «смирно». Это был Боз. А когда он встал навытяжку, в его манере было что-то наглое, развязное И издевательское.

Капитан Барч, которому поведение Боза показалось верхом наглости, собирался сделать ему замечание. Но капитан не успел открыть рот, как боль ударила его прямо в лоб.

Капитан закрыл рот, не издав ни звука.

Под злобно торжествующим взглядом Боза он элегантно встал навытяжку, повернулся кругом, услышал треск барабана в своем мозгу и, повинуясь его ритму, промаршировал вон из барака.

Когда капитан вышел, Боз не сразу позволил своим товарищам встать «вольно», хотя это было в его силах. У него в правом набедренном кармане брюк была маленькая коробочка дистанционного управления, с помощью которой он мог заставить своих товарищей делать практически все, что ему было угодно. Коробочка была размером с пол-литровую походную фляжку. Она была изогнута, как и фляжка, чтобы плотнее прилегала к телу. Боз носил ее в переднем кармане, на тугой, выпуклой передней поверхности бедра.

На коробочке было шесть кнопок и четыре ползунка. Манипулируя ими, Боз мог управлять на расстоянии любым, у кого была антенна в

черепе. Он мог причинить этому любому дозированную боль любой силы — мог заставить его встать смирно, мог заставить его услышать бой барабана, мог заставить его маршировать, остановиться, встать в строй, разойтись, отдать честь, идти в атаку, отступать, плясать, прыгать, кувыркаться…

В черепе у самого Боза антенны не было.

Свобода воли Боза пользовалась полной свободой — он мог делать, что ему заблагорассудится.

Боз был одним из подлинных командиров Марсианской Армии. Он командовал десятой частью войск, которым предстояло штурмовать Соединенные Штаты Америки, когда будет подготовлено нападение на Землю. А дальше в ряду были расположены соединения, которые готовились к нападению на Россию, Швейцарию, Японию, Мексику, Китай, Непал, Уругвай…

Наскольку Бозу было известно, подлинных командиров в Марсианской Армии было восемьсот человек и ни один из них не имел чина выше рядового. Номинальный командующий всей армией, генерал армии, Бордеро М. Палсифер, на самом деле был куклой в руках собственного вестового, капрала Берта Райта. Капрал Райт, образцовый вестовой, всегда носил с собой аспи-

рин и давал его генералу от почти непрерывной головной боли.

Преимущества системы тайных командиров очевидны. Любой бунт в Марсианской Армии будет направлен против людей, которые ничего не значат. А в случае войны противник может истребить весь офицерский состав Марсианской Армии, не причинив самой Армии ни малейшего вреда.

— Семьсот девяносто девять, — вслух сказал Боз, корректируя собственные подсчеты. Один из подлинных командиров умер, это его задушил Дядек у каменного столба. Задушенный, рядовой по имени Стоуни Стивенсон, был подлинным командиром британского подразделения штурмовых войск Стоуни был так заворожен упорными усилиями Дядька понять, что творится вокруг, что начал, сам того не замечая, помогать Дядьку думать.

За это Стивенсона подвергли глубочайшему унижению. В его череп вставили антенну, он был вынужден промаршировать к позорному столбу, как хороший солдат, — и ждать там смерти от руки своего протеже.

Боз так и оставил солдат, своих товарищей, стоять по стойке «смирно», — пусть постоят, дрожа,

ничего не соображая, ничего не видя Боз подошел к койке Дядька и улегся на бурое одеяло прямо в своих больших, до блеска начищенных ботинках. Он заложил руки за голову — изогнулся, Как лук.

— 0-о-о-о-о-у, — сказал Боз. Это было нечто среднее между зевком и стоном. — 0-о-о-о-о-у — право, ребята, ребята, ребята, — сказал он, позволяя себе ни о чем не задумываться.

— Черт побери, право, ребята, — сказал он. Это были ленивые, бессмысленные слова. Бозу поднадоела игра в солдатики. Ему было пришло в голову натравить их друг на друга — но, если он на этом попадется, ему грозит точно такое же наказание, как Стоуни Стивенсону.

— 0-о-о-о-о-у– право, ребята. Ей-богу, право, ребята, — сказал Боз скучным голосом.

— Черт побери, право, ребята, — сказал он. — Я своего добился. И вы, ребята, должны это признать. Старика Боз поживает очень даже неплохо, будьте уверены.

Он скатился с койки, упал на четвереньки и вскочил на ноги грациозно, как пантера. Он ослепительно улыбнулся. Он старался выжать все, что мог, из своего счастливого положения в жизни.

— Вам-то еще ничего, ребята, — сказал он своим окаменевшим товарищам. — Если вам кажется,

что с вами плохо обращаются, посмотрели бы вы, как мы гоняем генералов.

Он захихикал, заворковал.

— Позавчера вечером мы, настоящие командиры, поспорили, кто из генералов — самый резвый. Недолго думая, мы вытащили всех генералов — двадцать три головы — из постелек, голоштанниками, и поставили в ряд, как скаковых лошадей, а потом сделали ставки по всем правилам да и пустили генералов во весь дух, как будто за ними черти гнались. Генерал Стовер пришел первым, на корпус впереди генерала Гаррисона, а тот обошел генерала Мошера. Наутро все генералы в нашей Армии не могли шевельнуть ни рукой, ни ногой. И ни один не помнил, что творилось ночью.

Боз вновь захихикал и заворковал, а потом решил, что будет выглядеть куда лучше, если отнесется к своему счастливому положению в жизни всерьез — покажет, какое это бремя, покажет, что он почитает за честь нести такое бремя. Он благоразумно отступил на заранее подготовленные позиции, засунул большие пальцы за ремень и напустил на себя грозный вид.

— Да уж, — сказал он. — Это вам не игрушки, по правде-то говоря. — Он враскачку подошел к

Дядьку, почти вплотную, окинул его взглядом с ног до головы.

— Дядек, старина, — сказал он, — слов нет, сколько я о тебе раздумывал — часами голову ломал, беспокоился, Дядек.

Боз покачался с носков на пятки.

— Надо же тебе _каждый_раз_ лезть и разнюхивать, что не положено! Знаешь, сколько раз тебя забирали в госпиталь, чтобы почище вымести все у тебя из. памяти, а? Семь раз, Дядек! А знаешь, сколько раз нужно посылать в госпиталь простого человека, чтобы начисто стереть его память? Один раз, Дядек. Всего разочек! — Боз щелкнул пальцами под носом у Дядька.

— И дело с концом, Дядек. С первого раза человек чистенький, и ему до конца жизни на все плевать. — Он озадаченно покачал головой. — А вот _тебе_ этого мало, Дядек.

Дядек стал дрожать.

— Что, надоело стоять навытяжку передо мной, Дядек? — сказал Боз. Он заскрипел зубами. Боз никак не мог удержаться, чтобы не помучить Дядька хоть изредка.

Ведь у Дядька там, на Земле, было все, а у Боза — ничего.

Во-вторых, Боз чувствовал, что он, — стыдно

сказать, — целиком зависит от Дядька — или будет зависеть, как только они вернутся на Землю. Боз был круглым сиротой и завербовался в четырнадцать — откуда ему было знать, как можно всласть повеселиться на Земле.

Он рассчитывал, что Дядек ему все покажет.

— Хочешь знать, кем ты был раньше — откуда ты кто ты такой? — сказал Боз Дядьку. Дядек продолжал стоять по стойке «смирно», без единой мысли в голове, и не мог даже извлечь пользу из того, что Боз мог ему выдать. Да Боз и распинался-то не ради него. Просто хотел убедить себя, что на Земле рядом с ним будет напарник, друг, приятель.

— Ты, брат, — сказал Боз, с ненавистью глядя на Дядька, — ты был таким счастливчиком, каких мало. Там, на Земле, ты был Король!

Как и большая часть информации на Марсе, сведения Боза были отрывочные, неоформленные. Он сам не мог сказать, откуда, собственно говоря, он эти сведения получил. Подхватил среди фонового шума армейской жизни.

А он был слишком хорошим солдатом, чтобы ходить да расспрашивать, пытаясь раздобыть побольше сведений. Солдату много знать не положено.

Так что про Дядька Боз знал очень немногое: только то, что когда-то Дядек был счастливчиком. Остальное он присочинил сам.

— Понимаешь, — сказал Боз, — ты мог иметь все, что вздумается, вытворять, что вздумается, ходить во все места, куда тебе вздумается!

Расписывая чудо необычайной удачливости Дядька на Земле, Боз поневоле выдавал гнездящийся в глубине души страх перед другим чудом — он был бесповоротно, суеверно убежден, что его самого на Земле ждут сплошные неудачи.

Боз наконец произнес три волшебных слова, в которых для него сосредоточилось все счастье, какого человек мог достичь на Земле: _ночные_рестораны_Голливуда_. Ни Голливуда, ни ночных ресторанов он и в глаза не видал.

— Эх, брат, — сказал он. — Ты же шлялся по ночным ресторанам Голливуда день и ночь напролет.

— Да, брат, — сказал Боз отключенному от действительности Дядьку, — у тебя было все, что нужно человеку, чтобы жить на земле в свое удовольствие, и притом ты знал, _как_ надо жить, понял?

— Брат ты мой, — сказал Боз Дядьку, стараясь скрыть жалкую бесформенность своих мечта-

ний. — Пойдем мы с тобой по самым лучшим ресторанам, закажем себе самую лучшую еду и водиться будем с самыми лучшими людьми — вращаться в высших кругах! Уж мы повеселимся на славу, покутим, погуляем!

Он схватил Дядька за руку, покачав его взад-вперед.

— Напарники — вот мы кто, приятель. Мы, брат, прославимся на пару — везде побываем, всего отведаем.

— Вот сам счастливчик Дядек и его напарник Боз! — сказал Боз, высказывая то, что ему хотелось бы услышать от землян на оккупированной Земле. — Вон они, веселые, как пара пташек!

И он ухмылялся и ворковал, представляя себе счастливую, как пташки, парочку.

Улыбка на его лице внезапно погасла.

Все его улыбки были недолговечны. В самой глубине души Боз до смерти боялся. Он до смерти боялся потерять свое место. Он не мог взять в толк, как он на это место попал — как сподобился такой чести. Он не знал, кто удостоил его такой чести.

Боз даже не знал, кто командует подлинными командирами

Он никогда не получал приказа — ни от кого,

кто стоял бы выше настоящих командиров. В своих действиях Боз, как и остальные настоящие командиры, руководствовался, образно выражаясь, подброшенными и пойманными на лету намеками — намеками, которые появлялись в среде настоящих командиров.

Когда подлинным командирам случалось собраться поздним вечером, эти намеки им подавали, как лакомые кусочки, — с пивом, крекерами, сыром.

К примеру, возникал намек на то, что на складах замечена пропажа, или на то, что солдатам на учениях неплохо бы понюхать крови, чтоб озверели, и еще — что солдаты вечно небрежничают, пропуская дырочки при шнуровке гетр. Боз лично передавал эти намеки дальше — понятия не имея, откуда они пришли, — и действуя по намеку, как по приказу.

Один такой намек привел к казни Стоуни Стивенсона и сделал Дядька его палачом. Эта тема просто возникла в разговоре.

Настоящие командиры ни с того ни с сего посадили Стоуни Стивенсона под арест.

Боз ощупал пальцами коробочку, лежавшую в кармане, не нажимая ни на одну кнопку. Он встал рядом с людьми, которыми управлял, по

собственному почину встал навытяжку, нажал кнопку и встал «вольно», когда все остальные задвигались.

Ему страшно хотелось выпить чего-нибудь покрепче. Кстати, ему было разрешено пить, когда захочется. Для настоящих командиров с Земли регулярно доставлялись неограниченные запасы спиртного. Офицерам тоже было разрешено пить, сколько угодно, только пили они страшную дрянь. Офицеры пили убийственную зеленую пакость местного производства, которую гнали из лишайников.

Боз никогда капли в рот не брал. Он не пил, во-первых, потому, что боялся из-за спиртного стать никудышным солдатом, а во-вторых, потому, что боялся забыться и угостить рядового спиртным.

Наказанием подлинному командиру, который предложил рядовому выпить, была смертная казнь.

— Да, Господи, — произнес Боз, и его голос вплелся в нестройное бормотанье очнувшихся солдат.

Через десять минут сержант Брэкман объявил перерыв для отдыха, который заключался в том, что все выходили на плац и играли в немецкую лапту. Немецкая лапта была главной спортивной

игрой на Марсе.

Дядек потихоньку улизнул.

Дядек прокрался к бараку номер 12, чтобы отыскать письмо под голубым камнем — письмо, о котором сказал ему рыжий солдат перед тем, как он его убил.

В этом углу все бараки были пустые.

Ветру нечего было трепать на пустых флагштоках.

В пустых бараках раньше был расквартирован Марсианский высший десантно-диверсионный корпус. Десантники исчезли незаметно, глубокой ночью, месяц тому назад. Они стартовали в космических кораблях — вычернив лица, прихватив пластырем опознавательные личные жетоны, чтобы цепочки не звенели, — в неизвестном направлении.

Ребята из Марсианского высшего десантно-диверсионного корпуса умели виртуозно снимать часовых при помощи петель из рояльных струн.

Их секретным местом назначения была Луна, спутник Земли. Там они должны были начать военные действия.

Дядек увидел большой голубой камень у порога бойлерной в двенадцатом бараке. Это был кусок бирюзы. Бирюза на Марсе — не редкость. Кусок

бирюзы, который отыскал Дядек, был плоский, в диаметре около фута.

Дядек заглянул под камень. Он нашел алюминиевый цилиндр с навернутым колпачком. В цилиндре было длинное, очень длинное письмо, написанное карандашом.

Дядек понятия не имел, кто написал письмо. Да и откуда ему было догадаться, если он знал имена всего трех человек: сержанта Брэкмана, Боза, Дядька.

Дядек вошел в бойлерную и закрыл за собой дверь.

Он волновался, сам не понимая отчего. Он начал читать при свете, падавшем сквозь запыленное окошко.

Дорогой Дядек, — так начиналось письмо, — здесь все, что я

точно узнал, — не так уж это много, Бог свидетель, — а в конце

ты найдешь список вопросов, на которые надо постараться

ответить, чего бы это тебе ни стоило. Это очень важные

вопросы. Над ними я думал больше, чем над ответами, которые

уже получил. Вот первое, что я знаю точно:

(1) Если вопросы бессмысленные, то и в ответах смысла не найдешь.

Все ответы, которые узнал автор письма, были пронумерованы по порядку, словно для того, чтобы подчеркнуть, каких усилий, ход за ходом, стоила эта игра — поиск точных ответов на вопросы. Автор письма знал точные ответы на сто пятьдесят восемь вопросов. Раньше их было сто восемьдесят пять, но семнадцать пунктов было вычеркнуто.

Второй пункт гласил: (2) Я-живое существо.

Третий: (3) Я живу на Марсе.

Четвертый: (4) Я нахожусь в подразделении так называемой Армии.

Пятый: (5) Армия намеревается истребить другие живые существа, которые живут на Земле.

Вначале девяносто один пункт не был вычеркнут. В этих пунктах автор касался все более тонких вопросов и ошибался все чаще.

Боза он раскусил и разоблачил с первых ходов.

(46) Берегись Боза, Дядек. Он не тот, за кого себя выдает.

(47) У Боза в правом кармане спрятана штука, которая

больно бьет в голову, когда человек чем-то не угодит Бозу.

(48) Еще кое-кто имеет при себе такую штуку, которая может
тебя больно ударить. По виду не поймешь, у кого она есть,
так что будь вежлив со всеми.

(71) Дядек, дружище, почти за все, что я точно узнал,
заплачено болью в голове, с которой я боролся, — поведало
Дядьку письмо. — Когда я начинаю поворачивать голову и
разглядывать чтото и натыкаюсь на боль, я все равно
поворачиваю голову и смотрю, потому что знаю — я увижу
что-то, что мне не положено видеть. Когда я задаю вопрос и
нарываюсь на боль, я знаю, что задал очень важный вопрос.

Тогда я разбиваю вопрос на маленькие вопросики и задаю их
по отдельности. Получив ответы на кусочки вопроса, я их
все складываю и получаю ответ на большой вопрос.

(72) Чем больше я учусь терпеть боль, тем боль-

ше я узнаю.

Ты сейчас боишься боли, Дядек, но ты ничего не узнаешь,

если не пойдешь добровольно на пытку болью. И чем больше

ты узнаешь, тем больше будет радость, которую ты завоюешь,

не поддаваясь боли.

Один, в пустой бойлерной покинутого барака, Дядек на минуту отложил письмо. Он чуть не плакал, потому что герой, написавший письмо, напрасно доверял Дядьку. Дядек знал, что не выдержит и малой частицы той боли, которую перенес автор письма, — нет, не так уж ему дорого знание.

Даже маленькая, пробная боль, которой его угостили в госпитале, была невыносима. Он стал хватать воздух ртом, как рыба, вытащенная из воды, при одном воспоминании о жуткой боли, которой Боз сшиб его с ног в бараке. Он готов лучше умереть, чем еще раз пойти на такую пытку.

Глаза у него налились слезами.

Если бы он попытался говорить, то разрыдался бы.

Бедняга Дядек ничем не хотел рисковать, ни с кем не хотел ссориться. И какую бы информа-

цию он ни получил из письма — информацию, завоеванную героизмом другого, — он всю ее употребит на то, чтобы избежать новой боли.

Дядек задумался о том, способны ли одни люди лучше переносить боль, чем другие. И решил, что в этом все дело. Он со слезами говорил себе, что просто особенно чувствителен к боли. Не желая автору зла, он все же хотел бы, чтобы автор письма хоть раз почувствовал боль так же остро, как сам Дядек.

Может быть, тогда он адресовал бы свое письмо кому-нибудь другому.

Дядек не мог оценить важность содержавшейся в письме информации. Он поглощал ее безоговорочно, без критики, с жадностью голодающего. И, поглощая ее, он впитывал мировоззрение автора, перенимал его взгляд на жизнь. Дядек усваивал целую философию.

А с философией были перемешаны слухи, сведения по истории, астрономии, географии, психологии, медицине — и даже короткий рассказ.

Вот выдержки, наугад:

Слухи: (22) Генерал Бордерз всегда беспробудно пьян. Он

так пьян, что даже шнурки на ботинках завя-

зать не может, узлы
не держатся. Офицеры так же запуганы и несчастны, как и все
прочие. Ты тоже был офицером, Дядек, командовал целым
батальоном.

История: (26) Все население Марса прибыло с Земли. Они
надеялись, что на Марсе им будет легче жить. Никто не может
вспомнить, чем плоха была жизнь на Земле.

Астрономия: (11) Весь небесный свод обращается вокруг
Марса за одни сутки.

Биология: (58) Новые люди нарождаются от женщин, когда
мужчины и женщины спят вместе. На Марсе новые люди почти не
нарождаются, потому что мужчины и женщины спят в разных
местах.

Теология: (15) Кто-то сотворил все сущее с какой-то целью.

География: (16) Марс шарообразен Единственный город на
Марсе называется Феба. Никто не знает, почему

он называется

Феба.

Психология (103): Дядек, у всех дураков одна беда — по

крайней глупости они даже не представляют себе, что на свете

есть такая штука, как здравый смысл.

Медицина: (73) Когда здесь, на Марсе, у человека стирают

память, они не могут стереть ее начисто. Они как бы метут

посередке, что ли. И всегда оставляют углы невыметенными. Тут

рассказывают, как они пытались стереть память начисто у

нескольких солдат. Бедняги, на которых они поставили опыт, не

могли ходить, не умели разговаривать, вообще ничего не умели.

Единственное, что с ними додумались сделать, — научили их

пользоваться уборной, вдолбили самые необходимые слова — с

тысячу, не больше, — и посадили в военные или промышленные

рекламные конторы.

Короткий рассказ: (89) Дядек, у тебя есть закадычный друг

— Стоуни Стивенсон. Стоуни — высокий, веселый, сильный малый,

он выпивает по кварте виски в день. У Стоуни нет антенны в

голове, и он помнит все, что с ним было. Он притворяется

контрразведчиком, но на самом деле он — один из настоящих

командиров. Он управляет по радио пехотинцами-штурмовиками,

которые должны завоевать местность на Земле, именуемую

Англия. Стоуни сам из Англии. Стоуни нравится Марсианская

Армия, потому что тут есть над чем посмеяться. Стоуни всегда

смеется. Он прослышал, что есть такой шут гороховый, Дядек, и

решил посмотреть на тебя собственными глазами. Он притворился

твоим другом, чтобы послушать, что ты плетешь. Понемногу ты

стал доверять ему, Дядек, и ты поделился с ним своими тайными

теориями о том, в чем смысл жизни на Марсе. Стоуни собрался

было посмеяться, как вдруг понял, что ты открыл кое-что, о

чем он сам не имеет ни малейшего представления. И это его

сразило, потому что ему-то полагалось знать все, а тебе не

положено было знать ничего. Потом ты высказал Стоуни

множество серьезных вопросов, на которые хотел получить

ответ, и оказалось, что Стоуни знает не больше половины

ответов. Стоуни вернулся в свой барак, и вопросы, на которые

он не знал ответов, все вертелись и вертелись у него в

голове. В эту ночь он так и не заснул, хотя пил, пил, пил. До

него начато доходить, что кто-то его использует, а кто, он

понятия не имел. Он даже не знал, кому и зачем нужна армия на

Марсе. Он не знал, с чего это Марс должен нападать на Землю.

И чем больше он вспоминал о Земле, тем яснее понимал, что

Марсианская Армия имеет такие же шансы на победу, как снежок

в пекле. Массированный удар по Земле станет массовым

самоубийством, это яснее ясного. Стоуни задумался, с кем бы

обсудить все это, и понял, что поговорить может только с

одним человеком — с тобой. Дядек. Так что Стоуни выкарабкался

из постели примерно за час до рассвета и пробрался в твой

барак, Дядек, и разбудил тебя. Он рассказал тебе о Марсе все,

что знал сам. И он сказал, что отныне будет сообщать тебе

каждую мельчайшую мелочь, какую узнает, а ты тоже должен

говорить ему про каждую мельчайшую мелочь, какую узнаешь. И

вы будете при малейшей возможности куда-нибудь прятаться и

вдвоем обмозговывать все, что узнали. И он дал тебе бутылку

виски. И вы оба из нее пили, и Стоуни сказал тебе, что ты его

самый задушевный друг, черт бы тебя побрал. Он сказал, что

ты, чертов сын, самый лучший друг, какой у него есть на всем

Марсе, и хотя раньше он всегда смеялся, а тут так разрыдался,

что едва не перебудил всех твоих соседей. Он тебе велел

остерегаться Боза, вернулся в свой барак и уснул, как

младенец.

После этого короткого рассказа письмо неоспоримо доказывало эффективность совместной деятельности пары наблюдателей — Стоуни Стивенсона и Дядька. С этого места почти все точные ответы на вопросы предварялись почти неизменно такими фразами: _Стоуни_ _говорит_-и: _Стоуни_сказал_тебе_-и: _Ты_сказал_Стоуни_-и: _Вы_ _со_Стоуни_как-то_раз_нализались_до_чертиков_на_полигоне, _и_вот_ _что_пришло_в_голову_вам, _двум_пьянчугам_этаким… _

А самое главное, что пришло в голову двум пьянчугам, то, что всем на Марсе на самом деле заправляет рослый, любезный, улыбающийся

человек с высоким певучим тенором, по пятам за которым ходит громадный пес. Как сообщалось в адресованном Дядьку письме, этот человек с собакой появляется на тайных советах настоящих командиров примерно раз в сто дней.

В письме об этом не говорилось, потому что автор этого не знал, но человек с собакой был не кто иной, как Уинстон Найлс Румфорд со своим Казаком, космическим псом. И их появления на Марсе были не случайны. С тех пор, как они попали в хроносинкластический инфундибулум, Румфорд и Казак возвращались с такой же астрономической точностью, как комета Галлея. Они появлялись на Марсе каждые сто одиннадцать дней.

Дальше в письме к Дядьку говорилось: (155) Стоуни говорит,

что этот высокий человек со своим псом появляется на военных

советах и просто-напросто пудрит всем мозги. После совета все

они стараются думать точно так же, как он, словно он их

заворожил. Все мысли исходят от него, а им кажется, что они

сами все придумали. Он же знай себе улыбается

да заливается,
как соловей, а сам накачивает их новыми мыслями. И все
участники военных советов начинают обмениваться этими
мыслями, как своими собственными. Он помешан на игре в
немецкую лапту. Имени его никто не знает. Когда его
спрашивают, он только смеется. Он одет в форму воздушного
десанта морской лыжной пехоты, но настоящие командиры
воздушного десанта морской лыжной пехоты клянутся, что видели
его только на военных советах и больше нигде.
(156) Дядек, друг сердечный, — было написано в письме к
Дядьку, — каждый раз, когда вы со Стоуни что-нибудь
разузнаете, пиши дальше это письмо. Запрятывай письмо как
можно лучше. И каждый раз, как перепрятываешь в другое место,
не забудь сказать Стоуни, куда ты его положил. Тогда сколько

бы тебя ни забирали в госпиталь, чтобы вымести твою память,

Стоуни всегда скажет тебе, куда идти, чтобы снова

восстановить ее.

(157) Дядек-знаешь, что тебя держит? Ты держишься, потому

что у тебя есть подруга и ребенок. На Марсе почти ни у кого

нет ни подруги, ни ребенка. Твою подругу зовут Би. Она -

инструктор в Школе шлиманносского дыхания, в Фебе. Твоего

сына зовут Хроно. Он живет в начальной школе-интернате в

Фебе. Стоуни Стивенсон говорит, что Хроно — лучший игрок в

немецкую лапту во всей школе. Как все на Марсе, Би и Хроно

научились ни в ком не нуждаться и надеяться только на себя.

По тебе они не скучают. Они никогда о тебе не вспоминают. Но

ты должен им доказать, что ты им нужен, как только может быть

нужен человек человеку.

(158) Дядек, чучело ты этакое, я тебя люблю. По-моему, ты
мировой паренъ. Когда ты соберешь свою маленькую семью, угони
ракету и лети в какое-нибудь мирное, прекрасное место, куда-
нибудь, где не придется глотать дышарики, чтобы остаться в
живых. Возьми с собой Стоуни. А когда обживетесь на новом
месте, соберитесь все вместе и не жалейте времени, подумайте,
какого черта тому, кто сотворил весь этот мир, вздумалось его
сотворить.

Дядек дочитал письмо. Осталось только взглянуть на подпись.

Подпись была на отдельном листке.

Перед тем, как перевернуть страницу, Дядек попытался себе вообразить, как выглядит автор, какой у него характер. Автор письма был бесстрашен. Он так жаждал правды, что готов был вытерпеть любые мучения, только бы добавить немного в свою сокровищницу правды. И Дядьку, и Стоуни до него было далеко. Он наблюдал и записывал результаты подпольной деятельности

с любовью и преданностью, совершенно беспристрастно.

Дядьку автор письма представлялся чудесным стариком с белоснежной бородой и мощными мышцами кузнеца.

Дядек перевернул страницу и прочел подпись.

«Остаюсь преданный тебе»– вот какие чувства автор выразил на прощание, прежде чем подписаться.

Сама подпись занимала почти всю страницу. Она была начертана заглавными буквами, по шесть дюймов в высоту и по два в ширину. Буквы были неровные, расплывшиеся, выведенные по-детски неряшливо и размашисто. Вот эта подпись:

ДЯДЕК

Подпись была его собственная.

Дядек и был тот герой, написавший письмо.

Дядек написал письмо самому себе перед тем, как его память стерли. Это была литература в высшем смысле слова — потому что она сделала Дядька бесстрашным, бдительным, внутренне свободным. Она сделала его героем в собственных глазах в самое тяжкое время.

Дядек не знал, что убил у позорного столба своего лучшего друга, Стоуни Стивенсона. Если бы

он это знал, он мог бы наложить на себя руки. Но Судьба пощадила его, избавила от этой ужасной правды на много лет.

Когда Дядек вернулся в свой барак, там стоял свист и скрежет — все точили кинжалы и штыки. У каждого в руке было оружие.

И на всех лицах он увидел смиренную, потаенную ухмылку. Но эта ухмылка смахивала на оскал убийцы, который бросится убивать с наслаждением, дай ему только волю.

Только что был получен приказ срочно готовиться к погрузке на космические корабли.

Война с Землей началась.

Передовой десантно-штурмовой отряд уже смел с лица Луны все постройки землян. Штурмовая артиллерия вела обстрел ракетами с Луны, и каждый крупный город на Земле уже отведал адского пекла.

А вместо ресторанной музыки при этой адской дегустации марсианское радио глушило землян сводящим с ума речитативом:

Черномазый, бледнолицый, желтопузый -
стань рабом или умри.
Черномазый, бледнолицый, желтопузый -
стань рабом или умри.

Глава шестая.
ДЕЗЕРТИР С ПОЛЯ БОЯ

"Никак не могу понять, почему немецкая лапта не признана одним из олимпийских видов спорта — может быть, даже главным видом спорта на Олимпийских играх".
— Уинстон Найлс Румфорд

От армейского лагеря до космодрома, где базировался штурмовой космический флот, был переход длиной в шесть миль, и маршрут проходил через северо-западную окраину Фебы, единственного города планеты Марс.

Население Фебы в период расцвета, согласно данным «Карманной истории Марса» Уинстона Найлса Румфорда, составляло восемьдесят семь тысяч. Все постройки и все до единого люди в Фебе были подчинены военным целям. Массы рабочих управлялись точно так же, как солдаты, — при помощи вживленных в мозг антенн.

Рота Дядька в составе своего полка проходила походным маршем через северо-западную окраину Фебы, по дороге на космодром. Солдат больше не нужно было заставлять двигаться и соблюдать

строй при помощи антенн. Ими уже овладела военная горячка.

Они маршировали с песней, и их ботинки с железными подковками гулко грохотали по железной мостовой. Они пели кровожадную песню:

Ужас, горе и невзгоды -
Ать, два, три — ать!
Мы несем земным народам!
Ать, два, три — ать!
Бей! Ломай! Дави! Круши!
Ать, два, три — ать!
Не оставим ни души!
Ать, два, три — ать!
Крик! Два, три, ать!
Кровь! Два, три, ать!
Смерть! Два, три, ать!
Гррррррррррррррррроб!

Заводы в Фебе продолжали работать в полную мощность. На улицах не было зевак, некому было смотреть на распевающих героев. Окна вспыхивали неровным светом, когда ослепительные факелы внутри разгорались и гасли. Дверные проемы изрыгали брызжущее искрами, смешанное с дымом желтое пламя, когда расплавленный металл лился в формы. Визг и скрежет машин врывался в звуки военного марша.

Над городом на бреющем полете проходили три летающие тарелки — голубые разведчики, с нежным, баюкающим жужжаньем, похожим на пение музыкальной юлы. Казалось, что они поют: «Прости-прощай!», улетая по касательной, а округлая поверхность Марса уходила изпод них, удалялась. Не успела синичка хвостиком дернуть, а они уже мерцали в беспредельном пространстве.

«Ужас, горе и невзгоды», — пели солдаты. Но один солдат только шевелил губами, не издавая ни звука. Это был Дядек.

Дядек шагал в первой шеренге предпоследней колонны своей роты.

Боз маршировал за ним в затылок, и Дядьку казалось, что взгляд Боза жжет ему шею. Кроме того, Боз и Дядек были превращены в подобие сиамских близнецов, потому что несли на плечах сувол шестидюймового осадного миномета.

— Кровь! Два, три, ать! — орали солдаты. — Смерть! Два, три, ать! Гррррррроб!

— Дядек, дружище, — сказал Боз.

— Что, дружище? — рассеянно откликнулся Дядек. В путанице солдатского обмундирования он прятал гранату на взводе. Он уже выдернул чеку. Чтобы граната взорвалась через три секунды,

Дядьку было достаточно разжать руку.

— Я нам с тобой обеспечил хорошее местечко, дружище, — сказал Боз. — Старина Боз — он уж не забудет своего напарника, а, дружище?

— Точно, дружище, — сказал Дядек.

Боз так все подстроил, что они с Дядьком должны были оказаться на борту флагманскою космического корабля во время вторжения на Землю. Флагманский корабль, хотя именно для него по прихоти судьбы и предназначался ствол осадного миномета, был, по сути дела, невоенным кораблем. Он был рассчитан всего на двух пассажиров, а остальная емкость была заполнена сладостями, спортивными товарами, магнитофонными кассетами, мясными консервами, настольными играми, дышариками, безалкогольными напитками, Библиями, бумагой для заметок, парикмахерскими наборами, гладильными досками и прочими припасами для поддержания силы духа.

— Счастливая примета — стартовать на борту флагманского корабля, а, дружище?

— Счастливая, это точно, дружище, — сказал Дядек. Он только что мимоходом швырнул гранату в канализационный люк.

Люк с ревом изверг столб грязи и дыма.

Солдаты бросились ничком на мостовую.

Боз, подлинный командир роты, поднял голову первым. Он увидел клубящийся в пасти люка дым, решил, что это просто газы взорвались.

Боз сунул руку в карман, нажал кнопку, подавая роте сигнал вскочить на ноги.

Когда они встали, встал и Боз.

— Черт побери, приятель, — сказал он. — Сдается, мы уже получили боевое крещение.

Он поднял свой конец ствола осадного миномета.

А другой конец поднимать было некому.

Дядек отправился на поиски своей жены, сына и лучшего друга.

Дядек дезертировал, «ушел в кусты» на плоской, плоской, плоской марсианской равнине, где не росло ни травинки.

Сын, которого разыскивал Дядек, носил имя Хроно.

По земному счету Хроно было восемь лет.

Имя ему дали по названию месяца, в котором он родился. Марсианский год состоял из двадцати одного месяца, из которых двенадцать имели по тридцать дней, а девять — по тридцати одному. Месяцы назывались январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь,

ноябрь, декабрь, уинстон, найлс, румфорд, казак, ньюпорт, хроно, синкластик, инфундибулум и сэло.

Для памяти:

Тридцать дней — июнь и сэло, инфундибулум, ноябрь,

Уинстон, хроно, румфорд, ньюпорт,

Найлс, апрель, казак, сентябрь;

В остальных же, крошка-сын,

Этих дней-тридцать один.

Месяц сэло был назван в честь создания, которое Уинстон Найлс Румфорд повстречал на Титане. А Титан, как вы знаете, был спутником Сатурна и райским уголком.

Сэло, титанский приятель Румфорда, был посланцем из другой Галактики, он совершил вынужденную посадку на Титане из-за поломки одной детали в энергоблоке космического корабля. Он дожидался запасной детали.

Он терпеливо ждал двести тысяч лет.

Энергия, двигавшая его корабль в космосе, как и энергия, обеспечивавшая Марсианскую Армию, была известна под названием ВСОС, или Всемирное Стремление Осуществиться. ВСОС — это то, что творит Вселенные из ничего — заставляет ничто упорно стремиться к превращению в нечто.

Многие земляне рады, что на Земле нет ВСОСа.
Вот как это выражено в уличной песенке:
Билл раздобыл кусочек ВСОСа
И прикурил, как папиросу.
Что говорить! Беднягу Билла
На пять Галактик раздробило…

Хроно, сын Дядька, в свои восемь лет был выдающимся игроком в немецкую лапту. Кроме немецкой лапты, его ничто не интересовало. Немецкая лапта была ведущим видом спорта на Марсе — и в средней школе, и в армии, и на заводских стадионах.

Так как детей на Марсе было ровным счетом пятьдесят два человека, для них хватало одной средней школы, в самом центре Фебы. Ни один из пятидесяти двух детей не был зачат на Марсе. Все они были зачаты еще на Земле или, как Хроно, на космическом корабле с новобранцами для Марса.

Дети в школе почти не учились, потому что на Марсе им, в общем-то, делать было нечего. Они почти все время играли в немецкую лапту.

В немецкую лапту играют дряблым мячом размером с крупную зимнюю дыню. Мяч летает не лучше шелкового цилиндра, налитого до краев дождевой водой. Игра немного напоминает бейс-

бол: игрок с битой (подающий) выбивает мяч в сторону полевых игроков команды противника, а затем бежит от базы к базе; а полевые игроки стараются поймать мяч и «запятнать» бегущего. Однако в немецкой лапте всего три базы: первая, вторая и «дом». И подающему никто не подкидывает. Он кладет мяч на один кулак и бьет по нему другим кулаком. А если полевой игрок заденет бегущего мячом во время перебежки между базами, считается, что его вышибли, и он должен тут же покинуть поле.

Повальное увлечение немецкой лаптой исходило, конечно же, от Уинстона Найлса Румфорда, от которого исходило все, что творилось на Марсе.

Говард У. Сэмс в своей книге «Уинстон Найлс Румфорд, Бенджамен Франклин и Леонардо да Винчи» убедительно доказал, что немецкая лапта — единственная спортивная игра, с которой Румфорд был знаком в детстве. Сэмс утверждает, что Румфорда в детстве научила играть в немецкую лапту его гувернантка, мисс Джойс Маккензи.

В далеком ньюпортском детстве Румфорда команда, состоявшая из Румфорда, мисс Маккензи и Эрла Монкрайфа, дворецкого, регулярно играла в немецкую лапту с командой, состоявшей из Уатанабе Уатару, садовника-японца, Беверли Джун

Уатару, дочери садовника, и Эдварда Сьюарда Дарлингтона, полоумного мальчишки-конюха. Команда Румфорда неизменно выигрывала.

Дядек, единственный дезертир за всю историю Марсианской Армии, сидел, сжавшись в комок и задыхаясь, за обломком бирюзовой скалы и смотрел, как школьники играют в немецкую лапту на железном поле для игр. За валуном рядом с Дядьком стоял велосипед, который он украл со стоянки возле фабрики противогазов. Дядек не знал, который мальчишка — его сын, какой из мальчишек — Хроно.

Планы у Дядька были самые неопределенные. Он мечтал об одном: отыскать жену, сына и лучшего друга, угнать космический корабль и улететь в какое-нибудь место, где все они будут жить-поживать, добра наживать.

— Эй, Хроно! — закричал один из играющих. — Тебе бить!

Дядек выглянул из-за камня, чтобы увидеть, кто подойдет к «дому». Мальчик, который выйдет подавать, и есть Хроно, его сын.

Хроно, сын Дядька, вышел на подачу.

Он был невысок для своего возраста, но на удивление, помужски широк в плечах. Волосы у мальчишки были черные, как вороново крыло,

жесткие черные пряди упрямо завивались вихром против часовой стрелки.

Мальчишка был левшой. Мяч лежал у него на правом кулаке, и он приготовился бить с левой.

Глаза у него были так же глубоко посажены, как у отца. Его глаза сверкали из-под глубоких сводов под черными бровями. Они горели неземной яростью.

Горящие яростью глаза метнулись в одну сторону, потом в другую. Эти быстрые взгляды нагнали страху на полевых игроков, согнали их с занятых позиций, внушая, что неповоротливый дурацкий мяч настигнет их с жуткой скоростью и разнесет в клочки, если они окажутся у него на пути.

Стерах, который внушал мальчик с мячом, почувствовала даже учительница. Она занимала обычную позицию судьи в немецкой лапте — между первой и второй базами, и она тоже перепугалась до смерти. Это была хрупкая старушка по имени Изабель Фенстермейкер. Ей было семьдесят три, и она принадлежала к секте Свидетелей Иеговы — до того, как стерли ее память. Ее похитили обманом, когда она пыталась всучить номер «Маяка» марсианскому агенту в Дулуте.

— Хроно, милый, — сказала она дрожащим голосом, — не забывай, что это просто игра.

Небо внезапно потемнело от сотни летающих тарелок — кровавокрасных кораблей Марсианского воздушного десанта лыжной морской пехоты. Певучий рокот кораблей, как музыкальный гром, заставил дребезжать окна школы.

Однако в доказательство того, какое значение юный Хроно придавал немецкой лапте, ни один из ребят не решился взглянуть на небо.

Юный Хроно, напугав полевых игроков и мисс Фенстермейкер почти до безумия, вдруг опустил мяч к своим ногам, вынул из кармана недлинную металлическую планочку — свой талисман, приносящий счастье. Он поцеловал талисман — на счастье, положил планочку обратно в карман.

Потом он вдруг схватил мяч, мощным ударом — бляп! — послал его вперед и полетел от базы к базе, как птица.

Полевые игроки и мисс Фенстермейкер шарахнулись от мяча, как от раскаленного докрасна пушечного ядра. Когда мяч, прокатившись немного, остановился сам собой, игроки стали приближаться к нему с ритуальной торжественной медлительностью. Совершенно ясно было: они прилагают все усилия, чтобы не задеть Хроно мячом, не вышибить его из игры. Все противники словно сговорились для вящей славы Хроно

продемонстрировать свое полное бессилие.

Было ясно, что Хроно — самое ослепительное существо, которое дети видели на Марсе, и сами они ловили только отраженный от него свет. Они были готовы на все, только чтобы возвеличить его еще больше.

Юный Хроно проскользнул в «дом» в облаке рыжей ржавчины.

Полевой игрок швырнул в него мячом — увы, поздно, очень поздно, слишком поздно. Игрок, как полагалось по ритуалу, обругал себя за невезенье.

Юный Хроно постоял, стряхнул с себя пыль, снова поцеловал свой талисман, поблагодарил его за еще один удачный пробег. Он твердо верил, что своей ловкостью и силой обязан этому талисману, и остальные ученики тоже были в этом уверены, и даже мисс Фенстермейкер тоже втайне в это верила.

Вот история счастливого талисмана:

Как-то раз мисс Фенстермейкер повела детей на экскурсию на завод огнеметов. Управляющий объяснил детям весь процесс сборки огнеметов, по операциям, и выразил надежду, что некоторые из них, когда подрастут, придут работать на его предприятие. В конце экскурсии в отделе упаков-

ки управляющий запутался ногой в закрученной спиралью стальной ленте, какой скрепляют ящики с огнеметами.

Спираль с зазубренными краями, впившуюся ему в щиколотку, бросил в проходе цеха неаккуратный рабочий. Управляющий, освобождаясь от спирали, оцарапал ногу и порвал брюки. И тут он впервые за весь день выразился недвусмысленно и доступно для детей. Он по вполне понятным причинам сорвал зло на спирали.

Он стал топтать ее ногами.

А когда она снова вцепилась в него, он схватил ее и настриг громадными ножницами на кусочки по четыре дюйма длиной.

Дети увидели поучительное, захватывающее зрелище и были очень довольны. Уходя из отдела упаковки, юный Хроно поднял с пола один из четырехдюймовых кусочков и незаметно сунул в карман. Этот кусочек отличался от прочих тем, что в нем были просверлены две дырочки.

Это и был талисман Хроно. Он стал так же неотделим от Хроно, как его правая рука. Нервные окончания Хроно, образно говоря, проросли в эту полоску металла. Троньте ее — и вы тронете Хроно.

Дядек, дезертир, поднялся из-за бирюзово-

го камня, энергично и деловито прошагал на школьный двор. Он еще раньше сорвал все свои знаки различия. Это придавало ему вполне официальный вид, как положено солдату на войне, однако не обязывало к каким-либо определенным действиям. Из всей походной выкладки он оставил себе только кинжал, однозарядную винтовку-маузер и одну гранату. Все это оружие он сложил в тайнике за камнем, вместе с краденым велосипедом.

Дядек четким шагом подошел к мисс Фенстермейкер. Он сказал, что ему необходимо допросить юного Хроно в связи с особо важным делом, без свидетелей. Он ей не сказал, что он — отец мальчика. То, что он отец мальчика, не давало ему никаких прав. А в качестве официального лица он имел право на все, о чем бы ему ни вздумалось попросить.

Бедняжку мисс Фенстермейкер провести было легче легкого. Она позволила Дядьку поговорить с мальчиком в своем собственном кабинете.

Ее кабинет был битком набит непрочитанными работами учеников начальной школы — некоторые пролежали лет пять. Она безнадежно отстала в своей работе — настолько отстала, что объявила мораторий на сочинения, пока не поставит

оценки за все старые. Кое-где груды бумаг обрушились, и эти бумажные оползни медленно, как ледники, протянули щупальца под письменный стол, в прихожую и в ее отдельную уборную.

В открытом шкафу для картотек было два ящика, набитых минералами. Это была ее коллекция.

Никто никогда не проверял работу мисс Фенстермейкер. Никому не было до нее дела. Она имела диплом учительницы, выданный в штате Миннесота, США, Земля, Солнечная система, Млечный Путь, и этого оказалось вполне достаточно.

Перед началом разговора с сыном Дядек сел за ее письменный стол, а его сын Хроно остался стоять. Хроно сам захотел разговаривать стоя.

Дядек, обдумывая, что надо сказать, механически открыл один из ящиков письменного стола — оказалось, что этот ящик тоже набит минералами.

Юный Хроно был настроен подозрительно и враждебно, и он заявил, опережая Дядька:

— Пустой треп!

— Что? — сказал Дядек.

— Что ни скажете — все пустой треп, — сказал восьмилетний человек.

— А почему ты так думаешь? — сказал Дядек.

— Все, что люди болтают, — пустой треп, — сказал Хроно. — Вам так и так наплевать, что я думаю. Когда мне стукнет четырнадцать, вы вставите мне в голову эту штуку и мне так и так придется делать, что вам надо.

Он имел в виду тот факт, что антенны вживляли в головы детям только в четырнадцать лет. Дело было в размерах черепа. Когда ребенку исполнялось четырнадцать лет, его посылали в госпиталь на операцию. Его брили наголо, а врач и сестры подтрунивали над ним, поддразнивали, что он наконец-то стал взрослым. Перед тем, как доставить его в кресле-каталке в операционную, ребенка спрашивали, какое мороженое он больше всего любит. И когда ребенок просыпался после операции, его уже ждала большая тарелка любимого мороженого — с засахаренными орехами, крем-брюле, шоколадного — любое, любое, на выбор.

— А твоя мать тоже болтает попусту? — спросил Дядек.

— Конечно, с тех пор, как последний раз вернулась из госпиталя.

— А твой отец? — спросил Дядек.

— Про отца я ничего не знаю, — сказал Хроно. —

И знать не хочу. Тоже трепло, как и все прочие.

— А кто же не трепло? — спросил Дядек.

— Я не трепло, — сказал Хроно. — Я, и больше никто.

— Подойди поближе, — сказал Дядек.

— Это еще зачем? — сказал Хроно.

— Мне нужно шепнуть тебе что-то на ухо, очень важное.

— Велика важность! — сказал Хроно.

Дядек встал, вышел из-за стола, подошел вплотную к Хроно и прошептал ему на ухо:

— Я твой отец, мальчуган! — и когда Дядек выговорил эти слова, сердце у него всполошилось, как пожарный колокол.

Хроно и бровью не повел.

— И что с того? — сказал он с леденящим безразличием. За всю свою жизнь он не слышал от других и не видел собственными глазами ни одного случая, который навел бы его на мысль, что человеку нужен отец. На Марсе это слово было эмоционально стерильным.

— Я пришел за тобой, — сказал Дядек. — Нам надо как-нибудь отсюда выбраться. — Он бережно встряхнул мальчишку, словно стараясь всколыхнуть в нем что-то, как пузырьки в газировке.

Хроно отлепил отцовскую ладонь от своего

плеча, словно это пиявка.

— А дальше что? — сказал он.

— Будем жить! — сказал Дядек.

Мальчик равнодушно окинул взглядом отца, словно прикидывая, стоит ли доверять свое будущее этому чужаку. Хроно вынул из кармана свой талистман и потер его между ладонями.

Воображаемая сила, которую придавал ему талисман, укрепила его в решении — никому не доверять. жить, как жил всегда, долгие годы — в озлобленном одиночестве.

— А я и так живу, — сказал он. — Живу, как надо, — сказал он. — Катись к чертовой матери.

Дядек отступил на шаг. Углы его рта поползли вниз.

— К чертовой матери? — шепотом повторил он.

— Я всех посылаю к чертовой матери, — сказал мальчик. Он попытался быть добрей, но тут же устал от этой попытки. — Ну что, можно мне идти играть в лапту?

— Ты можешь послать к чертовой матери родного отца? — еле выговорил Дядек. Вопрос разнесся эхом в пустоте его выметенной памяти и докатился до уголка, где все еще жили воспоминания о его собственном странном детстве.

Все свое странное детство он провел, мечтая хоть когда-нибудь увидеть и полюбить отца, который не желал его видеть и не позволял себя любить.

— Я же — я дезертировал из армии, чтобы пробраться сюда — чтобы тебя отыскать, — сказал Дядек.

В глазах мальчика мелькнул живой интерес, но тут же погас.

— Они тебя заберут, — сказал он. — Они всех забирают.

— Я угоню ракету, — сказал Дядек. — И мы с тобой и с твоей мамой сядем в нее и улетим!

— Куда? — спросил мальчик.

— В хорошее место, — сказал Дядек.

— Что еще за хорошее место? — сказал Хроно.

— Не знаю. Придется поискать! — сказал Дядек. Хроно, словно жалея его, покачал головой.

— Ты уж извини, — сказал он. — Только, по-моему, ты сам не знаешь, про что говоришь. Из-за тебя перебьют кучу людей, и больше ничего.

— Ты хочешь остаться здесь? — спросил Дядек.

— Мне здесь неплохо, — сказал Хроно. — Можно, я пойду играть в лапту, а?

Дядек заплакал.

Его слезы потрясли и ужаснули мальчишку. Он ни разу в жизни не видел плачущего мужчину.

Сам он никогда не плакал.

— Я пошел играть! — отчаянно закричал он и вылетел из кабинета.

Дядек подошел к окну. Он поглядел на железную площадку для игр. Теперь команда Хроно ловила мяч. Юный Хроно встал в ее ряды, лицом к подающему, которого Дядек видел со спины.

Хроно поцеловал свой талисман, сунул его в карман.

— Не зевай, ребята, — хрипло крикнул он. — А ну, ребята. — бей его!

Подруга Дядька, мать юного Хроно, работала инструктором в Школе шлиманновского дыхания для новобранцев. Шлиманновское дыхание — это такая методика, которая позволяет человеку выжить в вакууме или в непригодной для дыхания атмосфере без скафандров и прочих громоздких аппаратов.

Главное в этой методике — прием пилюль, содержащих большой запас кислорода. Кислород всасывается в кровь непосредственно через стенки тонкого кишечника, а не через легкие. На Марсе эти пилюли носили официальное название: Боевой Дыхательный Рацион, а попросту назывались _дышарики_.

В безвредной, но совершенно непригодной

для дыхания атмосфере Марса шлиманновская дыхательная методика очень проста. Человек продолжает дышать и разговаривать нормально, хотя его легкие не извлекают кислорода из атмосферы — его там нет. Положено регулярно принимать дь шарики, и все в порядке.

В школе, где служила инструктором подруга Дядька, новобранцев обучали более сложной методике, необходимой для жизни в вакууме или в ядовитой атмосфере. Одних пилюль тут мало — надо еще затампонировать уши и ноздри и держать закрытым рот. При малейшей попытке дышать или говорить может открыться кровотечение, а потом человек умирает.

Подруга Дядька была одной из шести инструкторш Школы шлиманновского дыхания для новобранцев. Она вела занятия в классе — пустой, выбеленной комнате без окон, площадью в тридцать на тридцать футов. Вдоль стен были расставлены скамейки.

На столе посередине комнаты стоял столик, а на нем — таз с дышариками, таз с заглушками для ушей и ноздрей, ролик лейкопластыря, ножницы и портативный магнитофон. Магнитофон нужен был для того, чтобы слушать музыку, когда приходилась подолгу ничего не делать, выжидая,

пока природа сделает свое дело.

Сейчас настал как раз такой период. Класс только что наглотался дышариков. Студентам оставалось только неподвижно сидеть на скамейках и дожидаться, пока кислород дойдет до их тонких кишок.

Музыка, которую они слушали, была недавно пиратским образом записана по трансляции с Земли. На Земле это трио было сверхпопулярно — трио для мальчика, девочки и церковных колоколов. Называлась вещь «Господь — дизайнер нашего интерьера». Мальчик и девочка пели каждый свою строчку стиха, а потом их голоса сливались в припеве.

Перезвон церковных колоколов вступал в тех местах, где упоминалась религия.

Новобранцев было семнадцать человек. Все они были в недавно выданных трусах линялолишайникового цвета. Раздеваться приходилось для того, чтобы инструкторша могла наблюдать внешние признаки действия шлиманновского дыхания.

Новобранцы только что прошли чистку памяти, и им были вживлены антенны в госпитале Приемного Центра. Головы у них были наголо выбриты, и у всех от макушки до затылка тянулась

полоска липкого пластыря.

Липкий пластырь отмечал место, где вживлена антенна.

Глаза у новобранцев были совершенно пустые, как окна заброшенной ткацкой фабрики.

У инструкторши были такие же пустые глаза, потому что и она совсем недавно подверглась чистке памяти.

Когда ее выписывали из госпиталя, ей сообщили, как ее зовут, где она живет и как учить шлиммановскому дыханию, — вот практически вся информация, которую ей сообщили. И еще ей сказали, что у нее есть сын восьми лет по имени Хроно и если она пожелает, то может навещать его в интернате по вторникам, во второй половине дня.

Инструкторшу, мать Хроно, подругу Дядька, звали Би. На ней был тренировочный костюм блекло-зеленого цвета и белые спортивные туфли, а на шее у нее висел судейский свисток и стетоскоп.

Ее монограмма была нашита на груди, на тренировочной куртке.

Она взглянула на часы, висевшие на стене. Времени прошло достаточно, чтобы самая вялая пищеварительная система донесла воздушный

рацион до тонких кишок. Она встала, выключила магнитофон и дала свисток.

— Становись! -скомандовала она.

Новобранцы еще не проходили строевую подготовку и становиться ровными рядами они еще не умели. Весь пол был расчерчен на квадраты, так что новобранцы, встав по квадратам, располагались ровными шеренгами и рядами, ласкающими глаз. Некоторое время это смаливало на игру в «третий лишний»– несколько новобранцев с пустыми глазами разом пытались занять один и тот же квадрат. Но наконец каждый оказался в собственном квадрате.

— Так, — сказала Би. — А теперь берите заглушки и заткните, пожалуйста, ноздри и уши.

У каждого рекрута в потном кулаке были зажаты заглушки. Каждый заткнул себе уши и ноздри.

Би прошла по рядам, проверяя, хорошо ли заткнуты уши и ноздри.

— Так, — сказала она, закончив обход. — Очень хорошо, — сказала она. Она взяла со стола ролик липкого пластыря. — А теперь я вам наглядно покажу, что легкие вам совсем не нужны, пока у вас есть Боевые Дыхательные Рационы — или, как вы скоро будете называть их по-солдатски, —

дышарики.

Она снова пошла по рядам, отрезая куски лейкопластыря и заклеивая им рты. Никто не протестовал. А когда она дошла до конца последней шеренги, ни у кого не осталось щелочки, через которую мог бы вырваться звук протеста.

Она засекла время и снова включила музыку. Еще двадцать минут ей будет нечего делать — надо только следить за изменением цвета голых торсов, за последними спазмами агонии умирающих легких. В идеале все тела должны посинеть, затем покраснеть, а потом, на исходе двадцати минут, снова обрести свои натуральный цвет. А грудные клетки должны сначала лихорадочно вздыматься, а потом прекратить борьбу, застыть.

К концу этой двадцатиминутной пытки каждый новобранец твердо усвоит, что дышать легкими абсолютно не нужно. В идеале, каждый новобранец к концу курса тренировки преисполнится такой уверенностью в себе и верой в дышарики, что будет готов выскочить из космического корабля и на земную Луну, и на дно земного океана — куда угодно, ни на секунду не задумавшись, куда он прыгает.

Би сидела на скамейке.

Ее прекрасные глаза были окружены темными

кругами. Эти круги появились, когда она вышла из госпиталя, и становились с каждым днем все темнее. В госпитале ее уверяли, что она с каждым днем будет чувствовать себя все спокойнее, становиться все трудоспособное. Еще они ей сказали, что если, паче чаяния, по какому-то недоразумению это не получится, то она должна явиться в госпиталь и ей окажут помощь.

— Мы все нуждаемся в помощи — сегодня вы, а завтра — я, — сказал ей доктор Моррис Н. Касл — Стыдиться тут нечего. Однажды мне может понадобиться ваша помощь, Би, и я не постесняюсь вас о ней попросить.

В госпиталь ее забрали после того, как она показала старшей инструкторше вот эти стихи, которые она написала про шлиманновское дыхание:

Забудь про ветер и туман,
Все входы затвори
Захлопни горло, как капкан,
Жизнь заточи внутри.
Вдох, выдох — бьешься, не дыша,
Как в кулаке скупца.
В смертельной пустоте, душа,
Не проронi словца
Безмолвно горе, нем восторг -

Обмолвись лишь слезой
Дыханье, Слово брось в острог
Ты с узницей-душой
Человек — лишь малый остров,
пыль в пространстве ледяном.
Каждый человек — лишь остров:
остров-крепость, остров-дом.

Лицо Би, которую забрали в госпиталь за то, что она написала эти стихи, дышало силой — волевое, надменное, с высокими скулами. Она поразительно походила на индейского воина. Но тот, кто высказал бы это, непременно тут же добавил бы, что она настоящая красавица, такая, как она есть.

В дверь класса кто-то резко постучал. Би подошла к двери и открыла ее.

— Да? — сказала она.

В пустом коридоре стоял человек в форме, красный и весь в поту. На форме не было знаков различия. За плечом у человека болталась винтовка. Глаза у него были глубоко запавшие, тревожные.

— Курьер, — сказал он хрипло. — Сообщение для Би.

— Би — это я, — сказала Би недоверчиво.

Курьер оглядел ее с ног до головы, так что она

почувствовала себя обнаженной. От его тела шел жар, и этот жар обволакивал ее, не давая дышать.

— Вы меня узнаете? — шепотом спросил он.

— Нет, — ответила она. Его вопрос отчасти ее успокоил.

Должно быть, у них были раньше какие-то общие дела. Значит, он пришел сюда по делу, как всегда, — просто в госпитале она забыла и его самого, и его дела.

— И я вас тоже не помню, — прошептал он.

— Я недавно из госпиталя, — сказала она. — Надо было очистить память.

— Говорите шепотом! — резко прервал ее курьер.

— Что? — спросила Би.

— Шепотом! — сказал он.

— Простите, — прошептала она. Очевидно, разговоры с этим деятелем полагалось вести только шепотом. — Я так много забыла.

— Как и _все_ мы! — сердито прошептал он. Он вновь оглянулся — нет ли кого в коридоре. — Вы мать Хроно, верно? — сказал он шепотом.

— Да, — шепотом ответила она.

Теперь странный посланец не сводил глаз с ее лица. Он глубоко вздохнул, нахмурился — часто

заморгал.

— А сообщение — какое сообщение? — прошептала Би.

— Сообщение вот какое, — шепотом сказал посланец. — Я — отец Хроно. Я только что дезертировал из армии. Меня зовут Дядек. Я хочу найти какой-нибудь способ удрать отсюда всем вместе, — я, вы, Хроно и мой лучший друг. Пока я еще ничего не придумал, но вы должны быть готовы в любую минуту, — он сунул ей ручную гранату. — Спрячьте где-нибудь, — прошептал он. — Может пригодиться в нужный момент.

Из приемной в дальнем конце коридора раздались громкие крики.

— Он сказал, что он — доверенный курьер! — кричал один голос.

— Черта лысого он курьер! — орал другой. — Он дезертир с поля боя! Кого он спрашивал?

— Да никого! Сказал, что совершенно секретно!

Залился свисток.

— Шестеро — за мной! — прокричал мужской голос. — Обыщем комнату за комнатой. Остальные — оцепить здание!

Дядек втолкнул Би вместе с гранатой в класс и закрыл дверь. Он сбросил с плеча винтовку, взял

под прицел новобранцев, стоявших с заглушками в ушах и ноздрях и заклеенными пластырем ртами.

— Только пикни, только дернись кто из вас, — сказал он, — всех перестреляю.

Рекруты, окаменевшие в своих квадратах, никак не отреагировали на эту угрозу.

Они были бледно-синего цвета.

Их грудные клетки вздымались и опадали.

Они знали и чувствовали только одно — маленькую, белую, спасательную пилюлю, растворяющуюся в двенадцатиперстной кишке.

— Куда спрятаться? — сказал Дядек. — Где выход?

Би могла и не отвечать. Прятаться было некуда. Выхода не было, если не считать дверь в коридор.

Оставалось только одно — то, что сделал Дядек. Он сорвал с себя форму, остался в линяло-зеленых шортах, сунул винтовку под скамейку, заткнул себе уши и ноздри заглушками, заклеил рот пластырем, встал в строй новобранцев.

Голова у него была бритая наголо, как у всех новобранцев. Как и у всех, у него тоже была полоска пластыря — от макушки до затылка. Он был таким никудышным солдатом, прямо из рук вон,

что доктора в госпитале снова вскрыли ему череп, чтобы проверить, не барахлит ли антенна.

Би глядела на комнату невозмутимо, как в трансе. Гранату, которую дал ей Дядек, она держала, как вазу с единственной прекрасной розой. Потом она прошла туда, где лежала винтовка Дядька, и положила гранату рядом — положила аккуратно, бережно относясь к чужому имуществу.

Потом она вернулась на свое место возле стола.

Она и не глазела на Дядька, и не избегала смотреть на него. Ей в госпитале так и сказали: ей было очень, очень плохо, и снова будет очень-очень плохо, если она не будет заниматься только своей работой, а думать и беспокоиться пусть предоставит, кому надо. Она должна была сохранить спокойствие любой ценой.

Крики и ругательства солдат, идущих с обыском от комнаты к комнате, постепенно приближались.

Би не желала ни о чем беспокоиться. Дядек, заняв место в рядах новобранцев, стал строевой единицей. С точки зрения профессиональной Би наблюдала, что его кожа становилась синей с прозеленью, а не чистого синего цвета, как полагалось. Очевидно, он принял последний дышарик

несколько часов назад — а значит, вскорости он потеряет сознание и свалится.

Если он свалится, это будет самое мирное решение всех проблем, а Би желала мира превыше всего.

Она не сомневалась, что Дядек — отец ее ребенка. В жизни всякое бывает. Она его не помнила и сейчас не делала никаких усилий, чтобы его запомнить, узнать его в следующий раз — если следующий раз будет. Он ей был совсем ни к чему.

Она отметила, что тело Дядька уже стало почти совсем зеленым. Значит, ее диагноз оправдался. Он свалится с минуты на минуту.

Би грезила наяву. Ей привиделась маленькая девочка в накрахмаленном белом платье, в белых перчатках, в белых туфельках, державшая собственного белоснежного пони. Би завидовала маленькой девочке, которая сумела сохранить такую незапятнанную чистоту.

Би пыталась догадаться, кто эта маленькая девочка.

Дядек свалился беззвучно, обмякнув, как мешок с угрями.

Дядек очнулся на койке космического корабля. Он лежал на спине. Свет в каюте слепил глаза.

Дядек начал кричать, но на него накатила такая дурнота и головная боль, что он замолк.

Он кое-как поднялся на ноги, цепляясь за алюминиевую стойку койки, чтобы не упасть. Он был совершенно один. Кто-то натянул на него его прежнюю форму.

Поначалу он подумал, что его запустили в космос.

Потом он заметил, что через открытый входной люк видна твердая земля.

Дядек выбрался наружу, и его тут же вырвало.

Он поднял слезящиеся глаза и увидел, что находится или на Марсе, или в очень похожем на Марс месте.

Была ночь.

Железная равнина была утыкана шеренгами и рядами космических кораблей.

На глазах у Дядьки шеренга кораблей длиной в пять миль оторвалась от космодрома и с музыкальным гудением уплыла в космос.

Залаяла собака — ее лай походил на удары громадного бронзового гонга.

Из ночной тьмы неторопливой рысцой выбежал пес — громадный и опасный, как тигр.

— Казак! — крикнул из темноты мужской голос. Услышав команду, пес остановился, но, скаля

длинные, влажные клыки, не давал пошевельнуться Дядьку, который стоял, прижавшись к стенке корабля.

К ним шел хозяин Казака, светя себе пляшущим лучом карманного фонарика. Подойдя к Дядьку на расстояние нескольких метров, он повернул фонарь вверх, держа его под своим подбородком. Резкий контраст света и тени превратил его лицо в дьявольскую маску.

— Привет, Дядек, — сказал он. Он выключил фонарь, встал так, чтобы на него падал свет из корабельного люка. Он был высок, пренебрежительно вежлив, на редкость самоуверен. На нем были ботинки с квадратными носами и кроваво-красная форма Воздушного десанта морской лыжной пехоты. Оружия при нем не было — только офицерский стэк длиной в один фут.

— Сколько лет, сколько зим, — сказал он. Он сдержанно улыбнулся, сложив губы сердечком. Говорил он нараспев, высоким тенором с переливами, как в песнях швейцарских горцев.

Дядек понятия не имел, кто это такой, — хотя, судя по всему, человек не только знал его, но был добрым другом.

— А знаешь, кто я, Дядек? — игриво спросил человек.

У Дядька захватило дух. Это же наверняка Стоуни Стивенсон, он самый — отважный друг, лучший друг Дядька.

— Стоуни? — прошептал он.

— Стоуни? — повторил человек. Он рассмеялся. — О, господи, сколько раз я желал быть на месте Стоуни и сколько раз мне еще захочется быть на месте Стоуни.

Земля сотряслась. В тихом воздухе закрутился смерч. Соседние корабли со всех сторон взметнулись вверх, скрылись из глаз.

Корабль Дядька теперь стоял в полном одиночестве на целом секторе железной равнины. До ближайших кораблей было теперь не меньше полумили.

— Твой полк стартовал, Дядек, — сказал человек. — А ты остался. И не стыдно тебе?

— Кто вы такой? — спросил Дядек.

— Зачем имена в военное время? — сказал человек. Он положил большую ладонь на плечо Дядька. — Эх, Дядек, Дядек, Дядек, — сказал он, — досталось же тебе!

— Кто меня сюда перенес? — спросил Дядек.

— Военная полиция, дай им бог здоровья. — сказал человек.

Дядек помотал головой. Слезы бежали у него

по щекам. Ему конец. Теперь уже нечего таить, скрывать, даже если этот человек может обречь его на жизнь или на смерть. Бедняге Дядьку было все едино, жить или умереть.

— Я… я хотел собрать всю свою семью, — сказал он. — Только и всего.

— Марс — самое гиблое место для любви, самое гиблое место для семейного человека, Дядек, — сказал человек.

Этот человек, как вы догадываетесь, был не кто иной, как Уинстон Найлс Румфорд. Он был верховным главнокомандующим Марса. Он вовсе не принадлежал к воздушным десантникам лыжной морской пехоты. Но он мог свободно выбрать любую форму, какая ему придется по вкусу, невзирая на то, что другому ради такой привилегии пришлось бы бог знает что вынести.

— Дядек, — сказал Румфорд. — Самая грустная любовная драма, жалостнее которой мне уже не узнать, разыгралась здесь, на Марсе. Хочешь послушать?

— В некотором царстве, в некотором государстве, — начал Румфорд, — жил один человек, которого переправили с Земли на Марс в летающей тарелке. Он добровольно завербовался в Марсианскую Армию и уже щеголял в яркой

форме подполковника штурмовой пехоты марсианских войск. Он чувствовал себя по-настоящему элегантным, потому что на Земле его духовно принижали, и, как всякий духовно приниженный человек, он полагал, что форма выставляет его в наилучшем виде.

— Тогда его еще не подвергали чистке памяти, и антенну ему не вставляли — но он был таким образцово-лояльным марсианином, что ему доверили командование космическим кораблем. Вербовщики придумали прозвище для таких новобранцев — этот, мол, даже свои яйца окрестил «Деймос» и «Фобос», — повествовал Румфорд. — Деймос и Фобос — так называются два спутника Марса.

— Этот подполковник, в жизни не служивший в армии, сейчас, как говорят на Земле, «_обретал_самого_себя_». Он не имел ни малейшего понятия о том, в какую переделку попал, но все же командовал остальными новобранцами и заставлял их выполнять приказы.

Румфорд поднял палец вверх, и Дядек с ужасом увидел, что палец совершенно прозрачный.

— На корабле была одна запертая офицерская каюта, куда экипажу было запрещено входить, — сказал Румфорд — Команда охотно рассказала

ему, что в этой каюте находится такая красавица, какой на Марсе еще не видывали, и что любой, кто на нее взглянет, тут же влюбится по уши. А любовь, сказали они, любого солдата, кроме кадрового ветерана, превращает в тряпку.

Новоиспеченного подполковника обидел намек на то, что он — не кадровый солдат, и он принялся развлекать команду рассказами о любовных приключениях с роскошными женщинами на Земле — хвалясь, что ни одна из них не затронула его сердце. Команда отнеслась к этому бахвальству скептически, полагая, что подполковник, во всей своей сексуальной предприимчивости, ни разу не мерялся силами с такой умной, надменной красавицей, как та, в офицерской каюте, запертой на замок.

Напускное уважение команды к подполковнику явно пошло на убыль. Остальные новобранцы почуяли это и тоже перестали его уважать. Подполковник в яркой форме почувствовал себя тем, кем он и был на самом деле, — бахвалящимся шутом. О том, как он смог бы вернуть себе потерянную честь, никто прямо не говорил, но всем до одного это было ясно. Он мог вернуть себе уважение солдат, завоевав сердце высокомерной красавицы, запертой в офицерской каюте. Он был

готов пойти на это — готов пойти на отчаянный штурм.

— Но команда, — сказал Румфорд, — продолжала делать вид, что оберегает его от любовного фиаско и разбитого сердца. Его самолюбие вскипело, оно вспенилось, как шампанское, заиграло, рванулось, вышибло пробку.

— В кают-компании устроили пирушку, — сказал Румфорд, — и подполковник напился и снова расхвастался. Он опять кричал о своем бессердечном распутстве на Земле. И вдруг он увидел, что кто-то незаметно бросил ему в стакан ключ от офицерской каюты.

— Подполковник улизнул, проник в офицерскую каюту и запер за собой дверь, — сказал Румфорд. — В каюте было темно, но в мозгу подполковника зажегся настоящий фейерверк от спиртного и от предвкушения торжества, когда он объявит кое-что за завтраком, в кают-компании.

— Он овладел женщиной в темноте, и она не сопротивлялась, потому что обессилела от ужаса и транквиллизаторов, — сказал Румфорд. — Это была безрадостная случка, которая никому не принесла удовлетворения, разве что матери-природе в ее самой грубой ипостаси.

— Подполковник почему-то не чувствовал себя героем. Он почувствовал гадливость к самому себе. По недомыслию он включил свет, втайне надеясь, что наружность женщины хоть отчасти оправдает его скотское поведение, позволит ему гордиться победой, — печально сказал Румфорд. — На койке сидела, сжавшись в комок, довольно невзрачная женщина, ей было явно за тридцать. Глаза у нее покраснели, а лицо распухло от горя и слез.

— Мало того — подполковник, оказывается был с ней знаком. Эта самая женщина, по предсказанию провидца, должна была родить от него ребенка, — сказал Румфорд. — Она была так недосягаема, так горда, когда он видел ее в последний раз, а теперь стала такой жалкой, раздавленной, что даже бессердечный подполковник растрогался.

— Подполковник впервые в жизни осознал то, чего люди в большинстве совсем не понимают, — что они не только жертвы безжалостной судьбы, а и самые жестокие орудия этой безжалостной судьбы. Эта женщина в тот раз смотрела на него, как на свинью, а теперь он сам неоспоримо доказал, что он последняя свинья.

— Как и предвидела команда, подполковник

с этой минуты и навсегда стал никудышным солдатом. Он безнадежно погряз в поисках сложнейших тактических приемов, позволявших причинить как можно меньше, а не как можно больше страданий. И если он этому научится — женщина поймет и простит его.

— Когда космический корабль достиг Марса, он подслушал отдельные реплики в госпитале Приемного Центра, из которых понял, что у него собираются отнять память. Тогда он написал самому себе первое письмо из целой серии писем, в которых он записывал то, что не хотел забывать. Первое письмо касалось женщины, которую он оскорбил.

— Он отыскал ее после чистки памяти и понял, что она его не помнит. Но он еще увидел, что она беременна, что она носит его ребенка. И с тех пор он поставил перед собой одну цель — во что бы то ни стало добиться ее любви, а через нее — и любви ее ребенка.

— И он пытался добиться этого. Дядек, — сказал Румфорд. — Неоднократно, много-много раз. И раз за разом он терпел неудачу. Но эта цель стала средоточием его жизни — может быть, потому, что сам он жил в неблагополучной семье.

— А корень всех неудач, Дядек, — сказал Рум-

форд, — был не только в неподдельной холодности женщины, но и в психиатрии, которая считала идеалы марсианского социума образцом доблести и здравого смысла. Когда этому человеку удавалось хоть немного расшевелить свою подругу, психиатрия, начисто лишенная живых чувств, тут же исправляла ее — снова делала из нее полезного члена общества.

— Оба они — и он, и его подруга — то и дело попадали в психиатрические отделения, каждый в своем госпитале. И можно найти пищу для размышлений, — сказал Румфорд, — в том, что этот до полусмерти замученный человек был единственным на Марсе писателем-философом, а эта до полусмерти замучавшая себя женщина была единственной марсианкой, написавшей настоящее стихотворение.

Боз явился к флагманскому кораблю подразделения из города Фебы — он ходил туда искать Дядька.

— Черт побери, — сказал он Румфорду. — Все взяли да и отчалили без нас? — Боз приехал на велосипеде.

Он увидел Дядька.

— Черт побери, дружище, — сказал он Дядьку, — ну, брат, и задал же ты мне хлопот! Ну и ну!

Как ты сюда-то попал?

— Военная полиция, — ответил Дядек.

— Без них никуда не попадешь, — шутливо сказал Румфорд.

— Пора нам догонять, приятель, — сказал Боз. — Ребята не пойдут на штурм без флагмана. За что им и сражаться, а?

— За честь быть первой армией, отдавшей жизнь за правое дело, — сказал Румфорд.

— Как-как? — сказал Боз.

— Да нет, ничего, — сказал Румфорд. — Вот что, ребята: залезайте в корабль, задраивайте люк и жмите на кнопку с надписью «ВКЛ.». Взлетите, как перышко. Автоматика!

— Знаю, — сказал Боз.

— Дядек, — сказал Румфорд.

— А? — с отсутствующим видом откликнулся Дядек.

— Помнишь, что я тебе сейчас рассказывал — историю про любовь? Я кое-что пропустил.

— Да? — сказал Дядек.

— Помнишь женщину в той истории — ну, ту, которая носила ребенка того человека? — сказал Румфорд. — Женщину, которая была единственным на Марсе поэтом?

— Ну и что? — сказал Дядек. Его не особенно

интересовала та женщина. Он не понял, что героиней истории, рассказанной Румфордом, была Би, была его собственная жена.

— До того, как она попала на Марс, она несколько лет была замужем, — сказал Румфорд. — Но когда наш доблестный вояка, подполковник, овладел ею в корабле, летящем на Марс, она оказалась девственницей.

Уинстон Найлс Румфорд подмигнул Дядьку, прежде чем закрыть наружную крышку входного люка.

— Хорош был ее муженек, а, Дядек? — сказал он.

Глава седьмая.
ПОБЕДА

"Есть свой резон в том, что добро должно торжествовать так же часто, как зло, Победа — в любом случае лишь вопрос организации. Если на свете есть ангелы, я надеюсь, что небесное воинство организовано по принципу Мафии".

— Уинстон Найлс Румфорд

Существует мнение, что земная цивилизация за время своего существования породила десять тысяч войн, но всего только три разумных комментария о войнах — комментарии Фукидида, Юлия Цезаря и Уинстона Найлса Румфорда.

Уинстон Найлс Румфорд так тщательно отобрал 75000 слов для своей «Карманной истории Марса», что не нужно ничего добавлять или переиначивать в истории войны Марса с Землей. Всякий, кому по ходу повествования нужно описать войну Земли и Марса, должен смиренно признать, что эта эпопея уже рассказана Румфордом с неподражаемым совершенством.

Обычно такому обескураженному историку

остается только одно: изложить историю войны самым сухим, невыразительным, самым телеграфным языком и рекомендовать читателю обратиться непосредственно к шедевру Румфорда.

Я так и поступаю.

Война между Марсом и Землей продолжалась 67 земных суток.

Нападение было совершено сразу на все народы Земли.

Земля потеряла 461 человека убитыми, 223 было ранено, 216 пропало без вести.

Марс потерял 149315 человек убитыми, 446 было ранено, 11 взято в плен, 46634 пропало без вести.

Под конец войны каждый марсианин числился убитым, раненым, попавшим в плен или пропавшим без вести.

На Марсе не осталось ни души. На Марсе не осталось ни одной целой постройки.

Три последних эшелона штурмующих Землю марсиан состояли, к ужасу землян, которые перестреляли их, не глядя, из стариков, женщин и горсточки маленьких детей.

Марсиане прилетели на Землю в самых совершенных космических кораблях из всех,

известных в Солнечной системе. И покуда с ними были настоящие командиры, управлявшие ими по радио, солдаты сражались с упорством, самоотверженностью и энергией, что волейневолей признавали все, кому пришлось с ними воевать.

Однако нередко случалось, что подразделения в воздухе или на земле лишались настоящих командиров. А стоило солдатам остаться без командиров, как они тут же становились вялыми, как сонные мухи.

Но их главная беда была в том, что вооружены они были не лучше, чем участковые полицейские в большом городе. У них было личное огнестрельное оружие, гранаты, ножи, минометы и мелкокалиберные ракетные минометы. У них не было ни ядерного оружия, ни танков, ни артиллерии среднего или тяжелого калибра, ни прикрытия с воздуха, — даже транспортных средств после приземления у них не оказалось.

Мало того — марсианские войска сами не знали, где они приземлятся. Их космические корабли управлялись автоматическими пилотирующими и навигационными устройствами — эти электронные устройства были запрограммированы инженерами на Марсе и обеспечивали приземление каждого корабля в определенной точке

земной поверхности, абсолютно не принимая во внимание сложившуюся там военную обстановку, которая могла оказаться исключительно неблагоприятной.

Находящиеся на борту имели доступ только к двум кнопкам на центральном пульте управления: одна была обозначена «ВКЛ.», другая — «ВЫКЛ.». Кнопка «ВКЛ.» просто давала сигнал к запуску с Марса. Кнопка «ВЫКЛ.» вообще ни к чему не была подсоединена. Ее поставили на пульте по настоянию марсианских психологов, которое утверждали, что человек всегда чувствует себя спокойнее, имея дело с машинами, которые можно выключить.

Война между Марсом и Землей началась с захвата земной Луны 23 апреля подразделением Марсианской имперской штурмовой пехоты в количестве 500 человек. Они не встретили сопротивления. В это время на Луне землян было немного: 18 американцев в обсерватории Джефферсона, 53 русских в обсерватории имени Ленина и четверка датчан-геологов, бродивших где-то в Море Мрака.

Марсиане по радио объявили о своем вторжении и потребовали, чтобы вся Земля сдавалась. И они, по собственному выражению, «дали Земле

отведать пекла».

Как оказалось, к немалому удовольствию землян, это адское пекло должны были создать немногочисленные ракеты, несущие каждая по двенадцать фунтов тринитротолуола.

Дав Земле «отведать пекла», марсиане объявили землянам, что им каюк.

Земляне остались при своем мнении.

За следующие двадцать четыре часа Земля выпустила 617 термоядерных ракет по Марсианскому плацдарму на Луне. 216 из них попали в цель. Эти прямые попадания не просто выжгли марсианские позиции — после этого Луна стала непригодной для обитания на ближайшие десять миллионов лет.

И по причудам войны одна шальная ракета миновала Луну и угодила в летящую к Земле группу космических кораблей, на борту которых находилось 15671 солдат Марсианской имперской штурмовой пехоты. Она покончила разом со всеми марсианскими имперскими штурмовиками.

Они носили блестящую черную форму, бриджи с наколенниками, а в голенищах — 14-дюймовые кинжалы с пилообразным лезвием. На рукавах у них были знаки различия — череп и скрещенные кости.

Их девизом были слова: «Per aspera ad astra»*.

/* Сквозь тернии к звездам (лат.). /

Девиз был тот же, что и у штата Канзас, США, Земля, Солнечная система, Млечный Путь.

Марсиане одержали единственную победу — семнадцать воздушных морских пехотинцев-лыжников захватили мясной рынок в Базеле, Швейцария.

Во всех других местах марсиан перебили, как кроликов, не дав им даже окопаться.

Любители принимали в избиении такое же участке, как и профессионалы. В битве при Бока Ратон, во Флориде, миссис Лаймен Р. Петерсон пристрелила четырех марсианских штурмовиков из мелкокалиберки своего сына. Она сняла их одного за другим, когда они вылезали из своего космического корабля, приземлившегося у нее на заднем дворе.

Ее наградили почетной медалью Конгресса, посмертно.

Кстати, марсиане, атаковавшие Бока Ратон, были однополчане Дядька и Боза — немногие, оставшиеся в живых. В отсутствие Боза, настоящего командира, они сражались, мягко говоря, без воодушевления.

Когда американские части прибыли в Бока

Ратон, чтобы принять бой, воевать было уже не с кем. Возбужденные и гордые горожане все устроили наилучшим образом. Двадцать семь марсиан болтались на фонарных столбах в деловом центре города, одиннадцать было расстреляно и один, сержант Брэкман, в тяжелом состоянии находился в городской тюрьме.

Всего в штурме принимали участие тридцать пять марсиан.

— Пришлите нам еще марсиан! — заявил Росс Л. Максуанн, мэр Бока Ратон.

Впоследствии он стал сенатором Соединенных Штатов.

Везде и повсюду марсиан убивали, убивали, убивали, пока, наконец, на Земле осталось всего семнадцать живых и здравствующих марсиан — это были те семнадцать воздушных морских пехотинцев-лыжников, которые бражничали на Мясном рынке, в Базеле, в Швейцарии. Им по громкоговорителю объявили, что положение их безнадежно, что над ними бомбардировщики, все улицы блокированы танками и гвардейской пехотой и пятьдесят батарей наведены на мясной рынок. Им предложили выйти с поднятыми вверх руками, иначе мясной рынок будет сметен с лица Земли.

— Еще чего! — заорал настоящий командир воздушных морских пехотинцев-лыжников.

Наступило небольшое затишье.

Единственный марсианский корабль-разведчик сообщил из дальнего космоса, что Земля будет еще раз атакована, и это будет ужаснее всего, что известно из анналов войны.

Земля расхохоталась и приготовилась. По всему земному шару шел веселый треск выстрелов — это любители учились стрелять из мелкокалиберного оружия.

Были изготовлены к бою новые термоядерные ракеты, а по самому Марсу выпустили девять мощнейших ракет. Одна из них попала в Марс, смела с лица планеты город Фебу и армейский лагерь. Еще две ракеты исчезли в хроно-синкластическом инфундибулуме. Остальные превратились в космический мусор.

Прямое попадание в Марс ничего не решало.

На Марсе уже никого не было — ни души.

Последние марсиане летели к Земле.

Последние марсиане наступали тремя эшелонами.

В первом были резервы армии, последние обученные солдаты, — 26119 человек, в 721 корабле.

На полземных дня позже них прибывали 86912

только что мобилизованных штатских мужчин на 1738 кораблях. Формы у них не было, из своих винтовок они успели выстрелить всего по одному разу и больше никаким оружием не владели.

Еще на полдня сзади этих несчастных ополченцев прибывали 1391 безоружная женщина и 52 ребенка, в 46 кораблях.

Это были последние люди и последние корабли с Марса.

Вдохновителем и организатором самоубийства Марса был Уинстон Найлс Румфорд.

Тщательно продуманное самоубийство Марса финансировалось доходами с капиталовложений в земельную собственность, ценные бумаги, бродвейские шоу, а также в изобретения. Ведь Румфорд видел будущее, так что для него получать прибыль было проще простого.

Марсианская казна хранилась в швейцарских банках, на счетах, обозначенных только кодовыми номерами.

Всеми марсианскими капиталовложениями заправлял один человек, он же возглавлял Марсианское ведомство по снабжению и Марсианскую секретную службу, получая указания непосредственно от Румфорда. Этим человеком был Эрл Монкрайф, старый дворецкий Румфорда. Мон-

крайф, на старости лет получивший возможность выслужиться, стал безжалостным, находчивым, даже блистательным премьер — министром Румфорда по земным делам.

Жил Монкрайф так же, как раньше.

Монкрайф скончался от старости в пристройке для прислуги, в румфордовском особняке, через две недели после окончания войны.

Лицом, несущим всю ответственность за технологическую оснащенность марсианского самоубийства, был Сэло, друг Румфорда на Титане. Сэло был посланцем с планеты Тральфамадор, что в Малом Магеллановом облаке. Сэло владел технологическими секретами цивилизации, насчитывавшей миллионы земных лет. Сэло совершил на своем космическом корабле вынужденную посадку — но все равно этот корабль, даже испорченный, был самым чудесным космическим кораблем, какой знала Солнечная система. Его корабль, за исключением предметов роскоши и излишних удобств, послужил прототипом всех марсианских кораблей. Хотя сам Сэло и не был хорошим инженером, он все же сумел снять все промеры и дать чертежи для производства копий на Марсе.

А важнее всего было то, что Сэло владел запасом

наиболее мощной энергии во всей Вселенной, ВСОС или Всемирного Стремления Осуществиться. Сэло щедро пожертвовал половину своих запасов ВСОС на самоубийство Марса.

Эрл Монкрайф, дворецкий, создал свои финансовые, снабженческие и разведывательные организации с помощью грубой силы денег и на основе глубокого понимания хитрых, злонамеренных, завистливых людей, носивших маску услужливости.

Именно такие люди с радостью брали марсианские деньги и исполняли марсианские заказы. Вопросов они не задавали. Они были благодарны за то, что им дали возможность подтачивать, как термиты, устои окружающего порядка.

Они принадлежали к самым разным слоям общества.

Упрощенные чертежи космического корабля Сэло были раздроблены на чертежи отдельных частей. Чертежи этих частей были розданы агентами Монкрайфа фабрикантам во всех странах.

Фабриканты понятия не имели, части чего они делают. Они знали одно — за это хорошо платят.

Первую сотню марсианских кораблей собрали служащие Монкрайфа, прямо на Земле. Эти корабли получили запас ВСОС, переданный

Монкрайфу Румфордом в Ньюпорте. Их тут же пустили в дело: они сновали между Землей и Марсом, перевозя машины и новобранцев на железную равнину Марса, где возводили город Фебу. Когда Фебу построили, все шестеренки и колеса вращались с помощью ВСОС, которую дал Сэло,

Румфорд заранее решил, что Марс должен потерпеть поражение в этой войне — поражение как можно более глупое и чудовищное. Предвидя будущее, Румфорд в точности знал, как это будет, — и он был доволен.

Он хотел при помощи великого и незабываемого самоубийства Марса изменить Мир к лучшему.

Вот что он пишет в своей «Карманной истории Марса»:

"Тот, кто хочет добиться серьезных перемен в Мире, должен уметь устраивать пышные зрелища, безмятежно проливать чужую кровь и ввести привлекательную новую религию в тот короткий период раскаяния и ужаса, который обычно наступает после кровопролития.

— Любую неудачу земных вождей можно отнести за счет отсутствия у вождя, — говорит Румфорд, — по меньшей мере одного из этих трех качеств.

— Хватит с нас бесконечных фиаско разных диктатур — в которых миллионы гибнут ни за что, ни про что! — говорит Румфорд. — Давайте для разнообразия организуем под предводительством выдающегося полководца смерть немногих за великое дело".

Румфорд собрал этих немногих на Марсе и он сам был их превосходным вождем.

Он умел устраивать зрелища.

Он был готов совершенно спокойно проливать чужую кровь.

И у него была в запасе очень привлекательная новая религия, которую он собирался ввести после войны.

У него были и свои методы, чтобы продлить тот период раскаяния и ужаса, который настанет после войны. Все это были вариации на одну тему: славная победа Земли над Марсом была не чем иным, как подлым избиением практически безоружных святых, которые объявили беспомощную войну Земле, чтобы объединить все народы этой планеты в единое Человеческое Братство.

Женщина по имени Би и ее сын Хроно были в самом последнем эшелоне марсианских кораблей, в последней волне, докатившейся до Земли.

Собственно говоря, это была маленькая волнишка, состоявшая всего из сорока шести кораблей.

Остальные космические корабли марсиан уже приземлились — на верную смерть.

Эту последнюю волну, или волнишку, увидели с Земли.

Но в нее не полетели термоядерные ракеты. Их больше не осталось, стрелять было нечем.

Они все вышли.

Так что волнишка дошла до Земли беспрепятственно. Она разлилась по лицу Земли.

Немногие счастливчики — земляне, которым повезло — нашлись еще марсиане, которых можно было перестрелять! — палили в свое удовольствие, пока не заметили, что стреляют в безоружных женщин и детей.

Славная война закончилась.

А за ней, как и планировал Румфорд, грядет горький стыд.

В корабль, на котором летели Хроно, Би и еще двадцать две женщины, никто не стрелял. Он приземлился в стороне от цивилизованных стран.

Он разбился в тропических лесах Амазонки, в Бразилии.

Остались в живых только Би и Хроно.

Хроно выбрался наружу, поцеловал свой талисман.

В Дядька и Боза тоже никто не стрелял.

Когда они нажали кнопку «ВКЛ.», с ними произошли очень странные вещи. С Марса они стартовали, но нагнать своих, как они надеялись, им так и не удалось.

Им не удалось увидеть ни одного космического корабля.

Объяснялось все это просто, хотя некому было объяснить это им: Дядек и Боз вовсе не должны были попасть на Землю — во всяком случае, не сразу.

Румфорд настроил пилота-навигатора так, чтобы сначала корабль доставил Дядька и Боза на Меркурий, а уж потом — с Меркурия на Землю.

Румфорд не хотел, чюбы Дядька убили на войне.

Румфорд хотел, чтобы Дядек отсиделся в спокойном месте годика два.

А потом Румфорд планировал явление Дядька на Земле, планировал чудо.

Румфорд приберегал Дядька для главной роли в мистерии, которую Румфорд намеревался поставить во славу своей новой религии.

Дядек и Боз чувствовали себя ужасно одиноко

в космосе и ничего не понимали. Смотреть было не на что, делать было нечего.

— Черт побери, Дядек, — сказал Боз. — Вот бы узнать, где сейчас наши ребята!

Ребята почти в полном составе висели на фонарях в деловом центре городка Бока Ратон.

Электронный пилот-навигатор автоматически управлял и освещением каюты — не говоря о прочих вещах: он поддерживал искусственный суточный ритм — земные дни и ночи, дни и ночи, дни и ночи.

Читать на борту было нечего, кроме двух комиксов, которые забыли технари с космодрома. Это были истории в картинках: «Чикчирик и Сильвестр»– про канарейку, которая довела кота до безумия, и «Отверженные»– про человека, который украл золотые подсвечники у священника, который его приютил.

— На что ему были эти подсвечники, Дядек? — спросил Боз.

— Провалиться мне, если я знаю, — сказал Дядек. — Да и плевать я на это хотел.

Пилот-навигатор только что вырубил свет в каюте, таким образом обозначив наступление ночи.

— Ты на все плевать хотел, а? — сказал Боз в

темноте.

— Точно, — сказал Дядек. — Я плевать хотел даже на ту штуку, что у тебя в кармане.

— А что у меня в кармане? — сказал Боз.

— Штука, которой можно насылать боль, — сказал Дядек. — Штука, которая заставляет людей делать то, что ты хочешь.

Дядек слышал, как Боз что-то проворчал, потом тихонько застонал в кромешной тьме. Он понял, что Боз только что нажал кнопку на этой коробочке у себя в кармане, кнопку, которая должна была сразить Дядька наповал.

Дядек затаился, замер.

— Дядек? — позвал Боз.

— Чего? — сказал Дядек.

— Ты _тут_, дружище? — потрясенный, сказал Боз.

— А где же мне еще быть? — сказал Дядек. — Ты думал, что я испарился?

— И ты в порядке, дружище? — сказал Боз.

— В полном порядке, дружище, — сказал Дядек. — А почему бы и нет? Прошлой ночью, пока ты спал, дружище, я вынул эту хреновину у тебя из кармана, дружище, и вскрыл ее, дружище, и выпотрошил из нее всю начинку, дружище, и набил ее туалетной бумагой. А сейчас я сижу на

своей койке, дружище, и винтовка у меня заряжена, дружище, и я держу тебя на мушке, дружище, так что скажи на милость, что ты теперь собираешься делать, черт побери?

Румфорд материализовался на Земле, в Ньюпорте, дважды за время войны Марса с Землей — в первый раз сразу же после начала войны, во второй — в последний день войны Ни он, ни его пес тогда еще не имели отношения к новой религии. Они были просто аттракционом для туристов.

Держатели закладных на румфордовское имение сдали его внаем организатору платных зрелищ, Мэрлину Т. Лаппу. Лапп продавал билеты на материализации по доллару за штуку.

Смотреть-то было почти не на что, кроме материализации и дематериализации Румфорда и его пса. Румфорд не говорил ни слова ни с кем, кроме Монкрайфа, дворецкого, да и то шептал ему на ухо. Он обычно сваливался, как куль, в кресло в Музее Скипа, в комнате под лестницей. Он мрачно прикрывал одной рукой глаза, а пальцы другой руки переплетал с цепью-удавкой на шее Казака.

Румфорда и Казака в программе называли «призраками».

Снаружи, под окном маленькой комнаты, был построен помост, и дверь в коридор была снята с петель. Зрители имели возможность двигаться двумя потоками, успевая бросить взгляд на человека и собаку, угодивших в хроно-синкластический инфундибулум.

— Сдается мне, что он не очень-то разговорчив сегодня, друзья, — привычно вещал Мэрлин Т. Лапп. — Вы поймите — ему есть над чем задуматься. Он же не весь с нами, друзья. Его вместе с собакой размазало по всей дороге от Солнца до Бетельгейзе.

До последнего дня войны все мизансцены и шумовое оформление устраивал Мэрлин Т. Лапп.

— По-моему, это просто чудесно, что все вы, друзья мои, в столь знаменательный в истории мира день пришли сюда смотреть на этот замечательный культурновоспитательный и научный экспонат, — говорил Лапп в последний день войны.

— Если этот призрак когда-нибудь заговорит, — сказал Лапп, — он расскажет нам о чудесах в прошлом и будущем и о таких вещах, которые Вселенной еще и не снились. Мне остается только надеяться, что кое-кому из вас сказочно повезет и вы окажетесь здесь в ту минуту, когда он сочтет,

что пора поведать нам обо всем, что он знает.

— Пора, — сказал Румфорд замогильным голосом. — Давно пора, — сказал Уинстон Найлс Румфорд.

— В этой войне, которая сегодня завершилась победой, восторжествовали только святые мученики, которые ее проиграли. Эти святые были земляне, такие же, как и вы. Они улетели на Марс, начали войну, обреченную на провал, и с радостью отдали свои жизни, чубы земляне наконец соединились в один народ — гордый, полный радости и братской любви.

— Умирая, они желали, — сказал Румфорд, — не райского блаженства для себя, а лишь одного: чтобы воцарилось навечно Братство всех народов Земли.

— Ради этой высокой цели, к которой мы должны стремиться всей душой, — сказал Румфорд, — я принес вам слово о новой религии, которую каждый землянин с восторгом примет в самые заветные уголки своего сердца.

— Границы между государствами, — сказал Румфорд, — исчезнут.

— Жажда воевать, — сказал Румфорд, — умрет.

— Вся зависть, весь страх, вся ненависть — умрут, — сказал Румфорд.

— Новая религия, — сказал Румфорд, — будет называться Церковью Бога Всебезразличного.

— Знамя этой Церкви будет голубое с золотом, — сказал Румфорд, — на знамени будут золотом по голубому фону начертаны вот какие слова: ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЛЮДЯХ, А ВСЕМОГУЩИЙ САМ О СЕБЕ ПОЗАБОТИТСЯ.

— Учение этой религии будет опираться на два догмата, — сказал Румфорд, — а именно: жалкие, ничтожные люди ничем не в силах порадовать Всемогущего Бога, а счастье и несчастье — вовсе не перст божий.

— Почему вы должны принять эту веру и предпочесть ее всем другим? — сказал Румфорд. — Вы должны принять ее потому, что я, основатель этой религии, могу творить чудеса, а главы других церквей — не могут. Какие чудеса я могу творить? Я могу абсолютно точно предсказать, что ждет вас в будущем.

Вслед за тем Румфорд предсказал пятьдесят событий, которым предстоит свершиться, до мельчайших подробностей.

Эти предсказания были тщательно записаны всеми присутствующими.

Стоит ли говорить, что все они, одно за другим, сбылись — до мельчайших подробностей.

— Учение новой религии поначалу может показаться слишком сложным и непостижимым, — сказал Румфорд. — Но с течением времени оно станет прекрасным и кристально ясным.

— Для начала, пока вам еще не все понятно, я расскажу вам притчу:

— Во время оно Случайность так подстроила события, что младенец по имени Малаки Констант родился самым богатым ребенком на Земле. В тот же день Случайность подстроила события так, что слепая бабуся наступила на роликовую доску на верхней площадке каменной лестницы, лошадь полицейского наступила на обезьянку шарманщика, а отпущенный под честное слово грабитель банков нашел почтовую марку стоимостью в девятьсот долларов на дне сундука у себя дома на чердаке. Я вас спрашиваю: разве Случайность — это перст божий?

Румфорд поднял кверху указательный палец, просвечивающийся, как чашечка лиможского фарфора.

— В следующее мое пришествие к вам, братья по вере, — сказал он, — я расскажу вам притчу о людях, которые думают, что творят волю своего Господа Бога, а пока, чтобы лучше понять эту притчу, постарайтесь прочесть все, что сможете

достать, про испанскую инквизицию.

— В следующий раз, когда я приду к вам, — сказал Румфорд, — я принесу вам Библию, исправленную и пересмотренную, чтобы придать ей новый смысл в совреном мире. И я принесу вам «Краткую историю Марса», правдивую историю о святых, которые отдали жизнь за то, чтобы на Земле воцарилось всемирное Братство Человечества. Эта история разобьет сердце всякого человеческого существа, у которого есть еще сердце, способное разбиться.

Румфорд и его пес внезапно дематериализовались.

В космическом корабле, летящем с Марса на Меркурий, в корабле, на борту которого были Дядек и Боз, автоматический пилот-навигатор опять включил день.

Это был рассвет на исходе той ночи, когда Дядек сказал Бозу, что штука, которую Боз таскает в кармане, больше никому и никогда не причинит вреда.

Дядек спал на своей койке, сидя. Винтовка Маузера, заряженная, со взведенным курком, лежала у него на коленях.

Боз не спал. Он лежал на своей койке, напротив Дядька, у другой стенки каюты. Боз всю ночь не

сомкнул глаз. И сейчас он мог, если бы захотел, обезоружить и убить Дядька.

Но Боз рассудил, что напарник нужен ему куда больше, чем средство заставлять людей делать то, что ему угодно. За эту ночь он, по правде говоря, перестал понимать, что именно ему угодно.

Не знать одиночества, не знать страха — вот что, решил Боз, самое главное в жизни. И настоящий друг, напарник тут нужнее всего на свете.

В каюте раздался странный, шелестящий звук, похожий на кашель. Это был смех. Смеялся Боз. А звучал этот смех так странно потому, что Боз никогда прежде так не смеялся — никогда не смеялся над тем, над чем смеялся сейчас.

Он смеялся над тем, как он грандиозно влип — как он всю дорогу в армии прикидывался, что отлично понимает все на свете, и что все на свете устроено отлично — лучше некуда.

Он хохотал над тем, что дал себя облапошить, как последний дурак, — бог знает кому, и бог знает зачем.

— Негодники божии, дружище, — сказал он вслух, — что это мы делаем тут, в космической глубинке? С чего это мы вырядились в эту форму? Кто этой дурацкой штуковиной управляет? Как нас угораздило влезть в эту консервную банку? С

чего это нам непременно надо стрелять в кого-то, как только нас доставят на место? И с чего это ему непременно понадобится нас подстрелить? И на кой черт? — сказал Боз. — Дружище, — сказал он, — скажи ты мне, ради бога, на кой черт?

Дядек проснулся, мгновенно направил свой маузер на Боза.

Боз продолжал смеяться. Он вынул коробочку дистанционного управления из кармана и швырнул ее на пол.

— Не нужна она мне, дружище, — сказал он. — Правильно сделал, что взял да и выпотрошил ее. Она мне ни к чему.

И вдруг он заорал во весь голос:

— Ни к чему мне вся эта липовая дешевка!

Глава восьмая.
ГОЛЛИВУДСКИЙ НОЧНОЙ РЕСТОРАН

"ГАРМОНИУМ — единственная известная нам форма жизни на планете Меркурий. Гармониумы

— обитатели пещер. Более обаятельные существа трудно себе вообразить".

— Детская энциклопедия чудес и самоделок

Планета Меркурий певуче звенит, как хрустальный бокал. Она звенит всегда.

Одна сторона Меркурия повернута к Солнцу. Эта сторона всегда была обращена к Солнцу. Эта сторона — океан раскаленной добела пыли.

Другая сторона Меркурия обращена в бесконечную пустоту вечного пространства. Та сторона всегда была обращена в бесконечную пустоту вечного пространства. Та сторона одета порослью гигантских голубовато-белых, обжигающе-ледяных кристаллов.

Напряжение, создаваемое разницей температур между раскаленным полушарием, где царит венный день, и ледяным полушарием, где царит вечная ночь, и рождает эту музыку — песнь

Меркурия.

Меркурий лишен атмосферы, так что его песнь воспринимается не слухом, а осязанием.

Это протяжная песнь. Меркурий тянет одну ноту долго, тысячу лет по земному счету. Некоторые считают, что эта песнь когда-то звучала в диком, зажигательном ритме, так что дух захватывало от бесконечных вариаций.

В глубине меркурианских пещер обитают живые существа.

Песнь, которую поет их родная планета, нужна им, как жизнь, — эти существа питаются вибрациями. Они питаются механической энергией.

Существа льнут к поющим стенам своих пещер.

Так они поглощают звуки Меркурия.

В глубине меркурианских пещер уютно и тепло.

Стены пещер на большой глубине фосфоресцируют. Они светятся лимонно-желтым светом.

Существа, обитающие в пещерах, прозрачны. Когда они прилипают к стенам, светящиеся стены просвечивают сквозь них. Но, проходя через их тела, желтый свет превращается в яркий аквамарин.

ПРИРОДА ПОЛНА ЧУДЕС!

Эти пещерные существа очень напоминают маленьких, мягких, лишенных каркаса воздушных змеев. Они ромбовидной формы и во взрослом состоянии достигают фута в длину и восьми дюймов в ширину.

Что касается толщины, то они не толще, чем оболочка воздушного шарика.

У каждого существа четыре слабеньких присоски — по одной на каждом уголке. При помощи этих присосок они могут переползать, подчас точь-в-точь, как пяденицы, и держаться на стене, и нащупывать местечки, где песня Меркурия особенно аппетитна.

Отыскав место, где можно попировать на славу, существа прилепляются к стене, как мокрые обои.

Никаких систем пищеварения или кровообращения существам не нужно. Они такие тонкие и плоские, что животворящие вибрации заставляют трепетать каждую клеточку непосредственно.

Выделительной системы у этих существ тоже нет.

Размножаются существа, расслаиваясь. Потомство просто осыпается с родителя, как перхоть.

Все они одного пола.

Каждое существо просто отделяет себе подобных, как чешуйки, и они похожи как на него, так и на всех других.

Детства у них практически нет. Каждая чешуйка начинает расслаиваться через три часа после того, как отслоилась сама.

Они не знают, что значит достигать зрелости, а потом дряхлеть и умирать. Они достигают зрелости и живут, так сказать, в полном расцвете сил, пока Меркурий благоволит петь свою песнь.

Ни у одного существа нет возможности причинить вред другому, да и поводов для этого у них нет.

Им совершенно неведомы голод, зависть, честолюбие, страх, ярость и похоть. Ни к чему им все это.

Существа обладают только одним чувством: осязанием.

У них есть зачатки телепатии. Информация, которую они способны передавать и получать, такая же незамысловатая, как песнь Меркурия. У них всего два воэможных сообщения. Причем первое-автоматический ответ на второе, а второе-автоматический ответ на первое.

Первое: «Вот и я, вот и я, вот и я!»

А второе: «Как я рад, как я рад, как я рад!»

Последняя особенность этих существ, которую так и не удалось объяснить с точки зрения «презренной пользы»: они очень любят скадываться в чудесные узоры на светящихся стенах.

Хотя сами они слепые и не работают на зрителя, они часто распределяются на стене так, что образуют правильный и ослепительно-яркий узор из лимонно-желтых и аквамариновых ромбиков. Желтым светятся голые участки стен. А аквамариновый — это свет стен, просвечивающий через тела существ.

За любовь к музыке и за трогательное стремление строить свою жизнь по законам красоты земляне нарекли их прекрасным именем.

Их называют _гармониумы_.

Дядек и Боз совершили посадку на темной стороне Меркурия, через семьдесят девять земных дней после старта с Марса. Они не знали, что планета, на которую они сели, — Меркурий.

Солнце показалось им ужасно большим.

Но это не помешало им думать, что они опускаются на Землю.

Во время резкого торможения они потеряли сознание. Теперь они пришли в себя и стали жертвами несбыточной, прекрасной иллюзии.

Дядьку и Бозу показалось, что они медленно

приземляются среди небоскребов, в небе, где шарят, играя, лучи прожекторов.

— Стрельбы не слыхать, — сказал Боз. — Может, война уже кончилась, или еще не начиналась.

Веселые снопы света, играющие перед их глазами, были вовсе не от прожекторов. Эти лучи отбрасывали высокие кристаллы, стоящие на границе светлого и темного полушарий Меркурия. Лучи Солнца, падая на эти кристаллы, преломлялись, как в призмах, и пронизывали тьму, натыкаясь на другие кристаллы, а те посылали их еще дальше.

Так что вовсе не трудно вообразить, что это лучи прожекторов, весело сплетающиеся над городом какой-то очень высокоцивилизованной расы. Было легко принять густой лес гигантских голубовато-белых кристаллов за строй головокружительно высоких небоскребов невиданной красоты.

Дядек стоял у иллюминатора и тихонько плакал. Он плакал о любви, о семье, о дружбе, о правде, о цивилизации. Эти понятия, которые заставили его плакать, были для него одинаково абстрактными, потому что память могла подсказать ему очень немногое — ни лиц, ни событий, которых хватило бы на постановку мистерии в

его воображении.

Понятия стучали у него в голове, как сухие кости. «_Стоуни_ _Стивенсон, _друг… _Би, _жена… _Хроно, _сын… _Дядек, _отец… _»

Ему в голову пришло имя Малаки Констант, но он не знал, что с ним делать.

Дядек предался грезам вне образов, преклоняясь перед какимито чудесными людьми, перед той замечательной жизнью, которая создала эти величественные строения, озаренные мелькающими лучами прожекторов. Здесь-то, без сомнения, все семьи, лишенные лиц, все близкие друзья, все безымянные надежды расцветут, как -

Дядек не умел найти сравнения.

Он вообразил себе удивительный фонтан, в виде конуса, состоящего из чаш, диаметр которых книзу все увеличивался. Но он никуда не годился. Фонтан был пересохший, разоренные заброшенные птичьи гнезда валялись тут и там. У Дядька заныли кончики пальцев, как будто ободранных о края сухих чаш.

Этот образ никуда не годился.

Дядек снова постарался и вообразил трех прекрасных девушек, которые манили его к себе, он видел их через блестящий от масла ствол своей

винтовки-маузера.

— Ну, брат! — сказал Боз. — Все спят — только спать им недолго осталось! — он говорил нараспев, и глаза у него сверкали. — Когда старина Боз и старина Дядек пустятся в разгул, вы все проснетесь, и больше вам не уснуть!

Пилот-навигатор управлял кораблем артистически, Автомат нервозно переговаривался сам с собой — жужжал, стрекотал, щелкал, гудел. Он ощущал и облетал препятствия, выискивая внизу идеальное место для посадки.

Конструкторы преднамеренно вложили в пилота-навигатора навязчивую идею, которая заставляла его во что бы то ни стало искать надежное убежище для драгоценной живой силы и материальных ценностей, которые нес корабль. Пилот-навигатор должен был доставить драгоценную живую силу и материальные ценности в самое глубокое укрытие, какое сумеет найти. Предполагалось, что посадка будет производиться под огнем противника.

Двадцать минут спустя пилот-навигатор все так же болтал сам с собой — ему, как всегда, было о чем поговорить.

А корабль все падал, и падал стремительно.

Призрачные прожектора и небоскребы скры-

лись из виду. Кругом воцарилась кромешная тьма.

Внутри корабля царило почти такое же непроницаемое безмолвие.

Дядек и Боз понимали, что с ними происходит, — хотя пока не могли найти нужные слова.

Они совершенно правильно понимали, что их заживо хоронят.

Корабль внезапно перекосило, и Дядек с Бозом полетели на пол.

Этот резкий рывок принес мгновенное облегчение.

— Наконец-то мы дома! — заорал Боз. — С прибытием домой!

Но тут снова началось ужасное, как во сне, падение, похожее на полет сухого листа.

Прошло еще двадцать земных минут, а корабль все еще тихо падал.

Толчки участились.

Чтобы не пострадать от толчков, Боз и Дядек забрались на койки. Они лежали лицом вниз, держась за стальные трубки — крепления коек.

В довершение всех несчастий пилот-навигатор решил, что пора устроить в кабине ночь.

Корабль задрожал, заскрежетал, и Дядек и Боз оторвали лица от подушек и взглянули в сторону

иллюминаторов. Сквозь иллюминаторы сочился снаружи неяркий желтоватый свет.

Дядек и Боз завопили от радости, рванулись к иллюминаторам. Но не успели они добраться до иллюминаторов, как их снова швырнуло на пол — корабль обошел препятствие и продолжал падать.

Через одну земную минуту падение прекратилось.

Пилот-навигатор тихонько щелкнул. Доставив свой груз в целости и сохранности с Марса на Меркурий, он, согласно инструкции, выключился.

Он доставил свой груз на дно пещеры глубиной в сто шестнадцать миль. Он пробирался через запутанные пропасти и колодцы, пока не уперся в дно.

Боз первым добрался до иллюминатора, выглянул и увидел россыпь желтых и аквамариновых ромбов, веселую иллюминацию, которую гармониумы устроили в их честь.

— Дядек! — сказал Боз. — Чтоб мне лопнуть, если нас не доставили прямехонько в голливудский ночной ресторан!

Здесь надо вспомнить о дыхательной методике Шлиманна, чтобы в полной мере понять все, что произошло дальше. Дядек и Боз, находясь

в кабине при нормальном давлении, получали кислород из дышариков, через тонкий кишечник. Но при нормальном давлении не было необходимости затыкать уши и ноздри и держать рот закрытым. Пользоваться заглушками полагалось только в ваккуме или в ядовитой атмосфере.

Боз был уверен, что за стенками космического корабля — полноценная атмосфера его родной Земли.

А на самом деле там не было ничего, кроме вакуума.

Боз распахнул внутреннюю и наружную двери воздушного шлюза с великолепной беспечностью, в надежде на то, что снаружи — благодатный воздух Земли.

За это он тут же поплатился — небольшое количество воздуха, находившееся в корабле, с шумом вырвалось в вакуум снаружи.

Боз сумел захлопнуть внутреннюю дверь, но не раньше, чем оба они, разинув рот в радостном крике, едва не захлебнулись кровью.

Они свалились на пол, а кровотечение продолжалось.

Спасло их только одно: полностью автоматизированная система жизнеобеспечения, которая ответила на этот взрыв другим взрывом и снова

создала в каюте нормальное атмосферное давление.

— Мама, — сказал Боз, придя в себя. — Будь я проклят, мама, только это не Земля, и все тут.

Дядек и Боз не поддались панике.

Они для восстановления сил поели, попили, отдохнули и заправились дышариками.

Потом они заткнули себе уши и ноздри, запечатали рты и исследовали ближайшие окрестности. Они выяснили, что их гробница глубока, похожа на лабиринт — бесконечный, безвоздушный, безлюдный, — во всяком случае, в нем не обитает ни одно существо, хоть отдаленно напоминающее человека, и он вообще непригоден для обитания существ, хотя бы отдаленно напоминающих человека.

Они заметили гармониумов, но присутствие этих существ им нисколько не прибавило духу. Существа нагоняли на них жуть.

Дядек и Боз не могли поверить, что угодили в такую западню. Они просто не желали верить, и это спасло их от паники.

Они возвратились в свой корабль.

— О-кей, — невозмутимо сказал Боз. — Что-то не сработало. Мы забрались в самую глубь земли. Надо нам выбираться наверх, к тем небоскребам.

Честно скажу тебе, Дядек, сдается мне, что мы вовсе не на Землю попали. Не сработало что-то, понимать, придется нам порасспросить людей там, наверху, — куда это нас занесло.

— 0-кей, — сказал Дядек. Он облизнул сухие губы.

— Жми на кнопку, — сказал Боз, — и полетим вверх, как птички!

— 0-кей, — сказал Дядек.

— Понимаешь, — сказал Боз, — там, наверху, люди, может, и _не_ _ведают_, что здесь, внизу, творится. Может, мы открыли что-то, от чего они прямо _обалдеют_.

— Точно, — сказал Дядек. На душе у него лежала многокилометровая толща камня. И в душе он чувствовал, какая беда на них свалилась. Во все стороны уходили бесчисленные лабиринты ходов. Ходы ветвились, потом раздваивались на более узкие, а те разбегались на трещинки не шире пор на коже человека.

Душа Дядька безошибочно чувствовала, что даже один ход из десяти тысяч не доходит до самой поверхности.

Космический корабль был оснащен такой изумительно совершенной сенсорной аппаратурой, что без труда нащупал свой путь вниз, все вниз

и вниз, пробрался одним из немногочисленых входов — вниз, все вниз и вниз по одному из немногих выходов, ведущих наружу.

Но душа Дядька и не подозревала, что, когда дело доходит до подъема вверх, пилот-навигатор туп, как пробка. Авторы проекта как-то не задумывались о том, что кораблю придется выбираться откуда-то вверх. Все марсианские корабли были рассчитаны на однократный взлет с просторных космодромов Марса, а после прибытия на Землю их просто бросали. Так и вышло, что на корабле практически не было сенсорной автоматики для движения вверх.

— Счастливо оставаться, пещерка, — сказал Боз.

Дядек с небрежной уверенностью нажал кнопку «ВКЛ.».

Пилот-навигатор загудел.

Через десять земных секунд пилот-навигатор разогрелся.

Корабль легко, почти бесшумно отделился от пола, задел за стену, с душераздирающим воем и скрежетом пропахал бортом борозду вверх, ударился куполом о выступ в потолке, отступил, снова попытался пробить куполом потолок, сдал назад, отколол выступ, с негромким шепотом по-

лез вверх. И тут же снова раздался скрежещущий рев — на этот раз со всех сторон.

Путь вверх был закрыт.

Корабль заклинился в непроходимой скале.

Пилот-навигатор горестно подвывал.

Он выпустил сквозь деревянный пол кабины облачко горчичного дыма.

Пилот-навигатор замолк.

Он перегрелся, а это служило для пилота-навигатора сигналом, что корабль попал в безнадежное положение и его надо спасать. Что он и продолжал делать с тупым упорством. Стальные конструкции стонали. Заклепки отлетали со звуком винтовочных выстрелов.

Наконец корабль высвободился.

Пилот-навигатор знал, что его возможности исчерпаны.

Он мягко, с легким чмоканьем, вроде поцелуя, посадил корабль на пол пещеры.

Пилот-навигатор выключился.

Дядек снова нажал кнопку «ВКЛ.».

Корабль снова рванулся в тупик, снова отступил, снова опустился на пол и выключился.

Это повторилось раз десять, пока не стало совершенно ясно, что корабль только расколотит себя на куски, и больше ничего. Он и так уже

здорово помял свою обшивку.

Когда корабль сел на пол в двенадцатый раз, Дядек с Бозом совсем отчаялись. Они заплакали.

— Пропали мы, Дядек! — сказал Боз. — Кончена жизнь!

— А у меня никакой жизни и не было, если вспомнить, — убитым голосом сказал Дядек. — Я-то надеялся что хоть под конец немного поживу по-человечески.

Дядек отошел к иллюминатору, посмотрел наружу сквозь слезы, застилавшие глаза.

Он увидев, что перед самым илюминатором существа образовали на аквамариновом фоне четкую, бледно желтую букву Т.

Эта буква Т, образовайная существами, лишенными мозга и расползающимися в случайных сочетаниях, еще была в пределах вероятности. Но тут Дядек заметил, что перед Т стоит четкое С. А перед ней стоит Е, выписанное, как по трафарету.

Дядек наклонил голову, глянул наискось через иллюминатор. Ему стала видна кишащая гармониумами стена, примерно футов на сто в одну сторону.

Дядек окаменел от изумления: гармониумы сверкающими буквами написали на стене целую

фразу!

Вот эта фраза, начертанная бледно-желтыми буква ми на аквамариновом фоне:

ТЕСТ НА ЖИВОСТЬ УМА!

Глава девятая.
ЗАГАДКА РЕШЕНА

"В начале Бог стал Небом и стал Землей... И сказал Господь: "Да буду Я светом", и стал Он светом".
— "Авторизованная Библия с поправками" Уинстона Найлса Румфорда
"К чаю рекомендую подать нежных молодых гармониумов, свернутых в трубочку, с начинкой из венерианского творога".
— "Галактическая поваренная книга" Беатрисы Румфорд
"Если говорить о душах, то марсианские мученики погибли не тогда, когда напали на Землю, а гораздо раньше — когда их завербовали в армию Марса".
— "Карманная история Марса" Уинстона Найлса Румфорда
"Я нашел место, где могу творить добро, не причиняя никакого вреда"
— Боз, в книге Сары Хори Кэнби "Дядек и Боз в пещерах Меркурия"
В недавние времена среди бестселлеров пер-

вое место занимала «Авторизованная Библия с поправками» Уинстона Найлса Румфорда. Лишь слегка уступала ей в популярности забавная подделка — «Галактическая поваренная книга» Беатрисы Румфорд. Третьей была «Карманная история Марса» Уинстона Найлса Румфорда. А четвертой из самых популярных книг была детская книжка «Дядек и Боз в пещерах Меркурия», написанная Сарой Хорн Кэнби.

На суперобложке издатель поместил свое сладенькое объяснение популярности книги миссис Кэнби: «Какой же мальчишка не мечтает о космическом кораблекрушении, если в корабле полно бифштексов, сосисок, кетчупа, спортивного инвентаря и лимонада?»

Доктор Френк Майнот в своей статье «А если взрослые — гармониумы?» высказывает более мрачную гипотезу о подоплеке любви детей к этой книжке. «Осмелимся ли мы представить себе, — спрашивает он, — насколько положение Дядька и Боза напоминает ежедневные переживания детей, — ведь Дядьку и Бозу приходится вежливо и с уважением относиться к существам, по сути своей непредсказуемым, бесчувственным и нудным». Приводя параллель между родителями и гармониумами, Майнот исходит

из сложившихся у Дядьки и Боза отношений с гармониумами. Гармониумы писали на стенах послания, внушающие надежду или полные скрытой издевки, — раз в четырнадцать земных суток, в течение трех лет. Само собой разумеется, послания писал Уинстон Найлс Румфорд, материализуясь ненадолго на Меркурии каждые четырнадцать суток. В одних местах он отлеплял гармониумов, в других — нашлепывал их на стену, выписывая громадные буквы.

О том, что Румфорд временами бывал в пещере, в сказке миссис Кэнби впервые упоминается под конец — в сцене, когда Дядек видит на пыльной земле отпечатки лап громадной собаки.

И в этом месте сказки взрослый, если он читает книгу вслух ребенку, должен обязательно спросить малыша таинственным свистящим шепотом: «А кто был этот пес-с-с-с?»

Этот пес-с-с-с был Казак. Это был громадный, злющий-презлющий пес-с-с-с дяденьки Уинстона Найлса Румфорда, прямо из хроносинкластического инфундибулума.

Дядек и Боз пробыли на Меркурии три земных года, когда Дядек заметил следы Казака в пыли в одном из коридоров. Меркурий вместе с Дядьком и Бозом уже двенадцать с половиной раз обер-

нулся вокруг Солнца.

Дядек нашел следы на полу коридора, находившегося на шесть миль выше пещеры, где покоился избитый, исцарапанный космический корабль, застрявший в толще горных пород. Дядек, как и Боз, покинул корабль. Корабль служил просто кладовкой, куда Дядек и Боз ходили за припасами примерно раз в месяц по земному счету.

Дядек и Боз почти не встречались. Они вращались, так сказать, в совершенно разных кругах.

Круг Боза был ограничен. Он жил постоянно в одном месте, в роскошной обстановке. Его жилье находилось на том же уровне, где лежал корабль, и всего в четверти мили от него.

Дядек двигался по широким, уводящим вдаль кругам, ему не сиделось на месте. Жилья у него не было. Он странствовал налегке и далеко, взбираясь все выше и выше, пока не добрался до холодной зоны. Холод остановил Дядька там же, где остановил и гармониумов. В верхних горизонтах, где бродил Дядек, гармониумы встречались редко, и то какие-то полудохлые.

На благоприятном нижнем уровне, где обитал Боз, гармониумы процветали и образовывали громадные скопления.

Дядек и Боз расстались, прожив вместе один

земной год в космическом корабле. За этот первый год они окончательно убедились в том, что, если кто-то не явится и не вызволит их, им отсюда не выбраться.

Им обоим это было совершенно ясно, несмотря на то, что существа продолжали писать на стенах послания, утверждающие, что Дядек и Боз подвергнуты честному и справедливому испытанию, что выбраться отсюда им ничего не стоит, надо только хорошенько подумать, пошевелить мозгами.

«ДУМАЙТЕ!»– то и дело писали существа.

Дядек и Боз расстались после того, как на Дядька накатил приступ временного безумия. Дядек пытался убить Боза. Боз влез в космический корабль, показал Дядьку гармониума, как две капли воды похожего на всех остальных, и сказал:

— Посмотри, какой симпатяга, а, Дядек?

Дядек бросился душить Боза.

К тому времени, когда Дядек обнаружил следы собаки, он ходил совершенно голый. Черные сапоги из искусственной кожи и зеленоватая форма Марсианской штурмовой пехоты истерлись в пыль и прах о камни пещер.

Дядек вовсе не обрадовался, увидев собачьи следы. И душа Дядька не наполнилась бравурной

музыкой от предвкушения встречи, и не вспыхнула светом надежды, когда он увидел следы теплокровного существа — следы лучшего друга человека. И он был так же мало тронут, когда к следам собаки присоединились следы человека в добротных ботинках.

Дядек был не в ладах с окружающей средой. Он привык считать окружающий мир злобным или до безобразия плохо устроенным. И он восставал против этого мира, не имея иного оружия, кроме пассивного непротивления или открытого презрения.

Следы показались Дядьку прощупывающим ходом очередной идиотской игры, в которую его втягивала окружающая среда. Пожалуй, он пойдет по следам, но только не спеша, ни на что не надеясь. Он пойдет по следам просто от нечего делать.

Пойдет по следам.

Поглядит, куда они ведут.

Он двигался неуверенно, неуклюже. Бедняга Дядек сильно отощал, да и облысел порядком. Он быстро старел. Глаза у него были воспаленные, а кости, казалось, вот-вот распадутся по суставам.

На Марсе Дядек ни разу не брился. Когда отросшие волосы и борода начинали ему мешать,

он просто отхватывал лишние пряди кухонным ножом.

Боз брился каждый день. Боз сам подстригался два раза в неделю, по земному счету — у него в корабле был полный парикмахерский набор.

Боз — он был на двенадцать лет моложе Дядька — в жизни себя так хорошо не чувствовал. В пещерах Меркурия он раздобрел, на него снизошел покой.

Пещерка, в которой жил Боз, была хорошо обставлена: койка, стол, два стула, боксерская груша, зеркало, гантели, магнитофон и фонотека магнитофонных записей — тысяча сто музыкальных произведений.

Пещерка Боза закрывалась дверью — круглым камнем, которым он закрывал вход, когда было нужно. А дверь была необходима, потому что для гармониумов Боз стал Всемогущим Богом. Они научились находить его по сердцебиению.

Если бы он уснул с открытой дверью, то проснулся бы, погребенный под сотнями тысяч своих обожателей. И они не дали бы ему встать, пока сердце у него не остановилось бы.

Боз тоже ходил голым, как Дядек. Но он ходил в ботинках. Его ботинки из натуральной кожи отлично сохранились. Конечно, Дядек отшагал

по пятьдесят миль на каждую милю, пройденную Бозом, но ботинки Боза не просто уцелели. Они были как новенькие.

Боз регулярно протирал, мазал их кремом и начищал до блеска.

И вот теперь он тоже наводил на них блеск.

Дверь его пещеры была закрыта камнем. При нем находились только четыре гамониума — фавориты. Два из них обвились вокруг его рук, повыше локтя. Один прилепился к бедру. Четвертый, малыш-гармониум всего в три дюйма длиной, прильнул к его запястью, изнутри, угощаясь биением его пульса.

Когда Боз выбирал себе любимчика среди гармониумов, он всегда позволял ему полакомиться своим пульсом.

— Что, нравится? — мысленно говорил он счастливчику. — Вкусно, да?

Он никогда в жизни не чувствовал себя так великолепно — физически, умственно, духовно. Он был очень рад расстаться с Дядьком — Дядек вечно переворачивал все с ног на голову, и получалось, что, если человек счастлив, он обязательно или дурак, или псих.

— И с чего это человек таким становится? — мысленно спрашивал Боз малютку-гармониу-

ма. — Чего он хочет добиться, во всем себе отказывая? Понятно, почему он весь такой больной.

Боз покачал головой.

— Как я ни старался, чтобы он полюбил вас, ребятки, он все злился, да и только. А злобствовать — это уж последнее дело.

— Не понимаю, что творится в мире, — мысленно говорил Боз. — Может, я и не пойму, если мне кто-нибудь попробует растолковать — ума не хватит. Знаю только одно — нас подвергли какому-то испытанию, и этот кто-то или что-то куда умнее нас, так что мне остается только быть добрым, сохранять спокойствие и жить как можно приятнее, пока испытание не кончится.

Боз кивнул.

— Вот и вся моя философия, — сказал он прилепившимся к нему гармониумам, — если не ошибаюсь, это и ваша философия. По-моему, это нас и сдружило.

Носок ботинка из натуральной кожи, который Боз начищал, сиял рубиновым блеском.

— Ребята — ух ты, ребята, ребята, ребята, — сказал Боз про себя, глядя в глубь рубина. Начищая ботинок, он воображал себе много чего, глядя в его рубиновый носок.

Вот и сейчас, созерцая рубин, Боз видел, как

Дядек душит беднягу Стоуни Стивенсона у каменного столба на железном плацу там, на Марсе. Эта жуткая картина возникла не случайно. Она была средоточием отношений Боза с Дядьком.

— Ты мне правду-матку не режь, — мысленно сказал Боз, — и я тебе резать не стану.

Это было официальное заявление, которое он делал Дядьку лично, несколько раз.

Такое условие Боз придумал сам. Дело заключалось вот в чем: Дядек не должен был говорить Бозу правду про гармониумов, потому что Боз любил гармониумов, и еще потому, что Боз по доброте своей не лез к нему с той правдой, которая сильно огорчила бы Дядька.

Дядек не знал, что собственными руками задушил своего друга, Стоуни Стивенсона. Дядек думал, что Стоуни до сих пор живет и здравствует где-то во Вселенной. Дядек жил мечтой о встрече со Стоуни.

А Боз по доброте своей ни разу не сказал Дядьку правду, как ни велико было искушение оглушить его правдой, как дубиной.

Ужасная картина в рубине рассеялась.

— Да, Господи! — мысленно сказал Боз.

Взрослый гармониум на руке Боза зашевелился.

— Просишь старого Боза, чтобы устроил концерт? — мысленно спросил у него Боз. — Хочешь попросить, да? Хочешь сказать: Боз, старина, не подумай, что я неблагодарный, я понимаю, какая это великая честь — быть вот тут, у самого твоего сердца. Только я подумал про моих друзей, там, снаружи, и мне очень хочется, чтобы им всем было тоже приятно и хорошо. Ты это хотел сказать? — спросил Боз мысленно. — Хотел сказать: прошу тебя, папа Боз, устрой концерт для моих бедных друзей! Ты это хотел сказать?

Боз улыбнулся.

— Ну, только без лести, без лести, — сказал он гармониуму.

Маленький гармониум у него на запястье сложился вдвое, потом опять растянулся во всю длину.

— А что ты хочешь мне сказать? -спросил его Боз. -Хочешь сказать: дяденька Боз, твой пульс слишком питательный для такого крохи, как я. Дяденька Боз, пожалуйста, сыграй нам какую-нибудь милую, сладкую, легкую музыку на завтрак! Ты это хотел сказать?

Боз обратился к гармониуму на правой руке. Существо за все время ни разу не пошевельнулось.

— А ты у нас любитель спокойствия, а? — мыс-

ленно спросил у существа Боз. — Болтать не любишь, зато все время думаешь. Сдается мне, ты думаешь, что Боз — старый скупердяй, раз не дает вам слушать музыку весь день напролет? А?

Гармониум на его левой руке опять зашевелился.

— Что? Что ты говоришь? — мысленно сказал Боз. Он склонил голову на бок, делая вид, что прислушивается, хотя ни один звук не мог долететь до него в окружающем вакууме. — Ты говоришь — пожалуйста, Царь Боз, сыграй нам «Увертюру 1812 года»? — Боз напустил на себя возмущенный и суровый вид. — Мало ли что тебе больше по вкусу пришлось — это еще не значит, что оно тебе полезно.

Ученых, специализировавшихся на Марсианской войне, часто поражает странная неравномерность военных приготовлений Румфорда. В некоторых областях он допускал чудовищный недосмотр. Ботинки, которые он поставлял для рядовых солдат, почти гротескно подчеркивали непрочность марсианского общества, созданного солдатами ради войны, созданного с единственной целью — покончить с собой, чтобы воссоединить все народы Земли.

Однако в подборках фонотек, которыми Рум-

форд лично снабжал флагманские корабли дивизий, встречаются великие культурные ценности — запас великих ценностей, рассчитанных на цивилизацию, которой предстоит просуществовать не меньше тысячи земных лет. Говорят, что на фонотеку никому не нужной музыки Румфорд потратил времени больше, чем на артиллерию и полевые госпитали, вместе взятые.

Вот как сказал об этом неизвестный шутник:

— Марсианская Армия приземлилась, имея в запасе музыки на триста часов непрерывного звучания, а ей не хватило бы времени дослушать даже «Вальс-минутку».

Это нелепое пристрастие к фонотекам на марсианских флагманских космических кораблях объясняется как нельзя проще: Румфорд обожал хорошую музыку — кстати, эта страсть посетила его только после того, как он был рассеян во времени и пространстве хроно-синкластического инфундибулума.

Гармониумы в пещерах Меркурия тоже обожали хорошую музыку. Они веками питались одной тягучей нотой — звоном Меркурия. Когда Боз дал им отведать настоящей музыки — это оказалась «Весна Священная»– некоторые бедняги буквально умерли от восторга.

В желтом свете меркурианских пещер мертвые гармониумы выглядят оранжевыми, сморщенными. Мертвый гармониум похож на сушеный абрикос.

В тот первый раз, когда концерт вовсе не предназначался для гармониумов, магнитофон стоял на полу космического корабля. Те существа, которые умерли в экстазе, непосредственно контактировали с металлическим куполом корабля.

Теперь же, два с половиной года спустя, Боз демонстрировал, как надо устраивать концерт для аборигенов, чтобы он их не убил.

Боз вышел из своего грота, неся с собой магнитофон и несколько кассет. с музыкальными записями. В коридоре снаружи он поставил две алюминиевые гладильные доски. На ножках у них были амортизирующие колпачки. Между гладильными досками было расстояние в шесть футов, перекрытое носилками с зеленоватым, как лишайник, полотнищем, натянутым на трубки.

Боз поместил магнитофон посередине носилок. Все это сооружение имело одну цель: ослаблять, рассеивать, разбавлять вибрации, исходящие от магнитофона. Прежде чем достигнуть каменного пола, вибрации должны были пробиться по лишенному упругости материалу носилок,

через ручки носилок, через гладильные доски и, наконец, через мягкие колпачки на ножках этих досок.

Это рассеивание обеспечивало безопасность. Оно гарантировало, что ни один гармониум не получит смертельную дозу музыки.

Боз вложил кассету в магнитофон и включил его. Все время, пока будет длиться концерт, он простоит на страже у магнитофона. Он должен следить, чтобы ни одно существо не подкралось слишком близко к сооружению. Заметив, что одно из существ подобралось слишком близко, он должен отлепить его от стены или от пола и приклеить к стене в ста или более футах от магнитофона, отчитав как следует. Это его долг.

— Если у тебя ума не хватает, — мысленно говорил он этому сорвиголове, — придется тебе каждый раз торчать вот тут, на галерке. Пора бы тебе об этом подумать!

По правде говоря, даже на расстоянии сотни футов существо получало питательную музыку в изобилии.

Стены пещер обладали такой редкостной звукопроницаемостью, что гармониумы на стене пещер, удаленных на много миль, еще могли попробовать на вкус концерты Боза, просочив-

шиеся сквозь камень.

Дядек, уходивший по следам все глубже и глубже в лабиринт пещер, мог догадаться по поведению гармониумов, что Боз устроил концерт. Он добрался до теплых коридоров, где гармониумов было особенно много. Совершенный узор из желтых и аквамариновых ромбов искажался на глазах — деградировал до неровных комков, клякс, молниевидных зигзагов. Так гармониумы реагировали на музыку.

Дядек положил на пол свой узелок, потом и сам прилег отдохнуть.

Дядек вообразил себе все цвета радуги, кроме желтого и аквамаринового.

Потом ему вообразилось, что его славный друг, Стоуни Стивенсон, ждет его прямо за поворотом. В голове у него зароились слова, которые он и Стоуни скажут при встрече. В голове Дядька так и не возникло лицо, которое соотносилось бы с именем Стоуни Стивенсон, но это было не так уж важно.

— Вот это пара, — сказал сам себе Дядек. Он хотел сказать, что он и Стоуни Стивенсон, действуя заодно, станут непобедимыми.

— Говорю тебе, — сказал сам себе довольный Дядек, — эту пару они норовят держать подальше

друг от друга — любой ценой. Если когда-нибудь старина Стоуни встретится со стариной Дядьком, им всем не поздоровится. Когда старина Стоуни и старина Дядек сойдутся вместе, тут уж что угодно может случиться — и случится обязательно.

Старина Дядек засмеялся.

Кто же должен бояться встречи Дядька и Стоуни? — Очевидно, люди в громадных, роскошных небоскребах на поверхности. Воображение Дядька неплохо поработало эти три года, украшая те промелькнувшие мимо картины, которые он успел увидеть, — они казались небоскребами, но на самом деле это были сплошь мертвые, чудовищно холодные кристаллы. Дядек сам поверил в собственную выдумку, что в тех небоскребах живут хозяева всего сущего. Это и были тюремщики Дядька и Боза, а может статься, и тюремщики Стоуни.

Они поставили этот пещерный эксперимент с Дядьком и Бозом. Они писали послания, используя гармониумов. Сами гармониумы никакого отношения к посланиям не имели.

Все это Дядек знал совершенно точно.

Дядек многое знал точно. Он даже знал, как эти небоскребы на поверхности меблированы. У вещей нет никаких ножек. Вся мебель просто

парит в воздухе, на магнитной подвеске.

И люди там никогда не работают, их никогда ничто не тревожит.

Дядек их ненавидел.

Гармониумов он тоже ненавидел. Он содрал гармониума со стенки и разорвал его надвое. Тот сразу скукожился, стал оранжевым.

Дядек подбросил разорванное тельце к потолку. Взглянув мельком на потолок, он увидел на нем новое послание. Послание уже расползалось под действием музыки, но пока прочесть его было можно.

Это послание в нескольких словах поведало Дядьку, как уверенно, легко и быстро выбраться из пещер. Он поневоле признал, прочтя ответ на загадку, которую не мог разгадать три года, что загадка была и вправду простенькая и честная.

Дядек, шаркая ногами, шел все вниз и вниз, пока не добрался до Боза, устроившего концерт для гармониумов. Дядек, разгадавший великую тайну, пришел весь встрепанный, с дико вытаращенными глазами. Он потащил Боза к кораблю — в вакууме он не мог говорить.

Там, в искусственной атмосфере, Дядек поведал Бозу о послании, которое подсказало ему путь к спасению.

На этот раз Боз повел себя как-то чересчур спокойно. Боз приходил в восторг, когда ему казалось, что у гармониумов есть зачатки разума, — а теперь, услышав, что его ждет свобода, он проявил непонятную бесчувственность.

— А — тогда я понимаю то, другое послание, — негромко сказал Боз.

— Какое еще другое? — спросил Дядек. Боз воздел руки кверху, чтобы выразить суть послания, возникшего четыре земных дня назад на стене напротив его жилья.

— БОЗ, НЕ ПОКИДАЙ НАС! — вот какое, — сказал Боз. Он смущенно потупил глаза. — МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ, БОЗ, — так и написали.

Боз уронил руки, отвернулся, как будто ослепленный неописуемой красотой.

— Когда я это увидал, — сказал он, — то не мог не улыбнуться. Гляжу я на них, милых, славных моих ребятишек — там, на стене, — и говорю я себе — неужели старый Боз вас покинет? Старый Боз останется с вами — и надолго!

— Это ловушка! — сказал Дядек.

— Что такое? — сказал Боз.

— Ловушка! — сказал Дядек. — Обман, чтобы задержать нас здесь!

На столе перед Бозом лежала открытая книжка

— «Чик-чирик и Сильвестр». Боз не торопился отвечать Дядьку. Он стал листать потрепанную книжку.

— Я этого ждал, — сказал он наконец.

Дядек подумал о фантастическом признании в любви, похожем на одеяло из цветных лоскутков. И с ним произошло нечто, от чего он давно отвык. Его разобрал смех. Он подумал, что это смешное до истерики завершение кошмара — безмозглые пленочки на стене, говорившие о любви.

Боз вдруг сграбастал Дядька, тряхнул его так, что все косточки у бедного Дядька загремели.

— Я был бы тебе очень обязан, Дядек, — сквозь стиснутые зубы сказал Боз, — если бы ты предоставил мне самому разобраться в том, что думать об их словах, что они меня любят. Понимаешь, — сказал он, — видишь ли, — сказал он, — для тебя это, может, ничего и не значит. Понимаешь, — сказал он, — видишь ли, — сказал он, — тебя вообще не просят об этом разговаривать. Понимаешь, — сказал он, — видишь ли, — сказал он, — эти существа вовсе не набивались тебе в друзья. Ты не обязан их любить, или понимать, или что-то о них говорить. Понимаешь, — сказал Боз, — видишь ли, — сказал Боз, — их послание тебя не касается. Они говорят, что любят меня. Ты

тут ни при чем.

Он выпустил Дядька и снова отвернулся к детскому комиксу. Дядька заворожила его широкая, коричневая спина в литых буграх мускулов. Пока Дядек жил поодаль от Боза, он воображал, что физически ему ни в чем не уступит. Теперь он понял, какое это печальное заблуждение.

Мышцы на спине Боза играли, неторопливо переливались, в контрапункте с более быстрыми движениями пальцев, листающих книгу.

— Ты так много знаешь про ловушки и тому подобное, — сказал Боз. — А откуда ты знаешь, что нас не ждет ловушка похуже, как только мы отсюда выберемся?

Но Дядек не успел ответить-Боз вдруг вспомнил, что оставил включенный магнитофон без присмотра.

— Да их же никто не охраняет, никто! — закричал он. Он бросил Дядька и помчался спасать гармониумов.

Пока Боза не было, Дядек соображал, как бы перевернуть космический корабль вверх ногами. Это и был ответ на загадку — как отсюда выбраться. Вот что посоветовали гармониумы на потолке:

ДЯДЕК, ПЕРЕВЕРНИ КОРАБЛЬ ВВЕРХ НОГАМИ.

Разумеется, это была хорошая мысль — перевернуть корабль. Сенсорная автоматика корабля располагалась на дне. Стоило его перевернуть, как он мог выбраться из пещер так же умело, с той же грациозной легкостью, с какой туда пробрался.

Сила тяжести на Меркурии была невелика, так что с помощью ручной лебедки Дядьку удалось перевернуть корабль, не дожидаясь возвращения Боза. Чтобы отправиться в путь, оставалось только нажать на кнопку «ВКЛ.». Перевернутый корабль ткнется в пол, потом отступит в полной уверенности, что пол — это потолок.

Он начнет пробираться вверх по лабиринтам ходов, уверенный, что спускается вниз. И он непременно отыщет выход, считая, что забирается в самую глубокую пропасть.

А пропасть, в которой он в конце концов окажется, — это будет бескрайняя, лишенная стен бездна бесконечного космоса. Боз ввалился в перевернутый вверх дном корабль, обеими руками прижимая к себе мертвых гармониумов, похожих на сушеные абрикосы. Он принес их четыре кварты, а то и больше. Конечно, некоторых он уронил. И, наклонившись, чтобы благоговейно поднять их, он разронял еще больше.

По его лицу струились слезы.

— Видишь? -сказал Боз. Он горько сетовал на самого себя. — Видишь, Дядек? — сказал он. — Видишь, что делается, когда кто-то бросает свой пост и про все забывает.

Боз потряс головой.

— Это еще не все, -сказал он. -Там их еще столько… — Он отыскал пустую картонную коробку из-под шоколада. Он ссыпал туда трупики гармониумов.

Он выпрямился, уперев руки в бока. И если раньше Дядька поразила его физическая мощь, то теперь его потрясло величие Боза.

Выпрямившись, Боз стоял, как мудрый, величавый, плачущий коричневый Геракл.

По сравнению с ним Дядек чувствовал себя тщедушным, ущербным и никому не нужным.

— Будем делиться, Дядек? — сказал Боз.

— Делиться? — переспросил Дядек.

— Дышарики, еда, лимонад, сладости — все пополам, — сказал Боз.

— Все пополам? — сказал Дядек. — Господи — да там всего запасено лет на пятьсот!

До сих пор никто ни разу не предлагал делить запасы. Недостатка не было ни в чем и в будущем не предвиделось.

— Половину заберешь с собой, половину оставишь мне, — сказал Боз.

— _Оставить_тебе? _– не веря своим ушам, сказал Дядек. — Ты — ты же летишь со мной, правда?

Боз поднял вверх сильную правую руку, и это был ласковый призыв к молчанию, жест сына человеческого, достигшего предела величия.

— Ты мне правду-матку не режь, Дядек, — сказал Боз. — И я тебе не стану резать.

Он смахнул кулаком слезы с глаз.

Дядек никогда не мог устоять перед этим договором о правде. Он его смертельно боялся. Что-то в глубине памяти говорило ему, что Боз угрожает ему не впустую, что Боз действительно знает про Дядька такую правду которая растерзает ему душу.

Дядек открыл рот и снова закрыл.

— Ты приходишь и приносишь мне великую весть, — сказал Боз. — Боз, говоришь, мы выйдем на свободу! И я себя не помню от радости, бросаю все, как есть, и собираюсь на свободу.

— И я все твержу себе, твержу, как я буду жить на свободе, — продолжал Боз, — а вот когда я хочу себе представить, на что эта свобода похожа, я вижу только толпу народа. Они меня толкают,

тащат в одну сторону, потом волокут в другую — и ничем им не угодишь, они только злее становятся, прямо свирепеют, потому что они радости в жизни не видели. И они орут на меня за то, что я им радости не прибавил, и опять все мы толкаемся, рвемся кудато.

— И тут невесть почему, — сказал Боз, — я вспоминаю про эти чудацкие маленькие существа, которых так легко осчастливить, стоит им только музыку сыграть. Бегу я и вижу, что они тысячами валяются там, мертвые, — и все потому, что Боз про них позабыл, уж больно он обрадовался свободе! А я мог спасти их всех, всех до одного, если бы делал свое дело, оставался на посту.

— И тогда я сказал сам себе, — продолжал Боз. — «Я от людей никогда ничего хорошего не видел, и они от меня — тоже. Нужна мне эта свобода в толпе народу или нет?» И тогда я понял, что я должен сказать тебе, Дядек, когда вернусь.

И Боз сказал эти слова:

— Я нашел место, где могу творить добро, не причиняя никакого вреда, и сам я вижу, что творю добро, и те, кому я делаю добро, понимают мою доброту и любят меня. Дядек, любят, как могут. Я нашел себе дом родной.

— А когда я умру здесь, внизу, — сказал Боз, — я

хочу перед смертью сказать себе: «Боз — ты озарил счастьем миллионы жизней. Никто никогда не дарил столько радости живым существам. У тебя нет ни одного врага во всей Вселенной».

Боз вообразил, что он сам себе — любящая Мама и любящий Папа, хотя их у него никогда не было.

— Спи, усни, — сказал он сам себе, представляя, что умирает на каменном смертном ложе в глубине пещер. — Ты хороший мальчик, Боз, — сказал он. — Доброй тебе ночи.

Глава десятая.
ВЕК ЧУДЕС

"О Всевышний, Творец Космоса, Вращатель Галактик, Дух Электромагнитных Волн, Вдыхающий и Выдыхающий неисследимые бесконечности Вакуума, Извергающий Огнь и Каменья, Играющий Тысячелетиями — в силах ли мы сделать для Тебя что-нибудь, что бы Ты Сам не сделал для Себя в октильон раз лучше? Ничего! Можем ли мы сделать или сказать хоть что-то для Тебя интересное? Ничего! О, Человечество, возрадуйся безразличию своего Творца, ибо оно, наконец, дарует нам свободу, правдивость, человеческое достоинство. Больше никогда дурак вроде Малаки Константа не сможет сказать про свое нелепое, сказочное везенье: "Кто-то там, наверху, хорошо ко мне относится". И ни один

тиран больше не скажет: "Делайте то или это,
потому что так хочет Бог, а если не делаете,
то восстаете против Самого Бога". О Всевышний,
Безразличие Твое — меч огненный, ибо мы
обнажили его и со всей мощью разили и поражали
им, и ныне вся лживая болтовня, которая
порабощала нас или загоняла в сумасшедшие
дома, лежит во прахе!"
— Преподобный С. Хорнер Редуайн

Был вторник, день клонился к закату. В Северном полушарии Земли стояла весна.

Земля изобиловала зеленью и водами. Воздух Земли был сладок и дыханье утучняло, как сливки.

Дожди, сходившие на Землю, были чисты, и эту чистоту можно было попробовать на вкус. У чистоты был освежающе-терпкий привкус.

На Земле было тепло.

Поверхность Земли шевелилась и вздымалась, не зная покоя от плодящейся жизни. Плодороднее всего Земля была в местах, где было больше трупов.

Освежающе-терпкий дождик сеялся на зеленое поле, где трупов было очень много. Он падал на

деревенское кладбище в Новом Свете. Это кладбище находилось в Западном Барнстейбле, Мыс Код, Массачусетс, США, Кладбище было перенаселено — все промежутки между могилами покойников, умерших своей смертью, были забиты телами героев, погибших на войне. Марсиане лежали бок о бок с землянами.

На Земле в каждой стране были кладбища, где марсиане и земляне были погребены бок о бок. Не осталось ни одной страны на Земле, где не было сражений, когда вся Земля воевала с марсианами.

Все было прощено и забыто.

Живые составляли единое Братство, а все мертвые — Братство еще более тесное.

Церковь, похожая на мокрую самку ископаемого дронта, насиживающую надгробные камни, успела побывать в разные времена пресвитерианской, конгрегационалистской, униатской и универсально-апокалиптической. Теперь она была храмом Господа Всебезразличного.

Среди кладбищенских плит стоял человек, совершенно дикий на вид, опьяневший от сытного, как сливки, воздуха, зелени, влажности. Человек был почти голый, иссиня-черная борода и спутанные отросшие волосы были тронуты сединой.

На нем позвякивала набедренная повязка из железок и медной проволоки.

Это одеяние прикрывало его срам.

Дождь струился по его обветренным щекам. Он закинул голову и пил дождевые струи. Он положил руку на надгробный камень — не опираясь, а просто чтобы прикоснуться. К камням-то он привык — в усмерть привык к пересохшей, грубой, жесткой на ощупь поверхности камня. Но вот таких камней — влажных, поросших мхом камней, вытесанных людьми, с надписью, сделанной человеческой рукой, — он не касался с давних-давних пор.

Pro patria*– гласила надпись на камне, которого он касался.

/* За отечество (лат.). /

Человек этот был Дядек.

Он возвратился домой с Марса и с Меркурия. Космический корабль приземлился в лесу, неподалеку от кладбища. Дядька переполняла безоглядная, юношеская жажда жизни — ведь лучшие годы у него безжалостно отняли.

Дядьку было сорок четыре.

Он вполне мог бы зачахнуть и умереть.

Но его заставляло жить одно-единственное желание, почти не затрагивавшее его чувств, став-

шее почти автоматическим. ОН ХОТЕЛ ОТЫСКАТЬ БИ, СВОЮ ПОДРУГУ, ХРОНО, СВОЕГО СЫНА, И СТОУНИ СТИВЕНСОНА, СВОЕГО ЕДИНСТВЕННОГО, ЗАДУШЕВНОГО ДРУГА.

Дождливым утром во вторник преподобный С. Хорнер Редуайн стоял на кафедре своей церкви. В церкви больше никого не было. Редуайн взошел на кафедру просто потому, что хотел почувствовать всю полноту радости. К этой радости во всей ее полноте он стремился вовсе не от плохой жизни. Он познал всю полноту радости в чрезвычайно благоприятной обстановке — его все горячо любили, как служителя религии, которая не только сулила, но и творила чудеса.

Его церковь — Первая Барнстейблская церковь Господа Всебезразличного, называлась еще, как бы в скобках, Церковью _Усталого_Звездного_Странника_. Этот подзаголовок был рожден пророчеством: одинокий марсианский солдат, отбившийся от своих, в один прекрасный день явится в церкви Редуайна.

Церковь была подготовлена к чуду. В обветшалый дубовый стояк позади кафедры был забит железный гвоздь ручной ковки. На стояке покоилась тяжелая мощная балка — конек крыши. А на гвозде висели плечики, инкрустированные

полудрагоценными каменьями. А на плечиках, в прозрачном пластиковом мешке, висел костюм.

В пророчестве упоминалось, что Звездный Странник явится голым и что костюм окажется ему точь-в-точь впору. Костюм был такого покроя, что не пришелся бы впору никому, кроме того, для кого предназначался. Это был комбинезон из прорезиненной материи лимонно-желтого цвета, спереди он застегивался на молнию. Он был облегающий, как перчатка.

Таких костюмов никто не носил. Он был сшит специально, чтобы придать чуду блеск и величие.

На груди и на спине этого одеяния были нашиты вопросительные знаки по футу длиной. Они напоминали, что Звездный Странник не будет знать, кто он такой.

И никто не будет знать, кто он, пока Уинстон Найлс Румфорд, основатель Церкви Господа Всебезразличного, не провозгласит во всеуслышанье имя Звездного Странника.

Когда Звездный Странник явится, Редуайн должен подать сигнал, трезвоня во все колокола.

Когда раздастся сполошный перезвон колоколов, прихожане должны прийти в дикий восторг, бросить все, чем занимались, и, плача и смеясь,

бежать в церковь.

Пожарная бригада Западного Барнстейбла почти вся состояла из прихожан церкви Редуайна, и они должны были подогнать к ней пожарную машину — единственный мало-мальски пригодный для торжественной встречи Звездного Странника экипаж.

В историческое ликование колоколов должно было влиться завывание сирены на пожарной вышке. Одинокий вопль сирены означал пожар в лесу или загорание травы. Цва сигнала — пожар в доме. Троекратное завывание — спасательные работы. А десять сигналов подряд будут возвещать прибытие Звездного Странника.

Вода просачивалась сквозь плохо пригнанную оконную раму. Вода пробиралась под отставшую черепицу на кровле, сочилась из трещины и собиралась блестящими каплями на потолочной балке над головой Редуайна. Бойкий дождик хлестал по колокольне, по старинному колоколу времен Поля Ревира*, струился — вниз по веревке колокола, — пропитывал деревянную куклу, подвешенную к концу веревки, стекал с ножек куклы, собирался в лужу на выложенном каменными плитами полу церкви.

/* Поль Ревир — герой стихотворения Г. Лонг-

фелло. /

Кукла была не простая, она имела отношение к культу. Она символизировала отвратительный, давно забытый образ жизни. Называлась кукла МАЛАКИ. Повсюду — в домах и служебных помещениях приверженцев — религии Редуайна — обязательно был подвешен хоть один Малаки.

Вешать Малаки полагалось только определенным образом. Обязательно за шею. И узел был предписан строго: скользящая петля палача.

И капли капали с ножек редуайновского Малаки.

Холодная, капризная весна крокусов осталась позади.

Хрупкая, пронзительно прохладная, волшебная весна нарциссов тоже осталась позади.

Настала весна человечества, и пышные кисти сирени возле церкви Редуайна клонились под собственной тяжестью, как гроздья винограда «конкорд».

Редуайн вслушивался в лепет дождя, и ему чудилось, что дождь говорит старинным чосеровским языком. Он произносил вслух слова, которые слышались ему в говоре струй, словно вторил, не заглушая голос дождя:

Когда Апрель обильными дождями

Разрыхлил землю, взрытую ростками,

И мартовскую жажду утоля, от корня до зеленого стебля,

Набухли жилки той весенней силой*...

/* Дж. Чосер. Кентерберийские рассказы. Перевод И. Кашкина. /

Капелька, посверкивая, сорвалась с потолочной балки, прочертила мокрый след по левой линзе очков Редуайна и по его круглой, как яблоко, щеке.

Время было милостиво к Редуайну. Он стоял на кафедре, похожий на румяного деревенского мальчишку-почтальона, а ведь ему было сорок девять. Он поднял руку, чтобы смахнуть каплю со щеки, и на запястье у него зазвенела насыпанная в голубой мешочек дробь.

Точно такие же мешочки были привязаны к другому запястью и к обеим ногам, а на груди и на спине лежали тяжелые железные пластины, поддерживаемые лямками.

Эти вериги представляли собой дополнительный вес, назначенный ему в гандикапе жизни.

Редуайн нес дополнительный вес в сорок девять фунтов — и гордился этим. Более сильному назначили бы вес побольше, а слабому — поменьше. Каждый сильный мужчина в приходе

Редуайна принимал свое бремя радостно и носил его с гордостью, на людях и дома.

Самые слабенькие и жалкие были вынуждены, наконец, признать, что скачка жизни организована честно.

Переливчатые мелодии дождя так чудесно отдавались в пустом храме, создавая фон для любой декламации, что Редуайн продолжал говорить. На этот раз он говорил слова, написанные Уинстоном Найлсом Румфордом, Хозяином Ньюпорта.

Редуайн собирался повторить под аккомпанемент дождя слова, которые Хозяин Ньюпорта написал, определяя свое положение по отношению к священнослужителям, их положение по отношению к пастве и положение каждого верующего по отношению к Богу. Редуайн читал это место своей пастве каждое первое воскресенье месяца.

— Я вам не отец, — декламировал Рсдуайн. — Лучше зовите меня братом. Но я вам не брат. Лучше зовите меня сыном. Но я вам не сын. Лучше зовите меня псом. Но я и не пес ваш. Зовите меня лучше блохой на вашем псе. Но я и не блоха. Лучше зовите меня микробом на блохе, кусающей вашего пса. И я, будучи микробом на блохе вашей собаки, всегда готов служить вам верой и

правдой, как и сами вы готовы служить Всевышнему Творцу Вселенной.

Редуайн хлопнул в ладоши, как будто убил блоху, на которой кишели микробы. По воскресеньям все собрание верующих убивало воображаемую блоху, хлопая и унисон.

Еще одна дрожащая капля сорвалась с потолка, опять смочила щеку Рсдуайна. Редуайн, склонив голову, возблагодарил от всего сердца за каплю, за церковь, за мир, за Хозяина Ньюпорта, за Землю, за Бога, Которому ни до чего Нет Дела, за всех и вся.

Он сошел с кафедры, раскачивая мешочки-бремена на запястьях, так что они торжественно шуршали.

Он прошел по храму, вошел в арку под колокольней. Задержался у лужицы, натекшей с веревки колокола, посмотрел вверх, соображая, откуда могла просочиться вода. Он подумал, какой это славный, милый обычай весеннего дождя — вот так, тайком, пробираться внутрь. И он решил, что, если ему когда-нибудь поручат перестраивать церковь, он непременно оставит лазейку для веселых, пронырливых дождевых капель, проникающих повсюду.

Сразу за аркой внизу колокольни изгибалась

вторая арка, арка из темной листвы и гроздьев сирени.

Редуайн вступил под эту вторую арку, заметил космический корабль, похожий на большой пузырь, в щетине леса, увидел голого, обросшего бородой Звездного Странника на церковном кладбище.

Редуайн возопил от радости. Он помчался обратно в церковь и принялся дергать и раскачивать веревку колокола, как пьяный шимпанзе. В сумасшедшем перезвоне колоколов Редуайну слышались слова — по уверению Хозяина Ньюпорта, все колокола твердят одно и то же:

— АДА НЕТ! — звенел-заливался набат.

— АДА НЕТ,

— АДА НЕТ,

— АДА НЕТ!

Дядька колокольный звон напугал до полусмерти. Дядьку звон показался враждебным и полным страха. Он бросился бежать к кораблю и по дороге здорово рассадил голень, карабкаясь через каменную ограду. Задраивая входной люк, он услышал, как в колокольный переполох влился ответный вой пожарной сирены.

Дядек думал, что Земля все еще воюет с Марсом и что колокола и сирена призывают скорую и

неизбежную смерть на его голову. Он нажал на кнопку «ВКЛ.».

Автомат-навигатор вместо того, чтобы сразу дать команду «на взлет», принялся впустую и бессмысленно спорить сам с собой. В результате он сам себя выключил.

Дядек снова нажал кнопку «ВКЛ.». На этот раз он прижал ее пяткой и не отпускал.

И снова навигатор тупо препирался сам с собой, потом снова попытался выключиться. Когда это ему не удалось, он стал изрыгать грязно-желтый дым.

Дым становился все гуще, все ядовитей, так что Дядьку пришлось проглотить дышарик и применить шлиманновскую дыхательную методику..

Потом пилот-навигатор издал басовитый, вибрирующий органный звук и навсегда отключился, умер.

Теперь о взлете думать было нечего. Смерть пилота-навигатора означала смерть всего корабля.

Дядек пробрался сквозь клубы дыма к иллюминатору и выглянул.

Он увидел пожарную машину. Машина, ломая кустарник, пробивалась к космическому кораблю. На ней гроздьями висели мужчины, женщины, дети — все, как один, вымокшие до

нитки, но радостные и счастливые.

Впереди пожарной машины шествовал преподобный С. Хорнер Редуайн. В одной руке он нес лимонно-желтый комбинезон в пластиковом мешке. В другой — букет только что наломанной сирени.

Женщины посылали воздушные поцелуи Дядьку, выглядывающему в иллюминатор, они поднимали детей, чтобы те посмотрели, какой там чудесный дяденька. А мужчины, не слезая с пожарной машины, громко кричали «ура!» в честь Дядька, в честь друг друга, в честь всего, что попадалось на глаза. Шофер заставил мощный мотор разразиться канонадой выхлопов, включил сирену, а сам трезвонил в колокол.

На каждом человеке висело какое-нибудь бремя. Большинство этих «гандикапов» сразу бросались в глаза — грузила, мешки с дробью, старые печные решетки — все они были рассчитаны на то, чтобы компенсировать физические преимущества. Но кое-кто из прихожан Редуайна — немногие истинные приверженцы новой религии — выбрал себе бремя, не столь бросающееся в глаза, зато куда более эффективное.

Там были женщины, по слепой прихоти судьбы одаренные ужасным преимуществом — красо-

той. Они расправились с этим непростительным преимуществом — одевались как попало, горбились, жевали резинку и жутко размалевывали лица косметикой.

Один старик, у которого было единственное преимущество — отличное зрение, — испортил себе глаза, пользуясь очками своей жены.

Молодой смуглый брюнет, который был не в силах уничтожить сводившую женщин с ума хищную мужественность ни дрянной одеждой, ни отвратительными манерами, обременил себя женой, которую от секса тошнило.

А жена молодого брюнета, которая вполне могла гордиться своим значком-ключиком общества Фи-Бета Каппа*, обременила себя мужем, который не читал ничего, кроме комиксов.

/* Ключик — значок привилегированного общества студентов и выпускников колледжей в США. /

Приход Редуайна не был единственным в своем роде, И крайнего фанатизма среди прихожан тоже не замечалось. На Земле жили буквально миллиарды людей, с радостью взваливших на себя какоенибудь бремя.

Радовались все они оттого, что теперь уже никто не мог быть лучше других. Все были равны.

Тут пожарники выдумали еще один способ выразить свой восторг. Посредине машины был укреплен брандспойт. Его можно было направить куда угодно, как пулемет. Пожарники нацелили его вертикально вверх и пустили воду. К небу устремился пульсирующий, опадающий фонтан: не в силах карабкаться выше, он распадался на струйки, и порывы ветра подхватывали, разбивали эти струйки, относя в сторону. Водяные струи то принимались барабанить по обшивке космического корабля, то падали на головы самих пожарников, то поливали женщин и детей, приводя их в неописуемый восторг.

На празднестве в честь явления Дядька вода сыграла столь важную роль по счастливой случайности. Этого никто не планировал заранее. Но все самозабвенно радовались праздничному изобилию воды, вымочившей всех до одного, — это и было прекрасно.

Преподобный С. Хорнер Редуайн, облепленный промокшей сутаной, чувствовал себя голым, как языческий фавн, и сначала махал букетом сирени перед иллюминатором, а потом прижал к стеклу лицо, сияющее восторженной любовью.

Лицо, глядевшее на Редуайна из корабля, поразительно напоминало физиономию умной

обезьяны в зоопарке.

Лоб Дядька бороздили глубокие морщины, а на глаза навернулись слезы от напряженного, безнадежного усилия — понять, что происходит.

Дядек решил не поддаваться страху.

Но впускать Редуайна в корабль он тоже не торопился.

Наконец он подошел к люку, отпер и внутреннюю, и наружную двери шлюзовой камеры. Потом отступил, ожидая, чтобы кто-то толкнул дверь и вошел.

— Погодите — я войду первым и дам ему надеть костюм! — сказал Редуайн своим прихожанам. — А уж потом встречайте его, как хотите, — он ваш!

В космическом корабле Дядек надел комбинезон, и тот прильнул к нему плотно, как слой краски. Оранжевые вопросительные знаки на груди и на спине расправились без единой морщинки.

Дядек еще не знал, что никто в мире, кроме него, не носит таких комбинезонов. Он полагал, что множество людей носит точно такие же костюмы — даже с вопросительными знаками.

— Это — это Земля? — спросил Дядек Редуайна.

— Да, -сказал Редуайн. — Мыс Код, Массачусетс,

Соединенные Штаты Америки, Братство Человечества.

— Слава Богу! — сказал Дядек. Редуайн вопросительно поднял брови.

— А за что?

— Простите? — не понял Дядек.

— За что вы его благодарите? — спросил Редуайн. — Ему до вас нет никакого дела. Он и пальцем не пошевельнул, чтобы помочь вам сюда добраться в целости и сохранности, точно так же, как не сделал ни малейшего усилия, чтобы вас прикончить.

Он воздел руки, и его мускулатура словно воплощала мощь его веры. Дробинки в мешках на его запястьях зашуршали, пересыпаясь, и Дядек обратил внимание на них. Потом его взгляд естественно скользнул с мешков-гандикапов на железную пластину на груди Редуайна, Редуайн, угадав направление взгляда Дядька, приподнял, как бы взвешивая, железную пластину.

— Тяжелая, — сказал он.

— Угу, — согласился Дядек.

— Вам придется носить фунтов пятьдесят, если прикинуть на взгляд, — после того, как мы вас приведем в порядок, — сказал Редуайн.

— Пятьдесят фунтов? — сказал Дядек.

— Вы должны радоваться, а не огорчаться, что на вас возложат такое бремя, — сказал Редуайн. — Тогда уж никто не бросит вам в лицо упрек, что вы, мол, обогнали других по слепой прихоти судьбы.

В его голосе зазвучали красноречиво-грозные нотки, которые не часто звучали в нем после самых ранних дней становления Церкви Бога Всебезразличного, славных дней, когда люди толпами обращались в его веру после войны с Марсом. В те времена Редуайн, как и все другие проповедники новой веры, пугал неверующие праведным гневом толп — праведным гневом толп, которых тогда просто не было.

Но зато теперь толпы, полные праведного гнева, существовали повсюду на земном шаре. Число приверженцев Церкви Бога Всебезразличного составляло внушительную цифру — целых три миллиарда. Юные львы некогда бывшие первыми апостолами нового вероисповедания; отныне могли смириться и превратиться в агнцев, созерцающих восточные мистерии, вроде капель падающих с веревок от колокола. Рука Церкви повсюду властно правила толпами людей.

— Предупреждаю вас, -сказал Редуайн Дядьку, — когда выйдете к людям, не вздумайте даже

невзначай намекнуть на то, что Бог к вам как-то особенно относится или что вы хоть на что-то можете пригодиться Богу. Хуже ничего не придумаешь, чем сказать что-то в таком роде: «Слава Богу за то, что избавил меня от всех бед. По какой-то причине Он сделал меня своим избранником, и теперь я желаю только одного — служить Ему».

— Эта восторженная толпа, — продолжал Редуайн, — может в мгновение ока стать очень опасной толпой, к

тут уж никакие добрые предзнаменования, никакие пророчества вас не спасут.

Дядек как раз собирался сказать почти дословно то, что Редуайн не советовал ему говорить.

— А что же — что же мне говорить? — спросил Дядек.

— В пророчестве указано все, что вы должны сказать, до последнего слова. Я долго и глубоко обдумывал слова, которые вам предстоит сказать, и убедился, что лучше сказать нельзя.

— Но мне никакие слова в голову не идут — разве что «здравствуйте» и «спасибо»... -сказал Дядек. — Вы-то _что_ хотите от меня услышать?

— То, что вы скажете, — сказал Редуайн. — Славные люди, собравшиеся здесь, повторяли эти слова, готовясь к встрече, сотни раз. Они зададут

вам два вопроса, и вы ответите им, как сумеете.

Он вывел Дядька наружу через люк. Фонтан на пожарной машине заглушили. Крики замерли, танцы прекратились.

Паства Редуайна выстроилась, полукругом вокруг Дядька и Редуайна. Все, как один,, сделали глубокий вздох и сжали губы.

Редуайн подал священный знак.

Толпа выдохнула, как один человек:

— Кто вы? — спросили они.

— Я… Я не помню свое настоящее имя, — сказал Дядек. — Меня звали Дядек.

— Что с вами произошло? — крикнула толпа. Дядек растерянно покачал головой. Он никак не мог найти слова, подходящие к такому торжественному случаю, чтобы кратко изложить свои приключения. От него ждали великих откровений. А он не находил в себе ни капли величия. Он шумно вздохнул, чтобы толпе стало понятно, как он стыдится своей будничной серости.

— Я жертва цепи несчастных случайностей, — сказал он. И, пожав плечами, добавил: — Как и все мы.

Толпа разразилась приветственными криками и закружилась в танце.

Дядька втащили на борт пожарной машины и

повезли к дверям церкви.

Редуайн благостным жестом показал на вырезанный из дерева развернутый свиток, помещенный над воротами храма. На свитке сияли золотом резные слова:

Я ЖЕРТВА ЦЕПИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЙНОСТЕЙ, КАК И ВСЕ МЫ.

Прямо от ворот церкви Дядька доставили на пожарной машине в Ньюпорт, Род-Айленд, где ожидалась очередная материализация.

По разработанному заблаговременно, несколько лет назад, плану, пожарные машины Мыса Код подтянули поближе к Западному Барнстейблу, для подстраховки на время отсутствия тамошней пожарной машины.

Весть о явлении Звездного Странника пронеслась по Земле, как лесной пожар. Во всех деревушках, городках и крупных городах, лежавших на пути пожарной машины, Дядька засыпали цветами.

Дядек восседал высоко — высоко, на еловом брусе два на шесть футов размером, переброшенном через борта посередине кузова. А в самом кузове ехал. преподобный С. Хорнер Редуайн.

Редуайн завладел веревкой пожарного колокола и названивал в него, не покладая рук. К языку

колокола был подвешен Малаки из пластика повышенной прочности. Эта кукла была особенная, такую можно было купить только в Ньюпорте. Видя такого Малаки, каждый сразу понимал, что его владелец совершил паломничество в Ньюпорт.

Паломничество в Ньюпорт Добровольная пожарная Бригада Западного Барнстейбла совершила в полном составе, за исключением двух нонконформистов. Малаки, подвешенный на пожарном колоколе, был приобретен на средства Пожарного Надзора.

На жаргоне лотошников, торгующих сувенирами, Малаки из особо прочного пластика, принадлежащий Пожарному Надзору, был «самый что ни на есть доподлинный, натуральный, государственный Малаки».

Дядек был совершенно счастлив — как чудесно вновь оказаться среди людей, снова дышать воздухом. И все встречали его с такой любовью.

Кругом был такой замечательный шум. Кругом было столько всего замечательного. И Дядек надеялся, что все замечательное теперь останется с ним навсегда.

— Что с вами произошло? — громко кричали ему все люди, и все хохотали.

Для удобства общения с такой массой народа Дядек подсократил фразу, так восторженно встреченную небольшой толпой перед Церковью Звездного Странника.

— Несчастья! — орал он.

Он смеялся во весь голос.

Вот это жизнь!

Какого черта! И он смеялся.

Поместье Румфордов в Ньюпорте было уже восемь часов забито до отказа. Охрана не пускала тысячную толпу к маленькой дверце в стене. Но охрана была практически не нужна — толпа стояла от стены к стене, спрессованная в единый монолит.

В нее не смог бы втиснуться и намыленный угорь.

Тысячи паломников, оставшиеся за стенами, старались, не нарушая благочестия, пробраться поближе к громкоговорителям, укрепленным по углам, на стенах.

Из рупоров будет слышен голос Румфорда.

Толпа была самая громадная и самая наэлектризованная из всех толп, потому что настал давно обетованный Великий День Звездного Странника.

Повсюду бросались в глаза бремена, самые

хитроумные и чрезвычайно эффективные. Толпа производила отрадное впечатление сплошной серости и крайней обремененности.

Би, подруга Дядька с Марса, тоже была в Ньюпорте. С ней был и сын ее от Дядька, Хроно.

— Эгей! Покупайте самых что ни на есть доподлинных, натуральных, государственных Малаки только у нас, — хрипло выкрикивала Би. — Покупайте у нас! А вот Малаки, будете махать Звездному Страннику! — говорила Би. — Берите Малаки, Звездный Странник благословит их, когда придет!

Она сидела в ларьке, лицом к железной дверце в стене румфордовского имения в Ньюпорте. Ларек Би был первым в ряду из двадцати ларьков, вытянувшихся напротив дверцы. Все двадцать были подведены под общую односкатную крышу, а друг от друга отделялись перегородками по пояс высотой.

Би торговала пластиковыми куклами-Малаки, у которых ручки и ножки гнулись в суставах, а глаза были хрустальные. Би покупала их на оптовом складе предметов культа по двадцать семь пенсов за штуку, а продавала по три доллара. Она отлично вела торговое дело.

Ее житейская хватка и яркая внешность — то,

что было видимо миру, — не шли ни в какое сравнение с невидимым миру величием, которое и помогало ей бойко распродавать товар. Сначала паломники замечали карнавальную яркость Би, но подойти к ларьку и раскошелиться их заставляла ее аура. Это невидимое излучение окутывавшее ее, яснее слов говорило о том, что Би родилась для более высокой и благородной жизни и она просто молодчина: не сдается, попав даже в такую передрягу.

— Эй! Покупайте Малаки, пока не поздно, — говорила Би. — Начнется материализация — Малаки не получите!

Она говорила правду. По предписанию все торговцы были обязаны закрыть ставни своих ларьков за пять минут до материализации Уинстона Найлса Румфорда и его пса. И ставни должны были оставаться закрытыми еще десять минут после того, как от Румфорда с Казаком и след простынет.

Би обернулась к своему сыну, Хроно, вскрывавшему новый ящик с Малаки.

— Сколько до свистка? — спросила она. Она имела в виду мощную паровую сирену, установленную в парке за стеной поместья. Сирена начинала свистеть за пять минут до материа-

лизации.

Самый момент материализации возвещал выстрел из трехдюймовой пушки.

А дематериализация отмечалась взлетом целой тучи детских воздушных шариков.

— Восемь минут, — сказал Хроно, взглянув на свои часы.

Ему исполнилось одиннадцать по земному счету. Он был смуглый, и в его черных глазах горела затаенная злоба и ненависть.

Обсчитывать он умел виртуозно, да и в картах ему всегда подозрительно везло. Он артистически сквернословил и носил при себе нож с выскакивающим шестидюймовым лезвием. Хроно не ладил с другими детьми, и о нем шла дурная слава из-за привычки сводить все счеты без страха и разом, так что он нравился только очень глупым и очень хорошеньким маленьким девочкам.

Ньюпортовское полицейское управление и отделение полиции РодАйленда внесли Хроно в список закоренелых малолетних преступников. Он был на короткой ноге не меньше чем с пятьюдесятью инспекторами по уголовным делам — знал их по именам — и выдержал четырнадцать тестов на детекторе лжи, как истинный ветеран.

Хроно давно угодил бы в исправительное заведение, если бы не самая лучшая коллегия адвокатов — коллегия при Церкви Господа Всебезразличиого. По приказу Румфорда эта коллегия защищала Хроно против любых обвинений.

Чаще всего Хроно привлекался к ответственности за мошенничество и шулерстро, ношение запрещенного оружия, владение незарегистрированными револьверами, стрельбу в черте города, продажу порнографических открыток и других предметов и вообще как особо трудный ребенок.

Официальные власти горько сетовали на мать мальчика, обвиняя во всем ее. Мать просто любила его — такого, как он есть.

— Эй, люди, осталось всего восемь минут, покупайте Малаки, пока не поздно, — сказала Би. — Берите, берите, не зевайте!

Верхние передние зубы у Би был золотые, а кожа, как и у Хроно, напоминала цветом золотистый дуб.

Передние зубы Би потеряла, когдо космический корабль, в котором они прилетели с Марса, потерпел крушение над амазонскими джунглями, в районе Гумбо. Она и Хроно — единственные, кто уцелел после катастрофы, — целый год скитались по джунглям.

Цвет кожи у Би и Хроно изменился на всю жизнь из-за стойких изменений в печени, А стойкие изменения в печени у них наступили после того, как они три месяца просидели на особой диете — ничего, кроме воды и корней сальпа-сальпа, или амазонского голубого тополя. Эта диета входила в ритуал посвящения Би и Хроно в члены племени Гумбо.

Ритуал посвящения заключался в том, что мать и сына привязали к кольям посреди деревни, причем Хроно олицетворял Солнце, а Би олицетворяла Луну — конечно, в представлении племени Гумбо.

После всего пережитого Би и Хроно были друг другу ближе, чем обычно бывают мать и сын.

В конце концов их спасли — вывезли на вертолете. Уинстон Найлс Румфорд послал вертолет точно в определенное место и в точно определенный момент.

Уинстон Найлс Румфорд дал на откуп Би и Хроно процветающую торговлю куклами-Малаки у самой дверцы из «Алисы в стране чудес». Он также оплатил счет у зубного протезиста и настоял, чтобы Би вставили золотые зубы.

Соседний ларек занимал Гарри Брэкман. Он был сержантом на Марсе, командовал взводом

Дядька. Брэкман растолстел и начинал лысеть. У него была пробковая нога и протез из нержавеющей стали вместо правой руки. Ногу и руку он потерял в битве при Бока Ратон. Он был единственным, кто остался в живых, — и, если бы не тяжелейшие ранения, его бы непременно линчевали заодно с остальными солдатами взвода, взятыми в плен.

Брэкман торговал пластмассовыми моделями фонтана в парке. Модели были в фут высотой. В их цоколях были запрятаны насосики, работавшие от пружинного завода. Насосы подавали воду из большой чаши вверх, к маленьким чашечкам. Маленькие чашечки переполнялись, вода стекала в чашечки побольше, потом…

Брэкман запустил сразу три фонтанчика на прилавке.

— Точь-в-точь как там, за стенкой, можете мне поверить, — говорил он. — Берите, везите домой. Поставите его в окне и все соседи будут знать, что вы побывали в Ньюпорте. А для детишек на день рождения можете водрузить его посреди стола и налить туда розовый лимонад.

— Сколько просите? — спросил приезжий фермер.

— Семнадцать долларов, — ответил Брэкман.

— Ух ты! — крякнул фермер.

— Это же всенародная святыня, братец, — сказал Брэкман, невозмутимо глядя в глаза деревенщине. — Это тебе не игрушка. — Он наклонился, вынул из-под прилавка модель марсианского космического корабля. — Тебе игрушка нужна? Вот тебе игрушка. Сорок девять центов. Я на ней всего два цента зарабатываю.

Фермеру хотелось показать, какой он разборчивый покупатель. Он стал сравнивать модель с оригиналом. который она изображала. Оригинал модели — марсианский космический корабль — лежал на верхушке колонны высотой в девяносто восемь футов. Колонна с космическим кораблем находилась в поместье Румфордов — в углу, на месте теннисных кортов.

Румфорд пока еще не объяснил, для чего здесь космический корабль, на постройку пьедестала, под который пошли деньги, собранные школьниками всего мира по пенсу. Корабль был готов стартовать в любую минуту. К колонне была приставлена самая длинная, как говорили, приставная лестница в истории человечества. Это был шаткий, головокружительный путь к люку космического корабля.

В аккумуляторе космического корабля нахо-

дились последние поскребыши марсианского военного запаса Всемирного Стремления Осуществиться.

— Угу, — сказал фермер. Он поставил модель обратно на прилавок. — Вы уж извините, я тут еще похожу, приценюсь.

Пока что он купил только шапочку, как у Робин Гуда, с портретом Румфорда на одной стороне и парусной яхтой — с другой, а на пере было вышито его собственное имя. Если верить надписи, его звали _Делберт_.

— Спасибо вам, — сказал Делберт. — Может, я еще вернусь.

— Не, сомневаюсь, Делберт, — сказал Брэкман.

— А откуда вы знаете, что меня зовут Делберт? — подозрительно спросил польщенный Делберт.

— Ты думаешь, тут только один Уинстон Найлс Румфорд владеет сверхъестественными способностями? — сказал Брэкман.

За стеной взвилось облачко пара. Мгновенье спустя над ларьками прокатился вой мощной паровой сирены — оглушительный, горестный, торжествующий. Этот сигнал означал, что Румфорд и его пес материализуются ровно через пять минут.

Это был сигнал для торговцев — прекратить зазывать покупателей, беспардонно расхваливая свои дешевые поделки, закрыть рты, захлопнуть ставни.

Ставни сразу захлопнулись.

При закрытых ставнях ряд ларьков превратился в полутемный туннель.

В этом сумрачном туннеле всегда воцарялась особая, замогильная жуть — еще и потому, что сидели там только выходцы с Марса, случайно оставшиеся в живых. Румфорд приказал, чтобы марсианам было предоставлено право в первую очередь получить концессии для торговли в Ньюпорте. Таким своеобразным способом он говорил им «спасибо».

В живых осталось немного — всего пятьдесят восемь человек в Соединенных Штатах, всего сто шестнадцать во всем мире.

Из пятидесяти восьми марсиан, живущих в Соединенных Штатах, двадцать один занимался мелочной торговлей в Ньюпорте.

— Ну, поехали-покатились, ребятишки! — сказал кто-то далекодалеко, в самом дальнем конце ряда. Это был голос слепого, который торговал робингудовскнми шапочками с портретами Румфорда па одной стороне н парусной яхтой — на

другой.

Сержант Брэкман оперся, скрестив руки, па перегородку, отделявшую его ларек от ларька Би. Он подмигнул юному Хроно, который разлегся на вскрытом ящике с Малаки.

— Ну и катитесь к чертовой матери, верно, малыш? — сказал Брэкман Хроно.

— К чертовой матери, — откликнулся Хроно. Он чистил ногти странно изогнутой, просверленной и зазубренной металлической полоской. На Марсе она была его талисманом. На Земле она попрежнему оставалась его талисманом.

Как знать, может быть, этот талисман спас жизнь Би и Хроно в джунглях. Туземцы из племени Гумбо почувствовали в этом кусочке металла неимоверную магическую силу. Преклоняясь перед этой силой, они приняли владельцев талисмана в племя, хотя вообще-то их полагалось съесть.

Брэкман ласково усмехнулся.

— Знай наших — вот настоящий марсианин, господа! — сказал он. — Лежит себе на ящике с Малаки и не подумает встать, взглянуть на Звездного Странника.

Не один Хроно проявлял полное безразличие к Звездному Страннику. Всеми владельцами ларь-

ков был принят гордый и вызывающий обычай — не участвовать в церемониях, оставаться в полутьме туннеля, каждый в своем ларьке, пока Румфорд и его псина являются и пропадают.

Не то чтобы лавочники и вправду презирали румфордовскую веру. Большинство даже считало, что эта новая религия, должно быть, очень даже неплохая штука. Но, демонстративно оставаясь в запертых ларьках, они давали понять, что, как марсианские ветераны, сделали больше чем достаточно для того, чтобы Церковь Господа Всебезразличного утвердилась и вошла в силу.

Они демонстративно показывали всем, что фактически отдали жизнь за это дело.

И Румфорд поддерживал их — говорил о них с любовью: «Святые солдаты там, перед дверцей в стене. Их равнодушие — тяжкая рана, которую они приняли, чтобы мы стали еще жизнерадостней, еще богаче чувствами, еще свободней».

Марсиане-торговцы противостояли великому искушению хоть одним глазком взглянуть на Звездного Странника. На стенах поместья Румфордов были установлены громкоговорители, так что каждое слово, сказанное Румфордом, гремело во всеуслышание на четверть мили в окружности. Эти слова вновь и вновь возвещали

великое торжество правды, которое настанет с явлением Звездного Странника.

Истинно верующие с трепетом, в сладком предвкушении, готовились к этой великой минуте, великой минуте, когда все истовые приверженцы новой веры почувствуют, что вера их десятикратно умножилась, засияла, наполнилась жизнью.

И вот наступила эта минута.

Пожарная машина, доставившая Звездного Странника от самых дверей Церкви Звездного Странника па мысе Код, под звон колокола и истерические вопли пожарной сирены уже проезжала мимо ряда ларьков.

Тролли не желали выглядывать из сумрачного туннеля.

Внутри, за стеной, рявкнула пушка.

Это значит, что Румфорд со своим псом материализовался — а Звездный Странник уже входит в дверцу из «Алисы в стране чудес».

— Наверное, какой-нибудь безработный актеришка из Нью-Йорка, которого он нанял, — сказал Брэкман.

Никто не сказал в ответ ни слова — даже Хроно, который считал себя главным циником торгового ряда. Да и сам Брэкман не принимал свои слова всерьез не считал, что Звездный Странник

— наемный статист. Все нынешние торговцы на собственной шкуре испытали румфордовское пристрастие к реализму. Когда Румфорд ставил мистерию страстей, он использовал только настоящих людей — в настоящем адском пекле.

Позвольте мне обратить ваше особое внимание на то, что Румфорд, несмотря на пристрастие к грандиозным зрелищам, никогда не поддавался искушению объявить самого себя Богом или даже каким-то подобием Бога.

Злейшие враги Румфорда это признают. Доктор Морис Розенау в своей книге «Пангалактическая фальшивка, или Три миллиарда одураченных» пишет:

"Уинстон Найлс Румфорд-межзвездный Фарисей, Тартюф и

Калиостро — все же потрудился объявить, что он не Господь

Вседержитель, даже не близкий родственник Господа

Вседержителя, и что никаких конкретных инструкций он от

Господа Вседержителя не получал. На эти слова Хозяина

Ньюпорта мы можем сказать только одно: аминь! И да будет нам

позволено добавить, что Румфорд настолько не похож на родню

или исполнителя воли Господа Вседержителя, что одно его

присутствие исключает какие бы то ни было переговоры с

Господом Вседержителем!"

Как правило, марсианские ветераны, затворенные в своих ларьках, переговаривались довольно весело расцвечивая разговор забавными небылицами или советами, как половчей всучить религиозный мусор простофилям.

Но теперь, когда Румфорд и Звездный Странник вот-вот встретятся, концессионеры почувствовали, что сохранить безразличие чрезвычайно трудно.

Сержант Брэкман поднял здоровую руку и дотронулся до своей макушки жестом, характерным для марсианского ветерана. Сержант коснулся того места, где была антенна, вживленная антенна, которая в былые времена думала за него и принимала все важные решения. Ему недоставало ее сигналов.

—

ПРИВЕДИТЕ КО МНЕ ЗВЕЗДНОГО СТРАННИКА! — прогремел голос Румфорда из труб архангельских

на стенах поместья.

— А может — может, пойдем, посмотрим? — сказал Брэкман Би.

— Что? — еле слышно сказала Би. Она стояла спиной к закрытым ставням. Глаза у нее были зажмурены. Казалось, она заледенела.

Ее всегда била дрожь, когда начиналась материализация.

Хроно неспешно поглаживал свой талисман кончиком большого пальца, глядя на туманное сиянье в холодном металле, на ореол вокруг пальца.

— Пусть катятся к черту — верно, Хроно? — сказал Брэкман.

Человек, продававший щебечущих заводных птичек, апатично качнул свой подвешенный к потолку товар. В битве при Тоддингтоне, в Англии, деревенская тетка подколола его вилами и бросила, сочтя мертвым.

«Международная комиссия по установлению личности и трудоустройству марсиан» с помощью отпечатков пальцев опознала продавца птиц как Бернарда К. Уинслоу, странствующего специалиста по определению пола цыплят, который пропал из палаты алкоголиков в одной из лондонских больниц.

— Премного благодарен за информацию, — сказал Уинслоу комиссии. — А то я чувствовал себя каким-то потерянным.

Сержанта Брэкмана опознали как рядового Фрэнсиса Дж. Томсона, который исчез в глухую полночь, обходя дозором автобазу в Форте Брэгг, Северная Каролина, США.

Би доставила комитету много хлопот. Отпечатков ее пальцев нигде не было. Комитет полагал, что она либо Флоренс Уайт, некрасивая одинокая девушка, исчезнувшая из прачечной в Кохосе, штат Нью-Йорк, либо Дарлин Симпкинс, некрасивая одинокая девушка, которую в последний раз видели садящейся в машину какого-то смуглого незнакомца в Браунсвилле, Техас.

А дальше в ряду за ларьком Брэкмана ютились другие ошметки марсианского войска, которых комиссия опознала как Майрона С. Уотсона, алкоголика, исчезнувшего со своего поста смотрителя платной уборной в Ньюйоркском аэропорту… как Арлин Хеллер, помощницу диетолога в кафетерии средней школы Стиверса в Дейтоне, штат Огайо… как Кришну Гару, наборщика, которого до сих пор разыскивали по обвинению в двоеженстве, сводничестве и за оставление без помощи семьи в Калькутте, Индия… как Курта Шнайдера,

тоже алкоголика, заведующего прогоревшим бюро путешествий в Бремене, Германия.

— Этот всемогущий Румфорд… — сказала Би.

— Простите, не понял? — сказал Брэкман.

— Он вырвал нас из жизни, — сказала Би. — Он усыпил нас. Он выскреб нашу память, как будто это тыква, из которой надо сделать фонарь. Он превратил нас в роботов с дистанционным управлением, он нас муштровал, гонял — он всех нас предал всесожжению за правое дело. — Она пожала плечами.

— А добились бы мы чего-нибудь получше, если бы он нас не трогал и мы жили бы сами по себе? — сказала Би. — Достигли бы мы чего-то большего — или меньшего? Я, пожалуй, даже рада, что он пустил меня в дело. Пожалуй, он лучше знал, что со мной делать, чем Флоренс Уайт или Дарлин Симкинс, или кто там еще — чем бы я ни была раньше.

— Но я все равно его ненавижу, — сказала Би.

— Это ваше право, — сказал Брэкман. — Он сам сказал, что это право и привилегия каждого марсианина.

— Одно только есть утешение, — сказала Би. — Мы все — конченные люди. Больше мы ему ни на что не сгодимся.

— Добро пожаловать, Звездный Странник, — проблеял масляномаргариновый тенор Румфорда из архангельских труб на стенах. — Как подобает случаю то, что вы прибыли к нам на ярко-красной машине добровольной пожарной команды! Я не могу подобрать более волнующего символа человечности человека к человеку, чем пожарная машина. Скажите мне, Звездный Странник — видите ли вы здесь что-нибудь — что-нибудь, напоминающее вам, что вы уже когда-то здесь побывали?

Звездный Странник пробормотал что-то нечленораздельное.

— Громче, прошу вас, — сказал Румфорд.

— Фонтан — я помню этот фонтан, — неуверенно сказал Звездный Странник. — Только — только…

— Что «только»? — спросил Румфорд.

— Он был тогда сухой — только не помню, где это было. А теперь в нем так много воды, — сказал Звездный Странник.

Тут на репродукторы через монитор подали звук с микрофона возле самого фонтана, так что журчанье, плеск и кипенье струй фонтана стало фоном для голоса Звездного Странника.

— Еще что-нибудь знакомое видите, о Звездный

Странник? — сказал Румфорд.

— Да, — смущенно сказал Звездный Странник. — Вас.

— Меня? — высокомерно переспросил Румфорд. — Не хотите ли вы сказать, что я уже сыграл какую-нибудь мелкую роль в вашей жизни?

— Я вас видел на Марсе, — сказал Звездный Странник. — Я видел там человека с собакой — это были вы. Перед самым запуском.

— А что было после запуска? — спросил Румфорд.

— Что-то не сработало, — сказал Звездный Странник. Он говорил извиняющимся тоном, как будто сам был виновником цепи свалившихся на него несчастий. — Сразу много чего не сработало.

— А вам никогда не приходило в голову, — спросил Румфорд, — что все сработало, и в точности так, как надо?

— Нет, — простодушно ответил Звездный Странник. Эта мысль его не напугала — не могла напугать — она была слишком непостижима для его философии военного образца.

— А вы смогли бы узнать свою жену и сына? — спросил Румфорд.

— Я… не знаю, — ответил Звездный Странник.

— Приведите сюда женщину с мальчишкой, которые продают Малаки перед железной дверцей, — приказал Румфорд. — Приведите Би и Хроно.

Звездный Странник, Уинстон Найлс Румфорд и Казак стояли на помосте перед особняком. Помост был примерно на уровне глаз стоящей вокруг толпы. Он входил в сложную систему соединенных между собой висячих мостиков, пандусов, лесенок, балкончиков, подмостков и эстрад, опутывавшую весь парк до самых дальних уголков.

Эта конструкция позволяла Румфорду беспрепятственно и на виду у всех передвигаться по всему парку, и толпа ему не мешала. Иными словами, Румфорд позволял полюбоваться собой каждому зрителю, допущенному в поместье.

Конструкция казалась чудом левитации, но никакой магнитной подвески тут не было. Просто система была так хитроумно окрашена, что создавалось впечатление волшебной невесомости. Опоры были покрыты глухим черным цветом, а горизонтальные плоскости ослепительно сверкали золотом.

Телевизионные камеры и микрофоны, подвешенные на кронштейнах, распределялись так, что могли следить за любой точкой системы.

На случай ночных материализации все горизонтальные помосты были обрамлены электрическими лампочками телесно-розового тона.

Звездный Странник был всего лишь тридцать первым гостем, которого Румфорд пригласил подняться наверх.

И вот ассистент был послан к ларьку, где продавали Малаки — за тридцать вторым и тридцать третьим гостями, которым предстояло удостоиться подобной чести.

Румфорд выглядел неважно. Цвет лица у него был нехороший. И хотя он по-прежнему улыбался, казалось, что зубы у него стиснуты до скрежета. Самодовольное благодушие слиняло, оставив лишь гримасу, так что всякому было видно, что дело плохо.

Но знаменитая улыбка Румфорда ни на минуту не сходила с его лица. Заносчивый, полный высокомерного снобизма, привыкший к восторгу зрителей, он держал на цепочке-удавке своего громадного пса. Цепочка была на всякий случай затянута так, что впивалась в горло пса. Предосторожность не была излишней — пес явно невзлюбил Звездного Странника.

Румфорд на минуту пригасил улыбку, дабы напомнить толпе, какое тяжкое бремя он несет

ради людей, — и предупредить, что вряд ли он сможет нести это бремя вечно.

На ладони Румфорда лежал микрофон с передатчиком размером с мелкую монету. Когда ему не хотелось, чтобы народ его слышал, он попросту сжимал кулак.

Сейчас монетка как раз была зажата в кулаке — он подшучивал над Звездным Странником, и толпе, во избежание смуты, не полагалось слушать эти шуточки.

— Вы настоящий герой дня, не правда ли? — говорил Румфорд. — С первой минуты, как вы появились, вас встречает праздник любви. Толпа вас просто обожает. А вы толпу обожаете?

Нечаянные радости этого дня настолько ошеломили Звездного Странника, что он словно впал в детство — в этом состоянии он абсолютно не воспринимал ни шуток, ни сарказма. За свою долгую, нелегкую жизнь он часто оказывался в плену разнообразных обстоятельств, и сейчас он был пленен толпой, которая преклонялась перед ним.

— Они такие чудесные, — ответил он Румфорду. — Такие славные люди.

— О, компания славная, что и говорить, — подхватил Румфорд. — Я как раз ломал голову,

пытался подобрать верное слово, а вы принесли мне его из глубин космоса. _Славные_– вот именно, славные.

Румфорд явно думал о чем-то другом. Звездный Странник его не интересовал — он на него даже не смотрел. Прибытие жены и сына Звездного Странника тоже его не особенно занимало.

— Ну где они, где они? — спросил Румфорд у ассистента, стоявшего внизу. — Не затягивайте, пора кончать.

Звездный Странник был в таком блаженном, приподнятом настроении от всего, что с ним творилось, что как-то стеснялся задавать вопросы, боясь показаться неблагодарным.

Он понимал, что ему отведена страшно важная роль в торжественной церемонии, и счел за лучшее помалкивать, отвечать только на прямые вопросы, как можно короче и проще.

Не то чтобы в голове Звездного Странника роилось множество вопросов. Главная идея праздничной церемонии в его честь была совершенно ясна, идея совершенно бесспорная, функциональная, как трехногая табуреточка для доярки. Он перенес неслыханные страдания и вот теперь получает неслыханно щедрое воздаяние.

Этот внезапный поворот колеса фортуны стал

поводом для всенародного торжества. Звездный Странник улыбался, разделяя восторг толпы, — словно и сам был там, в толпе, охваченный восторгов.

Румфорд читал мысли Звездного Странника.

— Имейте в виду, что они пришли бы в точно такой же восторг, если бы все было наоборот, — сказал он.

— Наоборот? — сказал Звездный Странник.

— Если бы началось с неслыханно щедрого воздаяния, а затем настал черед неслыханных страданий, — сказал Румфорд. — Их радует _контраст_. Порядок событий их не интересует. _Перевороты_ — вот что они обожают…

Румфорд разжал кулак, держа микрофон на ладони. Другой рукой он сделал широкий приветственный жест. Он приглашал подойти Би и Хроно, уже вознесенных на высоту золоченых переплетений системы балкончиков, переходов, подмостков, лесенок, пандусов, приступок и эстрад.

— Прошу, прошу сюда. У нас не так уж много времени, — торопил их Румфорд, как классная дама.

Наступило недолгое затишье, и Звездный Странник впервые успел по-настоящему обра-

доваться, подумать о том, как хорошо ему будет жить на Земле. Кругом такие добрые, восторженные и мирные люди — значит, на Земле можно жить не просто хорошо, а замечательно.

Звездному Страннику уже подарили прекрасный новый костюм и завидное положение в обществе и вот-вот ему вернут жену и сына.

Для полного счастья не хватало только лучшего друга, и Звездный Странник вдруг заметил, что весь дрожит. Он дрожал, вдруг ощутив всем сердцем, что его задушевный друг, Стоуни Стивенсон, затаился где-то неподалеку и ждет только сигнала, чтобы выйти.

Звездный Странник улыбнулся, представляя себе, какой выход устроит Стоуни. Стоуни, смеющийся, немного навеселе, сбежит по пандусу вниз.

— Дядек, чертяка ты этакий, — прогремит голос Стоуни, усиленный громкоговорителями, — да я же все злачные места на этой чертовой Земле облазил, — все обшарил, провалиться мне на этом месте, а ты-ты, оказывается, проторчал все это чертово время на Меркурии, сукин ты сын!

Когда Би и Хроно подошли к тому месту, где стояли Румфорд и Звездный Странник, Румфорд от них отошел. Если бы он просто отодвинулся в

сторону на длину протянутой руки, все заметили бы его отстраненность. Но благодаря системе золоченых подмостков он сразу же оказался очень далеко от тех троих, и не просто вдали, а в пространстве, искривленном, искаженном причудливыми и неистощимыми в своей символике преградами.

Да, это был поистине великий театр, что бы ни говорил язвительный доктор Морис Розенау (op. cit.)*.

/* Выше упомянутое сочинение (лат.). /

«Толпа, благоговейно глазеющая на Уинстона Найлса Румфорда, танцующего среди своих золоченых трапеций и мостиков, состоит из тех же идиотов, которые в игрушечных магазинах благоговейно глазеют на игрушечную железную дорогу, где крохотные поезда бегут — чух-чух-чух — ныряют в картонные туннели, пробегают по спичечным эстакадам через городки из папье-маше и снова ныряют в картонные туннели. Интересно, вынырнет ли игрушечный поезд — или Уинстон Найлс Румфорд-чух-чух-чух! — с другого конца? О, mirable dictu! ** Вон он, глядите!»

/** Как ни удивительно (лат.). /

С помоста перед особняком Румфорд перебрался

на ступенчатый мостик, переброшенный аркой над живой изгородью-боскетом. Мостик кончался трехметровым балкончиком, примыкавшим к стволу медного бука. Медный бук имел четыре фута в диаметре. К стволу крепились на болтах вызолоченные ступеньки.

Румфорд привязал Казака к нижней ступеньке, полез вверх, как Джек из детской сказки по бобовому побегу, и скрылся из глаз.

Он заговорил откуда-то из глубины кроны.

Но его голос доносился не с дерева, а из архангельских труб, торчавших на стенах.

Толпа оторвалась от созерцания густой кроны, все вперили глаза в ближайшие громкоговорители.

Только Би, Хроно и Звездный Странник все еще смотрели вверх, туда, где находился сам Румфорд. И вовсе не потому, что они были разумнее других, а просто от смущения. Глядя вверх, члены этой маленькой семьи могли не глядеть друг на друга.

Ни у кого из троих не было особых причин радоваться встрече.

Бн не понравился тощий, заросший бородой, ошалевший от счастья простак в исподнем белье лимонно-желтого цвета. Она мечтала о высоком,

насмешливом, дерзком бунтаре.

Хроно с первого взгляда возненавидел этого бородача, которыми грозил нарушить его тонкие, особенные отношения с матерью. Хроно поцеловал свой талисман и загадал желание, чтобы его отец, если он и вправду его отец, провалился бы сквозь землю.

А сам Звездный Странник, несмотря на героические усилия, не мог себя заставить от чистого сердца пожелать, чтобы мать и сын — темнокожие, озлобленные — стали его семьей.

Совершенно случайно Звездный Странник взглянул прямо в глаза Би, точнее, в здоровый глаз Би. Надо было что-то сказать.

— Как поживаете? — сказал Звездный Странник.

— Как _вы_ поживаете? — ответила Би.

И оба снова стали смотреть вверх, в гущу листвы.

— О мои счастливые, обремененные братья, — зазвучал голос Румфорда, — возблагодарим Господа Бога — Господа Бога, которому наши хвалы так же нужны и приятны, как великой Миссисипи — дождевая капелька, — за то, что мы не такие, как Малаки Констант.

У Звездного Странника слегка заныл затылок.

Он опустил глаза. Его взгляд задержался на длинном вызолоченном висячем мостике неподалеку. Он проследил, куда мостик ведет. Мостик кончался у подножия самой длинной на Земле свободно стоящей приставной лестницы. Лестница, конечно, тоже была вызолочена.

Звездный Странник переводил взгляд все выше, словно карабкаясь к тесному входному люку космического корабля, установленного на верху колонны. Он подумал, что вряд ли найдется человек, у которого хватит духу или самообладания, чтобы влезть по этой жуткой лестнице к такой крохотной дверце.

Звездный Странник снова окинул взглядом толпу. Может, Стоуни Стивенсон все же прячется где-то в толпе. Может, он просто ждет, пока торжество кончится, и тогда он сам подойдет к своему единственному, задушевному другу с Марса.

Глава одиннадцатая.
МЫ НЕНАВИДИМ МАЛАКИ КОНСТАНТА ЗА ТО...

"Назовите мне хоть что-нибудь хорошее, что вы сделали в жизни".

— Уинстон Найлс Румфорд

Вот что говорилось в проповеди дальше:

— Мы _презираем_ Малаки Константа за то, — сказал Уинстон Найлс Румфорд, — что все фантастические богатства, плод своего фантастического везения, он тратил только на то, чтобы непрестанно доказывать всему миру, что человек — просто свинья. Он окружил себя прихлебателями и льстецами. Он окружил себя падшими женщинами. Он с головой окунулся в разврат, пьянство, наркоманию. Он погряз во всех порочных наслаждениях, какие только можно себе представить.

— Пока ему так сказочно везло, Малаки Констант стоил больше, чем штаты Юта и Северная Дакота, вместе взятые. И все же я утверждаю, что в те времена нравственных принципов у него было меньше, чем у самой мелкой, самой вороватой

полевой мышки в любом из этих штатов.

— Мы _возмущены_ Малаки Константом, — вещал Румфорд с вершины дерева, — потому что он ничем не заслужил свои миллиарды, а еще потому, что он не тратил их ни на творчество, ни на помощь другим — только на себя. Он был так же человеколюбив, как МарияАнтуанетта, а творческого духа в нем было столько же, сколько в инструкторе-косметологе при похоронном бюро.

— Мы _ненавидим_ Малаки Константа, — говорил Румфорд с вершины дерева, — за то, что он принимал фантастические плоды своего сказочного везенья, как нечто само собой разумеющееся, как будто удача — это перст Божий. Для нас, паствы Церкви Господа Всебезразличного, самое жестокое, самое опасное, самое кощунственное, до чего может докатиться человек, — это уверенность, что счастье или несчастье — перст Божий!

— Счастье или несчастье, — провозгласил Румфорд с вершины дерева, — вовсе не перст Божий!

— Счастье, — сказал Румфорд с вершины дерева, — это ветер, крутящий горсточку праха, — эоны спустя после того, как Бог прошествовал мимо.

— Звездный Странник! — воззвал Румфорд сверху, из кроны дерева.

Звездный Странник отвлекся и слушал плохо. Ему не удавалось долго сосредоточивать свое внимание на чем-то — то ли он слишком долго жил в пещерах, то ли слишком долго жил на дышариках, а может, слишком долго служил в Марсианской Армии.

Он любовался облаками. Они были такие красивые, а небо, в котором плыли облака, радовало взгляд изголодавшегося по всем цветам радуги Звездного Странника чудесной голубизной.

— Звездный Странник! — снова окликнул его Румфорд.

— Эй, вы, в желтом, — угрюмо сказала Би. Она толкнула его локтем в бок. — Проснитесь.

— Простите? — сказал Звездный Странник.

Звездный Странник встал по стойке «смирно».

— Да, сэр? — крикнул он, глядя в зеленую листву над головой. Он откликнулся разумно, бодро, с приятностью. Прямо перед ним закачался опустившийся откуда-то микрофон.

— Звездный Странник! — повторил Румфорд, уже успевший рассердиться, — ведь плавный ход представления был нарушен.

— Здесь, сэр! — крикнул Звездный Странник. Громкоговорители оглушительно усилили его голос.

— Кто вы такой? — спросил Румфорд. — Как ваше настоящее имя?

— Я своего настоящего имени не знаю, — сказал Звездный Странник. — Меня все звали Дядек.

— А что с вами было до того, как вы вернулись на Землю, Дядек? — спросил Румфорд.

Звездный Странник просиял. Ему подали реплику, и он знал простой ответ, услышав который па Мысе Код все начали смеяться, танцевать, распевать песни.

— Я — жертва цепи несчастных случайностей, как и все мы, — сказал он.

На этот раз никто не смеялся, не танцевал и не пел, но присутствующим явно пришлись по душе слова Звездного Странника. Головы высоко поднялись, глаза широко раскрылись, ноздри раздувались. Но никуо не кричал, потому что всем хотелось услышать все, что скажут Румфорд и Звездный Странник, до последнего словца.

— Жертва цепи несчастных случайностей, вот как? — сказал Румфорд сверху, из кроны дерева. — А какую из этих случайностей вы назвали бы самой значительной?

Звездный Странник наклонил голову набок.

— Надо подумать, — сказал он.

— Я вас избавлю от труда, — сказал Румфорд. —

Самое главное несчастье, которое с вами стряслось, — то, что вы родились на свет. А не хотите ли, чтобы я вам сказал, как вас назвали, когда вы родились на свет?

Звездный Странник замялся на мгновение, испугавшись, что испортит так прекрасно начавшуюся карьеру героя торжеств и празднеств каким-нибудь неверным словом.

— Пожалуйста, скажите, — отозвался он.

— Вас назвали Малаки Констант, — объявил Румфорд с вершины дерева.

Если толпа вообще может быть до какой-то степени хорошей, толпу, собравшуюся в Ньюпорте ради Уинстона Найлса Румфорда, можно назвать хорошей толпой. Они не превращались в неуправляемое многоголовое чудище. Каждый сохранял свою личность, свою совесть, и Румфорд никогда не призывал их действовать заодно — и уж, конечно, не ждал от них ни дружных аплодисментов, ни издевательских криков и свиста.

Когда до всех постепенно дошло, что Звездный Странник — тот самый презренный, возмутительный, ненавистный Малаки Констант, люди в толпе восприняли это каждый по-своему, спокойно, с затаенной грустью — и почти все ему сочувствовали. Ведь это на их совести, на сове-

сти в общем порядочных людей, лежало то, что они повсюду символически вешали Константа — вешали его изображения и дома, и на работе. И хотя куколок — Малаки они вздергивали не без удовольствия, почти никто не считал, что Константа из плоти и крови заслуживает казни через повешение. Куколок вешали так же беззлобно, как обрезали лишние ветки с новогодней елки или прятали пасхальные яйца.

Румфорд со своей древесной кафедры ни одним словом не пытался отнять у него их сочувствие.

— С вами произошло несчастье совсем особого рода, мистер Константа, — сочувственно, даже с симпатией сказал Румфорд. — Вы послужили живым символом заблудшего грешника для громадной религиозной секты.

— Как символ вы для нас не так уж интересны, мистер Константа, — продолжал он, — но все же вы тронули наши сердца, хотя бы отчасти. Мы сердечно сочувствуем вам — ведь все ваши вопиющие прегрешения — лишь извечные заблуждения, свойственные человеку.

— Через несколько минут, мистер Константа, — говорил Румфорд со своей вершины, — вы пройдете по мостикам и пандусам к той длинной золотой лестнице, а потом поднимитесь по

этой лестнице, войдете в космический корабль и полетите на Титан, теплый и плодородный спутник Сатурна. Там вы будете жить в покое и безопасности, но все же как изгнанник с вашей родной Земли.

— И вы сделаете все это по доброй воле, мистер Констант, чтобы Церковь Господа Всебезразличного вечно помнила и переживала драму благородного самопожертвования.

— Нам принесет духовную радость одна мысль о том, — говорил Румфорд ее своей вершины, — что вы унесли с собой и ошибочное понимание счастья и несчастья, и самую память как о богатстве и власти, употребленных всуе, так и о всех ваших постыдных и грешных развлечениях.

Человек, который был Малаки Константом, был Дядьком, был Звездным Странником, человек, который снова стал Малаки Константом, — этот человек почти ничего не почувствовал, когда его назвали Малаки Константом. Вполне возможно, что он успел бы испытать какие-то чувства, достойные упоминания, если бы Румфорд построил свой сценарий иначе. Но Румфорд сообщил ему о тяжких испытаниях, которые его ждут, почти сразу же после того, как объявил его настоящее имя. Предстоящие Малаки Константу ужасные

испытания требовали напряженного, пристального внимания.

Эти страсти должны были начаться не годы, не месяцы и не дни спустя, а спустя считанные минуты. Так что Малаки Констант, как любой приговоренный к наказанию преступник, отрешился от всего другого, принялся прилежно изучать то орудие кары, которое послужит реквизитом в сцене под занавес с его участием.

Как ни странно, больше всего он беспокоился о том, как бы не споткнуться; если он начнет думать о каждом шаге вместо того, чтобы просто идти, то ноги откажутся ему повиноваться, как деревяшки, и он непременно споткнется.

— Да нет, не споткнетесь вы, мистер Констант, — сказал с верхушки дерева Румфорд, прочитавший мысли Константа. — Вам же больше некуда идти, некуда деваться. Так что вам остается только переставлять ноги одну за другой — больше ничего, и вы оставите по себе вечную память — станете самым незабвенным, великолепным, значительным представителем человечества новой эры.

Констант обернулся, взглянул на свою темнокожую подругу и смуглого сына. Они смотрели прямо ему в глаза. Констант прочел в их глазах,

что Румфорд сказал чистую правду и все пути для него закрыты — кроме дороги к космическому кораблю. Беатриса и юный Хроно с циничным пренебрежением относились ко всяческим церемониям — но к мужеству в тяжких испытаниях они относились всерьез.

Они ждали и требовали, чтобы Малаки Констант вел себя достойно.

Констант потер подушечкой большого пальца указательный аккуратным круговым движением. И это бесцельное действие он наблюдал не меньше десяти секунд.

Потом он опустил руки по швам, поднял голову и твердым шагом пошел к космическому кораблю.

Когда он поставил левую ногу на пандус, в голове у него раздался звук, которого он не слышал три земных года. Звук передавался через антенну, вживленную в его мозг. Это Румфорд со своей древесной вершины посылал сигналы на антенну в черепе Константа при помощи небольшой коробочки, которую носил в кармане.

Он облегчил долгое, одинокое восхождение Константа, заполнив голову Константа дробью строевого барабана.

А строевой барабан знай заливался трелью:

Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень.
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень!

Как только рука Константа обхватила золотую ступеньку самой высокой в мире приставной лестницы, дробь барабана оборвалась. Констант поднял глаза, и верхний конец лестницы, в перспективе, показался ему узеньким, как острие иголки. Констант на минуту прижался лбом к ступеньке, за которую держался рукой.

— Не хотите ли что-нибудь сказать, мистер Констант, прежде чем подниметесь по лестнице? — спросил Румфорд, невидимый в кроне дерева.

Перед лицом Константа на конце шеста снова закачался микрофон. Констант облизнул губы.

— Собираетесь что-нибудь сказать, мистер Констант? — сказал Румфорд.

— Если будете говорить, — сказал Константу ассистент звукооператора при микрофоне, — говорите совершенно естественным тоном, а губы держите примерно в шести дюймах от микрофона.

— Вы будете говорить с нами, мистер Кон-

стант? — спросил Румфорд.

— Может — может, об этом не стоит и говорить, — негромко сказал Констант, — но все же мне хочется сказать, что я ничего не понял, совсем ничего — с той минуты, как оказался на Земле.

— То есть вы не чувствуете себя полноправным участником событий? — сказал Румфорд в кроне дерева. — Это вы хотите сказать?

— Это неважно, — сказал Констант. — Я ведь все равно полезу по этой лестнице.

— Нет уж, позвольте, — сказал Румфорд, скрытый листвой, — если вы считаете, что мы с вами поступаем несправедливо, — тогда пожалуйста, расскажите о чем-нибудь — очень хорошем, что вы сделали хоть раз в жизни, и предоставьте нам решить, не отменить ли наказание, к которому мы вас присудили, ради этого единственного доброго дела.

— Доброе дело? -сказал Констант.

— Да-да, — великодушно подтвердил Румфорд. — Назовите мне хоть что-нибудь хорошее, что вы сделали в жизни, — если можете припомнить.

Констант думал изо всех сил. Главным образом ему вспоминались бесконечные скитания по

лабиринтам пещер. Там ему, хотя и не часто, представлялись возможности быть добрым к Бозу или гармониумам. Но, честно говоря, он этими возможностями творить добро как-то не воспользовался.

Тогда он стал думать о Марсе, о том, что он писал в письмах к самому себе. Не может быть, чтобы среди всех этих записей не было ничего, свидетельствующего о его собственной доброте.

Как вдруг он вспомнил Стоуни Стивенсона — своего друга. У него был друг, и это, конечно, очень хорошо.

— У меня был друг, — сказал Констант в микрофон.

— А как его звали? — спросил Румфорд.

— Стоуни Стивенсон, — ответил Констант.

— Один-единственный друг? — спросил Румфорд со своей вершины.

— Единственный, — сказал Констант. Его бедная душа радостно встрепенулась, когда он понял, что единственный друг — все, что человеку нужно, чтобы чувствовать себя щедро одаренным дружбой.

— Значит, все хорошее, что вы отыскали в своей прошлой жизни, всецело зависит от того, хорошим или плохим другом вы были этому Стоуни

Стивенсону?

— Да, — сказал Констант.

— А помните казнь на Марсе, мистер Констант, — сказал Румфорд со своей вершины, — где вы сыграли роль палача? Вы задушили человека, прикованного к столбу, на глазах у солдат трех полков Марсианской Армии.

Именно это воспоминание Констант все время старался вытравить из памяти. И это ему почти удалось — настолько, что он искренне задумался, роясь в памяти. Он не был уверен, что казнь состоялась на самом деле.

— Я — кажется, что-то припоминаю, — сказал Констант.

— Так вот — человек, которого вы задушили, и был ваш лучший, самый дорогой друг, Стоуни Стивенсон, — сказал Уинстон Найлс Румфорд.

Малаки Констант лез наверх по золоченой лестнице и плакал. Он приостановился на полпути, и тогда голос Румфорда снова загремел в громкоговорителях.

— Ну как, чувствуете теперь живой интерес к происходящему, мистер Констант? — окликнул его Румфорд.

Да, мистер Констант чувствовал живой интерес. Он постиг всю глубину собственного

ничтожества и с горьким одобрением отнесся бы к любому, кто считал, что он заслужил самое суровое наказание, и поделом.

А когда он добрался до самого верха, Румфорд сказал, чтобы он не закрывал входной люк — за ним идут его жена и сын.

Констант присел на пороге своего космического корабля, у последней ступеньки лестницы, и слышал, как Румфорд читает проповедь о смуглой подруге Константа, об одноглазой женщине с золотыми зубами по имени Би. Констант не прислушивался к словам. Перед его взглядом разворачивалась неизмеримо более значительная, куда более утешительная проповедь — вид с высоты на город, залив и далекие острова на горизонте.

А смысл этой проповеди, этого взгляда с высоты был вот какой: даже тот, у кого нет ни единого друга во всей Вселенной, может увидеть свою родную планету непостижимо, до боли в сердце, прекрасной.

— Настала пора рассказать вам, — сказал Уинстон Найлс Румфорд со своей верхушки дерева, очень далеко внизу, под лестницей, — про Би — ту женщину, которая продает Малаки за стеной, про эту темнокожую женщину, которая вместе с

сыном смотрит на нас так враждебно.

— Много лет назад, по дороге на Марс, Малаки Констант злоупотребил ее беспомощностью, и она родила ему сына. А до того она была моей женой, владелицей этого поместья. Ее звали Беатриса Румфорд.

По толпе пронесся стон. Можно ли удивляться тому, что все религии были вынуждены бросить в небрежении свои пыльные, никому не нужные игрушки, а глаза всех людей обратились к Ньюпорту? Глава церкви Господа Всебезразличного не только умел предсказывать будущее и побеждать самое вопиющее неравенство — неравенство перед лицом слепой судьбы, — у него еще был неистощимый запас потрясающих чудес!

Этого великого материала для сенсаций у него было в избытке, так что он мог даже позволить себе снизить голос почти до шепота, объявляя, что одноглазая женщина с золотыми зубами когда-то была его женой, а Малаки Констант наставил ему рога.

— И вот теперь я предлагаю вам выразить презрение к ее образу жизни, такое же презрение, какое вы так долго питали к образу жизни Малаки Константа, — сказал он снисходительно. — Можете, если хотите, подвесить ее рядом с

Малаки Константом у себя в окне или на люстре.

— Она тоже предавалась излишествам — только это были излишества замкнутости, — сказал Румфорд. — Эта молодая женщина считала, что при ее благородном происхождении и утонченном воспитании она ничего не должна делать и не допускать, чтобы с ней что-то делали, — боялась, как бы не уронить себя, не замараться. Беатрисе, когда она была моложе, жизнь представлялась полной заразных микробов и вульгарности — короче, почти невыносимой.

— Мы, дети Церкви Господа Всебезразличного, клеймим ее так же строго за отказ от жизни из боязни потерять свою воображемую чистоту, как мы клеймим Малаки Константа за то, что он вывалялся в каждой сточной канаве.

— Беатриса каждым словом и жестом старалась показать, что она достигла наивысшего интеллектуального, морального и физического совершенства, какое Бог мог создать, а остальному человечеству до нее так далеко, что ему и за десять тысяч лет ее не догнать. Перед нами опять наглядный пример: заурядное, лишенное творческой искорки человеческое существо надеется так разодолжить Всемогущего, что дальше некуда. Предположение, что Беатриса угодила

Господу Богу, сделавшись недотрогой от своего слишком благородного происхождения и изысканного воспитания, столь же сомнительно, как и предположение, что Господь Бог пожелал, чтобы Малаки Констант родился миллиардером.

— Миссис Румфорд, — сказал Уинстон Найлс Румфорд со своей вершинй, — я предлагаю вам и вашему сыну подняться следом за Малаки Константом в космический корабль, который летит на Титан. Вы не хотите что-нибудь сказать нам на прощанье?

Молчание затянулось. Мать и сын встали рядом, плечом к плечу, глядя на мир, который так изменился за один день.

— Вы собираетесь что-нибудь сказать нам, миссис Румфорд? — сказал Румфорд со своей вершины.

— Да, — сказала Беатриса. — Очень немного. Думаю, что про меня вы сказали правду, потому что лжете вы редко. Но когда я и мой сын вместе пойдем к этой лестнице и взберемся по ней, не думайте, что мы делаем это ради вас или вашей глупой толпы. Мы сделаем это ради самих себя — мы докажем себе и всем, кто станет смотреть, что мы ничего не боимся. И мы покинем эту планету без сожаления. Мы ее презираем не меньше, чем

ваша толпа по вашей указке презирает нас.

— Я не помню ничего о прежней жизни, когда я была хозяйкой этого поместья и не выносила, чтобы со мной что-то делали, и сама не желала ничего делать. Но я сама себя полюбила сразу же, как вы мне сказали, какая я была. Земля — помойная яма, а все люди — подонки, в том числе и вы.

Беатриса и Хроно быстро пошли по подмосткам и пандусам к лестнице, вскарабкались вверх. Они проскользнули мимо Малаки Константа, не подавая виду, что заметили его, и скрылись внутри корабля.

Констант вошел за ними, и вместе они осмотрели кабину. Состояние внутренних помещений их поразило — и оно куда сильнее поразило бы охрану поместья. В космическом корабле, помещенном на верху неприступной колонны в парке, охраняемом, как святая святых, побывали одна, а может, и не одна пьяная компания.

Все кровати были разворочены. Постели были скомканы, скручены, словно жеваные. Простыни измазаны губной помадой и кремом для обуви.

Раковины жареных моллюсков хрустели под ногами, оставляя жирные пятна.

По всему кораблю были разбросаны пустые бутылки: две литровых из-под «Горной луны»,

пол-литровая из-под «Утешительного Юга» и еще дюжина жестянок из-под нарраганзеттского пива Лагера.

На белой стене возле люка были написаны имена:

Бад и Сильвия. А с пульта в центральной рубке свисал черный бюстгальтер

Беатриса собрала бутылки и жестянки из-под пива. Она выкинула их за дверь. Бюстгальтер, который она стащила с пульта и держала в руке, трепыхался снаружи, а она ждала, пока налетит порыв ветра.

Малаки Констант, все еще оплакивая Стоуни Стивенсона, вздыхая, покачивая головой, сгребал мусор ногами за неимением щетки. Он подгребал раковины жареных моллюсков поближе к двери. Юный Хроно сидел на койке, поглаживая свой талисман.

— Давай отваливать, мать, — процедил он сквозь зубы, — пусть катятся к чертовой матери, пора отваливать!

Беатриса выпустила бюстгальтер. Ветер подхватил его, понес над толпой, зацепил за дерево рядом с тем, в котором засел Румфорд.

— Прощайте, чистенькие, умненькие, славненькие людишки, — сказала Беатриса.

Глава двенадцатая.
ДЖЕНТЛЬМЕН С ТРАЛЬФАМАДОРА

«Выражаясь пунктуально, — прощайте».

— Уинстон Найлс Румфорд

У Сатурна девять лун, и самая большая из них — Титан.

Титан немного уступает по величине Марсу.

Титан — единственная планета-спутник в Солнечной системе, у которой есть своя атмосфера. Атмосфера пригодна для дыхания — кислорода в ней достаточно.

Воздух Титана можно сравнить с воздухом, какой бывает на Земле весенним утром возле двери пекарни, выходящей на задний дворик.

Ядро Титана — природная химическая топка, которая поддерживает ровную температуру воздуха — шестьдесят семь градусов по Фаренгейту.

На Титане три моря, каждое размером с земное озеро Мичиган. Все три моря заполнены чистой, изумрудно-зеленой водой. Они называются Море Уинстона, Море Найлса и Море Румфорда.

Есть еще целая сеть озер и заливов — зачатки четвертого моря. Эта система озер называется

Заводи Казака.

Море Уннстона, Море Найлса и Море Румфорда связывают между собой и с Заводями Казака три широкие реки. Эти реки, вместе с системой притоков, ведут себя неспокойно — то бесятся, то замирают, то снова терзают берега. Их бешеный норов зависит от прихотливого, изменчивого притяжения девяти лун Сатурна и от мощного влияния самого Сатурна, масса которого в девяносто пять раз больше массы Земли. Эти реки называются Река Уинстона, Река Найлса и Река Румфорда.

На Титане есть и леса, и долины, и горы.

Высочайшая гора — Пик Румфорда, высотой в девять тысяч пятьсот семьдесят один фут.

Только на Титане можно наблюдать зрелище потрясающей, неслыханной красоты — грандиозное явление, уникальное в Солнечной системе, — кольца Сатурна. Эти ослепительно сверкающие ленты достигают в ширину сорока тысяч миль, но не толще лезвия бритвы.

На Титане эти кольца называют Радугой Румфорда.

Сатурн летит по орбите вокруг Солнца.

Он совершает полный оборот за двадцать девять с половиной земных лет.

Титан летит по орбите вокруг Сатурна.

Следовательно, Титан описывает спираль вокруг Солнца.

Уинстон Найлс Румфорд и его пес, Казак, превратились в волновой феномен — они пульсировали по неравномерной спирали, начинающейся на Солнце и кончающейся на звезде Бетельгейзе. Когда эта спираль пересекалась с орбитой какого-нибудь небесного тела, Румфорд вместе с собакой материализовался на этом небесном теле.

По таинственным и до сих пор неясным причинам спиральные траектории Румфорда, Казака и Титана полностью совпадали.

Так что на Титане Румфорд и его пес постоянно сохраняли материальность.

Там Румфорд и Казак обитали на острове в Море Румфорда, на расстоянии одной мили от берега. Они жили в доме, который был точной копией Тадж Махала — того, что в Индии, на планете Земля.

Его построили марсиане.

По странной прихоти воображения Румфорд дал своему дому название «Dun Roamin»-"Конец скитаниям".

Кроме Румфорда и Казака, до прибытия Малаки Константа, Беатрисы и Хроно на Титане обитало

еще одно существо. Это существо звали СЭЛО. Он был очень стар. По земному счету ему было одиннадцать миллионов лет.

Сэло прилетел из другой галактики, из Малого Магелланова Облака. Ростом он был в четыре с половиной фута.

Кожа Сэло по цвету и фактуре напоминала кожуру земного мандарина.

У Сэло были три тонкие, как у олененка, ножки. А ступни у него были устроены поразительно интересно: каждая из них представляла собой надувной шар. Надув шары до размера мяча для немецкой лапты, Сэло мог шествовать по водам. Уменьшив их до размера мячиков для гольфа, Сэло мог передвигаться по твердой почве прыжками, с огромной скоростью. А когда он совсем выпускал воздух, его ступни превращались D присоски. Сэло мог ходить по стенам.

Рук у Сэло не было. Зато у него было три глаза, которые могли улавливать не только так называемые лучи видимого спектра, но и инфракрасные, ультрафиолетовые и рентгеновские лучи. Сэло был пунктуален — точен — иными словами, он в каждый данный момент находился в определенной точке — и он говаривал Румфорду, что предпочитает видеть чудесные оттенки невиди-

мого людям спектра, чем прошлое или будущее.

Сэло заведомо кривил душой: живя в точном времени, он тем не менее видел неизмеримо большие пространства Вселенной и глубины прошлого, чем Румфорд. К тому же он лучше запоминал то; что видел.

Голова у Сэло была шарообразная и держалась на кардановом подвесе, как корабельный компас.

Его голос напоминал клаксон старинного автомобиля, и его издавало электронное устройство.

Он говорил на пяти тысячах языков, из них пятьдесят были языками Земли: девятнадцать живых языков и тридцать один — мертвый.

Сэло не хотел жить во дворце, хотя Румфорд предложил построить ему дворец силами марсиан. Сэло жил под открытым небом, неподалеку от космического корабля, который сделал вынужденную посадку на Титане две тысячи лет назад. Это была летающая тарелка — прототип кораблей Марсианского космического флота.

История Сэло чрезвычайно интересна.

В 483.441 году до Рождества Христова всеобщее телепатическое собрание единодушно и с восторгом признало его самым красивым, здоровым и чистым сердцем представителем своего народа.

Это было приурочено к торжествам по поводу стомиллионной годовщины правительства его родной планеты в Малом Магеллановом Облаке. Его родная планета называлась Тральфамадор, и Сэло однжды перевел это название Румфорду: оказалось, что оно означало одновременно и «все мы», и число 541.

Год на родной планете Сэло, по его собственным расчетам, был в 3.6162 раза длиннее земного, — так что упомянутое торжество относилось к почетному юбилею правительства, насчитывавшего 361.620.000 земных лет. Сэло как-то в разговоре с Румфордом назвал эту столь долговечную форму правления гипнотической анархией, но отказался давать дальнейшие разъяснения.

— Или ты сразу поймешь, что это такое, — сказал он Румфорду, — или не стоит пытаться объяснять тебе, Скип.

Когда Сэло был избран представителем Тральфамадора, на него возложили миссию — пронести запечатанное послание «от одного края Вселенной до другого». Устроители торжеств не питали никаких иллюзий и вовсе не предполагали, что Сэло пройдет из конца в конец всю Вселенную. Это был образ поэтический, как и вся экспедиция Сэло. Сэло просто-напросто возьмет послание и

понесет его как можно дальше и как можно быстрее — насколько позволит тральфамадорская техническая культура.

Содержания послания Сэло не знал. Послание было составлено, как Сэло объяснил Румфорду, «как бы университетом, только туда никто не ходит».

— Никаких зданий там нет, никаких факультетов. В нем участвуют все, но никто там не бывает. Он похож на облако, в которое каждый вдохнул свой маленький клубочек пара, а уж потом облако думает обо всем и за всех вместе. Нет, ты не подумай, что облако и вправду _существует_. Я просто хотел сказать, что оно похоже на облако. Если ты не понимаешь, о чем я говорю, Скип, не стоит пытаться объяснить тебе. Понимаешь, никаких собраний там не бывает, вот и все.

Послание было заключено в запечатанном свинцовом контейнере — похожем на вафлю квадратике со сторонами по два дюйма, толщиной в три восьмых дюйма. Сама вафелька помещалась в сумочке из золотой сетки, подвешенной на ленте из нержавеющей стали к штырьку, который можно было считать шеей Сэло.

Сэло было строго-настрого приказано не вскры-

вать сумочку и контейнер до тех пор, пока он не прибудет на место назначения. Его местом назначения был вовсе не Титан. Он направлялся к Галактике, начинавшейся в восемнадцати миллионах световых лет дальше Титана. Устроители торжеств, в которых Сэло принимал участие, не представляли себе, что Сэло обнаружит в этой Галактике. Ему была дана инструкция: разыскать там живые существа, выучиться их языку, а потом вскрыть послание и перевести им его содержание. Сэло не задумывался над тем, есть ли какой-нибудь смысл в его экспедиции, — ведь он, как и остальные жители Тральфамадора, был машиной. Будучи машиной, он должея был выполнять то, что положено.

А самым важным из приказов, полученных Сэло перед отлетом с Тральфамадора, был приказ _ни_под_каким_видом_не_вскрывать_ _послание_по_дороге_.

Приказ был настолько категоричен, что стал средоточием всего существа маленького тральфамадорского гонца.

В 203.117 году до нашей эры Сэло совершил вынужденную посадку в Солнечной системе из-за технической неисправности. Пришлось пойти на посадку из-за того, что одна деталь энергобло-

ка космического корабля внезапно полностью дезинтегрировала, распалась — она была размером примерно с консервный нож, по земным понятиям. Сэло был не очень силен в технике и поэтому весьма слабо представлял себе, как выглядела или должна была выглядеть исчезнувшая деталь. А так как в энергоблоке корабля использовалась энергия ВСОС, или Вселенского Стремления Осуществиться, то всякому, кто не знаком с техникой, лучше было туда не соваться.

Корабль Сэло не то чтобы вышел из строя. Он мог еще кое-как ползти со скоростью не более шестидесяти восьми тысяч миль в час. В таком жалком состоянии он вполне годился для мелких перелетов в пределах Солнечной системы, и копии неполноценного корабля отлично послужили марсианам, штурмовавшим Землю.

Но неполноценный корабль решительно не годился для межгалактического путешествия Сэло.

Так что старый Сэло намертво засел на Титане и был вынужден послать на родной Тральфамадор сообщение о том, что попал в беду. Он послал это сообщение со скоростью света, а это значило, что на Тральфамадоре его примут только через сто пятьдесят тысяч лет по земному счету.

Чтобы не скучать, Сэло придумал себе несколь-

ко хобби. Главные из них были скульптура, селекция титанических маргариток и наблюдение за событиями на Земле. Все происходящее на Земле он мог видеть на экране, расположенном на пульте управления космического корабля. Это было настолько мощное устройство, что Сэло мог при желании следить за людьми в земном муравейнике.

Именно на этом экране он и увидел первый ответ с Тральфамадора. Ответ был выложен из громадных камней на равнине, которая теперь стала Англией. Остатки этого ответа сохранились до сих пор, и называются Стоунхендж. По-тральфамадорски Стоунхендж означал, если поглядеть сверху: «_Высылаем_запасную_ _часть_со_всей-_возможной_скоростью_»

Сэло получил еще несколько посланий, кроме Стоунхенджа.

Общим счетом их было четыре, и все они были написаны на Земле.

Великая Китайская стена при взгляде сверху означает потральфамадорски: «_Терпение! _Мы_-помним_о_тебе_».

Золотой дворец римского императора Нерона означал: «_Стараемся, _как_можем_».

Стены Московского Кремля в первоначальном

виде означали: «_Не_успеешь_оглянуться, _как_отправишься_в_путь_».

Дворец Лиги Наций в Женеве, Швейцария, значит вот что: «_Собирай_вещи_и_будь_готов_к_отлету_в_ближайшее_время_».

При помощи простой арифметики можно вычислить, что все эти послания пришли со скоростью, значительно превышающей скорость света. Сэло послал домой просьбу о помощи со скоростью света, и она дошла до Тральфамадора только через сто пятьдесят тысяч лет. А ответ с Тральфамадора пришел меньше чем за пятьдесят тысяч лет.

— Для примитивного земного ума совершенно непостижимо, каким образом осуществлялись эти молниеносные передачи. Единственное, что можно сказать в такой непросвещенной компании, — жители Тральфамадора умели так направлять импульсы Вселенского Стремление Осуществиться, что они, отражаясь от неевклидовых искривлений структуры Вселенной, приобретали скорость, в три раза превышающую скорость света. И тральфамадорцы ухитрялись так фокусировать и формировать эти импульсы, что под их влиянием существа в страшной дали от Тральфамадора делали то, что внушали им

тральфамадорцы.

Это был чудодейственный способ управлять местами, которые были далеко-далеко от Тральфамадора. И, разумеется, это был самый скоростной способ.

Но обходился он недешево.

Старый Сэло не мог посылать сообщения и заставлять других делать то, что ему угодно, — даже на небольшом расстоянии. Для этого были нужны громадные количества Вселенского Стремления Осуществиться и колоссальные сооружения, обслуживаемые тысячами инженеров и техников.

При этом даже мощные запасы энергии, многочисленный штат и колоссальные механизмы тральфамадорцев не обеспечивали полной точности. Старый Сэло много раз видел следы этих просчетов на поверхности Земли. На Земле внезапно начинался расцвет той или иной цивилизации, и люди, принимались возводить, циклопические постройки, в которых явно было заложено послание на тральфамадорском языке, — а потом цивилизации внезапно гибли, так и не дописав послание.

Это старый Сэло видел сотни раз.

Старый Сэло рассказал Румфорду очень много интересного о тральфамадорской цивилизации,

но он ни словом не обмолвился ни о посланиях, ни о технике их передач.

Он только сказал Румфорду, что послал домой сообщение об аварии и что ждет запасной части со дня на день. Мысли старого Сэло рождались в уме, настолько непохожем на ум Румфорда, что Румфорд не мог их читать.

Старый Сэло был очень рад, что Румфорд не может читать его мысли, — он до смерти боялся, что Румфорд возмутится, когда узнает, как много сородичи Сэло напортили и напутали в истории Земли. Несмотря на то, что Румфорд, попав в хроносинкластический инфундибулум, мог бы, казалось, приобрести более широкий взгляд на события, он, к удивлению Сэло, остался в глубине души настоящим патриархальным землянином.

Старый Сэло боялся, как бы Румфорд не узнал, что тральфамадорцы натворили на Земле: он был уверен, что Румфорд обидится и возненавидит самого Сэло и всех тральфамадорцев. Сэло был уверен, что не переживет этого, — ведь он любил Уинстона Найлса Румфорда.

Ничего непристойного в этой любви не было. То есть никаким гомосексуализмом тут и не пахло. Это было невозможно, так как Сэло вообще не имел пола.

Он был машиной, как и все тральфамадорцы.

Он был собран на скрепках, зажимах, винтиках, шпунтиках и магнитах. Мандариновая кожа, с большой тонкостью передававшая оттенки настроения Сэло, снималась и надевалась так же просто, как земная штормовка. Она застегивалась на магнитную молнию.

Сэло рассказывал, что тральфамадорцы конструировали друг друга. Но никто не знал, как появилась на свет первая машина.

Об этом сохранилась только легенда. Вот она.

Во время оно жили на Тральфамадоре существа, совсем не

похожие на машины. Они были ненадежны. Они были плохо

сконструированы. Они были непредсказуемы. Они были

недолговечны. И эти жалкие существа полагали, что все сущее

должно иметь какую-то цель и что одни цели выше, чем другие.

Эти существа почти всю жизнь тратили на то, чтобы понять,

какова цель их жизни. И каждый раз, как они находили то, что

им казалось целью Жизни, эта цель оказыва-

лась такой ничтожной
и низменной, что существа не знали, куда деваться от стыда и
отвращения.
Тогда, чтобы не служить столь низким целям, существа стали
делать для этих целей машины. Это давало существам
возможность на досуге служить более высоким целям. Но даже
когда они находили более высокую цель, она все же оказывалась
недостаточно высокой.
Тогда они стали делать машины и для более высоких целей.
И машины делали все так безошибочно, что им в конце концов
доверили даже поиски цели жизни самих этих существ.
Машины совершенно честно выдали ответ: по сути дела,
никакой цели жизни у этих существ обнаружить не удалось.
Тогда существа принялись истреблять друг друга, потому что
никак не могли примириться с бесцельностью

собственного
существования.

Они сделали еще одно открытие: даже истреблять друг друга
они толком не умели. Тогда они и это дело передоверили
машинам. И машины покончили с этим делом быстрее, чем вы
успеете сказать «Тральфамадор».

При помощи экрана, расположенного на панели управления космического корабля, старый Сэло следил за приближением к Титану летающей тарелки, на которой летели Малаки Констант, Беатриса Румфорд и их сын Хроно. Корабль должен был автоматически приземлиться на берегу Моря Уинстона.

Автомат должен был посадить корабль среди громадной толпы статуй, изображающих людей, — всего их было два миллиона. Сэло Делал примерно по десятку в земной год.

Статуи оказались поблизости от Моря Уинстона потому, что были сделаны из титанического торфа. По берегам Моря Уинстона сколько угодно этого торфа — он залегает всего в двух футах от поверхности.

Титанический торф — диковинный материал,

необычно благодатный для плодовитого и серьезного скульптора.

Свежевыкопанный титанический торф податлив, как земная замазка.

Через час под влиянием света и воздуха Титана торф приобретает прочность и твердость застывшего гипса.

Через два часа он становится крепким, как гранит, и поддается только резцу.

А через три часа лишь алмаз может оставить царапину на поверхности титанического торфа.

Сэло сделал такое множество статуй, вдохновленный привычкой землян все делать напоказ. Сэло занимало не то, _что_ делали земляне, а то, _как_ они это делали.

Земляне всегда вели себя так, как будто с неба на них глядит громадный глаз — и как будто громадный глаз жаждет зрелищ.

Громадный ненасытный глаз требовал грандиозных зрелищ. Этому глазу было безразлично, что ему показывают земляне: комедию, трагедию, фарс, сатиру, физкультурный парад или водевиль. Он требовал с настойчивостью, — которую земляне, очевидно, считали такой же непобедимой, как сила тяжести, — чтобы зрелище было великолепное.

Подчиняясь этому необоримому, неотступному требованию, земляне только и делали, что разыгрывали спектакли, денно и нощно — даже во сне.

Этот великанский глаз был единственным зрителем, для которого старались земляне. Самые изощренные представления, которые наблюдал Сэло, разыгрывались землянами, страдавшими от безысходного одиночества. И воображаемый громадный глаз был их единственным зрителем.

Сэло попытался запечатлеть в своих вечных, как алмаз, статуях некоторые состояния души тех землян, которые разыгрывали наиболее интересные представления для воображаемого небесного глаза.

Титанические маргаритки, во множестве растущие у Моря Уинстона, пожалуй, поражали воображение не меньше, чем статуи. Когда Сэло в 203.117 году до Рождества Христова прибыл на Титан, маргаритки на Титане цвели крохотными, похожими на звездочки желтыми цветочками не больше четверти дюйма в диаметре.

Сэло занялся селекцией маргариток.

Когда на Титан прибыли Малаки Констант, Беатриса и их сын Хроно, у типичных титанических маргариток на стеблях диаметром в четыре

фута росли цветочки бледно-лилового цвета с розовым отливом, весившие больше тонны.

Заметив прйближение космического корабля, на котором летели Малаки Констант, Беатриса и их сын Хроно, Сэло надул свои ступни до размеров мяча для немецкой лапты. Он вступил на изумрудную, кристально чистую воду Моря Уинстона и двинулся к Тадж-Махалу Уинстона Найлса Румфорда.

Войдя во двор, окруженный стеной, он выпустил воздух из своих ног. Воздух выходил со свистом. Свист отдавался эхом, отражаясь от стен.

Бледно-лиловое кресло-шезлонг Уинстона Найлса Румфорда стояло возле бассейна.

— Скип! — окликнул Сэло. Он называл Румфорда этим самым интимным и ласковым именем, детским прозвищем, хотя Румфорду это явно было не по душе. Но Сэло вовсе не хотел дразнить Румфорда. Он произносил это имя, чтобы утвердить свою дружбу с Румфордом — чтобы испытать хоть немножко прочность этой дружбы и убедиться, что она с честью выдержала испытание.

У Сэло были свои причины подвергать дружбу таким наивным испытаниям. До того, как он попал в Солнечную систему, он никогда в жизни

не слыхал про дружбу, понятия о ней не имел. Для него это было нечто новое, увлекательное. Ему хотелось наиграться в дружбу.

— Скип? — снова позвал Сэло.

В воздухе стоял какой-то странный запах. Сэло определил, что это запах озона. Но он не мог понять, откуда тут мог взяться озон.

В пепельнице рядом с креслом Румфорда все еще дымилась сигарета, так что Румфорд, как видно, только что встал и вышел.

— Скип! Казак! — позвал Сэло. Странно — ведь Румфорд всегда дремал в своем кресле, а Казак всегда дремал рядом. Человек и пес по большей части сидели здесь, возле бассейна, получая сигналы от всех своих двойников, разбросанных в пространстве и времени. Румфорд обычно сидел в кресле не двигаясь, опустив усталую, вялую руку, зарывшись пальцами в густую шерсть Казака. А Казак обычно повизгивал и дергал лапами во сне.

Сэло взглянул на дно прямоугольного бассейна. Сквозь восьмифутовыи слой воды он увидел на дне трех сирен Титана — трех прекрасных женщин, которыми так давно соблазняли похотливого Малаки Константа.

Их сделал Сэло из титанического торфа. Только

они из всех миллионов статуй, созданных Сэло, были раскрашены. Их пришлось раскрасить, чтобы они не затерялись среди восточной роскоши, царившей во дворце Румфорда.

— Скип? — снова окликнул Сэло.

На зов откликнулся Казак, космический пес. Казак вышел из дворца, купол и минареты которого отражались в бассейне. Казак вышел из кружевной тени восьмиугольного зала на негнущихся лапах.

Можно было подумать, что Казака отравили.

Казак весь трясся, уставившись в одну точку, сбоку от Сэло. Там никого не было.

Казак остановился — казалось, он ждет ужасной боли, которую навлечет на него следующий шаг.

Как вдруг Казак весь занялся сверкающим, потрескивающим огнем святого Эльма.

Огонь святого Эльма — это электрические разряды, и когда он охватывает живое существо, оно страдает не больше, чем от щекотанья перышком. Но все же кажется, что животное горит ярким пламенем, и вполне простительно, если оно перепугается.

На огненные языки, струившиеся из шерсти Казака, было страшно смотреть. В воздухе снова

резко запахло озоном.

Казак застыл, не двигаясь. У него уже давно не стало сил удивляться этому поразительному фейерверку или пугаться его. Он переносил треск и сверканье с печальным безразличием.

Сверкающий огонь погас.

В пролете арки появился Румфорд. Он тоже выглядел каким-то потрепанным, издерганным. От макушки до пят по всему телу Румфорда проходила полоса дематериализации в фут шириной — полоса пустоты. А по бокам от нее на расстоянии дюйма шли еще две узкие полоски.

Руки Румфорда были высоко подняты, а пальцы раздвинуты. С кончиков пальцев струились языки розового, фиолетового, бледнозеленого огня святого Эльма. Золотые искры, шипя, плясали у него в волосах, словно пытаясь создать вокруг его головы мишурный ореол.

— Мир, — сказал Румфорд слабым голосом.

Огонь святого Эльма вокруг Румфорда погас.

Сэло был потрясен.

— Скип… — сказал он. — Что — что с тобой, Скип?

— Солнечные пятна, — сказал Румфорд. Он, шаркая ногами, протащился к своему креслу, сел, откинулся назад, прикрыл глаза рукой, вялой и

бледной, как мокрый платок.

Казак лег у его ног. Казак все еще дрожал.

— Я — я никогда не видел тебя таким, — сказал Сэло.

— На Солнце еще никогда не было такой магнитной бури, — сказал Румфорд.

Сэло не удивилсй, узнав, что солнечные пятна действуют на его друзей, попавших в хроно-синкластический инфундибулум. Он и раньше много раз видел, как нехорошо Румфорду и Казаку от этих солнечных пятен, но тогда их просто тошнило, и больше ничего. Языки пламени и полосы дематериализации он наблюдал впервые.

Глядя на Румфорда и Казака, Сэло увидел, как они мгновенно стали плоскими, потеряли третье измерение, словно нарисованные на колышущихся полотнищах флагов.

Затем они перестали колыхаться, снова обрели трехмерность.

— Могу ли я чем-нибудь помочь, Скип? — сказал Сэло.

Румфорд заскрипел зубами.

— Когда люди перестанут задавать этот ужасный вопрос? — простонал он.

— Прости, — сказал Сэло. Он выпустил весь воздух из ступней, и они стали вогнутыми, как

присоски. Его ноги издавали сосущее чмоканье на отполированных камнях.

— Ты не можешь прекратить этот шум? — неприязненно сказал Румфорд.

Старому Сэло захотелось умереть. Его друг, Уинстон Найлс Румфорд. впервые разговаривал с ним так резко. Сэло просто не мог этого вынести.

Старый Сэло зажмурил два глаза из трех. Третий глаз глядел в небо. Он увидел две нечеткие синие точки. То парили в вышине две синие птицы Титана.

Эта пара нашла восходящий ток воздуха.

Ни одна из громадных птиц ни разу не взмахнула крылом.

Ни одного негармоничного движения — ни одно маховое перо не шелохнется. Жизнь казалась парящим сном.

— Грау, — дружелюбно сказала одна титаническая птица.

— Грау, — согласилась другая.

Птицы одновременно сложили крылья, стали камнем падать с высоты.

Казалось их ждет неминуемая смерть за стенами дворца Румфорда. Но они снова раскинули крылья, снова начали легкий, парящий полет.

На этот раз они парили в небе, прочерченном

полоской белого пара, — это был след космического корабля, несущего на борту Малаки Константа, Беатрису Румфорд и их сына Хроно. Корабль шел на посадку.

— Скип? — сказал Сэло.

— Ты не можешь звать меня по-другому? — сказал Румфорд.

— Могу, — сказал Сэло.

— Тогда и зови, — сказал Румфорд. — Я это прозвище не люблю, — так меня может звать только тот, с кем я вместе вырос.

— Я думал — что раз я твой друг… — сказал Сэло. — Может быть, мне позволительно…

— А не пора ли нам бросить эту игру в дружбу? — резко оборвал его Румфорд.

Сэло закрыл и третий глаз. Вся кожа на его теле съежилась.

— Игру? — повторил он.

— Опять ты чавкаешь ногами! — крикнул Румфорд.

— Скип! — крикнул Сэло. Он тут же спохватился — какая непростительная фамильярность! — Уинстон — ты так со мной говоришь — я словно в страшном сне… Мне казалось, что мы — друзья…

— Лучше скажем, что мы друг другу в чем-то пригодились, и нечего об этом вспоминать, —

сказал Румфорд.

Голова Сэло слабо закачалась в кардановом подвесе.

— А я думал, нас связывает нечто большее, — выговорил он наконец.

— Давай скажем, — зло перебил Румфорд, — что мы просто нашли возможность использовать друг друга для личных целей, — сказал Румфорд.

— Я-то — я был счастлив, что могу тебе помочь, — я думаю, что и вправду помог тебе, — сказал Сэло. Он открыл глаза. Ему было необходимо увидеть лицо Румфорда. Теперь-то Румфорд снова посмотрит на него, как друг, ведь Сэло помогал ему, и помогал бескорыстно.

— Разве я не оттдал тебе половину своего ВСОС? — сказал Сэло. — Не позволил тебе скопировать мой корабль для Марсианского космического флота? Разве я лично не посылал первые корабли с вербовщиками? Разве я не помог тебе разработать метод управления марсианами, чтобы они никогда не своевольничали? Разве я день за днем не помогал тебе создавать новую религию?

— Ну да, — сказал Румфорд. — А после этого что ты для меня сделал?

— Что? — спросил Сэло.

— Да нет, ничего, — отрывисто сказал Румфорд. — Это из одного нашего земного анекдота, но в теперешних обстоятельствах смеяться нечему.

— А, — сказал Сэло. Он знал множество земных анекдотов, а этого не знал.

— Следи за своими ногами! — крикнул Румфорд.

— Прости! — крикнул Сэло. — Если бы я мог плакать, как землянин, я бы заплакал! — Он был не в силах совладать со своими всхлипывающими ногами. Они сами собой издавали звук, который Румфорд внезапно так возненавидел. — Прости за все! Я знаю только одно — я изо всех сил старался быть твоим верным другом и я никогда _ничего_ не просил у тебя.

— А тебе и не приходилось ни о чем просить! — сказал Румфорд. — Ни о чем! Ты только и знал, что сидеть и ждать, пока она с неба не свалится.

— А что я ждал? — потрясенный, спросил Сэло.

— Запасную часть для твоего космического корабля, — сказал Румфорд. — Она уже почти здесь. Она вот-вот прибудет, сир. Она у мальчишки Константа — он ее зовет своим талисманом — можно подумать, что ты про все это даже не знал!

Румфорд выпрямился в кресле, позеленел, зна-

ком попросил Сэло молчать.

— Прошу прощения, — сказал он. — Мне опять нехорошо.

Уинстону Найлсу Румфорду и его псу Казаку было _очень_ нехорошо — им было много хуже, чем в прошлый раз. Бедный старый Сэло в ужасе ждал, что их испепелит без остатка или разнесет на клочки взрывом.

Воющий Казак был окружен сферой из огня святого Эльма.

Румфорд стоял совершенно прямо, с выпученными глазами — ослепительный огненный столп.

Этот приступ кончился, как и первый.

— Прошу прощения, — сказал Румфорд с уничтожающей любезностью, — ты что-то говорил?

— Что? — еле слышно сказал Сэло.

— Ты что-то говорил — или собирался сказать, — ответил Румфорд. Только капли пота на висках напоминали о том, что он пережил настоящую пытку. Он вставил сигарету в длинный костяной мундштук, закурил, выдвинул вперед нижнюю челюсть, так что мундштук вместе с сигаретой встал торчком.

— Нас не прервут еще три минуты, — сказал он. — Так ты говорил?

Сэло пришлось сделать усилие, чтобы вспомнить, о чем они говорили. А стоило ему вспомнить, как его охватило отчаяние. Случилось самое страшное. Очевидно, Румфорд не только узнал всю правду о влиянии Тральфамадора на события на Земле — этого было более чем достаточно, чтобы рассердить его, — но Румфорд, очевидно, считал, что и сам он — одна из главных жертв этого влияния.

У Сэло время от времени мелькало тревожное подозрение, что Румфорд находится под влиянием Тральфамадора, но он спешил выбросить эту мысль из головы — все равно он был бессилен что-либо изменить. Он даже и говорить об этом не решался — любой разговор об этом с Румфордом навеки погубил бы их прекрасную дружбу. Сэло попытался выяснить, хотя и очень неловко, знает ли Румфорд всю правду или только притворяется.

— Скип… — начал он.

— Я же просил! — сказал Румфорд.

— Мистер Румфорд, — сказал Сэло. — Вы считаете, что я злоупотребил вашим доверием?

— Не ты, — сказал Румфорд. — А твои собратья-машины на твоем драгоценном Тральфамадоре.

— М-мм… — сказал Сэло. — Ты — ты полагаешь

— что тобой воспользовались, Скип?

— Тральфамадор, — с горечью сказал Румфорд, — протянул лапу в Солнечную систему, выхватил меня и употребил, как дешевый ножичек для чистки картофеля.

— Ты же мог видеть будущее, — ответил Сэло, чувствуя себя совершенно несчастным. — Почему ты ни разу об этом не сказал?

— Мало кому приятно сознавать, что его кто-то использует, — сказал Румфорд. — Человек старается, пока возможно, не признаваться в этом даже себе самому. — Он криво усмехнулся. — Может быть, тебя удивит, что я горжусь — может быть, глупо и напрасно, — но все же я горжусь тем, что могу принимать решения самостоятельно, действовать по собственному усмотрению.

— Меня это не удивляет, — сказал Сэло.

— Вот как? — с издевкой сказал Румфорд. — Я склонялся к мнению, что эта тонкость недоступна пониманию _машины_.

Все кончено — хуже этого их отношения уже стать не могут. Ведь Сэло действительно _машина_, потому что его спроектировали и собрали, как машину. Он этого и не скрывал. Но Румфорд никогда не пользовался этим словом в обидном для Сэло смысле. А сейчас он явно хотел его оскор-

бить. Под тонким покровом светской любезности в словах Румфорда можно было прочесть, что машина — это нечто бесчувственное, нечто лишенное воображения, нечто вульгарное, нечто запрограммированное для достижения цели и лишенное малейшего проблеска совести.

Это было самое больное, самое уязвимое место, здесь Сэло был совершенно беззащитен. И Румфорд благодаря их былой духовной близости отлично знал, как причинить ему боль.

Сэло снова закрыл два глаза из трех, снова стал следить за парящими в вышине титаническими птицами. Они были величиной с земного орла.

Сэло захотелось стать синей птицей Титана.

Космический корабль, на котором летели Малаки Констант, Беатриса Румфорд и их сын Хроно, проплыл над куполом дворца и мягко приземлился на берегу Моря Уинстона.

— Даю тебе слово чести, — сказал Сэло, — я не знал, что тебя используют, я и понятия не имел, что ты…

— Машина, — ядовито сказал Румфорд.

— Ты мне только скажи, как тебя использовали, — прошу тебя! — сказал Сэло. — Честное слово — я даже не представлял…

— Машина! — сказал Румфорд.

— Если ты так плохо обо мне думаешь. Скип — Уинстон — мистер Румфорд, — сказал Сэло, — после всего, что я сделал и старался сделать _только_ ради нашей дружбы, — я понимаю, что не могу ничего сделать или сказать, чтобы переубедить тебя.

— Других слов и не дождешься — от машины, — сказал Румфорд.

— И машина их сказала, — смиренно ответил Сэло. Он надул свои ступни до размера мяча для немецкой лапты, готовясь уйти из дворца Румфорда и перейти воды Моря Уинстона — чтобы никогда не возвращаться. Но когда его ноги были в полной готовности, он вдруг понял, что в словах Румфорда таился какой-то намек.

Румфорд явно намекал на то, что старый Сэло еще может все исправить, если захочет.

Конечно, Сэло Был машиной, но все же он был достаточно чувствителен и прекрасно понимал: расспрашивать, что нужно сделать, было крайне унизительно. Но он собрал все свое мужество. Ради дружбы он пойдет на любое унижение.

— Скип, — сказал он. — Скажи, что я должен сделать. Я готов на все — на все, что угодно.

— Очень скоро, — сказал Румфорд, — кончик моей спирали вышибет взрывом из Солнца и из

Солнечной Системы тоже.

— Нет! — завопил Сэло. — Скип! Скип!

— Только не надо меня жалеть — _пожалуйста_, — сказал Румфорд и отступил на шаг, опасаясь, что до него могут дотронуться. -Это не так уж плохо, если подумать. Мне предстоит увидеть много нового, встретить новые существа. — Он попытался улыбнуться. — Довольно утомительно, знаешь ли, без конца крутиться и крутиться по Солнечной системе. — Он невесело рассмеялся. — В конце концов, — сказал он, — я же не умираю, ничего со мной не сделается. Все, что было, будет всегда, а все, что будет, всегда существовало.

Он резко мотнул головой, и слеза, которой он не замечал, слетела с его ресниц.

— Хотя эта мысль, достойная хроно-синкластического инфундибулума, отчасти меня и утешает, — сказал он, — я же непрочь узнать, в чем смысл эпизода, разыгравшегося в Солнечной системе.

— Но ты — ты лучше, чем кто бы то ни было, объяснил это в своей «Карманной истории Марса», — сказал Сэло.

— В «Карманной истории Марса», — сказал Румфорд, — не упомянуто о том, что я находился

под непреодолимым влиянием сил, исходящих от планеты Тральфамадор. — Он скрипнул зубами.

— Прежде чем я и мой пес умчимся в бесконечность, щелкая, как хлысты в руках у сумасшедшего, — сказал Румфорд, — мне бы очень хотелось узнать, что написано в послании, которое ты несешь.

— Я-я не знаю, — сказал Сэло. — Оно запечатано. И мне строго запрещено…

— Вопреки всем тральфамадорским запретам, — сказал Уинстон Найлс Румфорд, — в нарушение всех заложенных в тебя, как в машину, программ, — во имя нашей дружбы, Сэло, я прошу тебя вскрыть послание и прочесть его мне — сейчас же.

Малаки Констант, Беатриса Румфорд и их угрюмый сын, Хроно, устроили невеселый пикник на свежем воздухе, в тени гигантской маргаритки, на берегу Моря Уинстона. Каждый из них опирался спиной о свою отдельную статую.

Заросший бородой Малаки Констант — первый повеса в Солнечной системе — все еще был в своем ярко-желтом комбинезоне с оранжевыми вопросительными знаками. Больше ему нечего было надеть.

Констант прислонился к статуе святого Фран-

циска Ассизского. Св. Франциск пытался приручить пару свирепых и устрашающе громадных птиц, похожих на белоголовых орланов*. Констант не мог узнать в них местных синих птиц, потому что ни разу не видел синих птиц Титана. Он прилетел на Титан всего час назад.

/* Белоголовый орлан — птица, изображенная на гербе США. /

Беатриса, похожая на королеву-цыганку, застыла у подножия статуи, изображавшей молодого студента-физика. На первый взгляд казалось, что этот облаченный в белый лабораторный халат ученый служит верой и правдой только истине, и только ей одной. С первого взгляда каждый верил, что он добивается только правды и радуется только ей, восхищенно вглядываясь в пробирку, которую держит в руках. На первый взгляд можно было поверить, что он выше низменных, животных страстей рода человеческого, как и гармониумы в пещерах Меркурия. Перед зрителем, на первый взгляд, стоял юноша, свободный от тщеславия, от алчности, — и зритель принимал всерьез надпись, которую Сэло вырезал на пьедестале: «_Открытие_мощи_атома_».

Как вдруг зритель замечал, что молодой человек находится в состоянии крайнего полового

возбуждения.

Беатриса этого пока еще не заметила.

Юный Хроно, темнокожий и таящий угрозу, под стать своей матери, уже приступил к первому акту вандализма — по крайней мере, он пытался совершить надругательство над искусством. Хроно норовил нацарапать грязное земное ругательство на пьедестале статуи, к которой он прислонился. Он старался нацарапать его острым уголком своего талисмана.

Но затвердевший титанический торф не только не поддался, а сам сточил острый уголок стальной полоски.

Хроно трудился у пьедестала скульптурной группы, изображавшей семью — неандертальского человека, его подругу и их младенца. Группа была необыкновенно трогательная. Нескладные, взлохмаченные, многообещающие существа были настолько уродливы, что казались прекрасными.

Впечатление значительности и всеобъемлющая символика этой группы нисколько не пострадали от того. что Сэло снабдил ее сатирической подписью. Он вообще давал своим скульптурам ужасные названия, словно изо всех сил старался показать, что сам себя вовсе не счи-

тает художником, творцом. Название, которое он дал группе, изображающей неандертальцев, было подсказано, очевидно, тем, что ребенок тянулся к человеческой ступне, которая жарилась на грубом вертеле. Скульптура называлась «Ай да поросенок!».

— Что бы ни случилось — самое прекрасное или самое печальное, или самое радостное, или самое ужасное, — говорил Малаки Констант своему семейству, прибыв на Титан, — будь я проклят, если я хоть бровью поведу. В ту самую секунду, когда мне покажется, что ктонибудь или что-нибудь хочет заставить меня совершить определенное действие, я застыну.

Он взглянул наверх, на кольца Сатурна, скривил губы.

— Красота-то какая! — слов нет, — и он сплюнул.

— Если еще кто-нибудь захочет использовать меня в своих грандиозных замыслах, — сказал Констант, — его ждет большое разочарование. Ему будет легче довести до белого каления одну из этих вот статуй.

И он снова сплюнул.

— Если вы меня спросите, — сказал Констант, — то вся Вселенная — просто свалка старья, за

которое норовят содрать втридорога. Хватит с меня — больше не собираюсь рыться на свалках, скупать старье по дешевке. Каждая мало-мальски пригодная вещь, — сказал Констант, — подсоединена тонкими проволочками к связке динамитных шашек.

Он сплюнул еще раз.

— Я отказываюсь, — сказал Констант.

— Я увольняюсь, — сказал Констант.

— Я ухожу, — сказал Констант.

Маленькая семья Константа равнодушно согласилась. Этот короткий спич успел им порядком надоесть. Констант произносил его много раз за те семнадцать месяцев, пока они летели к Титану. И вообще это была привычная, стандартная философия марсианских ветеранов.

Собственно говоря, Констант и не обращался к своему семейству. Он говорил во весь голос, чтобы было слышно как можно дальше — и в густой чаще статуй, и за Морем Уинстона. Это было политическое кредо, которое он высказывал во всеуслышание, — пусть слышит Румфорд или еще кто, кому вздумалось подкрасться поближе.

— Мы в последний раз дали себя впутать, — заявил Констант во весь голос, — в эксперименты, и в сражения, и в празднества, которые нам про-

тивны и непонятны!

— _Понятны_, — откликнулось эхо, отраженное от стен дворца, стоявшего в двух сотнях ярдов от берега. Дворец, разумеется, — это «Конец Скитаниям», румфордовский Тадж-Махал. Констант нисколько не удивился, увидев вдалеке этот дворец. Он заметил его, высадившись из космического корабля, видел, как он сверкает, словно Град Господень, о котором писал святой Августин.

— Что дальше? — спросил Констант у эха. — Все статуи оживут?

— _Живут_? — отозвалось эхо.

— Это эхо. — сказала Беатриса.

— Знаю, что эхо, — сказал Констант.

— А я не знала, знаете ли вы, что это эхо, или нет, — сказала Беатриса. Она разговаривала с ним отчужденно и вежливо. Она проявила удивительное благородство по отношению к нему: ни в чем его не винила, ничего от него не ждала. Женщина, лишенная ее аристократизма, могла бы устроить ему не жизнь, а сущий ад, — винила бы его во всех несчастьях, требовала бы невозможного.

В дороге они любовью не занимались. Ни Констант, ни Беатриса этим не интересовались. Любовь не интересовала никого из марсианских

ветеранов.

Долгое путешествие неизбежно должно было сблизить Константа с женой и сыном — они стали ближе, чем там, на золоченых подмостках, пандусах, лесенках, балкончиках, приступках и сценах — в Ньюпорте. Но если в этой семье была любовь, то только между юным Хроно и Беатрисой. Кроме этой любви матери и сына была лишь вежливость, хмурое сочувствие и скрытое недовольство тем, что их вообще заставили стать одной семьей.

— Боже ты мой, — сказал Констант, — смешная штука — жизнь, если призадуматься на минутку.

Юный Хроно не улыбнулся, когда его отец сказал, что жизнь — смешная штука.

Юному Хроно жизнь вовсе не казалась смешной — меньше, чем любому другому. Беатриса и Констант, по крайней мере, могли горько смеяться над теми дикими случайностями, которые их постигли. Но юный Хроно не имел права смеяться вместе с ними — он и сам был одной из диких случайностей.

Стоит ли удивляться, что у Хроно было всего два сокровища: талисман и нож с выскакивающим лезвием.

Юный Хроно вытащил нож, небрежно выпустил лезвие. Глаза у него сузились в щелочки. Он готовился убивать, если придется убивать. Он всматривался вдаль — от дворца на острове к ним плыла золоченая лодка.

На веслах сидело существо с кожей, как мандариновая кожура. Разумеется, это был Сэло. Он подгонял лодку к берегу, чтобы переправить семью Константа во дворец. Сэло греб из рук вон плохо — раньше ему грести не приходилось. Весла он держал своими ногами с присосками.

Единственным его преимуществом в гребле перед людьми было то, что у него на затылке был глаз.

Юный Хроно пустил ослепительный зайчик прямо в глаз Сэло зайчик, отраженный от блестящего лезвия ножа.

Затылочный глаз Сэло заморгал.

Хроно пускал зайчики вовсе не для развлечения. Это была военная хитрость обитателей джунглей, которая сбивала с толку любое зрячее существо. Это была одна из тысяч лесных уловок, которым юный Хроно и его мать научились за год скитаний по джунглям Амазонки.

Беатриса зажала в смуглой руке камень.

— Поддай-ка ему еще, — негромко сказала она.

Юный Хроно снова пустил зайчик прямо в глаза старому Сэло.

— Туловище у него мягкое, — сказала Беатриса, почти не шевеля губами. — Не попадешь в туловище, целься в глаз.

Хроно молча кивнул.

Константа мороз подрал по коже, когда он понял, что его жена и сын способны постоять за себя, и всерьез. Константа они в свою маленькую армию самозащиты не включили. Они в нем не нуждались.

— А мне что делать? шепотом спросил Константа.

— Т-ш-ш-ш! — резко выдохнула Беатриса

Сэло причалил к берегу свое золотое суденышко. Он неумело привязал ею «бабушкиным узлом» к запястью статуи, стоявшей у самой воды. Статуя изображала обнаженную женщину, играющую на тромбоне. Ее загадочное название гласило: — «Эвелин и ее волшебный тамбурин».

Сэло был настолько убит собственным горем, что не боялся за свою жизнь, — он даже не мог понять, что кто-то его опасается. Он на минуту встал на кусок намертво затвердевшего титанического торфа. Его ноги, горестно всхлипывая, переминались по влажной поверхности камня. У него едва

хватило сил отодрать присоски от камня.

Он двинулся вперед, ослепленный вспышками света, которые пускал Хроно.

— Прошу вас… — сказал он.

Из слепящего сверканья вылетел камень.

Сэло пригнулся.

Чья-то рука сжала его тонкое горло, швырнула на землю.

Юный Хроно поставил ноги по обе стороны поверженного Сэло и приставил нож к его груди. Беатриса стояла на коленях возле головы Сэло, подняв камень, чтобы сразу же размозжить его голову.

— Ну что же, убивайте меня, — сказал Сэло скрипучим голосом. — Окажите мне милость. Я хочу умереть. Хоть бы меня никогда не собирали, никогда не включали! Убейте, избавьте меня от мучений, а потом идите к нему. Он вас зовет.

— Кто зовет? — спросила Беатриса.

— Ваш несчастный муж — мой бывший друг, Уинстон Найлс Румфорд, — ответил Сэло.

— А где он? — спросила Беатриса.

— Во дворце на острове, — сказал Сэло. — Он умирает в полном одиночестве, с ним только его верный пес. Он зовет вас, — сказал Сэло, — он всех вас зовет. И он сказал, чтобы я не смел попа-

даться ему на глаза.

Малаки Констант смотрел на свинцовые губы, беззвучно целующие воздух. Язык, скрытый за ним, почти неслышно щелкнул. Губы внезапно развинулись, обнажая великолепные зубы Уинстона Найлса Румфорда.

Констант тоже оскалился, приготовившись заскрежетать зубами, как и подобало при виде человека, который причинил ему столько зла. Но так и не заскрежетал. Во-первых, никто на него не смотрит, никто не увидит и не поймет. А во-вторых, Констант не нашел в своем сердце ни капли ненависти.

Он готовился скрежетать зубами — а вместо этого разинул рот, как деревенский простак, — разинул рот, как деревенщина, при виде человека, больного ужасной, смертельной болезнью.

Уинстон Найлс Румфорд, полностью материализованный, лежал на спине в своем бледно-лиловом шезлонге на берегу бассейна. Его немигающие глаза глядели прямо в небо, они казались незрячими.

Тонкая рука свешивалась с кресла, а в слабых пальцах висела цепь-удавка Казака, космического пса.

Удавка была пустая.

Взрыв на Солнце разлучил человека с его собакой.

Если бы Вселенная была основана на милосердии, она позволила бы человеку и его собаке остаться вместе.

Но Вселенная, в которой жили Уинстон Найлс Румфорд и его пес, не была основана на милосердии. Казак отправился впереди своего хозяина выполнять великую миссию — в никуда и в ничто.

Казак с воем исчез в облаке озона и зловещем сверканье огненных языков, со звуком, похожим на гудение пчелиного роя.

Румфорд выпустил из пальцев пустую удавку. Эта цепочка воплощала мертвенность — она упала с невнятным звуком, легла неживыми бессмысленными изгибами — лишенная души рабыня силы тяжести, с хребтом, перебитым от рождения.

Свинцовые губы Румфорда дрогнули.

— Здравствуй, Беатриса, жена, — сказал он замогильные голосом.

— Здравствуйте, Звездный Странник, — сказал он. На этот раз он заставил свой голос звучать приветливо. — Вы смелый человек, Звездный Странник, — рискнули еще раз со мной повстре-

чаться.

— Здравствуй, блистательный юный носитель блистательного имени — Хроно, — сказал Румфорд. — Привет тебе, о звезда немецкой лапты, — привет тебе, обладатель чудотворного талисмана.

Те, к кому он обращался, успели только войти за ограду. Бассейн отделял их от Румфорда.

Старый Сэло, которому было отказано даже в возможности умереть, сидел, пригорюнившись, на корме золоченой лодки, стоявшей у берега, за стеной.

— Я не умираю, — сказал Румфорд. — Просто настало время распрощаться с Солнечной системой. Нет, не навсегда. Если смотреть на вещи с точки зрения хроно-синкластического инфундибулума — всеобъемлюще, вневременно, — я всегда буду здесь. Я всегда буду везде, где побывал раньше.

— Я все еще праздную медовый месяц с тобой, Беатриса, — сказал он. — Все еще разговариваю с вами в маленькой комнатушке под лестницей в Ньюпорте, мистер Констант. Да-да — и еще играю в прятки с вами и Бозом в пещерах Меркурия. Хроно, — сказал он, — а я все еще смотрю, как здорово ты играешь в немецкую лапту там, на железной площадке для игр, на Марсе.

Он застонал. Стон был еле слышный, но такой горестный.

Сладостный, нежный воздух Титана унес стон вдаль.

— Мы все еще говорим то, что успели сказать, — так, как было, так, как есть, как будет, — сказал Румфорд.

Короткий, еле слышный стон снова вырвался на волю.

Румфорд посмотрел ему вслед, словно это было колечко дыма.

— Я должен сказать вам кое-что о смысле жизни в Солнечной системе — вам нужно это знать, — сказал он. — Попав в хроносинкластический инфундибулум, я знал это с самого начала. И все же я старался думать об этом как можно меньше — уж очень это гнусная штука.

Вот какая гнусная штука:

_Все, _что_каждый_житель_Земли_когда-либо_делал, _было_сделано_ _под_влиянием_существ_с_планеты, _которая_находится_на_ _расстоянии_ста_пятидесяти_тысяч_световых_лет_от_Земли. _

_Планета_называется_Тральфамадор. _

_Я_не_знаю, _каким_образом_тральфамадорцы_на_нас_влияли. _Но_я_ _знаю, _с_какой_целью_о-

ни_вмешивались_в_наши_дела. _

_Они_направляли_все_наши_действия_так, _чтобы_мы_доставили_ _запасную_часть_посланцу_с_Тральфамадора, _который_совершил_ _вынужденную_посадку_здесь, _на_Титане. _

Румфорд указал на юного Хроно.

— Она у вас, молодой человек, — сказал он. — Она у вас в кармане. Вы носите в кармане высший смысл всей истории Земли, ее завершение. В вашем кармане лежит вещь, которую, каждый землянин старался найти и доставить так самоотверженно, так истово, так отчаянно, путем проб и ошибок — не жалея жизни.

Из пальца Румфорда, укоризненно направленного на юного Хроно, с шипеньем вырос побег электрического разряда.

— Та штучка, которую вы называете своим талисманом, — сказал Румфорд, — и есть запасная часть, которой тральфамадорский гонец дожидается долгие годы!

— А гонец, — сказал Румфорд, — это то существо, похожее на мандарин, которое сейчас прячется за стеной. Его зовут Сэло. Я надеялся, что посланник позволит человечеству хоть краешком глаза взглянуть на послание, которое он несет, — ведь человечество только и делало, что старалось ему

помочь, К сожалению, ему дан приказ никому не показывать послание. А так как он просто машина, то, будучи машиной, выполняет приказания буквально и нарушать их не может.

— Я вежливо попросил его показать мне послание, — сказал Румфорд. — И он категорически отказался.

Плюющаяся искрами веточка электричества, пробившаяся из пальца Румфорда, стала расти, обвила Румфорда спиралью. Румфорд пренебрежительно посмотрел на спираль.

— Кажется, начинается, — сказал он о спирали.

Так оно и было. Спираль слегка сдвинула витки, словно присела в реверансе. Потом она начала вращаться вокруг Румфорда, окружая его плотным коконом из зеленого света.

Вращаясь, она еле слышна потрескивала.

— Единственное, что мне остается сказать, — донесся из кокона голос Румфорда, — я по мере сил своих старался нести своей родной Земле только добро, хотя исполнял волю Тральфамадора, которой никто не в силах противиться.

— Может статься, что теперь, когда эта деталь доставлена тральфамадорскому гонцу, Тральфамадор наконец-то оставит Землю в покое. Может быть, род человеческий наконец-то смо-

жет свободно развиваться, следуя собственным побуждениям, — ведь люди не знали свободы тысячелетиями. — Он чихнул. — Поразительно, как земляне ухитрились все-таки добиться таких успехов, — сказал он.

Зеленый кокон оторвался от каменных плит, завис над куполом.

— Вспоминайте меня как джентльмена из Нью-порта, с Земли, из Солнечной системы, — сказал Румфорд. Он говорил с прежней безмятежностью, примирившись с собой и считая себя по мень-шей мере равным любому существу, которое ему встретится где бы то ни было.

— Говоря пунктуально, — донесся из кокона певучий тенор Румфорда, — прощайте!

Кокон, в котором был Румфорд, исчез с легким хлопком — _пфють! _

Никто и никогда больше не видел ни Румфорда, ни его пса.

Старый Сэло ворвался во двор как раз в тот момент, когда Румфорд исчез вместе с коконом.

Маленький тральфамадорец был вне себя от горя. Он сорвал висевшее у него на шее послание со стальной ленты, превратив в присоску одну из своих ног. Одна нога у него до сих пор оставалась присоской, и в ней он держал послание.

Он взглянул вверх — туда, где только что висел кокон.

— Скип! — возопил он к небу. — Скип! Послание! Я прочту тебе послание! _Послание! _Скиииииииииииииип! _

Голова Сэло перекувыркнулась в кардановом подвесе.

— Его нет, — сказал он убитым голосом. И шепотом повторил: — Нет его…

— Машина? — сказал Сэло. Он говорил с запинкой, обращаясь не столько к Константу, Беатрисе и Хроно, сколько к самому себе. — Да, я машина, и весь мой народ — машины, — сказал он. — Меня спроектировали и собрали, не жалея затрат, с превеликим тщанием и мастерством, чтобы я стал надежной, абсолютно точной, вечной машиной. Я — лучшая машина, какую сумели сделать мои сородичи.

— А какая машина из меня вышла? — спросил Сэло.

— _Надежная? _– сказал он. — Они надеялись, что я донесу мое послание до места назначения запечатанным — а я сорвал все печати, я его вскрыл.

— _Абсолютно_точная? _-сказал он. — Теперь, когда я потерял своего лучшего, единственного

друга во всей Вселенной, я еле ноги таскаю, мне теперь через травинку переступить — все равно что прыгнуть через пик Румфорда.

— _Отлично_действующая? _ Да после того, как я двести тысяч лет кряду смотрел на то, что творится на Земле, я стал непостоянным и сентиментальным, как самая глупая школьница на земном шаре.

— _Вечная? _– мрачно сказал он. — Это мы еще посмотрим.

Он положил послание, которое так долго хранил, на пустой бледно-лиловый шезлонг Румфорда.

— Вот оно, друг, — сказал он Румфорду, оставшемуся только в его памяти, — пусть оно принесет тебе радость и утешение. Пусть твоя радость будет так же велика, как страдания твоего старого друга Сэло. Чтобы отдать тебе послание — пусть даже слишком поздно, — твой друг Сэло поднял бунт против самой сути своего существа, против своего естества — я ведь машина.

— Ты потребовал от машины невозможного, — сказал Сэло, — и машина совершила невозможное.

— Машина перестала быть машиной, — сказал Сэло. — Контакты съела ржавчина, ориентация

нарушена, в контурах короткие замыкания, а механизмы вышли из строя. В голове у машины полная неразбериха, голова у нее лопается от мыслей — гудит и раскаляется от мыслей о любви, чести, достоинстве, правах, совершенствовании, чистоте, независимости…

Старый Сэло взял послание с кресла Румфорда. Послание было написано на тоненьком алюминиевом квадратике. Послание состояло из одной-единственной точки.

— Хотите узнать, как меня использовали, в жертву чему принесли всю мою жизнь? — сказал он. — Хотите услышать, в чем заключается послание, которое я нес почти полмиллиона земных лет — и которое я должен нести еще восемнадцать миллионов лет?

Он протянул к ним ногу — присоску, на которой лежал алюминиевый квадратик.

— Точка, — сказал он.

— Точка, — и больше ничего, — сказал он.

— Точка на тральфамадорском языке, — сказал старый Сэло, — означает…

— ПРИВЕТ!

Маленькая машина с Тральфамадора, доставив послание самому себе, Константу, Беатрисе и Хроно — на расстояние ста пятидесяти тысяч

световых лет, — внезапно бросилась бежать вон со двора, к берегу моря.

Там Сэло покончил с собой. Он сам себя разобрал и расшвырял детали по всему берегу.

Хроно вышел на берег, в задумчивости принялся расхаживать среди разбросанных деталей Сэло. Хроно всегда знал, что его талисман обладает чудодейственной силой и сверхъестественным значением.

Он всегда догадывался, что когда-нибудь какое-нибудь высшее существо явится и предъявит права на талисман, как на свою собственность. Так уж устроены самые могущественные талисманы — человек всегда получает их только на время.

Люди просто берегут их, пользуются их силой, пока не приходят высшие существа, настоящие хозяева талисманов.

Хроно никогда не мучился ощущением тщетности и бестолковости всего происходящего.

Для него все и всегда было в полном порядке.

И сам мальчик был частью этого совершенного, полного порядка.

Он вынул из кармана свой талисман и без малейшего сожаления уронил его на песок, бросил его среди разбросанных по песку деталей Сэло.

Рано или поздно магические силы Вселенной снова соберут все, как надо, — Хроно в это верил.

Магические силы все всегда приводили в порядок.

ЭПИЛОГ

ВСТРЕЧА СО СТОУНИ

"Ты устал, ты смертельно устал, Звездный Странник, Малаки, Дядек. Отыщи самую дальнюю звезду, сын Земли, и думай, глядя на нее, как тяжелеют твои руки и ноги".

— Сэло

Больше почти нечего рассказывать. Малаки Констант состарился на Титане. Беатриса Румфорд состарилась на Титане. Они скончались мирно и почти одновременнос разницей в одни сутки. Они умерли на семьдесят четвертом году жизни.

А что в конце концов стало с их сыном, Хроно, — про то знают только синие птицы Титана.

На семьдесят четвертом году жизни Малаки Констант был дряхлым, добродушным старичком на полусогнутых ногах. Он совершенно облысел и ходил почти всегда в чем мать родила, однако тщательно подстригал свою седую ван-дейковскую бородку.

Последние тридцать лет он жил в неисправном

космическом корабле Сэло.

Констант и не пытался стартовать на космическом корабле. Он не посмел дотронуться ни до одной кнопки. На корабле Сэло пульт управления был куда сложнее, чем на марсианском корабле. На пульте корабля Сэло Константу представлялся выбор из двухсот семидесяти трех кнопок, тумблеров, рычажков, все надписи и отметки на которых были тральфамадорскне. Вряд ли стоило развлекаться, играя на таком игровом автомате, во Вселенной, которая на одну триллионную состояла из материи, а на дектильон частей — из бархатно-черной пустоты.

Констант решился только осторожно попробовать приладить на место талисман Хроно — проверить, правду ли говорил Румфорд и подойдет ли талисман к энергоблоку корабля.

Во всяком случае, форма у него была как будто подходящая. В энергоблок корабля вела дверь, из которой, очевидно, когда-то просачивался дым. Констант ее открыл, увидел покрытую сажей комнату. Под слоем копоти виднелись обгорелые штырьки и валики, которые ни с чем не были соединены.

Константу удалось совместить дырочки на талисмане Хроно с этими штырьками, пристроить

полоску между валиками. Талисман улегся в узкую ложбинку так ловко, что даже швейцарский часовщик остался бы доволен.

Констант обзавелся множеством хобби, которые помогали ему коротать время в целительном климате Титана.

Самое интересное его хобби заключалось в том, что он возился с останками Сэло, тральфамадорского гонца, который сам себя разобрал. Констант провел не одну тысячу часов, пытаясь снова собрать Сэло и пустить его в ход.

Пока что это ему не удавалось.

Констант вначале решил возродить маленького тральфамадорца, надеясь, что Сэло согласится переправить юного Хроно обратно на Землю.

Сам Констант на Землю не стремился, и его подруга, Беатриса, тоже об этом не мечтала. Но Констант и Беатриса считали, что их сын, у которого вся жизнь впереди, должен прожить эту жизнь среди деятельных и веселых людей на Земле.

Но к тому времени, как Константу стало семьдесят четыре, можно было уже не торопиться с отправкой юного Хроно на Землю. Юный Хроно стал немолодым человеком. Ему было уже сорок два. И он настолько хорошо, настолько тонко

приспособился к жизни на Титане, что переправлять его в любое другое место было бы вопиющей жестокостью.

В семнадцать лет Хроно сбежал из своего дома-дворца и стал жить среди синих птиц — самых чудесных существ на Титане. Хроно и теперь жил в их гнездовье, неподалеку от Заводей Казака. Он носил накидку из их перьев, высиживал их птенцов и знал их язык.

Констант больше не видел Хроно. Иногда он слышал в сумерках крики Хроно. Констант не откликался на эти крики. Крики Хроно не предназначались ни для одушевленных, ни для неодушевленных обитателей Титана.

Хроно приветствовал криком Фебу, проплывающую в небе луну.

Временами, когда Констант собирал титаническую клубнику или пятнистые двухфунтовые яйца титанических ржанок, он натыкался на небольшой алтарик, сооруженный на открытом месте из палок и камней. Хроно соорудил сотни таких алтарей.

Алтари всегда были построены по одной схеме. В центре помещался один большой камень, символизировавший Сатурн. Вокруг лежала зеленая ветка, согнутая в кольцо, — это были кольца Са-

турна. А за этим кольцом располагались девять камней — по числу лун Сатурна. Самый большой из этих камней-спутников представлял Титан. И под этим камнем всегда лежало перо синей птицы Титана.

По следам на земле было видно, что юный Хроно уже не первой молодости — проводил целые часы, передвигая планеты своего игрушечного мира.

Когда старый Малаки Констант находил один из таких алтарей в запущенном виде, он обязательно старался по мере сил навести в нем порядок. Он выпалывал сорняки и разравнивал землю, приносил свежую ветку, которая изображала кольца Сатурна. Он непременно клал новое перо синей птицы под камень, изображавший Титан.

Прибирая священные для сына алтари, Констант духовно сближался со своим сыном, насколько это было возможно.

К попыткам сына создать религию он относился с уважением.

Порой, глядя на возрожденный алтарь, Констант по разному передвигал элементы собственной жизни — но только в голове, камней он не трогал. В такие минуты он с грустью размышлял

о двух вещах: о том, что он убил Стоуни Стивенсона, своего лучшего, единственного друга, и о том, что на склоне лет он, наконец, заслужил любовь Беатрисы Румфорд.

Констант так и не узнал, догадался ли Хроно, кто обновляет его святилища. Может быть, он думал, что его Бог или боги об этом заботятся.

Все это было так печально. Но это было прекрасно.

Беатриса Румфорд жила одна в румфордовском Тадж-Махале.

Встречи с сыном беспокоили ее гораздо больше, чем Константа. В совершенно непредсказуемые дни, с неравными интервалами, Хроно переплывал пролив, являлся во дворец, облачался в какой-нибудь из костюмов Румфорда, объявлял матери, что сегодня ее день рождения, и весь день развлекал ее ленивой, неспешной, вполне цивилизованной беседой.

К концу дня Хроно надоедала н одежда, и мать, и цивилизация. Он с яростью срывал с себя костюм, издавал клич синих птиц и с размаху бросался в Море Уинстона.

Пережив празднование очередного «дня рождения», Беатриса обычно втыкала весло в песок в том месте, которое было видно с ближайшего

берега, и поднимала на нем простыню — белый флаг.

Это был сигнал для Малаки Константа, означавший, что она очень просит его как можно скорее приплыть и помочь ей прийти в себя.

А когда Констант спешно являлся на этот зов отчаяния, Беатриса всегда встречала его одними и теми же словами, стараясь утешить себя:

— По крайней мере, — говорила она, — он не маменькин сынок. По крайней мере, у него хватило величия души, чтобы выбрать самые благородные, самые прекрасные существа из всех, какие здесь водятся.

И вот простыня — сигнал бедствия — развевалась на берегу.

Малаки Констант пустился в путь в долбленке. Золоченая лодка, доставшаяся им вместо с дворцом, давным-давно рассыпалась в прах.

Констант был одет в старый купальный халат из голубой шерсти, оставцшйся от Румфорда. Он нашел его во дворце и взял, когда костюм Звездного Странника вконец износился. Халат был его единственным одеянием, да и надевал он его только когда навещал Беатрису.

В долбленке у Константа лежали шесть яиц ржанки, две кварты дикой титанической клуб-

ники, трехгаллонный торфяной горшок с перебродившим молочком маргариток, бушель семян титанических маргариток, восемь книг, которые он брал почитать из дворцовой библиотеки, насчитывавшей сорок тысяч томов, и самодельная метла с самодельным совком для мусора.

Констант вел натуральное хозяйство. Он выращивал. собирал и делал своими руками все, что ему было нужно. И необычайно этим гордился.

Беатриса не нуждалась в помощи Константа. Румфорд оставил в Тадж-Махале грандиозные запасы земной еды и земных напитков. У Беатрисы всего было вдоволь, и запасы были неистощимы.

Констант вез Беатрисе местные лакомства только потому, что гордился своим искусством лесного жителя и сельского хозяина. Он очень любил показать, какой он замечательный добытчик.

Это стало для него необходимостью.

Констант прихватил с собой щетку и совок по той причине, что во дворце у Беатрисы всегда накапливались кучи отбросов. Беатриса сама никогда не занималась уборкой, так что Констант пользовался случаем и убирал мусор, когда бывал у нее в гостях.

Беатриса Румфорд была жилистой, одноглазой,

темнокожей старой леди с золотыми зубами — сухой и крепкой, как спинка стула. Но ни физический урон, ни пережитые страдания не могли скрыть благородства старой леди — сразу был виден высокий класс.

Каждому, кто понимал, что такое поэзия, смертность и чудо, гордая подруга Малаки Константа со своими высокими скулами показалась бы прекрасной, насколько это возможно для человеческого существа.

Не исключено, что она слегка повредилась в рассудке. На Луне, где кроме нее, жили только два человека, она писала книгу под названием «_Истинный_смысл_жизни_в_Солнечной-_системе_». Это было опровержение теории Румфорда, который утверждал, что цель существования человечества в Солнечной системе — помочь застрявшему на Титане гонцу с Тральфамадора снова отправиться в путь.

Беатриса начала писать книгу, когда сын покинул ее и ушел жить к синим птицам. Рукопись, написанная ее рукой, теперь занимала тридцать восемь кубических футов в комнатах ТаджМахала.

Каждый раз, когда Констант ее навещал, она читала ему вслух новые главы.

Сейчас она как раз читала вслух, сидя в старом кресле Румфорда, а Констант бродил по двору. Беатриса была закутана в белое с розовым покрывало с кровати, которое тоже осталось во дворце. В пушистую ткань были вплетены буквы: «_Богу_все_ _равно_».

Это было собственное покрывало Румфорда.

Беатриса читала, не останавливаясь, словно пряла нить из доводов против воображаемого могущества Тральфамадора.

Констант не прислушивался. Он просто с удовольствием слушал голос Беатрисы — звучный, торжествующий. Он спустился в бассейн и отвинчивал крышку клапана, чтобы спустить воду. Вода превратилась в нечто похожее на гущу горохового супа — так в ней расплодились титанические водоросли. Каждый раз, приезжая к Беатрисе, Констант вступал в бежнадежное единоборство с этой массой зеленой тины.

— Я не стану отрицать, — читала вслух Беатриса, — что воздействие Тральфамадора действительно ощущалось на Земле. И все же — те люди, которые служили исполнителями воли Тральфамадора, исполняли ее настолько в свом личном стиле, что можно смело сказать — Тральфамадор практически не имел к этому

никакого отношения.

Констант, сидя в бассейне, приложил ухо к открытому клапану. Судя по звуку, вода едва просачивалась.

Констант выругался. Румфорд унес с собой важнейшую тайну, а вместе с Сэло она умерла — как им удавалось, пока они здесь жили, сохранять бассейн в такой кристальной чистоте С тех пор, как этим занимался Констант, водоросли постепенно заполонили бассейн Дно и стенки бассейна заросли покрывалом скользкой слизи, а три статуи на дне — три сирены Титана были погребены под студнеобразной зеленой массой.

Констант знал, какую роль сыграли три сирены в его жизни Он об этом читал — и в «_Карманной-_истории_Марса_», и в «_Авторизованной_Библии_под_редакцией_Уинстона_Найлса_Румфорда_» Эти три невиданные красавицы теперь его не особенно трогали — разве что на поминали, что были времена, когда секс его еще тревожил.

Констант выбрался из бассейна

— Каждый раз стекает все хуже, — сказал он Беатрисе. — Придется откапывать и чистить трубы

— Вот как? — сказала Беатриса, отрывая глаза от рукописи.

— Да, вот так, — сказал Констант.

— Ладно, делай то, что нужно делать, — сказала Беатриса.

— В этом вся история моей жизни, — сказал Констант

— Мне только что пришла мысль, которую непременно надо записать, — сказала Беатриса. — Непременно надо, пока она не ускользнула.

— Если она побежит в мою сторону, я стукну ее совком, — сказал Констант.

— Погоди, помолчи минутку, — сказала Беатриса. — Дай мне сосредоточиться, найти нужные слова.

Она встала и ушла во дворец, чтобы ее не отвлекал ни Констант, ни кольца Сатурна.

Она долго смотрела на громадный портрет ослепительно чистой девочки в белом, держащей в поводу собственного белоснежного пони.

Беатриса знала, кто это. На картине была прибита бронзовая дощечка с надписью: «Беатриса Румфорд в детстве».

Контраст был поразительный — контраст между маленькой девочкой в белом и старой женщиной, которая ее разглядывала.

Беатриса резко повернулась спиной к портрету, снова вышла во двор. Теперь мысль, которую она хотела записать для книги, четко оформилась у

нее в голове.

— Самое худшее, что может случиться с человеком, — сказала она, — это если его никто и ни для чего не использует.

Эта мысль ее успокоила. Она прилегла на старый шезлонг Румфорда, посмотрела на фантастически красивые кольца Сатурна — Радугу Румфорда.

— Благодарю тебя за то, что ты мной воспользовался, — сказала она Константу. — Несмотря на то, что я не желала, чтобы кто-нибудь ко мне прикасался.

— Не стоит благодарности, — сказал Констант.

Он принялся подметать двор. Мусор, который он выметал, состоял из песка, принесенного ветром, кожуры семян маргариток, скорлупы земных арахисовых орехов, пустых банок из-под курятины без костей и скомканных листов писчей бумаги. Беатриса питалась главным образом семенами маргариток, арахисом и готовыми куриными консервами — их даже не надо было разогревать, так что она могла есть, не отрываясь от рукописи.

Она умела есть одной рукой и писать другой — а ей больше всего на свете хотелось успеть записать все, все.

Не закончив подметать, Констант на минуту остановился посмотреть — как там стекает вода из бассейна.

Вода стекала медленно. Студенистая куча водорослей, закрывавшая сирен Титана, едва показалась над зеркалом воды.

Констант наклонился над открытым стоком, вслушался в журчанье воды.

Он услышал, как вода певуче переливается в трубах. И он услышал еще что-то.

Он услышал тишину вместо знакомого, такого любимого звука.

Его подруга, Беатриса, перестала дышать.

Малаки Констант похоронил свою подругу в титаническом торфе, на берегу моря Уинстона Он выкопал могилу там, где не было ни одной статуи.

Когда Малаки Констант прощался с ней, в небе над ним тучами кружились синие птицы Титана. Там было не меньше десяти тысяч этих громадных благородных птиц.

Они превратили день в ночь, а воздух дрожал от взмахов их крыльев.

Но ни одна птица не издала ни звука.

И в этой ночи средь бела дня на круглой вершине холма, откуда была видна могила Беатрисы,

появился Хроно, сын Беатрисы и Малаки. Он был в плаще из птичьих перьев, размахивал полами, как крыльями. Он был воплощением красоты и силы.

— Благодарю, Мать и Отец, за то, что вы подарили мне жизнь! Прощайте! — крикнул он

Потом он исчез, и за ним улетели птицы.

Старый Малаки вернулся во дворец. Сердце у него было тяжелое, как пушечное ядро. Он вернулся во дворец только потому, что хотел оставить все в полном порядке.

Рано или поздно сюда придет еще кто-нибудь.

Дворец должен быть чистым, прибранным, подготовленным к их приходу. Дворец должен поминать добром прежнюю владелицу.

Вокруг старого, потертого кресла Румфорда лежали яйца ржанок, и дикая клубника, и корзинка с семенами маргариток, и горшочек с перебродившим молочком маргариток — все это Констант привез для Беатрисы Это скоропортящиеся продукты. Они не дождутся новых обитателей.

Констант отнес их обратно в свою долбленку. Ему-то они были не нужны. Они никому не были нужны.

А когда он выпрямил свою старую спину, то увидел. что Сэло, маленький посланец с Тральфа-

мадора, идет к нему по воде.

— Здравствуйте, — сказал Констант.

— Здравствуйте, — сказал Сэло. — Благодарю вас за то, что вы меня собрали.

— Я не ожидал, что у меня получится, — сказал Констант. — Как ни бился, вы не подавали признаков жизни.

— Все у вас получилось, — сказал Сэло. — Просто я сам не знал, стоит подавать признаки жизни или не стоит. — Он со свистом выпустил воздух из своих ступней. — Пожалуй, пора двигаться, — сказал он.

— Вы все-таки хотите доставить послание? — спросил Констант.

— Всякий, кто дал себя загнать в такую даль с дурацким поручением, — сказал Сэло, — должен хотя бы поддержать честь всех дураков и выполнить поручение до конца.

— Моя жена умерла сегодня, — сказал Констант.

— Очень жаль, — сказал Сэло. — Я бы еще сказал: «Чем я могу помочь?»– но Скип как-то заметил, что это самое идиотское и отвратительное выражение в английском языке.

Констант потер руки. Да, на Титане у него друзей не оставалось — разве что у правой руки есть

левая, под пару — вот и вся компания.

— Плохо без нее, — сказал Константа.

— Значат, вы все же полюбили друг друга, — сказал Сэло.

— Всего год назад по земному счету, — сказал Константа. — Сколько лет прошло, пока мы поняли, что смысл человеческой жизни — кто бы человеком ни управлял, — только в том, чтобы любить тех, кто рядом с тобой, кто нуждается в твоей любви.

— Если вы сами или ваш сын захотите вернуться на Землю, — сказал Сэло, — я вас подброшу по дороге.

— Мальчик ушел к синим птицам, — сказал Константа.

— Молодец! — сказал Сэло. — Я бы и сам к ним ушел, если бы они согласились меня принять.

— Земля… — задумчиво сказал Константа.

— Мы будем там через несколько часов, — сказал Сэло. — Корабль в полной исправности.

— Здесь очень одиноко, — сказал Константа. — Особенно теперь, когда… — И он покачал головой.

Еще дорогой Сэло испугался, что совершил роковую ошибку, предложив Константе вернуться на Землю. Эта мысль у него появилась, когда

Констант потребовал, чтобы Сэло доставил его в Индианаполис, штат Индиана, США.

Это неожиданное требование испугало Сэло: Индианаполис — далеко не лучшее место для бездомного старика.

Сам Сэло собирался высадить его возле шахматного клуба в Санкт-Петербурге, штат Флорида, США. Но Констант уперся на своем, как это свойственно старикам. Он хотел в Индианаполис, и все тут.

Сэло подумал, что у него в Индианаполисе родственники или старые деловые связи, но оказалось, что ничего подобного нет.

— Я никого в Индианаполисе не знаю, да и про сам город знаю только то, — сказал Констант, — что прочел в книжке.

— А что вы прочли в книжке? — спросил Сэло. Ему было очень не по себе.

— Инднанаполис, в Индиане, — сказал Констант, — был первым американским городом, где белого повесили за то, что он убил индейца. Если там живут люди, которые способны повесить белого за убийство индейца, — сказал Констант, — этот город мне подходит.

Голова Сэло сделала сальто в кардановом подвесе. Ноги Сэло горестно зачмокали, переминаясь

присосками по железному полу. Он отчетливо сознавал, что его пассажир практически ничего не знает о планете, к которой летит со скоростью, приближающейся к скорости света.

Но Констант, по крайней мере, имел при себе деньги. Это все же облегчало положение. У него было около трех тысяч долларов в самой разнообразной земной валюте — он их обнаружил в карманах костюмов Румфорда.

По крайней мере, он был обут и одет.

Одет он был в сидевший на нем мешком, но добротный твидовый костюм с плеча Румфорда, а вместе с костюмом захватил и ключ Фи Бета Каппа — он болтался на цепочке от часов, пущенной поперек жилета.

Сэло уговорил Константа взять ключ вместе с костюмом.

Констант был одет в хорошее пальто, он был в шляпе и даже в галошах.

До Земли оставалось не больше часа пути, и Сэло торопился придумать что-нибудь, чтобы у Константа была сносная жизнь, пусть даже в Индианаполисе.

И он задумал загипнотизировать Константа: пусть хоть самые последние секунды жизни Константа принесут старику несказанную радость.

Жизнь Константа кончится хорошо.

Константа и без того находился почти в гипнотическом трансе — он, как завороженный, смотрел сквозь иллюминатор в открытый космос.

Сэло подошел к нему сзади и заговорил ласково и утешительно:

— Ты устал, ты смертельно устал, Звездный Странник, Малаки, Дядек, — сказал Сэло. — Отыщи самую дальнюю звезду, сын Земли, и думай, глядя на нее, как тяжелеют твои руки и ноги.

— Тяжелеют, — повторил Константа.

— Когда-нибудь ты умрешь, Дядек, — сказал Сэло. — Это жаль, но это правда.

— Правда, — сказал Константа. — А жалеть меня не надо.

— Когда ты поймешь, что умираешь, Звездный Странник, — сказал Сэло ровным голосом гипнотизера, — с тобой случится чудо. — И он рассказал Константу про те чудесные вещи, которые он увидит в своем воображении перед самой смертью.

Это будет постгипнотическое внушение.

— Проснитесь! — сказал Сэло.

Константа передернул плечами, отвернулся от иллюминатора.

— Где я? — спросил он.

— На тральфамадорском космическом корабле,

летящем с Титана на Землю, — сказал Сэло.

— А, — сказал Констант. — Ну да, — сказал он минуту спустя. — Кажется, я заснул.

— Вздремните немного, — сказал Сэло.

— Пожалуй, надо поспать, — сказал Констант. Он лег на койку. И быстро заснул.

Сэло пристегнул спящего Звездного Странника к койке. Потом он сам пристегнулся ремнями к своему креслу у пульта управления. Он поставил указатели на трех датчиках, несколько раз проверил цифры на каждом из них. Потом нажал ярко-красную кнопку.

Он откинулся в кресле. Больше делать было нечего. С этой минуты все взяла на себя автоматика. Через тридцать шесть минут корабль приземлится возле конечной остановки автобуса в пригороде Индианаполиса, Индиана, США, Земля, Солнечная система, Млечный Путь.

В это время там будет три часа утра.

И там будет зима.

Космический корабль опустился на четырехдюймовый слой только что выпавшего снега на пустыре, в южном предместье Индианаполиса. Все спали, и никто не видел, как села летающая тарелка.

Малаки Констант вышел из космического ко-

рабля.

— Вон там остановка вашего автобуса, старый солдат, — прошептал Сэло. Приходилось говорить шепотом — всего в тридцати футах стоял двухэтажный каркасный домик и окно спальни было открыто.

— Придется подождать десять минут, — шепотом сказал Сэло. — Автобус доставит вас прямо в центр. Попросите шофера, чтобы он вас высадил поближе к хорошей гостинице.

Констант кивнул.

— Со мной все будет в полном порядке, — сказал он шепотом.

— Как вы себя чувствуете? — прошептал Сэло.

— Тепло, как в духовке, — прошептал Констант. Из открытого окна домика донесся недовольный голос потревоженного во сне обитателя.

— Эй, кто там? — промямлил сонный жилец. -_Эфо_уа, _ди-йя_ _умммммммммммммм. _

— Вы и вправду хорошо себя чувствуете? — прошептал Сэло.

— Да, отлично, — прошептал Констант. — Тепло, как в духовке.

— Желаю удачи, — прошептал Сэло.

— У нас здесь не принято так говорить, — прошептал Констант.

Сэло подмигнул.

— Да я-то _не_здешний, _– прошептал он. Он посмотрел на чистейшую белизну снега, укрывшего землю, почувствовал влажные поцелуи снежных хлопьев, задумался о том, с какой таинственной целью горят бледножелтые фонари в этом мире, спящем таким белоснежным сном.

— Какая красота! — прошептал он.

— Правда? — прошептал Константа.

— _Сим-фоу! _– угрожающе вскрикнул спящий, отпугивая всякого, кто дерзнул бы нарушить его сон. — _Суу! _Э-со! _Что_там_ва-ва? _ _Нф. _

— Вам пора улетать, — прошептал Константа.

— Да, — шепнул Сэло.

— Прощайте, — прошептал Константа. — И спасибо вам.

— Не стоит благодарности, — прошептал Сэло. Он забрался в корабль, задраил люк. Корабль поднялся с земли со звуком, похожим на тот, который получается, если сильно подуть, прижав к нижней губе горлышко бутылки. Он скрылся в снежной замяти, исчез из глаз.

— У-лю-люлю, -сказал корабль на прощанье.

Снег скрипел под ногами Малаки Константа, пока он шел к скамейке у остановки. Он смел со скамейки снег и сел.

— _Фроу! _– крикнул спящий, как будто внезапно все понял.

— _Броу! _– крикнул он. Видно, ему не очень понравилось то, что он понял.

— _Сап-фоу! _– добавил он, ясно показывая, как он с этим разделается.

— _Флууф! _– рявкнул он.

Судя по всему, заговорщики в ужасе бежали.

А снег валил.

Автобус, которого дожидался Малаки Констант, в то утро опоздал на два часа — по причине снегопада А когда автобус подошел, было уже поздно — Малаки Констант был мертв.

Сэло внушил ему под гипнозом, что перед смертью он увидит своего лучшего, единственного друга — Стоуни Стивенсона.

Снежная вьюга кружила над Константом, а ему вдруг почудилось, что тучи разошлись и сквозь них пробился луч солнца — солнечный луч для него одного.

Золотой космический корабль, усеянный алмазами, плавно скользнул по солнечному лучу, опустился в нетронутый снег посередине улицы.

Из корабля вышел коренастый рыжий человек с толстой сигарой во рту. Он был очень молод. На нем была форма Марсианского штурмового

пехотного корпуса — прежняя форма Дядька.

— Привет, Дядек, — сказал человек. — Влезай!

— Влезать? — сказал Констант. — А вы кто такой?

— Стоуни Стивенсон, Дядек. Разве ты меня не узнал?

— Стоуни? — сказал Констант. — Это ты, Стоуни?

— А кто же еще выдержит эти чертовы перегрузки? — сказал Стоуни. Он засмеялся. — Давай влезай, — сказал он.

— Куда полетим? — спросил Констант.

— В рай, — ответил Стоуни.

— А что там, в раю? — спросил Констант.

— Там все счастливы во веки веков, — сказал Стоуни, — или, по крайней мере, до тех пор, пока эта Вселенная не взорвется к чертям. Влезай, Дядек. Беатриса уже там, ждет тебя.

— Беатриса? — переспросил Дядек, забираясь в космический корабль.

Стоуни задраил люки, нажал кнопку с надписью

«вкл.».

— А мы и вправду — вправду летим в рай? — сказал Дядек. — Я — я попаду в рай?

— Ты только меня не спрашивай, почему, ста-

рина, — сказал Стоуни, — но кто-то там, наверху, хорошо к тебе относится.

Колыбель для кошки

Кеннету Литтауэру, человеку смелому
и благородному

Нет в этой книге правды,
Но "эта правда – фо'ма,
И от нее ты станешь добрым
И храбрым, здоровым
Счастливым".
«Книга Боконона» 1:5
«Безобидная ложь – фо'ма»

1. ДЕНЬ, КОГДА НАСТАЛ КОНЕЦ СВЕТА

Можете звать меня Ионой. Родители меня так назвали, вернее, чуть не назвали. Они меня назвали Джоном.

— Иона-Джон — будь я Сэмом, я все равно был бы Ионой, и не потому, что мне всегда сопутствовало несчастье, а потому, что меня неизменно куда-то заносило[1] — в определенные места, в определенное время, кто или что — не знаю. Возникал повод, предоставлялись средства передвижения — и самые обычные и весьма странные. И точно по плану, именно в назначенную секунду, в назначенном месте появлялся сей Иона Послушайте.

Когда я был моложе — две жены тому назад, 250 тысяч сигарет тому назад, три тысячи литров спиртного тому назад…

Словом, когда я был гораздо моложе, я начал собирать материалы для книги под названием День, когда настал конец света.

Книга была задумана документальная. Была она задумана как отчет о том, что делали выда-

---

[1] notes: 1
По библейскому преданию, Иона был занесен во чрево кита.

ющиеся американцы в тот день, когда сбросили первую атомную бомбу на Хиросиму в Японии Эта книга была задумана как книга христианская. Тогда я был христианином.

Теперь я боконист.

Я бы и тогда стал боконистом, если бы кто-нибудь преподал мне кисло-сладкую ложь Боконона. Но о боконизме никто не знал за пределами песчаных берегов и коралловых рифов, окружавших крошечный остров в Карибском море — Республику Сан-Лоренцо.

Мы, боконисты, веруем в то, что человечество разбито на группы, которые выполняют божью волю, не ведая, что творят.

Боконон называет такую группу карасс — и в мой личный карасс меня привел мой так называемый канкан, — и этим канканом была моя книга, та недописанная книга, которую я хотел назвать День, когда настал конец света.

2. ХОРОШО, ХОРОШО, ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО

«Если вы обнаружите, что ваша жизнь переплелась с жизнью чужого человека, без особых на то причин, — пишет Боконон, — этот человек, скорее всего, член вашего карасса».

И в другом месте, в Книгах Бокононa, сказано: «Человек создал шахматную доску, бог создал карасс», Этим он хочет сказать, что для карасса не существует ни национальных, ни ведомственных, ни профессиональных, ни семейных, ни классовых преград.

Он лишен определенной формы, как амеба.

Пятьдесят третье калипсо, написанное для нас Бокононом, поется так:

И пьянчужки в парке,
Лорды и кухарки,
Джефферсоновский шофер
И китайский зубодер,
Дети, женщины, мужчины —
Винтики одной машины.
Все живем мы на Земле,

Варимся в одном котле.
Хорошо, хорошо,
Это очень хорошо.

3. ГЛУПОСТЬ

Боконон нигде не предостерегает вас против людей, пытающихся обнаружить границы своего карасса и разгадать промысел божий.

Боконон просто указывает, что такие поиски довести до конца невозможно.

В автобиографической части Книг Боконона он приводит притчу о глупости всякой попытки что-то открыть, что-то понять:

"Когда-то в Ньюпорте, Род-Айленд, я знал одну даму епископального вероисповедания, которая попросила меня спроектировать и построить конуру для ее датского дога. Дама считала, что прекрасно понимает и бога, и пути господни. Она никак не могла понять, почему люди с недоумением смотрят в прошлое и в будущее.

И однако, когда я показал ей чертеж конуры, которую я собирался построить, она мне сказала:

— Извините, я в чертежах не разбираюсь.

— Отдайте мужу или духовнику, пусть передадут богу, — сказал я, — и если бог найдет свободную минутку, я не сомневаюсь — он вам так растолкует мой проект конуры, что даже вы поймете.

Она меня выгнала. Но я ее никогда не забуду. Она верила, что бог гораздо больше любит владельцев яхт, чем владельцев простых моторок. Она видеть не могла червяков. Как увидит червяка, так и завизжит.

Она была глупа, и я глупец, и всякий, кто думает, что ему понятны дела рук господних, тоже глуп". (Так пишет Боконон.)

4. ПОПЫТКА ПОИСКАТЬ ПУТИ

Как бы то ни было, я собираюсь рассказать в этой книге как можно больше о членах моего карасса и попутно выяснить по непреложным данным, что мы все, скопом, натворили.

Я вовсе не собираюсь сделать из этой книги трактат в защиту боконизма. Однако я, как боконист, хотел бы сделать одно предупреждение. Первая фраза в Книгах Бокононa читается так:

«Все истины, которые я хочу вам изложить, — гнусная ложь».

Я же, как боконист, предупреждаю:

Тот, кто не поймет, как можно основать полезную религию на *лжи*, не поймет и эту книжку.

Да будет так.

А теперь — о моем карассе.

В него, конечно, входят трое детей доктора Феликса Хониккера, одного из так называемых «отцов» атомной бомбы. Сам доктор Хониккер, безусловно, был членом моего карасса, хотя он умер, прежде чем мои синуусики, то есть вьюнки моей жизни, переплелись с жизнями его детей.

Первый из его наследников, кого коснулись усики моих синуусиков, был Ньютон Хониккер,

младший из двух сыновей. Я узнал из бюллетеня моей корпорации «Дельта-ипсилон», что Ньютон Хоннккер, сын лауреата Нобелевской премии физика Феликса Хоннккера, был принят кандидатом в члены моей корпорации при университете Корнелл.

И я написал Ньюту следующее письмо:

"Дорогой мистер Хониккер. (Может быть, следует написать:

«Дорогой мой собрат Хониккер»?) Я, член корпорации Корнелла «Дельта-ипсилон», сейчас зарабатываю на жизнь литературным трудом. В данное время собираю материал для книги о первой атомной бомбе. В книге я коснусь только событий, имевших место 6 августа 1945 года, то есть в тот день, когда была сброшена бомба на Хиросиму.

Так как всеми признано, что ваш покойный отец — один из создателей атомной бомбы, я был бы очень благодарен за любые сообщения о том, как прошел в доме вашего отца день, когда была сброшена бомба.

К сожалению, должен сознаться, что знаю о вашем прославленном семействе куда меньше, чем следовало бы, так что мне неизвестно, есть ли у вас братья и сестры. Но если они у вас есть,

мне очень хотелось бы получить их адреса, чтобы и к ним обратиться с той же просьбой.

Я понимаю, что вы были совсем маленьким, когда сбросили бомбу, но тем лучше. В своей книге я хочу подчеркнуть главным образом не техническую сторону вопроса, а отношение людей к этому событию, так что воспоминания «младенца», если разрешите так вас назвать, органически войдут в книгу.

О стиле и форме не беспокойтесь. Предоставьте это мне. Дайте мне просто голый скелет ваших воспоминаний.

Разумеется, перед публикацией я вам пришлю окончательный вариант на утверждение.

С братским приветом…"

5. ПИСЬМО ОТ СТУДЕНТА-МЕДИКА

Вот что ответил Ньют:

"Простите, что так долго не отвечал. Вы как будто задумали очень интересную книгу. Но я был так мал, когда сбросил бомбу, что вряд ли смогу вам помочь. Вам надо обратиться к моим брату и сестре — они много старше меня Мою сестру зовут миссис Гаррисон С. Коннерс, 4918 Норт Меридиен-стрит, Индианаполис, штат Индиана Сейчас это и мой домашний адрес Думаю, что она охотно вам поможет Никто не знает, где мой брат Фрэнк Он исчез сразу после похорон отца два года назад, и с тех пор о нем ничего не известно Возможно, что его и нет в живых.

Мне было всего шесть лет, когда сбросили атомную бомбу на Хиросиму, так что я вспоминаю этот день главным образом по рассказам других.

Помню, как я играл на ковре в гостиной, около кабинета отца.

На нем была пижама и купальный халат Он курил сигару. Он крутил в руках веревочку. В тот день отец не пошел в лабораторию и просидел дома в пижаме до вечера. Он оставался дома когда хотел.

Как вам, вероятно, известно, отец всю свою жизнь проработал в научно-исследовательской лаборатории Всеобщей сталелитейной компании в Илиуме. Когда был выдвинут Манхэттенский проект, проект атомной бомбы, отец отказался уехать из Илиума Он заявил, что вообще не станет работать над этим, если ему не разрешат работать там, где он хочет. Почти всегда он работал дома.

Единственное место, кроме Илиума, куда он любил уезжать, была наша дача на мысе Код. Там, на мысе Код, он и умер. Умер он в сочельник. Но вам, наверно, и это известно.

Во всяком случае, в тот день, когда бросили бомбу, я играл на ковре около отцовского кабинета Сестра Анджела рассказывает, что я часами играл с заводными грузовичками, приговаривая: «Бип-биптррр-тррр…» Наверно, я и в тот день, когда сбросили бомбу, гудел: «Тррр», а отец сидел у себя в кабинете и играл с веревочкой.

Случайно я знаю, откуда он взял эту веревочку. Может быть, для вашей книги и это пригодится. Отец снял эту веревочку с рукописи — один человек прислал ему свой роман из тюрьмы. Роман описывал конец света в 2000. Там описывалось, как психопаты ученые сделали чудовищную бомбу, стершую все с лица земли. Когда люди узнали,

что скоро конец света, они устроили чудовищную оргию, а потом, за десять секунд до взрыва, появился сам Иисус Христос. Автора звали Марвин Шарп Холдернесс, и в письме, приложенном к роману, он писал отцу, что попал в тюрьму за убийство своего родного брата. Рукопись он прислал отцу, потому что не мог придумать, каким взрывчатым веществом начинить свою бомбу. Он просил отца что-нибудь ему подсказать.

Не подумайте, что я читал эту рукопись, когда мне было шесть лет. Она валялась у нас дома много лет. Мой брат, Фрэнк, пристроил ее у себя в комнате в «стенном сейфе», как он говорил.

На самом деле никакого сейфа у него не было, а был старый дымоход с жестяной вьюшкой. Сто тысяч раз мы с Фрэнком еще мальчишками читали описание оргии. Рукопись лежала у нас много-много лет, но потом моя сестра Анджела нашла ее. Она все прочла, сказала, что это дрянь, сплошная мерзость, просто гадость. И она сожгла рукопись вместе с веревочкой. Анджела была нам с Фрэнком матерью, потому что родная наша мать умерла, когда я родился.

Я уверен, что отец так и не прочитал эту книжку. По-моему, он и вообще за всю свою жизнь, с самого детства, не прочел ни одного романа, даже

ни одного рассказика. Он никогда не читал ни писем, ни газет, ни журналов. Вероятно, он читал много научной литературы но, по правде говоря, я никогда не видел отца за чтением.

Из всей той рукописи ему пригодилась только веревочка. Он всегда был такой. Невозможно было предугадать, что его заинтересует. В день, когда сбросили бомбу, его заинтересовала веревочка.

Читали ли вы речь, которую он произнес при вручении ему Нобелевской премии? Вот она вся целиком:

«Леди и джентльмены! Я стою тут, перед вами, потому что всю жизнь я озирался по сторонам, как восьмилетний мальчишка весенним днем по дороге в школу. Я могу остановиться перед чем угодно, посмотреть, подумать, а иногда чему-то научиться. Я очень счастливый человек. Благодарю вас».

Словом, отец играл с веревочкой, а потом стал переплетать ее пальцами. И сплел такую штуку, которая называется «колыбель для кошки». Не знаю, где отец научился играть с веревочкой Может быть, у своего отца. Понимаете, его отец был портным, так что в доме, когда отец был маленьким, всегда валялись нитки и тесемки До

того как отец сплел «кошкину колыбель», я ни разу не видел, чтобы ои, как говорится, во что-то играл. Ему неинтересны были всякие забавы, игры, всякие правила, кем-то выдуманные Среди вырезок, которые собирала моя сестра Анджела, была заметка из журнала «Тайм» Отца спросили, в какие игры он играет для отдыха, и он ответил — «Зачем мне играть в выдуманные игры, когда на свете так много настоящей игры».

Должно быть, он сам удивился, когда нечаянно сплел из веревочки «кошкину колыбель», а может быть, это напомнило ему детство Он вдруг вышел из своего кабинета и сделал то, чего раньше никогда не делал, он попытался поиграть со мной. До этого он не только со мной никогда не играл, он почти со мной и не разговаривал.

А тут он опустился на колени около меня, на ковер, и оскалил зубы, и завертел у меня перед глазами переплет из веревочки «Видал? Видал? Видал? — спросил он — Кошкина колыбель. Видишь кошкину колыбель? Видишь, где спит котеночек? Мяу! Мяу!»

Поры на его коже казались огромными, как кратеры на луне Уши и ноздри заросли волосом От него несло сигарным дымом, как из врат ада. Ничего безобразнее, чем мой отец вблизи, я в

жизни не видал Мне и теперь он часто снится.

И вдруг он запел: "Спи, котеночек, усни, угомон тебя возьми.

Придет серенький волчок, схватит киску за бочок, серый волк придет, колыбелька упадет ."

Я заревел. Я вскочил и со всех ног бросился вон из дому Придется кончать. Уже третий час ночи. Мой сосед по комнате проснулся и жалуется, что машинка очень гремит.

6. ВОЙНА ЖУКОВ

Ньют дописал письмо на следующее утро. Вот что он написал:

"Утро. Пишу дальше, свежий как огурчик после восьмичасового сна В нашем общежитии сейчас тишина. Все на лекциях, кроме меня Я — личность привилегированная. Мне на лекции ходить не надо На прошлой неделе меня исключили… Я был медиком — первокурсником Исключили меня правильно. Доктор из меня вышел бы препаршивый.

Кончу это письмо и, наверно, схожу в кино. А если выглянет солнце, пойду погуляю вдоль обрыва. Красивые тут обрывы, верно?

В этом году с одного из них бросились две девчонки, держась за руки Они не попали в ту корпорацию, куда хотели. Хотели они попасть в «Три-Дельта»

Однако вернемся к августу 1945 года. Моя сестра Анджела много раз говорила мне, что я очень обидел отца в тот день, когда не захотел полюбоваться «кошкиной колыбелью», не захотел посидеть на ковре и послушать, как отец поет. Может, я его и обидел, только, по-моему, он не мог

обидеться всерьез. Более защищенного от обид человека свет не видал. Люди никак не могли его задеть, потому что людьми он не интересовался Помню, как-то раз, незадолго до его смерти, я пытался его заставить хоть что-нибудь рассказать о моей матери. И он ничего не мог вспомнить.

Слыхали ли вы знаменитую историю про завтрак в тот день, когда отец с матерью уезжали в Швецию получать Нобелевскую премию? Об этом писала «Сатердей ивнинг пост». Мать приготовила прекрасный завтрак… А потом, убирая со стола, она нашла около отцовского прибора двадцать пять и десять центов и три монетки по одному пенни. Он оставил ей на чай Страшно обидев отца, если только он мог обидеться, я выбежал во двор. Я сам не понимал, куда бегу, пока в зарослях таволги не увидел брата Фрэнка.

Фрэнку было тогда двенадцать лет, и я не удивился, застав его в зарослях. В жаркие дни он вечно лежал там. Он, как собака, вырыл себе ямку в прохладной земле, меж корневищ. Никогда нельзя было угадать, что он возьмет с собой туда. То принесет неприличную книжку, то бутылку лимонада с вином. В тот день, когда бросили бомбу, у Фрэнка были в руках столовая ложка и стеклянная банка. Этой ложкой он сажал всяких

жуков в банку и заставлял их драться.

Жуки дрались так интересно, что я сразу перестал плакать, совсем забыл про нашего старика. Не помню, кто там дрался у Фрэнка в тот день, но вспоминаю, как мы потом стравливали разных насекомых: жука-носорога с сотней рыжих муравьев, одну сороконожку с тремя пауками, рыжих муравьев с черными. Драться они начинают, только когда трясешь банку Фрэнк как раз этим и занимался — он все тряс и тряс эту банку.

Потом Анджела пришла меня искать. Она раздвинула ветви и сказала: «Вот ты где!» Потом спросила Фрэнка, что Он тут делает, и он ответил: «Экспериментирую». Он всегда так отвечал, когда его спрашивали, что он делает Он всегда отвечал:

«Экспериментирую».

Анджеле тогда было двадцать два года. С шестнадцати лет, с того дня, когда мать умерла, родив меня, она, в сущности, была главой семьи. Она всегда говорила, что у нес трое детей — я, Фрэнк и отец. И она не преувеличивала. Я вспоминаю, как в морозные дни мы все трое выстраивались в прихожей, и Анджела кутала нас всех по очереди, одинаково. Только я шел в детский сад, Фрэнк — в школу, а отец — работать над атомной бомбой.

Помню, однажды утром зажигание испортилось, радиатор замерз, и автомобиль не заводился. Мы все трое сидели в машине, глядя, как Анджела до тех пор крутила ручку, пока аккумулятор не сел. И тут заговорил отец. Знаете, что он сказал? «Интересно, про черепах».

Анджела его спросила: «А что тебе интересно про черепах?» И он сказал: «Когда они втягивают голову, их позвоночник сокращается или выгибается?»

Между прочим, Анджела — никем не воспетая героиня в истории создания атомной бомбы, и, кажется, об этом нигде не упоминается. Может, вам пригодится. После разговора о черепахах отец ими так увлекся, что перестал работать над атомной бомбой.

В конце концов несколько сотрудников из группы «Манхэттенский проект» явились к нам домой посоветоваться с Анджелой, что же теперь делать. Она сказала, пусть унесут отцовских черепах. И однажды ночью сотрудники забрались к отцу в лабораторию и украли черепах вместе с террариумом. А он пришел утром на работу, поискал, с чем бы ему повозиться, над чем поразмыслить, а все, с чем можно было возиться, над чем размышлять, уже имело отношение к

атомной бомбе.

Когда Анджела вытащила меня из-под куста, она спросила, что у меня произошло с отцом. Но я только повторял, какой он страшный и как я его ненавижу. Тут она меня шлепнула. "Как ты смеешь так говорить про отца? — сказала она. — Он — великий человек, таких еще на свете не было! Он сегодня войну выиграл! Понял или нет?

Он выиграл войну!" И она опять шлепнула меня.

Я не сержусь на Анджелу за шлепки. Отец был для нее всем на свете. Ухажеров у нее не было. И вообще никаких друзей. У нее было только одно увлечение. Она играла на кларнете.

Я опять сказал, что ненавижу отца, она опять меня ударила, но тут Фрэнк вылез из-под куста и толкнул ее в живот. Ей было ужасно больно. Она упала и покатилась. Сначала задохнулась, потом заплакала, закричала, стала звать отца.

«Да он не придет!» — сказал Фрэнк и засмеялся. Он был прав.

Отец высунулся в окошко, посмотрел, как Анджела и я с ревом барахтаемся в траве, а Фрэнк стоит над нами и хохочет. Потом он опять скрылся в окне и даже не поинтересовался, из-за чего поднялась вся эта кутерьма. Люди были не по его

специальности.

Вам это интересно? Пригодится ли для вашей книги? Разумеется, вы очень связали меня тем, что просили рассказать только о дне, когда бросили бомбу. Есть множество других интересных анекдотов про бомбу и отца, про другие времена. Известно ли вам, например, что он сказал в тот день, когда впервые провели испытания бомбы в Аламогордо? Когда эта штука взорвалась, когда стало ясно, что Америка может смести целый город одной-единственной бомбой, некий ученый, обратившись к отцу, сказал: «Теперь наука познала грех» И знаете, что сказал отец? Он сказал: «Что такое грех?»

Всего лучшего Ньютон Хониккер".

7. ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ХОНИККЕРЫ

Ньютон сделал к письму три приписки:

"P.S. Не могу подписаться «с братским приветом», потому что мне нельзя называться вашим собратом — у меня не то положение: меня только приняли кандидатом в члены корпорации, а теперь и этого лишили.

P.P.S. Вы называете наше семейство «прославленным», и мне кажется, что это будет ошибкой, если вы нас так станете аттестовать в вашей книжке. Например, я — лилипут, во мне всего четыре фута. А о Фрэнке мы слышали в последний раз, когда его разыскивала во Флориде полиция, ФБР и министерство финансов, потому что он переправлял краденые машины на списанных военных самолетах. Так что я почти уверен, что «прославленное» — не совсем то слово, какое вы ищете. Пожалуй, «нашумевшее» ближе к правде.

P.P.P.S. На другой день: перечитал письмо и вижу, что может создаться впечатление, будто я только и делаю, что сижу и вспоминаю всякие грустные вещи и очень себя жалею. На самом же деле я очень счастливый человек и чувствую это. Я собираюсь жениться на прелестной крошке.

В этом мире столько любви, что хватит на всех, надо только уметь искать. Я — лучшее тому доказательство".

8. РОМАН НЬЮТА И ЗИКИ

Ньют не написал, кто его нареченная. Но недели через две после его письма вся страна узнала, что зовут ее Зика — просто Зика. Фамилии у нее, как видно, не было.

Зика была лилипуткой, балериной иностранного ансамбля.

Случилось так, что Ньют попал на выступление этого ансамбля в Индианаполисе до того, как поступил в Корнеллскнй университет. А потом ансамбль выступал и в Корнелле. Когда концерт окончился, маленький Ньют уже стоял у служебного входа с букетом великолепных роз на длинных стеблях — «Краса Америки».

В газетах эта история появилась, когда крошка Зика исчезла вместе с крошкой Ньютом.

Но через неделю после этого крошка Зика объявилась в своем посольстве. Она сказала, что все американцы — материалисты. Она заявила, что хочет домой.

Ньют нашел прибежище в доме своей сестры в Индианаполисе.

Газетам он дал короткое интервью: «Это дела личные... — сказал он. — Сердечные дела. Я ни

о чем не жалею. То, что случилось, никого не касается, кроме меня и Зики…»

Один предприимчивый американский репортер, расспрашивая о Зике кое-кого из балетных, узнал неприятный факт: Зике было вовсе не двадцать три года, как она говорила.

Ей было сорок два — и Ньюту она годилась в матери.

9. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ВУЛКАНАМИ

Книга о дне, когда была сброшена бомба, что-то у меня не шла.

Примерно через год, за два дня до рождества, другая тема привела меня в Илиум, штат Нью-Йорк, где доктор Феликс Хониккер проработал дольше всего и где выросли и крошка Ньют, и Фрэнк, и Анджела.

Я остановился в Илиуме посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного.

Живых Хониккеров в Илиуме не осталось, но там было множество людей, которые как будто бы отлично знали и старика, и трех его странноватых отпрысков.

Я сговорился о встрече с доктором Эйзой Бридом, вице-президентом Всеобщей сталелитейной компании, который заведовал научно-исследовательской лабораторией. Полагаю, что доктор Брид тоже был членом моего карасса, но он меня сразу невзлюбил.

«Приязнь и неприязнь тут никакого значения не имеют», — говорит Боконон, по это предупре-

ждение забывается слишком легко.

— Я слышал, что вы были заведующим лабораторией, когда там работал доктор Хониккер? — сказал я доктору Бриду по телефону.

— Только на бумаге, — сказал он.

— Не понимаю, — сказал я.

— Если бы я действительно был заведующим при Феликсе, — сказал он, — Что теперь я мог бы заведовать вулканами, морскими приливами, перелетом птиц и миграцией леммингов. Этот человек был явлением природы, и ни один смертный управлять им не мог.

10. ТАЙНЫЙ АГЕНТ ИКС-9

Доктор Брид обещал принять меня на следующий день с самого утра. Он сказал, что заедет за мной по дороге на работу и тем самым упростит мой допуск в научно-исследовательскую лабораторию, куда вход был строго воспрещен.

Поэтому вечером мне некуда было девать время. Я жил в отеле «Эль Прадо» — средоточии всей ночной жизни в Илиуме. В баре отеля «Мыс Код» собирались все проститутки.

Случилось так («должно было так случиться», — сказал бы Боконон), что гулящая девица и бармен, обслуживающий меня, когда-то учились в школе вместе с Фрэнклиием Хониккером — мучителем жуков, средним сыном, пропавшим отпрыском Хониккеров.

Девица, назвавшая себя Сандрой, предложила мне наслаждения, какие нельзя получить нигде в мире, кроме площади Пигаль и Порт-Саида. Я сказал, что мне это не интересно, и у нее хватило остроумия сказать, что и ей это тоже ничуть не интересно. Как потом оказалось, мы оба несколько преувеличивали наше равнодушие, хотя и не слишком.

Но до того, как мы стали сравнивать наши вкусы, у нас завязался долгий разговор — мы поговорили о Фрэнке Хониккере, поговорили о его папаше, немножко поговорили о докторе Эйзе Бриде, поговорили о Всеобщей сталелитейной компании, поговорили о римском папе и контроле над рождаемостью, о Гитлере и евреях.

Мы говорили о жуликах. Мы говорили об истине. Мы говорили о гангстерах и о коммерческих делах. Поговорили мы и о симпатичных бедняках, которых сажают на электрический стул, и о подлых богачах, которых не сажают. Мы говорили о людях набожных, но извращенных. Мы поговорили об очень многом.

И мы напились.

Бармен очень хорошо обращался с Сандрой. Он ее любил. Он ее уважал. Он сказал, что в илиумской средней школе Сандра была председателем комиссии по выбору цвета для классных значков.

Каждый класс, объяснил он, должен был выбрать свои цвета для значка и с гордостью носить эти цвета до окончания.

— Какие же цвета вы выбрали? — спросил я.

— Оранжевый и черный.

— Красивые цвета.

— По-моему, тоже.

— А Фрэнклин Хониккер тоже участвовал в этой комиссии?

— Ни в чем он не участвовал, — с презрением сказала Сандра. — Никогда он не был ни в одной комиссии, никогда не играл в игры, никогда не приглашал девочек в кино. По-моему, он с девчонками вообще не разговаривал. Мы его прозвали тайный агент Икс-9.

— Икс-9?

— Ну, сами понимаете — он вечно притворялся, будто бежит с одной тайной явки на другую, будто ему ни с кем и разговаривать нельзя — А может быть, у него и вправду была очень сложная тайная жизнь?

— Не-ет..

— Не-ет! — насмешливо протянул бармен. — Обыкновенный мальчишка, из тех, что вечно мастерят игрушечные самолеты и вообще занимаются черт-те чем…

11. ПРОТЕИН

— Он должен был выступать у нас в школе на выпускном вечере с приветственной речью — Вы о ком? — спросил я.

— О докторе Хониккере — об их отце.

— Что же он сказал?

— Он не пришел.

— Значит, вы так и остались без приветственной речи?

— Нет, речь была. Прибежал доктор Брид, тот самый, вы его завтра увидите, весь в поту, и чего-то нам наговорил.

— Что же он сказал?

— Говорил: надеюсь, что многие из вас сделают научную карьеру, — сказала Сандра. Эти слова ей не казались смешными. Она просто повторяла урок, который произвел на нее впечатление. И повторяла она его с запинками, но добросовестно. — Он говорил: беда в том, что весь мир… — тут она остановилась, подумала, — беда в том, что весь мир, — запинаясь продолжала она, — что все люди живут суевериями, а не наукой. Он сказал, что если бы все больше изучали науки, то не было бы тех бедствий, какие есть сейчас.

— Он еще сказал, что наука когда-нибудь откроет основную тайну жизни, — вмешался бармен, потом почесал затылок и нахмурился:

— Что-то я читал на днях в газете, будто нашли, в чем секрет, вы не помните?

— Не помню, — пробормотал я.

— А я читала, — сказала Сандра, — позавчера, что ли — Ну, и в чем же тайна жизни? — спросил я.

— Забыла, — сказала Сандра.

— Протеин, — заявил бармен, чего-то они там нашли в этом самом протеине.

— Ага, — сказала Сандра, — верно.

12. ПРЕДЕЛ НАСЛАЖДЕНИЯ

В это время в баре «Мыс Код», при отеле «Эль Прадо», к нам присоединился бармен постарше Услыхав, что я пишу книгу о дне, когда сбросили бомбу, он рассказал мне, как он провел этот день, как он его провел именно в этом самом баре, где мы сидели Говорил он с растяжкой, как клоун Филдс, а нос у него был похож на отборную клубничину.

— Тогда бар назывался не «Мыс Код», — сказал он, — не было этих сетей и ракушек, всей этой холеры Назывался он «Вигвам Навахо». На всех стенах индейские одеяла понавешены, коровьи черепа А на столиках — тамтамы, махонькие такие — Хочешь позвать официанта — бей в этот тамтамик. Уговаривали меня надеть перья на голову, только я отказался. Раз пришел сюда один настоящий индеец из племени навахо Говорит племя навахо в вигвамах не живет. «Вот холера, — говорю, — как нехорошо вышло» А еще раньше этот бар назывался «Помпея», всюду обломков полно, мраморных всяких Да только, как его ни зови, электропроводку, холеру, так и не сменили. И народ, холера, такой же остался, и

город, холера, все тот же А в тот день, как сбросили на японцев эту холеру, бомбу эту, зашел сюда один шкет, стал клянчить — дай ему выпить.

Хотел чтоб я ему намешал коктейль «Предел наслаждения». Выдолбил я ананас, налил туда полпинты мятного ликера, наложил взбитых сливок, а сверху вишню. «Пей, — говорю, — сукин ты сын, чтоб не жаловался, будто я для тебя ничего не сделал». А потом пришел второй, говорит ухожу из лаборатории, и еще говорит: над чем бы ученые ни работали, у них все равно получается оружие. Не желаю, говорит, больше помогать политиканам разводить эту холеру войну.

Фамилия ему была Брид. Спрашиваю: не родственник ли он босса той растреклятой лаборатории? А как же, говорит. Я, говорит, сын этого самого босса, холера его задави.

13. ТРАМПЛИН

О господи, до чего безобразный город этот Илиум!

«О господи! — говорит Боконон. — До чего безобразный город, любой город на свете!»

Копоть оседала на все сквозь недвижную пелену тумана. Было раннее утро. Я ехал в «линкольне» с доктором Эйзой Бридом. Меня слегка мутило, я еще не совсем проспался после вчерашнего пьянства. Доктор Брид вел машину. Рельсы давно заброшенной узкоколейки то и дело цеплялись за колеса машины.

Доктор Брид, розовощекий старик, был прекрасно одет и, по-видимому, очень богат. Держался он интеллигентно, оптимистично, деловито и невозмутимо. Я же, напротив, чувствовал себя колючим, больным циником. Ночь я провел у Сандры.

Душа моя смердела, как дым от паленой кошачьей шерсти.

Про всех я думал самое скверное, а про доктора Брида я узнал от Сандры довольно мрачную историю.

Сандра рассказала мне, будто весь Илиум был

уверен, что доктор Брид был влюблен в жену Феликса Хониккера. Она сказала, что многие считали, будто Брид был отцом всех троих детей Хоннккера.

— Вы бывали когда-нибудь в Илиуме? спросил меня доктор Брид.

— Нет, я тут впервые.

— Город тихий, семейный.

— Как?

— Тут почти никакой ночной жизни нет. У каждого жизнь ограничена семейным кругом, своим домом.

— По-видимому, обстановка тут здоровая.

— Конечно. У нас и юношеской преступности очень мало.

— Прекрасно.

— У города Илиума интереснейшая история.

— Вот как? Интересно.

— Он был, так сказать, трамплином.

— Как?

— Для эмигрантов, уходящих на запад.

— А-а-а…

— Тут их снаряжали в дорогу. Примерно там, где сейчас научно-исследовательская лаборатория, находилась старая эстакада.

Кстати, там и преступников со всего штата

вешали публично.

— Наверное, и тогда преступления к добру не вели, как и сейчас.

— Тут повесили одного малого в 1782 году, он убил двадцать шесть человек. Я часто думал — надо бы кому-нибудь написать про него книжку Его звали Джордж Майнор Мокли. Он пел песню на эшафоте. Сам сочинил песню на такой случай.

— О чем же он пел?

— Можете найти текст в Историческом обществе, если вам действительно интересно.

— Нет, я вообще спросил: о чем там говорилось?

— Что он ни в чем не раскаивается.

— Да, есть такие люди.

— Только подумать, — сказал доктор Брид, — что у него на совести было целых двадцать шесть человек!

— Уму непостижимо! — сказал я.

14. КОГДА В АВТОМОБИЛЯХ ВИСЕЛИ ХРУСТАЛЬНЫЕ ВАЗОЧКИ

Голова у меня болела, шея затекла, а тут меня еще тряхнуло.

Блестящий «линкольн» доктора Брида опять зацепился за рельс.

Я спросил доктора Брида, сколько человек пытается добраться к восьми утра на работу во Всеобщую сталелитейную компанию, и он сказал: тридцать тысяч.

Полицейские в желтых дождевиках стояли на каждом перекрестке, и каждый жест их рук в белых перчатках противоречил вспышкам светофора.

А светофоры пестрыми призраками вспыхивали сквозь туман в непрестанной шутовской игре, направляя лавину автомобилей.

Зеленый — ехать, красный — стоять, оранжевый — осторожно, смена.

Доктор Брид рассказал мне, что, когда доктор Хониккер был еще совсем молодым человеком, он однажды утром просто — напросто бросил свою машину в потоке илиумских машин.

— Полиция стала искать, что задерживает движение, — сказал доктор Брид, — и в самой гуще обнаружила машину Феликса, мотор жужжал, в пепельнице догорала сигара, в вазочках стояли свежие цветы.

— В каких вазочках?

— У него был небольшой «мормон», величиной с коляску, и на дверцах внутри были приделаны хрустальные вазочки, куда жена Феликса каждое утро ставила свежие цветы. Вот эта машина и стояла посреди потока машин.

— Как шхуна «Мари-Селеста», — подсказал я.

— Полицейские вывели машину. Они знали, чья она, позвонили Феликсу и очень вежливо объяснили, откуда он может ее забрать. А Феликс сказал, что они могут оставить машину себе, она ему больше не нужна.

— И они ее забрали?

— Нет. Они позвонили его жене, она пришла и увела машину.

— Кстати, как ее звали?

— Эмили. — Доктор Брид провел языком по губам, и взгляд его помутнел, и он снова повторил имя женщины, которой давно не было на свете:

— Эмили.

— Как вы думаете, никто не будет возражать,

если я использую эту историю в своей книге?

— Нет, если только вы не станете писать, чем это кончилось.

— Чем кончилось?

— Эмили не привыкла водить машину. По дороге домой она попала в катастрофу. Ей повредило тазовые кости… — Движение остановилось, доктор Брид закрыл глаза и крепче вцепился в руль. — Вот почему она умерла, когда родился маленький Ньют.

15. СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!

Научно-исследовательская лаборатория Всеобщей сталелитейной компании находилась далеко от главного входа на илиумские заводы компании, примерно в квартале от площадки для служебных машин, где доктор Брид поставил свой «линкольн».

Я спросил доктора Брида, сколько человек занято в научно-исследовательских лабораториях.

— Семьсот человек, — сказал он, — но лишь около ста из них действительно заняты научными исследованиями. Остальные шестьсот так или иначе занимаются хозяйством, а главная экономка — это я.

Когда мы влились в поток пешеходов на заводской улице, женский голос сзади нас пожелал доктору Бриду счастливого рождества. Доктор Брид обернулся, благосклонно вглядываясь в море бледных, как недопеченные оладьи, лиц, и обнаружил, что приветствовала его некая мисс Франсина Пефко. Мисс Пефко была недурненькая здоровая барышня лет двадцати, заурядная и скучная.

Проникаясь, как и полагается на рождество,

чувством благоволения, доктор Брид пригласил мисс Пефко следовать за нами. Он представил ее мне как секретаря доктора Нильсака Хорвата. Он объяснил мне, кто такой доктор Хорват: «Знаменитый химик, специалист по поверхностному натяжению, — сказал он, — тот, что делает такие чудеса с пленкой».

— Что нового в химии поверхностного натяжения? — спросил я у мисс Пефко.

— А черт его знает! — сказала она. — Лучше не спрашивайте. Я просто пишу на машинке то, что он мне диктует. — И она тут же извинилась, что сказала «черт».

— По-моему, вы понимаете больше, чем вам кажется, — сказал доктор Брид.

— Я? Вот уж нет! — Мисс Пефко, видно, не привыкла запросто болтать с такими важными людьми, как доктор Брид, и чувствовала себя очень неловко. Походка у нее стала манерной и напряженной, как у курицы. Лицо остекленело в улыбке, и она явно ворошила свои мозги, ища, что бы такое сказать, но там ничего, кроме бумажных салфеточек и поддельных побрякушек, не находилось.

— Ну-с, — благожелательно пробасил доктор Брид. — Как вам у нас нравится, ведь вы тут уже

давно? Почти год, да?

— Все вы, ученые, чересчур много думаете! — выпалила мисс Пефко. Она залилась идиотским смехом. От приветливости доктора Брида у нее в мозгу перегорели все пробки. Она уже ни за что не отвечала. — Да, все вы думаете слишком много!

Толстая унылая женщина в грязном комбинезоне, задыхаясь, семенила рядом с нами, слушая, что говорит мисс Пефко. Она обернулась к доктору Бриду, глядя на него с беспомощным упреком.

Она тоже ненавидела людей, которым слишком много думают. В эту минуту она показалась мне достойной представительницей всего рода человеческого.

По выражению лица толстой женщины я понял, — что она тут же, на месте, сойдет с ума, если хоть кто-нибудь еще будет что-то выдумывать.

— Вы должны понять, — сказал доктор Брид, — что у всех людей процесс мышления одинаков. Только ученые думают обо всем по одному, а другие люди — по-другому.

— Ох-хх... — равнодушно вздохнула мисс Пефко. — Пишу под диктовку доктора Хорвата — и как будто все по-иностранному.

Наверно, я ничего не поняла бы, даже если б кончила университет.

А он, может быть, говорит о чем-то таком, что перевернет весь мир кверху ногами, как атомная бомба.

— Бывало, приду домой из школы, — продолжала мисс Пефко, — мама спрашивает, что случилось за день, я ей рассказываю. А теперь прихожу домой с работы, она спрашивает, а я ей одно твержу. — Тут мисс Пефко покачала головой и распустила накрашенные губы. — Не знаю, не знаю, не знаю…

— Но если вы чего-то не понимаете, — настойчиво сказал доктор Брид, — попросите доктора Хорвата объяснить вам. Доктор Хорват прекрасно умеет объяснять. — Он обернулся ко мне:

— Доктор Хониккер любил говорить, что, если ученый не умеет популярно объяснить восьмилетнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан.

— Выходит, я глупей восьмилетнего ребенка, — уныло сказала мисс Пефко. — Я даже не знаю, что такое шарлатан.

16. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСКИЙ САД

Мы поднялись по четырем гранитным ступеням в научно-исследовательскую лабораторию. Лаборатория находилась в шестнадцатиэтажном здании. Само здание было выстроено из красного кирпича. У входа мы миновали двух стражей, вооруженных до зубов.

Мисс Пефко предъявила левому стражу розовый значок секретного допуска, приколотый на ее левой груди.

Доктор Брид предъявил правому стражу черный значок «совершенно секретно» на мягком лацкане пиджака. Он церемонно обхватил меня рукой за плечи, почти не прикасаясь к ним, давая стражам понять, что я нахожусь под его августейшим покровительством и наблюдением.

Я улыбнулся одному из стражей. Он не ответил. Ничего смешного в охране государственной тайны не было, совершенно ничего смешного.

Доктор Брид, мисс Пефко и я осторожно проследовали через огромный вестибюль лаборатории к лифтам.

— Попросите доктора Хорвата как-нибудь объяснить вам хоть основы, — сказал доктор Брид

мисс Пефко. — Вот увидите, он хорошо и ясно на все вам ответит.

— Ему придется начинать с первого класса, а может быть, и с детского сада, — сказала мисс Пефко. — Я столько пропустила.

— Все мы много пропустили, — сказал доктор Брид. — Всем нам не мешало бы начать все сначала — предпочтительно с детского сада.

Мы смотрели, как дежурная по лаборатории включила множество наглядных пособий, уставленных по стенам лабораторного вестибюля. Дежурная была худая и высокая, с бледным ледяным лицом. От ее точных прикосновений вспыхивали лампочки, крутились колеса, бурлила жидкость в колбах, звякали звонки.

— Волшебство, — сказала мисс Пефко.

— Мне жаль, что член нашей лабораторной семьи употребляет это заплесневелое средневековое слово, — сказал доктор Брид. — Каждое из этих пособий понятно само по себе. Они и задуманы так, чтобы в них не было никакой мистификации. Они — прямая антитеза волшебству.

— Прямая что?

— Прямая противоположность.

— Только не для меня.

Доктор Брид слегка надулся.

— Что ж, — сказал он, — во всяком случае, мы никого мистифицировать не хотим. Признайте за нами хотя бы эту заслугу.

17. ДЕВИЧЬЕ БЮРО

Секретарша доктора Брида стояла у него в приемной, на своем бюро, подвешивая к люстре елочный бумажный фонарик гармошкой.

— Послушайте, Ноэми, — воскликнул доктор Брид, — у нас полгода не было ни одного несчастного случая. Нечего вам портить статистику и падать с бюро.

Мисс Ноэми Фауст была сухонькая веселенькая старушка. По-моему, она прослужила у доктора Брида почти всю его, да и всю свою жизнь.

Она засмеялась:

— Я небьющаяся. А если бы я даже упала, рождественские ангелы подхватили бы меня.

— И у них промашки бывали.

С фонарика свисали две бумажные ленты, тоже сложенные гармошкой. Мисс Фауст подергала одну ленту. Она натянулась, разворачиваясь, и превратилась в длинную полосу с надписью.

— Держите, — сказала мисс Фауст, подавая конец ленты доктору Бриду. — Тяните до конца и прикнопьте ее к доске объявлений.

Доктор Брид послушно все выполнил и отступил, чтобы прочесть лозунг на ленте.

— «Мир на Земле!» — радостно прочел он вслух. Мисс Фауст спустилась с бюро с другой лентой и развернула ее:

— «И в человецех благоволение!»

— Черт возьми! — засмеялся доктор Брид. — Они и рождество засушили. Но вид у комнаты праздничный, очень праздничный.

— И я не забыла про плитки шоколада для девичьего бюро! — сказала мисс Фауст. — Вы мной гордитесь?

Доктор Брид постучал себя по лбу, огорченный своей забывчивостью:

— Ну слава богу! Совершенно вылетело из головы!

— Никак нельзя забывать, — сказала мисс Фауст. Это стало традицией: доктор Брид каждое рождество дарит девушкам из бюро по плитке шоколада. — И она объяснила мне, что «девичьим бюро» у них называется машинное бюро в подвальном помещении лаборатории.

— Девушки работают на расшифровке диктофонных записей.

Весь год, объяснила она, девушки из машинного бюро слушают безликие голоса ученых, записанные на диктофонной пленке, пленки приносят курьерши. Только раз в году девушки покидают

свой железобетонный монастырь и веселятся, а доктор Брид раздает им плитки шоколада.

— Они тоже служат науке, — подтвердил доктор Брид, — хотя, наверно, ни слова из записей не понимают. Благослови их бог всех, всех…

18. САМОЕ ЦЕННОЕ НА СВЕТЕ

Когда мы вошли в кабинет доктора Брида, я попытался привести в порядок свои мысли, чтобы взять толковое интервью. Но я обнаружил, что мое умственное состояние ничуть не улучшилось. А когда я стал задавать доктору Бриду вопрос о дне, когда сбросили бомбу я также обнаружил, что мои мозговые центры, ведающие контактами с внешней средой, затуманены алкоголем еще с той ночи, проведенной в баре. Какой бы вопрос я ни задавал, всегда выходило, что я считаю создателей атомной бомбы уголовными преступниками, соучастниками в подлейшем убийстве.

Сначала доктор Брид удивлялся, потом очень обиделся. Он отодвинулся от меня и ворчливо буркнул:

— По-моему, вы не очень-то жалуете ученых — Я бы не сказал этого, сэр.

— Вы так ставите вопросы, словно хотите вынудить у меня признание, что все ученые — бессердечные, бессовестные, узколобые тупицы, равнодушные ко всему остальному человечеству, а может быть, и вообще какие-то нелюди.

— Пожалуй, это слишком резко — По всей вероятности, ничуть не резче вашей будущей книжки Я считал, что вы задумали честно и объективно написать биографию доктора Феликса Хоникера, что для молодого писателя в наше время, в наш век, задача чрезвычайно значительная. Оказывается, ничего похожего, и вы сюда явились с предубеждением, представляя себе ученых какими-то психопатами, Откуда вы это взяли? Из комиксов, что ли?

— Ну, хотя бы от сына доктора Хониккера — От которого из сыновей?

— От Ньютона, — сказал я. У меня с собой было письмо малютки Ньюта, и я показал это письмо доктору Бриду — Кстати, он и вправду такой маленький?

— Не выше подставки для зонтов, — сказал доктор Брид, читая письмо и хмурясь.

— А двое других детей нормальные?

— Конечно! К сожалению, должен вас разочаровать, но ученые производят на свет таких же детей, как и все люди.

Я приложил все усилия, чтобы успокоить доктора Брида, убедить его, что я и в самом деле стремлюсь создать для себя правдивый образ доктора Хониккера:

— Цель моего приезда — как можно точнее записать все, что вы мне расскажете о докторе Хониккере. Письмо Ньютона — только начало поисков, я непременно сверю его с тем, что вы мне сообщите.

— Мне надоели люди, не понимающие, что такое ученый, что именно делает ученый.

— Постараюсь изжить это непонимание.

— Большинство людей у нас в стране даже не представляют себе, что такое чисто научные исследования.

— Буду очень благодарен, если вы мне это объясните.

— Это не значит искать усовершенствованный фильтр для сигарет, или более мягкие бумажные салфетки, или более устойчивые краски для зданий — нет, упаси бог! Все у нас говорят о научных исследованиях, а фактически никто ими не занимается.

Мы одна из немногих компаний, которая действительно приглашает людей для чисто исследовательской работы. Когда другие компании хвастают, что у них ведется научная работа, они имеют в виду коммерческих техников — лаборантов в белых халатах, которые работают но всяким поваренным книжкам и выдумывают

новый образец «дворника» для новейшей модели «олдсмобиля»

— А у вас?

— А у нас, и еще в очень немногих местах, людям платят за то, что они расширяют познание мира и работают только для этой цели.

— Это большая щедрость со стороны вашей компании — Никакой щедрости тут нет. Новые знания — самое ценное на свете. Чем больше истин мы открываем, тем богаче мы становимся.

Будь я уже тогда последователем Боконона, я бы от этих слов просто взвыл

19. КОНЕЦ ГРЯЗИ

— Вы хотите сказать, что в вашей лаборатории никому не указывают, над чем работать? — спросил я доктора Брида — Никто даже не предлагает им работать над чем-то?

— Конечно, предложения поступают все время, но не в природе настоящего ученого обращать внимание на любые предложения. У него голова набита собственными проектами, а нам только это и нужно.

— А кто-нибудь когда-нибудь предлагал доктору Хониккеру какие-то свои проекты?

— Конечно Особенно адмиралы и генералы. Они считали его каким-то волшебником который одним мановением палочки может сделать Америку непобедимой. Они приносили сюда всякие сумасшедшие проекты, да и сейчас приносят. Единственный недостаток этих проектов в том, что на уровне наших теперешних знаний они не срабатывают. Предполагается, что ученые калибра доктора Хониккера могут восполнить этот пробел. Помню, как незадолго до смерти Феликса его изводил один генерал морской пехоты, требуя, чтобы тот сделал что-нибудь с грязью.

— С грязью?!

— Чуть ли не двести лет морская пехота шлепала по грязи, и им это надоело, — сказал доктор Брид. — Генерал этот, как их представитель, считал, что одним из достижений прогресса должно быть избавление морской пехоты от грязи.

— Как же это он себе представлял?

— Чтобы грязи не было. Конец всякой грязи.

— Очевидно, — сказав я, пробуя теоретизировать. — это можно сделать при помощи огромных количеств каких-нибудь химикалий или тяжелых машин…

— Нет, генерал именно говорил о какой-нибудь пилюльке или крошечном приборчике. Дело в том, что морской пехоте не только осточертела грязь, но им надоело таскать на себе тяжелую выкладку. Им хотелось носить что-нибудь легонькое.

— Что же на это сказал доктор Хониккер?

— Как всегда, полушутя, а Феликс все говорил полушутя, он сказал, что можно было бы найти крохотное зернышко — даже микроскопическую кроху, — от которой бесконечные болота, трясины, лужи, хляби и зыби затвердевали бы, как этот стол.

Доктор Брид стукнул своим веснушчатым

старческим кулаком по письменному столу. Письменный стол у него был полуовальный, стальной, цвета морской волны:

— Один моряк мог бы нести на себе достаточное количество вещества, чтобы высвободить застрявший в болотах бронетанковый дивизион. По словам Феликса, все вещество, (потребное для этого, могло бы уместиться у одного моряка под ногтем мизинца.

— Но это невозможно.

— Это вы так думаете. И я бы так сказал, и любой другой тоже.

А для Феликса, с его полушутливым подходом ко всему, это казалось вполне возможным. Чудом в Феликсе было то, что он всегда — и я искренне надеюсь, что вы об этом упомянете в своей книге, — он всегда подходил к старым загадкам, как будто они совершенно новые.

— Сейчас я чувствую себя Франсиной Пефко, — сказал я, — или сразу всеми барышнями из девичьего бюро. Даже доктор Хониккер не сумел бы объяснить мне, каким образом что-то умещающееся под ногтем мизинца может превратить болото в твердое, как ваш стол, вещество.

— Но я вам говорил, как прекрасно Феликс все умел объяснять.

— И все-таки…

— Он мне все сумел объяснить, — сказал доктор Брид. — И я уверен, что смогу объяснить и вам. В чем задача? В том, чтобы вытащить морскую пехоту из болот, так?

— Так.

— Отлично, — сказал доктор Брид, — слушайте же внимательно.

Начнем.

20. ЛЕД-ДЕВЯТЬ

— Различные жидкости, — начал доктор Брид, — кристаллизуются, то есть замораживаются, различными путями, то есть их атомы различным путем смыкаются и застывают в определенном порядке.

Старый доктор, жестикулируя веснушчатыми кулаками, попросил меня представить себе, как можно по-разному сложить пирамидку пушечных ядер на лужайке перед зданием суда, как по-разному укладывают в ящики апельсины.

— Вот так и с атомами в кристаллах, и два разных кристалла того же вещества могут обладать совершенно различными физическими свойствами.

Он рассказал мне, как на одном заводе вырабатывали крупные кристаллы оксалата этиленовой кислоты.

— Эти кристаллы, — сказал он, — применялись в каком-то техническом процессе. Но однажды на заводе обнаружили, что кристаллы, выработанные этим путем, потеряли свои прежние свойства, необходимые на производстве. Атомы складывались и сцеплялись, то есть замерзали,

по-иному. Жидкость, которая кристаллизовалась, не изменялась, но сами кристаллы для использования в промышленности уже не годились.

Как это вышло, осталось тайной. Теоретически «злодеем» была частица, которую доктор Брид назвал зародыш. Он подразумевал крошечную частицу, определившую нежелательное смыкание атомов в кристалле. Этот зародыш, взявшийся неизвестно откуда, научил атомы новому способу соединения в спайки, то есть новому способу кристаллизации, замораживания.

— Теперь представьте себе опять пирамидку пушечных ядер или апельсины в ящике, — сказал доктор Брид. И он мне объяснил, как строение нижнего слоя пушечных ядер или апельсинов определяет сцепление и спайку всех последующих слоев. Этот нижний слой и есть зародыш того, как будет себя вести каждое следующее пушечное ядро, каждый следующий апельсин, и так до бесконечного количества ядер или апельсинов.

— Теперь представьте себе, — с явным удовольствием продолжал доктор Брид, — что существует множество способов кристаллизации, замораживания воды. Предположим, что тот лед, на котором катаются конькобежцы и

который кладут в коктейли — мы можем назвать его «лед-один», — представляет собой только один из вариантов льда. Предположим, что вода на земном шаре всегда превращалась в лед-один, потому что ее не коснулся зародыш, который бы направил ее, научил превращаться в лед-два, лед-три, лед-четыре… И предположим, — тут его старческий кулак снова стукнул по столу, — что существует такая форма — назовем ее лед-девять-кристалл, твердый, как этот стол, с точкой плавления или таяния, скажем, сто градусов по Фаренгейту, нет, лучше сто тридцать градусов.

— Ну, хорошо, это я еще понимаю, — сказал я.

И тут доктора Брида прервал шепот из приемной, громкий, внушительный шепот. В приемной собралось девичье бюро.

Девушки собирались петь.

И они запели, как только мы с доктором Бридом показались в дверях кабинета. Все девушки нарядились церковными хористками: они сделали себе воротники из белой бумаги, приколов их скрепками. Пели они прекрасно.

Я чувствовал растерянность и сентиментальную грусть. Меня всегда трогает это редкостное сокровище — нежность и теплота девичьих голосов.

Девушки пели: «О светлый город Вифлеем». Мне никогда не забыть, как выразительно они пропели: «Страх и надежда прошлых лет вернулись к нам опять».

21. МОРСКАЯ ПЕХОТА НАСТУПАЕТ

Когда доктор Брид с помощью мисс Фауст раздал девушкам шоколадки, мы с ним вернулись в кабинет.

Там он продолжал рассказ.

— Где мы остановились? А-а, да! — И старик попросил меня представить себе отряд морской пехоты США в забытой богом трясине. — Их машины, их танки и гаубицы барахтаются в болоте, — жалобно сказал он, — утопая в вонючей жиже, полной миазмов.

Он поднял палец и подмигнул мне:

— Но представьте себе, молодой человек, что у одного из моряков есть крошечная капсула, а в ней — зародыш льда-девять, в котором заключен новый способ перегруппировки атомов, их сцепления, соединения, замерзания. И если этот моряк швырнет этот зародыш в ближайшую лужу?..

— Она замерзнет? — угадал я.

— А вся трясина вокруг лужи?

— Тоже замерзнет.

— А другие лужи в этом болоте?

— Тоже замерзнут.

— А вода и ручьи в замерзшем болоте?

— Вот именно — замерзнут! — воскликнул он. — И морская пехота США выберется из трясины и пойдет в наступление!

11. МОЛОДЧИК ИЗ ЖЕЛТОЙ ПРЕССЫ

— А есть такое вещество? — спросил я.

— Да нет же, нет, нет, нет. — Доктор Брид опять потерял всякое терпение. — Я рассказал вам все это только потому, чтобы вы представили себе, как Феликс совершенно по-новому подходил даже к самым старым проблемам. Я вам рассказал только то, что Феликс рассказал генералу морской пехоты, который пристал к нему насчет болот.

Обычно Феликс обедал в одиночестве в кафетерии. По неписаному закону никто не должен был садиться к его столику, чтобы не прерывать ход его мыслей. Но этот генерал ворвался, пододвинул себе стул и стал говорить про болота. И я вам только передал, что Феликс тут же, с ходу, ответил ему.

— Так, значит... значит, этого вещества на самом деле нет?

— Я же вам только что сказал — нет и нет! — вспылил доктор Брид. — Феликс вскоре умер. И если бы вы слушали внимательно то, что я пытался объяснить вам про наших ученых, вы бы не задавали таких вопросов! Люди чистой науки

работают над тем, что увлекает их, а не над тем, что увлекает других людей.

— А я все думаю про то болото…

— А вы бросьте думать об этом! Я только взял болото как пример, чтобы вам объяснить все, что надо.

— Если ручьи, протекающие через болото, превратятся в лед-девять, что же будет с реками и озерами, которые питаются этими ручьями?

— Они замерзнут. Но никакого льда-девять нет!

— А океаны, в которые впадают замерзшие реки?

— Ну и они, конечно, замерзнут! — рявкнул он. — Уж не разлетелись ли вы продать прессе сенсационное сообщение про лед-девять? Опять повторяю — его не существует.

— А ключи, которые питают замерзшие реки и озера, а все подземные источники, питающие эти ключи…

— Замерзнут, черт побери! — крикнул он. — Ну, если бы я только знал, что имею дело с молодчиком из желтой прессы, — сказал он, величественно подымаясь со стула, — я бы не потратил на вас ни минуты.

— А дождь?

— Коснулся бы земли и превратился в твердые катышки, в лед-девять, и настал бы конец света. А сейчас настал конец и нашей беседе! Прощайте!

23. ПОСЛЕДНЯЯ ПОРЦИЯ ПИРОЖКОВ

Но по. крайней мере в одном доктор Брид ошибался: лед-девять существовал.

И лед-девять существовал на нашей Земле.

Лед-девять был последнее, что подарил людям Феликс Хониккер, перед тем как ему было воздано по заслугам.

Ни один человек не знал, что он делает. Никаких следов он не оставил.

Правда, для создания этого вещества потребовалась сложная аппаратура, по она уже существовала в научно-исследовательской лаборатории. Доктору Хониккеру надо было только обращаться к соседям, одалживать у них то один, то другой прибор, надоедая им по-добрососедски, пока он, так сказать, не испек последнюю порцию пирожков.

Он сделал сосульку льда-девять! Голубовато-белого цвета. С температурой таяния сто четырнадцать и четыре десятых по Фаренгейту.

Феликс Хониккер положил сосульку в маленькую бутылочку и сунул бутылочку в карман. И уехал к себе на дачу, на мыс Код, с тремя детьми, собираясь встретить там рождество.

Анджеле было тридцать четыре, Фрэнку — двадцать четыре, крошке Ньюту — восемнадцать лет.

Старик умер в сочельник, успев рассказать своим детям про лед-девять.

Его дети разделили кусочек льда-девять между собой.

24. ЧТО ТАКОЕ ВАМПИТЕР

Тут мне придется объяснить, что Боконон называет вампитером.

Вампитер есть ось всякого карасса. Нет карасса без вампитера, учит вас Боконон, так же как нет колеса без оси.

Вампитером может служить что угодно — дерево, камень, животное, идея, книга, мелодия, святой Грааль. Но что бы ни служило этим вампитером, члены одного карасса вращаются вокруг него в величественном хаосе спирального облака.

Разумеется, орбита каждого члена карасса вокруг их общего вампитера — чисто духовная орбита. Не тела их, а души описывают круги. Как учит нас петь Боконон:

Кружимся, кружимся – и все на месте:
Ноги из олова, крылья из жести.

Но вампитеры уходят, и вампитеры приходят, учит нас Боконон.

В каждую данную минуту у каждого карасса фактически есть два вампитера: один приобретает все большее значение, другой постепенно

его теряет.

И я почти уверен, что, пока я разговаривал с доктором Бридом в Илиуме, вампитером моего карасса, набиравшим силу, была эта кристаллическая форма воды, эта голубовато-белая драгоценность, этот роковой зародыш гибели, называемый лед-девять.

В то время как я разговаривал с доктором Бридом в Илиуме, Анджела, Фрэнклин и Ньютон Хониккеры уже владели зародышами льда-девять, зародышами, зачатыми их отцом, так сказать, осколками мощной глыбы.

И я твердо уверен, что дальнейшая судьба этих трех осколков льда-девять была основной заботой моего карасса,

25. САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ ДОКТОРА ХОНИККЕРА

Вот все, что я могу пока сказать о вампитере моего карасса.

После неприятного интервью с доктором Бридом в научно-исследовательской лаборатории Всеобщей сталелитейной компании я попал в руки мисс Фауст. Ей было приказано вывести меня вон.

Однако я уговорил ее сначала показать мне лабораторию покойного доктора Хониккера.

По пути я спросил ее. хорошо ли она знала доктора Хониккера.

Лукаво улыбнувшись, она ответила мне откровенно и очень неожиданно:

— Не думаю, что его можно было легко узнать. Понимаете, когда люди говорят, что знают кого-то хорошо или знают мало, они обычно имеют в виду всякие тайны, которые им либо поверяли, либо нет. Они подразумевают всякие подробности семейной жизни, интимные дела, любовные истории, — сказала эта милая старушка. — И в жизни доктора Хониккера было все, что бывает у

каждого человека, но для него это было не самое главное.

— А что же было самое главное? — спросил я — Доктор Брид постоянно твердит мне, что главным для доктора Хониккера была истина.

— Но вы как будто не согласны с ним?

— Не знаю — согласна или не согласна. Но мне просто трудно понять, как истина сама по себе может заполнить жизнь человека.

Мисс Фауст вполне созрела, чтобы понять учение Боконона.

26. ЧТО ЕСТЬ БОГ!

-Вам когда-нибудь приходилось разговаривать с доктором Хониккером? — спросил я мисс Фауст.

— Ну конечно! Я часто с ним говорила.

— А вам особо запомнился какой-нибудь разговор?

— Да, однажды он сказал: он ручается головой, что я не смогу сказать ему какую-нибудь абсолютную истину. А я ему говорю: «Бог есть любовь».

— А он что?

— Он сказал: «Что такое бог? Что такое любовь?»

— Гм…

— Но знаете, ведь бог действительно и есть любовь, — сказала мисс Фауст, — что бы там ни говорил доктор Хониккер.

27. ЛЮДИ С МАРСА

Комната, служившая лабораторией доктору Хониккеру помещалась на шестом самом верхнем, этаже здания.

Поперек двери был протянут алый шнур, на стене медная дощечка с надписью, объяснявшей, почему эта комната считается святилищем:

В ЭТОЙ КОМНАТЕ ДОКТОР ФЕЛИКС ХОНИККЕР, ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ, ПРОВЕЛ ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ ЖИЗНИ.

ТАМ, ГДЕ БЫЛ ОН, ПРОХОДИЛ ПЕРЕДНИЙ КРАЙ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ.

ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПОКА ЕЩЕ ОЦЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО

Мисс Фауст предложила отстегнуть алый шнур, чтобы я мог войти в помещение и ближе соприкоснуться с обитавшими там призраками, если они еще остались.

Я согласился.

— Тут все как при нем, — сказала она, — только на одном из столов валялись резиновые ленты.

— Резиновые ленты?

— Не спрашивайте зачем И вообще не спрашивайте, зачем все это нужно.

Старик оставил в лаборатории страшнейший беспорядок. Но мое внимание первым делом привлекло множество дешевых игрушек, разбросанных на полу. Бумажный змей со сломанным хребтом.

Игрушечный гироскоп, закрученный веревкой и готовый завертеться.

И волчок. И трубка для пускания мыльных пузырей. И аквариум с каменным гротом и двумя черепахами.

— Он любил дешевые игрушечные лавки, — сказала мисс Фауст.

— Оно и видно.

— Несколько самых знаменитых своих опытов он проделал с оборудованием, стоившим меньше доллара.

— Грош сбережешь — заработаешь грош.

Было тут и немало обычного лабораторного оборудования, но оно казалось скучным рядом с дешевыми яркими игрушками.

На бюро доктора Хониккера лежала груда нераспечатанной корреспонденции.

— По-моему, он никогда не отвечал на пись-

ма, — проговорила мисс Фауст. — Если человек хотел получить от него ответ, ему приходилось звонить по телефону или приходить сюда.

На бюро стояла фотография в рамке. Она была повернута ко мне обратной стороной, и я старался угадать, чей это портрет.

— Жена?

— Нет.

— Кто-нибудь из детей?

— Нет.

— Он сам?

— Нет.

Пришлось взглянуть. Я увидел, что это была фотография скромного памятника военных лет перед зданием суда в каком-то городишке. На мемориальной доске были перечислены имена жителей поселка, погибших на разных войнах, и я решил, что фото сделано ради этого. Имена можно было прочесть, и я уже решил было, что найду там фамилию Хониккер. Но ее там не было.

— Это одно из его увлечений, — сказала мисс Фауст.

— Что именно?

— Фотографировать, как сложены пушечные ядра на разных городских площадях. Очевидно, на этой фотографии они сложены как-то необыч-

но.

— Понимаю.

— Человек он был необычный.

— Согласен.

— Может быть, через миллион лет все будут такие умные, как он, все поймут, что он понимал. От среднего современного человека он отличался, как отличается житель Марса.

— А может быть, он и вправду был марсианин, — предположил я.

— Если так, то понятно, почему у него все трое детей такие странные.

28. МАЙОНЕЗ

Пока мы с мисс Фауст ждали лифта, чтобы спуститься на первый этаж, она сказала, что лишь бы не пришел пятый номер.

Не успел я ее спросить почему, как прибыл именно пятый номер.

Лифтером на нем служил престарелый, маленький негр по имени Лаймен Эндлесс Ноулз. Ноулз был сумасшедший — это сразу бросалось в глаза, потому что, стоило ему удачно сострить, он хлопал себя по заду и кричал: «Да-с! Да-с!»

— Здорово, братья антропоиды, лилейный носик и нос рулем! — приветствовал он мисс Фауст и меня. — Да-с! Да-с!

— Первый этаж, пожалуйста! — холодно бросила мисс Фауст.

Ноулзу надо было только закрыть двери и нажать кнопку, но именно это он пока что делать не собирался. А может быть, и вообще не собирался.

— Один человек мне говорил, — сказал старик, — что здешние лифты — это архитектура племени майя. А я до сих пор и не знал.

Я ему и говорю: кто же я тогда? Майонез? Да-с! Да-с! И пока он думал, что ответить, я его как

стукну еще одним вопросом, а он как подскочит, башка у него как начнет работать! Да-с! Да-с!

— Нельзя ли нам спуститься, мистер Ноулз? — попросила мисс Фауст.

— Я его спрашиваю, — продолжал Ноулз, — тут у нас исследовательская лаборатория? Исследовать — значит идти по следу, верно? Значит, они нашли какой-то след, а потом его потеряли, вот им и надо исследовать. Чего же они для такого дела выстроили целый домище с майонезовыми лифтами и набили его всякими психами? Чего они ищут? Какой след исследуют? Кто тут чего потерял? Да-с! Да-с!

— Очень интересно! — вздохнула мисс Фауст. — А теперь можно нам спуститься?

— А мы только спускаться и можем! — крикнул мистер Ноулз. — Тут верх, поняли? Попросите меня подняться, а я скажу — нет, даже для вас — не могу! Да-с! Да-с!

— Так давайте спустимся вниз! — сказала мисс Фауст.

— Погодите, сейчас. Этот джентльмен посетил бывшую лабораторию доктора Хониккера?

— Да, — сказал я. — Вы его знали?

— Ближе меня, — сказал он. — И знаете, что я сказал, когда он умер?

— Нет.

— Я сказал: «Доктор Хоникер не умер»

— Ну?

— Он перешел в другое измерение. Да-с! Да-с!

Ноулз нажал кнопку, и мы поехали вниз.

— А детей Хоникера вы знали?

— Ребята — бешеные щенята! — сказал он. — Да-с! Да-с!

29. УШЛИ, НО НЕ ЗАБЫТЫ

Еще одно мне непременно хотелось сделать в Илиуме. Я хотел сфотографировать могилу старика. Я зашел к себе в номер, увидал, что Сандра ушла, взял фотоаппарат и вызвал такси.

Сыпала снежная крупа, серая, въедливая. Я подумал, что могилка старика, засыпанная снежной крупой, хорошо выйдет на фотографии и, пожалуй, даже пригодится для обложки моей книги День, когда наступил конец света.

Смотритель кладбища объяснил мне, как найти могилы семьи Хониккеров.

— Сразу увидите, — сказал он, — на них самый высокий памятник на всем кладбище.

Он не соврал. Памятник представлял собой что-то вроде мраморного фаллоса, двадцати футов вышиной и трех футов в диаметре. Он был весь покрыт изморозью.

— О, черт! — сказал я, выходя с фотокамерой из машины. — Ничего не скажешь — подходящий памятник отцу атомной бомбы. — Меня разбирал смех.

Я попросил водителя стать рядом с памятником, чтобы сравнить размеры. И еще попросил

его соскрести изморозь, чтобы видно было имя покойного.

Он так и сделал.

И там, на колонне, шестидюймовыми буквами, богом клянусь, стояло одно слово:

МАМА

30. ТЫ УСНУЛА

— Мама? — не веря глазам, спросил водитель. Я еще больше соскреб изморозь, и открылся стишок:

Молю тебя, родная мать,
Нас беречь и охранять

Анджела Хониккер

А под этим стишком стоял другой:

Не умерла – уснула ты,
Нам улыбнешься с высоты,
И нам не плакать, а смеяться,
Тебе в ответ лишь улыбаться.

Френклин Хониккер

А под стихами в памятник был вделан цементный квадрат с отпечатком младенческой руки. Под отпечатком стояли слова:

Крошка Ньют

— Ну, ежели это мама, — сказал водитель, — так какую хреновину они поставили на папину

могилку? — Он добавил не совсем пристойное предположение насчет того, какой подходящий памятник следовало бы поставить там.

Могилу отца мы нашли рядом. Там, как я потом узнал, по его завещанию был поставлен мраморный куб сорок на сорок сантиметров.

ОТЕЦ

Гласила надпись.

31. ЕЩЕ ОДИН БРИД

Когда мы выезжали с кладбища, водитель такси вдруг забеспокоился — в порядке ли могила его матери. Он спросил, не возражаю ли я, если мы сделаем небольшой крюк и взглянем на ее могилку.

Над могилой его матери стояло маленькое жалкое надгробие, впрочем, особого значения это не имело.

Но водитель спросил, не буду ли я возражать, если мы сделаем еще небольшой крюк, на этот раз он хотел заехать в лавку похоронных принадлежностей, через дорогу от кладбища.

Тогда я еще не был бокоонистом и потому с неохотой дал согласие.

Конечно, будучи бокоонистом, я бы с радостью согласился пойти куда угодно по чьей угодно просьбе. «Предложение неожиданных путешествий есть урок танцев, преподанных богом», — учит нас Боконон.

Похоронное бюро называлось «Авраам Брид и сыновья». Пока водитель разговаривал с хозяином, я бродил среди памятников — еще безымянных, до поры до времени, надгробий.

В выставочном помещении я увидел, как развлекались в этом бюро: над мраморным ангелом висел венок из омелы. Подножие статуи было завалено кедровыми ветками, на шее ангела красовалась гирлянда электрических елочных лампочек, придавая памятнику какой-то домашний вид.

— Сколько он стоит? — спросил я продавца.

— Не продается. Ему лет сто. Мой прадедушка, Авраам Брид, высек эту статую.

— Значит, ваше бюро тут давно?

— Очень давно.

— А вы тоже из семьи Бридов?

— Четвертое поколение в этом деле.

— Вы не родственник доктору Эйзе Бриду, директору научно-исследовательской лаборатории?

— Я его брат. — Он представился:

— Марвин Брид.

— Как тесен мир, — заметил я.

— Особенно тут, на кладбище. — Марвин Брид был человек откормленный, вульгарный, хитроватый и сентиментальный.

32. ДЕНЬГИ-ДИНАМИТ

— Я только что от вашего брата, — объяснил я Марвину Бриду. — Я — писатель. Я расспрашивал его про доктора Феликса Хониккера.

— Такого чудака поискать, как этот сукин сын. Это я не про брата, про Хониккера.

— Это вы ему продали памятник для его жены?

— Не ему — детям. Он тут ни при чем. Он даже не удосужился поставить камень на ее могилу. А потом, примерно через год после ее смерти, пришли сюда трое хониккеровских ребят — девочка высоченная такая, мальчик и малыш. Они потребовали самый большой камень за любые деньги, и у старших были с собой стишки, они хотели их высечь на камне. Хотите — смейтесь над этим памятником, хотите — нет, но для ребят это было таким утешением, какого за деньги не купишь. Вечно они сюда ходили, а цветы носили уж не знаю сколько раз в году.

— Наверно, памятник стоил огромных денег?

— Куплен на Нобелевскую премию. Две вещи были куплены на эти деньги — дача на мысе Код и этот памятник.

— На динамитные деньги? — удивился я, поду-

мав о взрывчатой злобе динамита и совершенном покое памятника и летней дачи.

— Что?

— Нобель ведь изобрел динамит.

— Да всякое бывает…

Будь я тогда боконистом и распутывай невероятно запутанную цепь событий, которая привела динамитные деньги именно сюда, в похоронное бюро, я бы непременно прошептал: «Дела, дела, дела…»

Дела, дела, дела, шепчем мы, боконисты, раздумывая о том, как сложна и необъяснима хитрая механика нашей жизни.

Но, будучи еще христианином, я мог только сказать:

«Да, смешная штука жизнь».

— А иногда и вовсе не смешная, — сказал Марвин Брид.

33. НЕБЛАГОДАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Я спросил Марвина Брида, знал ли он Эмили Хониккер, жену Феликса, мать Анджелы, Фрэнка и Ньюта, женщину, похороненную под чудовищным обелиском.

— Знал ли я ее? — Голос у него стал мрачным. — Знал ли я ее, мистер? Конечно же, знал. Я хорошо знал Эмили. Вместе учились в илиумской средней школе. Были вице-председателями школьного комитета. Ее отец держал музыкальный магазин Она умела играть на любом инструменте А я так в нее втюрился, что забросил футбол, стал учиться играть на скрипке Но тут приехал домой на весенние каникулы мой старший братец Эйза, — он учился в Технологическом институте, — и я оплошал: познакомил его со своей любимой девушкой. — Марвин Брид щелкнул пальцами:

— Он ее и отбил, вот так, сразу. Тут я расколошматил свою скрипку — а она была дорогая, семьдесят пять долларов, — прямо об медную шишку на кровати, пошел в цветочный магазин, купил там шикарную коробку — в такой посылают розы дюжинами, — положил туда разбитую скрипку и отослал ее с посыльным.

— Она была хорошенькая?

— Хорошенькая? — повторил он. — Слушайте, мистер, когда я увижу на том свете первого ангела, если только богу угодно будет меня до этого допустить, так я рот разину не на красоту ангельскую, а только на крылышки за спиной, потому что красоту ангельскую я уже видал Не было человека во всем Илиуме, который в нее не влюбился бы, кто явно, а кто тайно. Она за любого могла выйти, только бы захотела. Он сплюнул на пол. А она возьми и выйди за этого голландца, сукина сына этого! Была невестой моего брата, а тут он явился, ублюдок этот Отнял ее у брата вот так! — Марвин Брид снова щелкнул пальцами — Наверно, это предательство и неблагодарность и вообще отсталость и серость называть покойника, да еще такого знаменитого человека, как Феликс Хониккер, сукиным сыном Знаю, все знаю, считалось, что он такой безобидный, такой мягкий, мечтательный, никогда мухи не обидит, и плевать ему на деньги, на власть, на шикарную одежду, на автомобили и всякое такое, знаю, как он отличался от всех нас, был лучше нас, такой невинный агнец, чуть ли не Христос чуть ли не сын божий.

Доводить до конца свою мысль Марвин Брид не

стал, но я попросил его договорить.

— Как же так? сказал он, — Как же так? Он отошел к окну, выходившему на кладбищенские ворота. — Как же так? пробормотал он, глядя на ворота, на снежную слякоть и на хониккеровский обелиск, смутно видневшийся вдалеке.

Но как же так, — сказал он, — как же можно считать невинным агнцем человека, который помог создать атомную бомбу? И как можно называть добрым человека, который пальцем не пошевельнул, когда самая милая, самая красивая женщина на свете умирала от недостатка любви, от бесчувственного отношения. — Он весь передернулся. — Иногда я думаю, уж не родился ли он мертвецом?

Никогда не встречал человека, который настолько не интересовался бы жизнью. Иногда мне кажется: вот в чем вся наша беда — слишком много людей занимают высокие места, а сами трупы трупами.

34. ВИН-ДИТ

Именно в этой мастерской надгробий я испытал свой первый вин-дит. Вин-дит — слово боконистское, и означает оно, что ты лично испытываешь внезапно толчок по направлению к боконизму, к пониманию того, что господь бог все про тебя знает и что у него есть довольно сложные планы, касающиеся именно тебя.

Мой вин-дит имел отношение к мраморному ангелу под омеловым венком. Водитель такси вбил себе в голову, что должен во что бы то ни стало поставить эту статую на могилу своей матери. Он стоял перед статуей со слезами на глазах.

Высказавши свое мнение о Феликсе Хониккере, Марвин Брид снова уставился на кладбищенские ворота.

— Может, этот чертов голландец, сукин сын, и был современным святым — добавил он вдруг, — но черт меня раздери, если он хоть раз в жизни сделал не то, чего ему хотелось, и пропади я пропадом, если он не добивался всего, чего хотел. Музыка, — сказал он, помолчав.

— Простите?

— Вот почему она вышла за него замуж. У него,

говорит, душа настроена на самую высокую музыку в мире, на музыку звездных миров — Он покачал головой. — Чушь!

Потом, взглянув на ворота, он вспомнил, как в последний раз видел Фрэнка Хоннккера, строителя моделей, мучителя насекомых в банке.

Да, Фрэнк, — сказал он.

А что?

В — последней раз я его, чудака несчастного, видал когда он бедняга, выходил из кладбищенских ворот похороны еще шли. Отца в могилу опустить не успели, а Фрэнк уже вышел за ворота. Поднял палец, как только первая машина показалась. Новый такой «понтиак» с номером штата Флорида. Машина остановилась. Фрэнк сел в нее, и больше никто в Илиуме в глаза его не видал.

— Я слышал — его полиция ищет.

— Да это случайно, недоразумение. Какой же Фрэнк преступник?

У него на это духу не хватит. Он только одно и умел делать — модели всякие. И на одной работе только и держался — у Джека, в лавке «Уголок любителя», он там и продавал всякие игрушечные модели, и сам их делал, и любителей учил, как самим сделать модель. Когда он отсюда уехал во Флориду, он получил место в мастерской моделей

в Сарасате. Оказалось, что эта мастерская служила прикрытием для банды, которая воровала «кадиллаки», грузила их на списанные военные самолеты и переправляла на Кубу.

Вот как Фрэнка впутали в эту историю. Думается мне, что полиция его не нашла, потому что его уже нет в живых. Слишком много лишнего он услышал, пока приклеивал синдетиконом трубы на игрушечный крейсер «Миссури».

— А вы не знаете, где теперь Ньют?

— Как будто у сестры, в Индианаполисе. Знаю только, что он спутался с этой лилипуткой и его выгнали с первого курса медицинского факультета в Корнелле. Да разве можно себе представить, чтобы карлик стал доктором? А дочка в этой несчастной семье выросла огромная, нескладная, больше шести футов ростом. И ваш этот знаменитый мудрец не дал девчонке кончить школу, взял ее из последнего класса, чтобы было кому о нем заботиться. Одно у нее было утешение — кларнет, она на нем играла в школьном оркестре «Сто бродячих музыкантов».

Когда она ушла из школы, — продолжал Брид, — ее никто никуда не приглашал. И подруг у нее не было, а ее отцу и в голову не приходило дать ей денег, ей и пойти было некуда. И знаете, что

она делала?

— Нет — Запрется, бывало, вечером у себя в комнате, заведет пластинку и играет в унисон на кларнете. И по моему мнению, самое большое чудо нашего века — это то, что такая особа нашла себе мужа.

— Сколько хотите за этого ангела? — спросил водитель такси.

— Я же вам сказал — не продается — Наверно, сейчас уже никто из мастеров такую работу делать не умеет? — сказал я.

— У меня племянник есть, он все умеет, — сказал Брид, — сын Эйзы. Очень шел в гору, мог бы стать большим ученым. А тут сбросили бомбу на Хиросиму, и мальчик сбежал, напился, пришел ко мне, говорит: хочу работать резчиком по камню.

— Он у вас работает?

— Нет, он скульптор в Риме.

— Если бы вам дать хорошую цену, — сказал водитель, — вы бы продали этот памятник?

— Возможно. Но цена-то ему немалая.

— А где тут надо высечь имя? — спросил водитель.

— Да тут имя уже есть, на подножии, — сказал Брид. Но мы не видели надписи, она была закрыта венками, сложенными у подножия статуи.

— Значит, заказ так и не востребовали? — спросил я.

— За него даже и не заплатили. Рассказывают так: этот немец, иммигрант, ехал с женой на запад, а она тут, в Илиуме, умерла от оспы. Он заказал этого ангела для надгробия жене и показал моему прадеду деньги, обещал хорошо заплатить. А потом его ограбили.

Вытащили у него все до последнего цента. У него только и осталось имущества, что та земля, которую он купил в Индиане за глаза. Он туда и двинулся, обещал, что вернется и заплатит за ангела.

— Но так и не вернулся? — спросил я.

— Нет. — Марвин Брид отодвинул ногой ветки, чтобы мы могли разглядеть надпись на пьедестале. Там была написана только фамилия. — И фамилия какая-то чудная, — сказал он, — наверно, потомки этого иммигранта, если они у него были, уже американизировали свою фамилию. Наверно, они давно стали Джонсами, Блейками или Томсонами.

— Ошибаетесь, — пробормотал я.

Мне показалось, что комната опрокинулась и все стены, потолок и пол сразу разверзлись, как пасти пещер, открывая путь во все стороны, в

бездну времен. И мне привиделось, в духе учения Боконона, единство всех странников мира: мужчин, женщин, детей, — единство во времени, в каждой его секунде.

— Ошибаетесь, — сказал я, когда исчезло видение.

— А вы знаете людей с такой фамилией?

— Да.

Эта фамилия была и моей фамилией.

35. «УГОЛОК ЛЮБИТЕЛЯ»

По дороге в гостиницу я увидел мастерскую Джека «Уголок любителя», где раньше работал Фрэнклин Хониккер. Я велел водителю остановиться и подождать меня.

Зайдя в лавку, я увидел самого Джека, хозяина всех этих крошечных паровозов, поездов, аэропланов, пароходов, фонарей, деревьев, танков, ракет, полисменов, пожарных, пап, мам, кошек, собачек, курочек, солдатиков, уток и коровок. Человек этот был мертвенно-бледен, человек этот был суров, неопрятен и очень кашлял.

— Какой он был, Фрэнклин Хониккер? — повторил он мой вопрос и закашлялся долгим-долгим кашлем. Он покачал головой, и видно было, что он обожает Фрэнка больше всех на свете. — На такой вопрос словами не ответишь. Лучше я вам покажу, что это был за мальчик. — Он снова закашлялся. — Поглядите, и сами поймете.

И он повел меня в подвел при лавке, где он жил. Там стояли двуспальная кровать, шкаф и электрическая плитка. Джек извинился за неубранную постель.

— От меня жена ушла вот уже с неделю. — Он

закашлялся. — Все еще никак не приспособлюсь к такой жизни.

И тут он повернул выключатель, и ослепительный свет залил, дальний конец подвала.

Мы подошли туда и увидали, что лампа, как солнце, озаряла маленькую сказочную страну, построенную на фанере, на острове, прямоугольном, как многие города в Канзасе. И беспокойная душа, любая душа, которая попыталась бы узнать, что лежит за зелеными пределами этой страны, буквально упала бы за край света.

Все детали были так изумительно пропорциональны, так тонко выработаны и окрашены, что не надо было даже прищуриваться, чтобы поверить, что это жилье живых людей, все эти холмы, озера, реки, леса, города все, что так дорого каждому доброму гражданину своего края.

И повсюду тонким узором вилась лапша железнодорожных путей.

— Взгляните на двери домиков, — с благоговением сказал Джек.

— Чисто сделано. Точно.

— У них дверные ручки настоящие, и молоточком можно постучаться.

— Черт!

— Вы спрашивали, что за мальчик был Фр-

энклин Хониккер. Это он выстроил. — Джек задохнулся от кашля.

— Все сам?

— Ну, я тоже помогал, но все делалось по его чертежам. Этот мальчишка — гений.

— Да, ничего не скажешь.

— Братишка у него был карлик, слыхали?

— Слыхал. Он снизу кое-что припаивал.

— Да, все как настоящее.

— Не так это легко, да и не за ночь все выстроили.

— Рим тоже не один день строился.

— У этого мальчика, в сущности, семьи и не было, понимаете?

— Да, мне так говорили.

— Тут был его настоящий дом. Он тут провел тыщу часов, если не больше. Иногда он и не заводил эти поезда, просто сидел и глядел, как мы с вами сейчас.

— Да, тут есть на что поглядеть. Прямо путешествие в Европу, столько тут всякого, если посмотреть поближе.

— Он такое видел, что нам с вами и не заметить. Вдруг сорвет какой-нибудь холмик — ну совсем как настоящий, для нас с вами. И правильно сделает. Устроит озеро на месте холмика, поставит

мостик, и все станет раз в десять красивей, чем было.

— Такой талант не всякому дается.

— Правильно! — восторженно крикнул Джек. Но этот порыв ему дорого обошелся — он страшно закашлялся. Когда кашель прошел, слезы все еще лились у него из глаз. — Слушайте, — сказал он, ведь я говорил мальчику, пусть бы пошел в университет, выучился на инженера, смог бы работать на Американскую летную компанию или еще на какое-нибудь предприятие, покрупнее — вот где его придумки нашли бы настоящую поддержку.

— По-моему, вы тоже здорово поддерживали его.

— Добро бы так, хотелось бы, чтоб так оно и было, — вздохнул Джек — Но у меня средств не хватало. Я ему давал материалы, когда мог, но он почти все покупал сам на свои заработки, он работал там, наверху, у меня в лавке. Ни гроша на другое не тратил никогда не пил, не курил, с девушками не знался, по автомобилям с ума не сходил.

— Побольше бы таких в нашей стране.

Джек пожал плечами:

— Что ж поделаешь… Наверно, бандиты там,

во Флориде, его прикончили. Боялись, что он проговорится.

— Да, я тоже так думаю.

Джек вдруг не выдержал и заплакал.

— Наверно, они и представления не имели, сукины дети, — всхлипнул он, — кого они убивают.

36. МЯУ

Во время своей поездки в Илиум и за Илиум — она заняла примерно две недели, включая рождество, — я разрешил неимущему поэту по имени Шерман Кребс бесплатно пожить в моей нью-йоркской квартире. Моя вторая жена бросила меня из-за того, что с таким пессимистом, как я, оптимистке жить невозможно.

Кребс был бородатый малый, белобрысый иисусик с глазами спаниеля. Я с ним близко знаком не был. Встретились мы на коктейле у знакомых, и ои представился как председатель Национального комитета поэтов и художников в защиту немедленной ядерной войны. Он попросил убежища, не обязательно бомбоубежища, и я случайно смог ему помочь.

Когда я вернулся в свою квартиру, все еще взволнованный странным предзнаменованием невостребованного мраморного ангела в Илиуме, я увидел, что в моей квартире эти нигилисты устроили форменный дебош. Кребс выехал, но перед уходом ои нагнал счет на триста долларов за междугородные переговоры, прожег в пяти местах мой диван, убил мою кошку, загубил мое

любимое деревце и сорвал дверцу с аптечки.

На желтом линолеуме моей кухни он написал чем-то, что оказалось экскрементами, такой стишок:

Кухня что надо,
Но душа не рада
Без
Му-со-ро-про-вода.

И еще одно послание было начертано губной помадой прямо на обоях над моей кроватью. Оно гласило:

«Нет и нет, нет, нет, говорит цыпа-дрипа!»

А на шее убитой кошки висела табличка. На ней стояло. «Мяу!»

Кребса я с тех пор не встречал И все же я чувствую, что и он входит в мой карасс. А если так, то он служил ранг-рангом. А ранг-ранг, по учению Боконона, — это человек, который отваживает других людей от определенного образа мыслей тем, что примером своей собственной ранг-ранговой жизни доводит этот образ мыслей до абсурда.

Быть может, я уже отчасти был склонен считать, что в предзнаменовании мраморного ангела не стоит искать смысла, и склонен сделать вывод,

что вообще все на свете — бессмыслица. Но когда я увидел, что наделал , у меня нигилист Кребс, особенно то, что он сделал с моей чудной кошкой, всякий нигилизм мне опротивел.

Какие-то силы не пожелали, чтобы я стал нигилистом. И миссия Кребса, знал он это или нет, была в том, чтобы разочаровать меня в этой философии. Молодец, мистер Кребс, молодец.

37. НАШ СОВРЕМЕННИК – ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

И вдруг в один прекрасный день, в воскресенье, я узнал, где находился беглец от правосудия, создатель моделей. Великий Вседержитель и Вельзевул жуков в банке, — словом, узнал, где найти Фрэнклина Хониккера.

Он был жив!

Узнал я это из специального приложения к «Нью-Йорк санди таймс». Это была платная реклама некой банановой республики. На обложке вырисовывался профиль самой душераздирающе-прекрасной девушки на свете.

За профилем девушки бульдозеры срезали пальмы, расчищая широкий проспект. В конце проспекта высились стальные каркасы трех новых зданий.

«Республика Сан-Лоренцо процветает! — говорилось в тексте на обложке. — Здоровый, счастливый, прогрессивный, свободолюбивый красавец народ непреодолимо привлекает как американских дельцов, так и туристов».

Но читать весь проспект я не торопился. С меня

было достаточно девушки на обложке — более чем достаточно, потому что я влюбился в нее с первого взгляда. Она была очень юная, очень серьезная и вся светилась пониманием и мудростью.

Кожа у нее была шоколадная. Волосы — золотой лен.

Звали ее, как говорилось на обложке, Мона Эймонс Монзано. Она была приемной дочерью диктатора острова Сан-Лоренцо.

Я открыл проспект, надеясь найти еще фотографии изумительной мадонны — полукровки.

Вместо них я нашел портрет диктатора острова, Мигеля «Папы»

Монзано, — гориллы лет под восемьдесят.

Рядом с портретом «Папы» красовалась фотография узкоплечего, остролицего, очень невзрослого юноши. На нем был ослепительно белый военный мундир с чем-то вроде аксельбантов, усыпанных драгоценными камнями Под близко поставленными глазами виднелись большие синие круги. Очевидно, он всю жизнь требовал, чтобы парикмахеры брили ему затылок и виски и не трогали макушку И он отрастил себе огромный жесткий кок, что-то вроде невероятно высокого волосяного куба с перманентом.

Подпись под этим малопривлекательным юнцом говорила, что это генерал-майор Фрэнклин Хониккер, министр науки и прогресса республики Сан-Лоренцо.

Ему было двадцать шесть лет.

38. АКУЛЬЯ СТОЛИЦА МИРА

Как я узнал из проспекта, приложенного к нью-йоркскому «Санди тайме», остров Сан Лоренцо имел пятьдесят миль в длину и двадцать — в ширину Население составляло четыреста пятьдесят тысяч душ, «беззаветно преданных идеалам Свободного мира».

Наивысшей точкой острова была вершина горы Маккэйб — одиннадцать тысяч футов над уровнем моря Столица острова — город Боливар — являлась «...сугубо современным городом, расположенным у гавани, могущей вместить весь флот Соединенных Штатов. Главный экспорт — сахар, кофе, бананы, индиго и кустарные изделия».

«А спортсмены-рыболовы признали Сан-Лоренцо первой в мире столицей по промыслу акул»

Я не мог понять, каким образом Фрэнклин Хониккер, не окончивший даже средней школы, получил такое шикарное место. Но мое недоумение отчасти рассеялось, когда я прочел очерк о Сан-Лоренцо, подписанный «Папой» Монзано.

«Папа» писал, что Фрэнк является архитектором, создавшим «генеральный план Сан-Ло-

ренцо», включающий новые дороги, сельскую электрификацию, очистительные сооружения, отели, госпитали, клиники, железные дороги — словом, все строительство.

И хотя очерк был краток и явно подредактирован, «Папа» пять раз назвал Фрэнка сыном — «кровью от крови» — доктора Феликса Хоникера.

Эта фраза отдавала каким-то людоедством. Видно, «Папа» хотел сказать, что Фрэнк — плоть от плоти старого колдуна.

39. ФАТА-МОРГАНА

Немного света пролил еще один очерк в проспекте, очень цветистый очерк под названием «Что дал Сан-Лоренцо одному американцу». Написан он был, несомненно, подставным лицом, но автором значился генерал-майор Фрэнклин Хониккер.

В этом очерке Фрэнк рассказывал, как он очутился один на полузатонувшей семидесятифутовой яхте в Карибском море. Как он там очутился и почему оказался в одиночестве, он не объяснил. Он намекнул, однако, что пунктом отправления была Куба.

"Роскошное прогулочное судно гибло, и вместе с ним — моя бессмысленная жизнь, — говорилось в очерке. — За четыре дня я съел только две галеты и одну чайку. Плавники акул-людоедов бороздили теплое море вокруг меня, иглозубые баракуды вспенивали волны.

Я поднял взор к творцу, готовый принять любую участь, предначертанную им. И моему взору открылась сияющая вершина над облаками Может быть, это была фата-моргана, жестокий обман, мираж?"

Я тут же посмотрел в словаре «Фата-Моргана» и узнал, что так действительно называется мираж по имени Морганы Ле Фей, волшебницы, жившей на дне озера. Она прославилась тем, что появлялась в Мессинском проливе, между Калабрией и Сицилией Короче говоря, фата-моргана — глупый вымысел поэтов.

А то, что Фрэнк увидел со своего тонущего суденышка, была вовсе не жестокая Фата-Моргана, а вершина горы Маккэйб. И ласковые волны вынесли яхту Фрэнка на каменистый берег Сан-Лоренцо, словно сам всевышний направил его туда.

Фрэнк ступил на берег твердой пятой и спросил, где он находится. В очерке даже не упоминалось, что у этого сукина сына был с собой в карманном термосе осколок льда-девять.

Беспаспортного Фрэнка посадили в тюрьму города Боливара. Там его посетил «Папа» Монзано, который пожелал узнать, не кровный ли родственник Фрэнк бессмертного доктора Феликса Хониккера.

«Я подтвердил, что я — его сын, — говорилось в очерке. — И с этой минуты все пути на Сан-Лоренцо были для меня открыты».

40. ОБИТЕЛЬ НАДЕЖДЫ И МИЛОСЕРДИЯ

Случилось так, должно было так случиться, как сказал бы Боконон, что один журнал заказал мне очерк о Сан-Лоренцо. Но очерк касался не «Папы» Монзано и не Фрэнка. Я должен был написать о докторе Джулиане Касле, американском сахарозаводчике — миллионере, который в сорок лет, последовав примеру доктора Альберта Швейцера, основал бесплатный госпиталь в джунглях и посвятил всю жизнь страдальцам другой расы.

Госпиталь Касла назывался «Обитель Надежды и Милосердия в джунглях». Джунгли эти находились на Сан-Лоренцо, среди диких зарослей кофейных деревьев, на северном склоне горы Маккэйб.

Когда я полетел на Сан-Лоренцо, Джулиану Каслу было шестьдесят лет.

Двадцать лет он вел абсолютно бескорыстную жизнь.

Предыдущие, корыстные, годы он был знаком читателям иллюстрированных журнальчиков не меньше, чем Томми Манвиль, Адольф Гитлер, Бе-

нито Муссолини и Барбара Хаттон. Прославился он развратом, пьянством, бешеным вождением машины и уклонением от военной службы. Он обладал невероятным талантом швырять на ветер миллионы, принося этим человечеству одни несчастья.

Он был женат пять раз, но произвел на свет только одного сына.

Этот единственный сын, Филипп Касл, был директором и владельцем отеля, где я собирался остановиться. Отель назывался «Каса Мона», в честь Моны Эймонс Монзано, светловолосой негритянки, изображенной на проспекте, приложенном к «Нью-Йорк санди тайме». «Каса Мона», новый отель, и был одним из трех новых зданий, на фоне которых красовался портрет Моны. И хотя я еще не понимал, что какие-то ласковые волны уже влекут меня к берегам Сан-Лоренцо, я чувствовал, что меня влечет любовь.

Я представлял себе любовь с Моной Эймонс Монзано, и этот мираж, эта Фата-Моргана стала страшной силой в моей бессмысленной жизни. Я вообразил, что она сможет дать мне гораздо больше счастья, чем до сих пор удавалось другим женщинам.

41. КАРАСС НА ДВОИХ

На самолете из Майами в Сан-Лоренцо кресла стояли по три в ряд. Случилось так — должно было так случиться, — что моими соседями оказались Хорлик Минтон, новый американский посол в республике Сан-Лоренцо, и его жена, Клэр. Оба они были седые, хрупкие и кроткие.

Минтон рассказал мне, что он профессиональный дипломат, но титул посла получил впервые. До сих пор, рассказывал он, они с женой служили в Боливии, Чили, Японии, Франции, Югославии, Египте, Южно-Африкаской Республике, Ливии и Пакистане.

Это была влюбленная пара. Они непрестанно развлекали друг друга, обмениваясь маленькими дарами: видом, на который стоило взглянуть из окна самолета, занятными или поучительными строками из прочитанного, случайными воспоминаниями из прошлого. Они были, как мне кажется, безукоризненным образцом того, что Боконон называет дюпрасс, что значит карасс из двух человек.

«Настоящий дюпрасс, — учит нас Боконон, — никто не может нарушить, даже дети, родившие-

ся от такого союза».

Поэтому я, исключая Минтонов из моего личного карасса, из карасса Франка, карасса Ньюта, карасса Анджелы, из карасса Лаймона Эндлесса Ноулза, из карасса Шермана Кребса.

Карасс Минтонов был аккуратный карассик, созданный для двоих.

— Должно быть, вы очень довольны? — сказал я Минтону.

— Чем же это я должен быть доволен?

— Довольны, что достигли ранга посла.

По сочувственному взгляду, которым Минтон обменялся с женой, я понял, что сморозил глупость. Но они снизошли ко мне.

— Да, — вздохнул Минтон, — я очень доволен. — Он бледно улыбнулся. — Я глубоко польщен.

И на каждую тему, которую я затрагивал, реакция была такой же. Мне никак не удавалось расшевелить их хоть немножко.

Например:

— Вы, наверное, говорите на многих языках, — сказал я.

— О да, на шести и семи мы оба, — сказал Минтон.

— Вам, наверно, это очень приятно?

— Что именно?

— Ну, то, что вы можете разговаривать с таким количеством людей разных национальностей — Очень приятно, — сказал Минтон равнодушно.

— Очень приятно, — подтвердила его жена.

И они снова занялись толстой рукописью, отпечатанной на машинке и разложенной между ними, на ручке кресла.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я немного погодя, — вот вы так много путешествовали, как по-вашему: люди, по существу, везде примерно одинаковы или нет?

— Гм! — сказал Минтон.

— Считаете ли вы, что люди, по существу, везде одинаковы?

Он посмотрел на жену, убедился, что она тоже слышала мой вопрос, и ответил:

— По существу, да, везде одинаковы.

— Угу, — сказал я.

Кстати, Боконон говорит, что люди одного дюпрасса всегда умирают через неделю друг после друга. Когда пришел смертный час Минтонов, они умерли в одну и ту же секунду.

42. ВЕЛОСИПЕДЫ ДЛЯ АФГАНИСТАНА

В хвосте самолета был небольшой бар, и я отправился туда выпить. И там я встретил еще одного соотечественника-американца, Г. Лоу Кросби из Эванстона, штат Иллинойс, и его супругу Хэзел.

Это были грузные люди, лет за пятьдесят. Голоса у них были громкие, гнусавые. Кросби рассказал мне, что у него был велосипедный завод в Чикаго и что он ничего, кроме черной неблагодарности, от своих служащих не видал Теперь он решил основать дело в более благодарном Сан-Лоренцо.

— А вы хорошо знаете Сан-Лоренцо? — спросил я.

— До сих пор в глаза не видал, но все, что я о нем слышал, мне нравится, — сказал Лоу Кросби. — У них там дисциплина. У них там есть какая-то устойчивость, на нее можно рассчитывать из года в год. Ихнее правительство не подстрекает каждого стать эдаким оригиналом-писсантом, каких еще свет не видал.

— Как?

— Да там, в Чикаго, черт их дери, никто не занимается обыкновенным производством ве-

лосипедов. Там теперь главное — человеческие взаимоотношения. Эти болваны только и ломают себе головы, как бы сделать всех людей счастливыми. Выгнать никого нельзя ни в коем случае, а если кто случайно и сделает велосипед, так профсоюз сразу тебя обвинит в жестокости, в бесчеловечности и правительство тут же конфискует этот велосипед за неуплату налогов и отправит в Афганистан какому-нибудь слепцу.

— И вы считаете, что в Сан-Лоренцо будет лучше?

— Не считаю, а знаю, будь я проклят. Народ там такой нищий, такой пуганый и такой невежественный, что у них еще ум за разум не зашел.

Кросби спросил меня, как моя фамилия и чем я занимаюсь Я назвал себя, и его жена Хэзел сразу определила по фамилии, что я из Индианы. Она тоже была родом из Индианы.

— Господи боже, — сказала она, — да вы из хужеров[2]?

Я подтвердил, что да.

— Я тоже из хужеров, — завопила она — Нельзя стыдиться, что ты хужер!

— А я и не стыжусь, — сказал я, — и не знаю, кто

---

[2] notes: 2
Прозвище жителей Индианы.

этого может стыдиться.

— Хужеры-молодцы. Мы с Лоу дважды объехали вокруг света, и всюду, куда ни кинь, наши хужеры всем командуют.

— Отрадно слышать.

— Знаете управляющего новым отелем в Стамбуле?

— Нет.

— Он тоже хужер. А военный, ну, как его там, в Токио…

— Атташе, — подсказал ее муж.

— И он — хужер, — сказала Хэзел. — И новый посол в Югославии…

— Тоже хужер?

— И не только он, но и голливудский сотрудник «Лайфа». И тот самый, в Чили…

— И он хужер?

— Куда ни глянь — всюду хужеры в почете, — сказала она.

— Автор «Бен-Гура» тоже был из хужеров.

— И Джеймс Уиткомб Райли.

— И вы тоже из Индианы? — спросил я ее мужа.

— Не-ее… Я из Штата Прерий. «Земля Линколь-

на»[3], как говорится.

— Если уж на то пошло, — важно заявила Хэзел, — Линкольн тоже был из хужеров. Он вырос в округе Спенсер.

— Правильно, — сказал я.

— Не знаю, что в них есть, в хужерах, — сказала Хэзел, — но что-то в них, безусловно, есть. Взялся бы кто-нибудь составить список, так весь мир ахнул бы.

— Тоже правда, — сказал я.

Она крепко вцепилась в мою руку:

— Нам, хужерам, надо держаться друг дружки.

— Верно.

— Ты зови меня «мамуля».

— Что-оо?

— Я, как встречу молодого хужера, сразу прошу его: «Зови меня мамуля».

— Угу…

— Ну, скажи же! — настаивала она.

— Мамуля…

Она улыбнулась и выпустила мою руку. Стрелка обошла круг.

Когда я назвал Хэзел мамулей, механизм

---

[3] notes: 3

Имеется в виду штат Иллинойс, в административном центре которого, городе Спрингфилде, долгое время жил и похоронен президент Линкольн.

остановился, и теперь Хэзел снова стала его накручивать для встречи со следующим хужером.

То, что Хэзел как одержимая искала хужеров по всему свету, — классический пример ложного карасса, кажущегося единства какой-то группы людей, бессмысленного по самой сути, с точки зрения божьего промысла, классический пример того, что Боконон назвал гранфаллон. Другие примеры гранфаллона — всякие партии, к примеру Дочери американской Революции, Всеобщая электрическая компания и Международный орден холостяков — и любая нация в любом месте в любое время.

И Боконон приглашает нас спеть вместе с ним так:

> *Что такое гранфаллон? Хочешь ты узнать,*
>
> *Надо с шарика тогда пленку ободрать!*

43. ДЕМОНСТРАТОР

Лоу Кросби считал, что диктаторское правительство — зачастую очень неплохая система. Сам он вовсе не был скверным человеком, не был он и дураком. Ему были свойственны грубоватые, мужицкие повадки в отношениях с людьми, но многое из того, что он высказывал насчет недисциплинированного человечества, было не только забавно, но и правдиво.

Однако в одном важном пункте его покидал и здравый смысл, и чувство юмора — это когда он касался вопроса, для чего, в сущности, люди живут на земле.

Он был твердо уверен, что живут они для того, чтобы делать для него велосипеды.

— Надеюсь, что в Сан-Лоренцо будет ничуть не хуже, чем рассказывали, — сказал я.

— А мне достаточно поговорить только с одним человеком, и сразу узнаю, так это или не так. Если «Папа» Монзано у себя на острове даст честное слово в чем бы то ни было, значит, так оно и есть. И так оно и будет.

— А мне особенно нравится, — сказала Хэзел, — что все они говорят по-английски и все они

христиане. Это настолько упрощает все.

— Знаете, как они там борются с преступностью? — спросил меня Кросби.

— Нет.

— У них там вообще нет преступников. «Папа» Монзано сумел всякое преступление сделать таким отвратительным, что человека тошнит при одной мысли о нарушении закона. Я слышал, что там можно положить бумажник посреди улицы, вернутся через неделю — и бумажник будет лежать на месте нетронутый.

— Ого!

— А знаете, как называют за кражу?

— Нет.

— Крюком, — сказал он. — Никаких штрафов, никаких условных осуждений, никакой тюрьмы на один месяц. За все — крюк. Крюк за кражу, крюк за убийство, за поджог, за измену, за насилие, за непристойное подглядывание. Нарушишь закон-любой ихний закон, — и тебя ждет крюк. И дураку понятно, почему Сан-Лоренцо — самая добропорядочная страна на свете.

— А что это за крюк?

— Ставят виселицу, понятно? Два столба с перекладиной. Потом берут громадный железный крюк вроде рыболовного и спускают с перекла-

дины. Потом берут того, у кого хватило глупости преступить закон, и втыкают крюк ему в живот с одной стороны так, чтобы вышел с другой, — и все! Он и висит там, проклятый нарушитель, черт его дери!

— Боже правый!

— Я же не говорю, что это хорошо, — сказал Кросби, — но нельзя сказать, что это — плохо. Я и то иногда подумываю: а не уничтожило бы и у нас что-нибудь вроде этого преступность среди несовершеннолетних. Правда, для нашей демократии такой крюк что-то чересчур… Публичная казнь — дело более подходящее. Повесить бы парочку преступников из тех, что крадут автомашины, на фонарь перед их домом с табличкой на шее: «Мамочка, вот твой сынок!»

Разика два проделать это, и замки на машинах отойдут в область предания, как подножки и откидные скамеечки.

— Мы эту штуку видали в музее восковых фигур в Лондоне, — сказала Хэзел.

— Какую штуку? — спросил я.

— Крюк. Внизу, в комнате ужасов, восковой человек висел на крюке. До того похож на живого, что меня чуть не стошнило.

— Гарри Трумен там совсем не похож на Гарри

Трумэна, — сказал Кросби.

— Простите, что вы сказали?

— В кабинете восковых фигур, — сказал Кросби, — фигура Трумэна совсем на него не похож.

— А другие почти все похожи, — сказала Хэзел.

— А на крюке висел кто-нибудь определенный? — спросил я ее.

— По-моему, нет, просто какой-то человек.

— Просто демонстратор? — спросил я.

— Ага. Все было задернуто черным бархатным занавесом, отдернешь — тогда все видно. На занавесе висело объявление — детям смотреть воспрещалось.

— И все равно они смотрели, — сказал Кросби. — Пришло много ребят, и все смотрели.

— Что им объявление, ребятам, — сказала Хэзел. — Им начхать.

— А как дети реагировали, когда увидели, что на крюке висит человек? — спросил я.

— Как? — сказала Хэзел. — Так же, как и взрослые. Подойдут, посмотрят, ничего не скажут и пойдут смотреть дальше.

— А что там было дальше?

— Железное кресло, где живьем зажарили человека, — сказал Кросби. — Его за то зажарили, что он убил сына.

— Но после того, как его зажарили, — беззаботно сказала Хэзел, — выяснилось, что сына убил вовсе не он.

44. СОЧУВСТВУЮЩИЙ КОММУНИСТАМ

Когда я вернулся на свое место, к дюпрассу Клэр и Хорлика Минтонов, я уже знал о них кое-какие подробности. Меня информировало семейство Кросби.

Кросби не знали Минтона, но знали о его репутации. Они были возмущены его назначением в посольство Сан-Лоренцо. Они рассказали мне, что Минтон когда-то был уволен госдепартаментом за снисходительное отношение к коммунизму, но прихвостни коммунистов, а может быть, и кое-кто похуже, восстановили его на службе.

— Очень приятный бар там, в хвосте, — сказал я Минтону, усаживаясь рядом с ним.

— Гм? — Они с женой все еще читали толстую рукопись, лежавшую между ними.

— Славный там бар.

— Прекрасно. Очень рад.

Оба продолжали читать, разговаривать со мной им явно было неинтересно. И вдруг Минтон обернулся ко мне с кисло-сладкой улыбкой и спросил:

— А кто он, в сущности, такой?

— Вы про кого?

— Про того господина, с которым вы беседовали в баре. Мы хотели пройти туда, выпить чего-нибудь, и у самой двери услыхали ваш разговор. Он говорил очень громко, этот господин. Он сказал, что я сочувствую коммунистам.

— Он фабрикант велосипедов, Лоу Кросби, — сказал я и почувствовал, что краснею.

— Меня уволили за пессимизм. Коммунизм тут ни при чем.

— Его выгнали из-за меня, — сказала его жена. — Единственной весомой уликой было письмо, которое я написала в «Нью-Йорк тайме» из Пакистана.

— О чем же вы писали?

— О многом, — сказала она, — потому что я была ужасно расстроена тем, что американцы не могут себе представить, как это можно быть неамериканцем, да еще быть неамериканцем и гордиться этим.

— Понятно.

— Но там была одна фраза, которую они непрестанно повторяли во время проверки моей лояльности, — вздохнул Минтон. "Американцы, — процитировал он из письма жены в «Нью-Йорк тайме», — без конца ищут любви к себе в таких местах, где ее быть не может, и в таких

формах, какие она никогда не может принять.

Должно быть, корни этого явления надо искать далеко в прошлом".

45. ЗА ЧТО НЕНАВИДЯТ АМЕРИКАНЦЕВ

Письмо Клэр Минтон было напечатано в худшие времена деятельности сенатора Маккарти, и ее мужа уволили через двенадцать часов после появления письма в газете.

— Но что же такого страшного было в письме? — спросил я.

— Высшая форма измены, — сказал Минтон, — это утверждение, что американцев вовсе не обязательно обожают всюду, где бы они ни появились, что бы ни делали. Клэр пыталась доказать, что, проводя свою внешнюю политику, американцы скорее должны исходить из реально существующей ненависти к ним, а не из несуществующей любви.

— Кажется, американцев во многих местах и вправду не любят.

— Во многих местах разных людей не любят. В своем письме Клэр только указала, что и американцев, как всяких людей, тоже могут ненавидеть н глупо считать, что они почему-то должны быть исключением. Но комитет по проверке лояльности никакого внимания на это не обратил. Они только одно и увидали, что мы с Клэр почувство-

вали, что американцев не любят.

— Что ж, я рад, что все кончилось хорошо.

— Хм-м? — хмыкнул Минтон.

— Ведь все в конце концов обошлось, — сказал я, — и вы сейчас направляетесь в посольство, где будете сами себе хозяевами.

Минтон с женой обменялись обычным своим дюпрассовским взглядом, полным сожаления ко мне. Потом Минтон сказал:

— Да. Пойдем по радуге — найдем горшок с золотом.

46. КАК БОКОНОН УЧИТ ОБРАЩАТЬСЯ С КЕСАРЕМ

Я заговорил с Минтонами о правовом положении Фрэнклина Хоннккера: в конце концов, он был не только важной шишкой в правительстве «Папы» Монзано, но и скрывался от правительства США.

— Все зачеркнуто, — сказал Минтон. — Он больше не гражданин США и на своем теперешнем месте делает много полезного, так что все в порядке.

— Он отказался от американского гражданства?

— Каждый, кто объявляет себя приверженцем чужого правительства, или служит в его вооруженных силах, или занимает там государственную должность, теряет свое гражданство. Прочтите ваш паспорт. Нельзя человеку превратить свою биографию в бульварный романчик из иностранной жизни, как сделал Френк, и попрежнему прятаться под крылышко дяди Сэма.

— А в Сан-Лоренцо к нему хорошо относятся?

Минтон взвесил в руке толстую рукопись, ко-

торую они читали с женой.

— Пока не знаю. По этой книге как будто нет.

— Что это за книга?

— Это единственный научный труд, написанный о Сан-Лоренцо.

— Почти научный, — сказала Клэр.

— Почти научный, — повторил Минтон. — Он пока еще не опубликован. Это один из пяти существующих экземпляров. — Он передал рукопись мне и сказал, чтобы я ее посмотрел.

Я открыл книгу на титульном листе и увидал, что называется она САН-ЛОРЕНЦО. География. История. Народонаселение.

Автором книги был Филипп Касл, хозяин отеля, сын Джулиана Касла, того великого альтруиста, к которому я направлялся.

Я раскрыл книгу наугад. И она случайно открылась на главе о человеке, объявленном на острове вне закона, — о святом Бококноне.

На открывшейся странице была цитата из Книг Бококнона. Слова бросились в глаза, запали в душу и оказались мне очень по душе.

Это была парафраза евангельских слов: «Воздай Кесарю кесарево».

По Бококнону, эти слова читались так:

«Не обращай внимания на Кесаря. Кесарь не

имеет ни малейшего понятия о том, что на самом деле происходит вокруг».

47. ДИНАМИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Я так увлекся книгой Джулиана Касла, что даже не поднял глаз, когда мы на десять минут приземлились в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

Я даже не поднял глаз, когда кто-то за моей спиной взволнованно шепнул, что в самолет сел лилипут.

Немного погодя я оглянулся, ища лилипута, но его не было видно. Только прямо перед супругами Кросби сидела, как видно, новая пассажирка — женщина с лошадиным лицом и обесцвеченными волосами. Рядом с ней кресло казалось пустым, и в этом кресле, конечно, мог скрываться лилипут — оттуда и макушки видно не было.

Но меня заинтересовал Сан-Лоренцо, его земля, его история, его народ, так что я особенно и не стал искать лилипута. В конце концов, лилипуты могут развлечь человека в пустые или спокойные минуты, а я был всерьез взволнован теорией Боконона, которую он называл динамическое напряжение; интересно, как он понимал совершенное равновесие между добром и злом.

Когда я впервые увидел термин «динамическое напряжение», я засмеялся, так сказать, высоко-

мерным смехом. Судя по книге молодого Касла, это был любимый термин Боконона, и я подумал, что знаю то, чего Боконон не знает: термин этот был давно опошлен Чарлзом Атласом, автором заочного курса «Как развить мускулатуру?».

Но, бегло перелистывая книгу, я узнал, что Боконон точно знал, кто такой Чарлз Атлас. Боконон, оказывается, сам был приверженцем школы развития мускулатуры.

Чарлз Атлас был убежден, что мускулатуру можно развить без гирь и пружин, простым противопоставлением одной группы мышц другой.

Боконон был убежден, что здоровое общество можно построить, только противопоставив добро злу и поддерживая высокое напряжение между тем и другим.

И в книге Касла я прочел впервые стих, или калипсо, Боконона.

Он звучал так:

«Папа» Монзано, он полон скверны,
Но без «Папиной» скверны я пропал бы,
Наверно,
Потому что теперь по сравнению с ним
Гадкий старый Боконон считается свя-

тым.

48. СОВСЕМ КАК СВЯТОЙ АВГУСТИН

Как я узнал из книги Касла, Боконон родился в 1891 году. Он был негр, епископального вероисповедания, британский подданный с острова Тобаго.

При крещении ему дали имя Лайонел Бойд Джонсон.

Он был младшим из шести детей в состоятельной семье.

Богатство его семьи началось с того, что дед Боконона нашел спрятанное пиратами сокровище, стоившее четверть миллиона долларов. Сокровище, как предполагали, принадлежало Черной Бороде — Эдварду Тичу.

Семья Боконона вложила сокровище Черной Бороды в асфальт, копру, какао, скот и птицу.

Юный Лайонел Бойд Джонсон учился в епископальной школе, окончил ее прекрасно и больше, чем другие, интересовался церковной службой. Но в молодости, несмотря на любовь ко всяким церемониям, он был порядочным гулякой, потому что в четырнадцатом калипсо он приглашает нас петь вместе с ним так:

Когда я молод был,
Я был совсем шальной,
Я пил и девушек любил,
Как Августин святой.
По Августин лишь к старости
Причислен был к святым,
Так, значит, к старости могу
И я сравниться с ним.
И если мне в святые
Придется угодить,
Уж ты, мамаша, в обморок
Гляди не упади!

49. РЫБКА, ВЫБРОШЕННАЯ ЗЛЫМ ПРИБОЕМ

К 1911 году интеллектуальные притязания Лайонела Бойда Джонсона настолько возросли, что он решился отправиться один на шхуне под названием «Туфелька» из Тобаго в Лондон. Он поставил себе целью получить высшее образование.

Он поступил в Лондонский институт экономики и политических наук.

Его занятия были прерваны первой мировой войной. Он пошел в пехоту, отлично воевал, был произведен в офицеры, четыре раза награжден. Во второй битве на Ипре он был отравлен газами, два года провел в госпитале и потом был уволен с военной службы.

И снова в одиночестве он поплыл в Тобаго на своей «Туфельке».

В восьмидесяти милях от дома его остановила и обыскала немецкая подлодка У-99. Он был взят в плен, а его суденышко немцы использовали как мишень для учебной стрельбы. Но перед погружением подлодку обнаружил и захватил

английский эсминец «Ворон».

Джонсон вместе с немецкой командой были взяты на борт эсминца, а лодка У-99 потоплена.

«Ворон» направлялся в Средиземное море, но так и не дошел туда. Корабль потерял управление и только беспомощно болтался на волнах или описывал огромные круги. Наконец его прибило к Островам Зеленого Мыса.

Джонсон прожил на этих островах восемь месяцев, ожидая какой-нибудь возможности попасть в западное полушарие.

Наконец он поступил матросом на рыболовецкое судно, которое занималось контрабандной перевозкой иммигрантов в Нью-Бедфорд, штат Массачусетс. Судно потерпело крушение возле Ньюпорта на Род-Айленде.

К этому времени у Джонсона сложилось убеждение, будто что-то гонит его куда-то, по какой-то причине. Поэтому он на некоторое время остался в Ньюпорте — ему хотелось узнать, не нашел ли он тут свою судьбу. Он работал садовником и плотником в знаменитом имении Рэмфордов.

За это время он успел насмотреться на многих высоких гостей семейства Рэмфордов, среди которых были Дж. П. Морган, генерал Дж. Першинг, Франклин Делано Рузвельт, Энрико Карузо, Уор-

рен Гамалиель Гардинг и Гарри Гудини[4]. За это время окончилась первая мировая война, убившая десять миллионов и ранившая двадцать, среди них и самого Джонсона.

Когда война окончилась, молодой гуляка, наследник Рэмфордов, Ремингтон Рэмфорд Четвертый, решил совершить путешествие на своей яхте «Шехеразада» вокруг света с заходом в Испанию, Францию, Италию, Грецию, Египет, Индию, Китай и Японию. Он пригласил Джонсона плыть с ним первым помощником кашпана, и Джонсон согласился.

Много чудес повидал Джонсон во время этого плавания.

Но «Шехерезада» налетела на рифы в тумане у входа в бомбейскую гавань, и из всего экипажа спасся один Джонсон. Он прожил в Индии два года и стал там приверженцем Ганди. Его арестовали за то, что он возглавил группу демонстрантов, протестовавших против господства англичан: они ложились на рельсы и останавливали поезда. Когда Джонсона выпустили из тюрьмы, его на казенный счет отправили домой, в Тобаго.

---

[4] notes: 4
Гудини — известный фокусник.

Там он построил вторую шхуну, назвав ее «Туфслька-2».

И он плавал на ней — без цели, все ища бури, которая вынесла бы его туда, куда его безошибочно вела судьба.

В 1922 году он укрылся от урагана в Порт-о-Пренсе на Гаити, оккупированном тогда американской морской пехотой.

Там к нему обратился человек блестящих способностей, самоучка, идеалист, дезертир из морской пехоты, по имени Эрл Маккэйб. Маккэйб имел чин капрала. Он только что украл отпускные деньги своей роты. Он предложил Джонсону пятьсот долларов, чтобы тот переправил его в Майами.

И они пустились в плавание к Майами.

Но шквал разбил шхуну о скалы острова Сан-Лоренцо. Суденышко пошло ко дну. Джонсон и Маккэйб в чем мать родила еле доплыли до берега. Сам Боконон описывает это приключение так:

Как рыбку, выбросил меня
На берег злой прибой,
Но вскоре я очнулся
И стал самим собой.

Он был восхищен этим тайным знамением — тем, что попал голым на незнакомый берег. И он решил не искушать судьбу — пусть будет, что будет, пусть все идет само собой, а он посмотрит, что еще может приключиться с голым человеком, выплеснутым на берег соленой волной.

И для него наступило второе рождение:

Будьте как дети,
Нам Библия твердит.
И я душой ребенок,
Хотя и стар на вид.

А прозвище Боконон он получил очень просто. Так произносили его имя — Джонсон — на островном диалекте английского языка.

Что же касается этого диалекта…

Диалект острова Сан-Лоренцо очень легко понять, но очень трудно записать. Я сказал — легко понять, но это относится лично ко мне. Другим кажется, что этот диалект непонятен, как язык басков, так что, быть может, я понимаю его телепатически.

Филипп Касл в своей книге дает фонетический образец этого диалекта и делает это отлично. Он выбрал для этого санлоренцскую версию детской песенки: «Шалтай-Болтай».

По-настоящему это бессмертное произведение звучит так:

Шалтай-Болтай сидел на стене,
Шалтай-Болтай свалился во сне,
И вся королевская конница,
И вся королевская рать
Не может Шалтая, не может Болтая собрать.

На сан-лоренцском диалекте, по утверждению Касла, эти строки звучат так:

Саратая-Боротая сидера на сатене,
Саратая-Боротая сварирася во сене,
И кося короревская конниса,
И вся короревская рати
Не могозет Саратая, не могозет Боротая соборати.

Вскоре после того, как Джонсон стал Бококоном, спасательную шлюпку с его шхуны выбросило на берег. Впоследствии эту шлюпку позолотили и сделали из нее кровать для самого главного правителя острова.

«Есть легенда, — пишет Филипп Касл, — что золотая шлюпка снова пустится в плавание, когда

настанет конец света».

50. СЛАВНЫЙ КАРЛИК

Чтение биографии Боконона прервала жена Лоу Кросби, Хэзел.

Она остановилась в проходе около меня.

— Вы не поверите, — сказала она, — но я только что обнаружила у нас в самолете еще двух хужеров.

— Вот это да!

— Они не природные хужеры, но теперь они там живут. Они живут в Индианаполисе.

— Интересно!

— Хотите с ними познакомиться?

— А по-вашему, это необходимо?

Вопрос ее удивил.

— Но они же из хужеров, как и вы!

— А как их фамилии?

— Фамилия женщины — Коннерс, а его фамилия Хониккер. Они брат и сестра, и он карлик. И очень славный карлик. — Она подмигнула мне:

— Хитрая бестия этот малыш.

— А он уже зовет вас мамулей?

— Я чуть было не попросила его звать меня так.

А потом раздумала — не знаю, может, это будет

невежливо, он же карлик.

— Глупости!

51. О'КЕЙ, МАМУЛЯ!

И я пошел в хвост самолета — знакомиться с Анжелой Хониккер Коннерс и с Ньютоном Хониккером, членами моего карасса.

Анджела и была та обесцвеченная блондинка с лошадиной физиономией, которую я заметил раньше.

Ньют был чрезвычайно миниатюрный молодой человек, но в нем не было ничего странного. Очень складный, он казался Гулливером среди бробдингнегов и, как видно, был столь же наблюдателен и умен.

В руках у него был бокал шампанского, это входило в стоимость билета. Бокал был для него как небольшой аквариум для нормального человека, но он пил из него с элегантной непринужденностью, будто бокал был сделан специально для него.

И у этого маленького негодяя в чемодане находился термос с кристаллом льда-девять, как и у его некрасивой сестры, а под ними — вода, божье творение — все Карибское море.

Хэзел с удовольствием перезнакомила всех хужеров и, удовлетворенная, оставила нас в покое.

— Но помните, — сказала она, уходя, — теперь зовите меня мамуля.

— О'кэй, мамуля!

— О'кэй, мамуля! — повторил Ньютон. Голосок у него был довольно тонкий, как и полагалось при таком маленьком горлышке.

Но он как-то ухитрялся придать этому голоску вполне мужественное звучание.

Анджела упорно обращалась с Ньютоном как с младенцем, и он ей это милостиво прощал; я и представить себе не мог, что такое маленькое существо может держаться с таким непринужденным изяществом.

И Ньют и Анджела вспомнили меня, вспомнили мои письма и предложили пересесть к ним, на пустовавшее третье кресло.

Анджела извинилась, что не ответила мне.

— Я не могла вспомнить ничего такого, что было бы интересно прочесть в книжке. Конечно, можно было бы что-то придумать про тот день, но я решила, что вам это не нужно. Вообще же, день был как день — самый обыкновенный.

— А ваш брат написал мне отличное письмо.

Анджела удивилась:

— Ньют написал письмо? Как же Ньют мог что-либо вспомнить?

Она обернулась к нему:

— Душенька, но ведь ты ничего не помнишь про тот день, правда? Ты был тогда совсем крошкой.

— Нет, помню, — мягко возразил он.

— Жаль, что я не видела этого письма. — Она сказала это таким тоном, будто считала, что Ньют все еще был недостаточно взрослым, чтобы непосредственно общаться с внешним миром. По своей проклятой тупости Анджела не могла понять, что значит для Ньюта его маленький рост.

— Душечка, ты должен был показать мне письмо, — упрекнула она брата.

— Прости, — сказал Ньют, — я как-то не подумал.

— Должна вам откровенно признаться, — сказала мне Анджела, — что доктор Брид не велел мне помогать вам в вашей работе. Он сказал, что вы вовсе не намерены дать верный портрет нашего отца.

По выражению ее лица я понял, что она мной недовольна.

Я успокоил ее как мог, сказав, что, по всей вероятности, книжка все равно никогда не будет написана и что у меня нет ясного представления, о чем там надо и о чем не надо писать.

— Но если вы когда-нибудь все же напишете эту книгу, вы должны написать, что наш отец был святой, потому что это правда.

Я обещал, что постараюсь нарисовать именно такой образ, Я спросил, летят ли они с Ньютом на семейную встречу с Фрэнком в Сан-Лоренцо.

— Фрэнк собирается жениться, — сказала Анджела. — Мы едем праздновать его обручение.

— Вот как? А кто же эта счастливая особа?

— Сейчас покажу, — сказала Анджела и достала из сумочки что-то вроде складной гармошки из пластиката. В каждой складке гармошки помещалась фотография. Анджела полистала фотографии, и я мельком увидал малютку Ньюта на пляже мыса Код, доктора Феликса Хониккера, получающего Нобелевскую премию, некрасивых девочек-близнецов, дочек Анджелы, и наконец Фрэнка, пускающего игрушечный самолет на веревочке.

И тут она показала мне фото девушки, на которой собирался жениться Фрэнк. С таким же успехом она могла бы ударить меня ногой в пах.

На фотографии красовалась Мона Эймонс Монзано — женщина, которую я любил.

52. СОВСЕМ БЕЗБОЛЕЗНЕННО

Развернув свою пластикатную гармошку, Анджела не собиралась ее складывать, пока не покажет все фотографии до единой.

— Тут все, кого я люблю, — заявила она.

Пришлось мне смотреть на тех, кого она любит. И все, кого она поймала под плексиглас, поймала, как окаменелых жучков в янтарь, все они были по большей части из нашего карасса. Ни единого гранфаллонца среди них не было.

Многие фотографии изображали доктора Феликса Хониккера, отца атомной бомбы, отца троих детей, отца льда-девять.

Предполагаемый производитель великанши и карлика был совсем маленького роста.

Из всей коллекции Анджелиных окаменелостей мне больше всего понравилась та фотография, где он был весь закутан — в зимнем пальто, в шарфе, галошах и вязаной шерстяной шапке с огромным помпоном на макушке.

Эта фотография, дрогнувшим голосом объяснила мне Анджела, была сделана в Хайяннисе за три часа до смерти старика.

Фотокорреспондент какой-то газеты узнал в

похожем на рождественского деда старике знаменитого ученого.

— Ваш отец умер в больнице?

— Нет! Что вы! Он умер у нас на даче, в огромном белом плетеном кресле, на берегу моря. Ньют и Фрэнк пошли гулять по снегу у берега…

— Снег был какой-то теплый, — сказал Ньют, — казалось, что идешь по флердоранжу. Удивительно странный снег. В других коттеджах никого не было…

— Один наш коттедж отапливался, — сказала Анджела.

— На мили вокруг — ни души, — задумчиво вспоминал Ньют, — и нам с Фрэнком на берегу повстречалась огромная черная охотничья собака, ретривер. Мы швыряли палки в океан, а она их приносила.

— А я пошла в деревню купить лампочек для елки. Мы всегда устраивали елку.

— Ваш отец любил, когда зажигали елку?

— Он никогда нам не говорил.

— По-моему, любил, — сказала Анджела. — Просто он редко выражал свои чувства. Бывают такие люди.

— Бывают и другие, — сказал Ньют, пожав плечами.

— Словом, когда мы вернулись домой, мы нашли его в кресле, — сказала Анджела. Она покачала головой:

— Думаю, что он не страдал. Казалось, он спит. У него было бы другое лицо, если б он испытывал хоть малейшую боль.

Но она умолчала о самом интересном из всей этой истории. Она умолчала о том, что тогда же, в сочельник, она, Фрэнк и крошка Ньют разделили между собой отцовский лед-девять.

53. ПРЕЗИДЕНТ ФАБРИ-ТЕКА

Анджела настояла, чтобы я досмотрел фотографии до конца.

— Вот я, хотя сейчас трудно этому поверить, — сказала Анджела.

Она показала мне девочку — школьницу, шести футов ростом, в форме оркестрантки средней школы города Илиума, с кларнетом в руках. Волосы у нее были подобраны под мужскую шапочку. Лицо светилось застенчивой и радостной улыбкой.

А потом Анджела — женщина, которую творец лишил всего, чем можно привлечь мужчину, — показала мне фото своего мужа.

— Так вот он какой, Гаррисон С. Коннерс. — Я был потрясен. Муж Анджелы был поразительно красивый мужчина и явно сознавал это.

Он был очень элегантен, и ленивый блеск в его глазах выдавал донжуана.

— Что… Чем он занимается? — спросился.

— Он президент «Фабри-Тека».

— Электроника?

— Этого я вам не могу сказать, даже если бы знала. Это сверхсекретная государственная служба.

— Вооружение?

— Ну, во всяком случае, военные дела.

— Как вы с ним познакомились?

— Он работал ассистентом в лаборатории у отца, а потом уехал в Индианаполис и организовал «Фабри-Тек».

— Значит, ваш брак был счастливым завершением долгого романа?

— Нет, я даже не знала, замечает ли он, что я существую. Мне он казался очень приятным, но он никогда не обращал на меня внимания, до самой смерти отца. Однажды он заехал в Илиум. Я жила в нашем громадном старом доме, считая, что жизнь моя кончилась…

Дальше Анджела рассказала мне о страшных днях и неделях после смерти отца:

— Мы были одни, я и маленький Ньют, в этом огромном старом доме. Фрэнк исчез, и привидения шумели и гремели в десять раз громче, чем мы с Ньютом. Я не пожалела бы жизни, лишь бы снова заботиться об отце, возить его на работу и с работы, кутать, когда холодно, и раскутывать, когда теплело, заставлять его есть, платить по его счетам. Вдруг я оказалась без дела. Близких друзей у меня никогда не было. И рядом ни живой души, кроме Ньюта.

И вдруг, — продолжала она, — раздался стук в дверь, и появился Гаррисон Коннерс. Никого прекраснее я в жизни не видала. Он зашел, мы поговорили о последних часах отца и вообще о старых временах…

Анджела с трудом сдерживала слезы.

— Через две недели мы поженились.

54. НАЦИСТЫ, МОНАРХИСТЫ, ПАРАШЮТИСТЫ И ДЕЗЕРТИРЫ

Я вернулся на свое мест, чувствуя себя довольно погано оттого, что Фрэнк отбил у меня Мону Эймонс Монзано, и стал дочитывать рукопись Филиппа Касла.

В именном указателе я посмотрел Монзано, Мона Эймонс, но там было сказано: см. Эймонс Мона — и увидал, что ссылок на страницы там почти столько же, сколько после имени самого «Папы» Монзано.

За Эймонс Моной шел Эймонс Нестор. И я сначала посмотрел те несколько страниц, где упоминался Нестор, и узнал, что это был отец Моны, финн по национальности, архитектор.

Нестора Эймонса во время второй мировой войны сначала взяли в плен русские, а потом — немцы. Домой ему вернуться не разрешили и принудили работать в вермахте, в инженерных войсках, сражавшихся с югославскими партизанами. Он был взят в плен четниками — сербскими партизанами — монархистами, а потом захвачен

партизанами, напавшими на четников.

Итальянские парашютисты, напавшие на партизан, освободили Эймонса и отправили его в Италию.

Итальянцы заставляли его строить укрепления в Сицилии. Он украл рыбачью лодку и добрался до нейтральной Португалии.

Там он познакомился с уклонявшимся от воинской повинности американцем по имени Джулиан Касл.

Узнав, что Эймонс архитектор, Касл пригласил его на остров Сан-Лоренцо строить там для него госпиталь, который должен был называться «Обитель Надежды и Милосердия в джунглях». Эймонс согласился. Он построил госпиталь, женился на туземке по имени Селия, произвел на свет совершенство — свою дочь — и умер.

55. НЕ ДЕЛАЙ УКАЗАТЕЛЯ К СОБСТВЕННОЙ КНИГЕ

Что касается жизни Эймонс Моны, то указатель создавал путаную, сюрреалистическую картину множества противодействующих сил в ее жизни и ее отчаянных попыток выйти из-под их влияния.

«Эймонс Мона, — сообщал указатель, — удочерена Монзано для поднятия его престижа, 194-199; 216; детство при госпитале „Обитель Надежды и Милосердия“, 63-81; детский роман с Ф.Каслом, 721; смерть отца, 89; смерть матери, 92; смущена доставшейся ей ролью национального символа любви, 80, 95, 166, 209, 247, 400-406, 566, 678; обручена с Филиппом Каслом, 193; врожденная наивность, 67-71, 80, 95, 166, 209, 274, 400-406, 566, 678; жизнь с Бокононом, 92-98, 196-197; стихи о…. 2, 26, 114, 119. 311, 316, 477, 501, 507, 555, 689, 718, 799, 800, 841, 846, 908, 971, 974; ее стихи, 89, 92, 193; убегает от Монзано, 197; возвращается к Монзаяо, 199; пытается изуродовать себя, чтобы не быть символом любви и красоты для острови-

тян, 80, 95, 116, 209, 247, 400-406, 566, 678; учится у Боконона, 63-80; пишет письмо в Объединенные Нации, 200; виртуозка на ксилофоне, 71».

Я показал этот указатель Минтонам и спросил их, не кажется ли им, что он сам по себе — увлекательная биография, — биография девушки, против воли ставшей богиней любви. И неожиданно, как эта случается в жизни, я получил разъяснение специалистки: оказалось, что Клер Минтон в свое время была профессиональной составительницей указателей. Я впервые услышал, что есть такая специальность.

Она рассказала, что помогла мужу окончить колледж благодаря своим заработкам, что составление указателей хорошо оплачивается и что хороших составителей не так много.

Еще она сказала, что из авторов книг только самые что ни на есть любители берутся за составление указателей. Я спросил, какого она мнения о работе Филиппа Касла.

— Лестно для автора, оскорбительно для читателя, — сказала она — Говоря точнее, — добавила она со снисходительной любезностью специалистки, — сплошное самоутверждение, без оговорок. Мне всегда неловко, когда сам автор составляет указатель к собственной книге.

— Неловко?

— Слишком разоблачительная вещь такой указатель, сделанный самим автором, — поучительно сказала она. — Просто бесстыдная откровенность, конечно для опытного глаза.

— Она может определить характер по указателю! — сказал ее муж.

— Да ну? — сказал я. — Что же вы скажете о Филиппе Касле?

Она слегка улыбнулась:

— Неудобно рассказывать малознакомому человеку.

— О, простите!

— Он явно влюблен в эту Мону Эймонс Монзано.

— По-моему, это можно сказать про всех мужчин из Сан-Лоренцо.

— К отцу он испытывает смешанные чувства, — сказала она.

— Но это можно сказать о каждом человеке на земле, — слегка поддразнил ее я.

— Он чувствует себя в жизни очень неуверенно.

— А кто из смертных чувствует себя уверенно? — спросил я.

Тогда я не знал, что задаю вопрос совершенно

в духе Боконона.

— И он никогда на ней не женится.

— Почему же?

— Я все сказала, что можно, — ответила она.

— Приятно встретить составителя указателей, уважающего чужие тайны, — сказал я.

— Никогда не делайте указателя к своим собственным книгам. — заключила она.

Боконон учит нас, что дюпрасс помогает влюбленной паре в уединенности их неослабевающей любви развить в себе внутреннее прозрение, подчас странное, но верное. Лишним доказательством этого был хитрый подход Минтонов к книжным указателям имен. И еще, говорит нам Боконон, дюпрасс рождает в людях некоторую самонадеянность. Минтоны и тут не были исключением.

Немного погодя Минтон встретился со мной в салоне самолета без жены и дал мне понять, как ему важно, чтобы я с уважением отнесся к сведениям, которые его жена умеет выудить из каждого указателя.

— Вы знаете, почему Касл никогда не женится на той девушке, хотя он любит ее и она любит его, хотя они и выросли вместе? — зашептал он.

— Нет, сэр, понятия не имею.

— Потому что он — гомосексуалист! — прошептал Минтон. — Она и это может узнать по указателю.

56. САМООКУПАЮЩЕЕСЯ БЕЛИЧЬЕ КОЛЕСО

Когда Лайонел Бойд Джонсон и капрал Эрл Маккэйб были выброшены голышом на берег Сан-Лоренцо, читал я, их встретили люди, которым жилось куда хуже, чем им. У населения Сан-Лоренцо не было ничего, кроме болезней, которые они ни лечить, ни назвать не умели. Напротив, Джонсон и Маккэйб владели бесценными сокровищами — грамотностью, целеустремленностью, любознательностью, наглостью, безверием, здоровьем, юмором и обширными знаниями о внешнем мире.

Как говорится в одном из калипсо:

Ох, какой несчастный
Тут живет народ!
Пива он не знает,
Песен не поет,
И куда ни сунься,
И куда ни кинь,
Все принадлежит католической церкви
Или компании «Касл и сын».

По словам Филиппа Касла, эта оценка имущественного положения Сан-Лоренцо в 1922 году совершенно справедлива. Сахарная компания «Касл и сын» действительно была основана прадедом Филиппа Касла. К 1922 году компания владела каждым клочком плодородной земли на этом острове.

«Сахарная компания „Касл и Сын“ на Сан-Лоренцо никогда не получала ни гроша прибыли, — пишет молодой Касл. — Но, не платя ничего рабочим за их работу, компания из года в год сводила концы с концами, зарабатывая достаточно, чтобы расплатиться с мучителями и угнетателями рабочих».

На острове царила анархия, кроме тех редких случаев, когда сахарная компания «Касл и Сын» решала что-нибудь присвоить или что-нибудь предпринять. В таких случаях устанавливался феодализм. Феодалами были надсмотрщики плантаций сахарной компании — белые, хорошо вооруженные мужчины из других частей света. Вассалов набирали из знатных туземцев, которые были готовы за мелкие подачки и пустяковые привилегии убивать, калечить или пытать своих сородичей по первому приказу. Духовную жажду туземцев, пойманных в это дьявольское беличье

колесо, утоляла кучка сладкоречивых попов.

«Кафедральный собор Сан-Лоренцо, взорванный в 1923 году, когда-то считался в западном полушарии одним из чудес света, созданных руками человека», — писал Касл.

57. СКВЕРНЫЙ СОН

Никакого чуда в том, что капрал Маккэйб и Джонсон стали управлять островом, вовсе не было. Многие захватывали Сан-Лоренцо, и никто им не мешал. Причина была проще простого: творец в неизреченной своей мудрости сделал этот остров совершенно бесполезным.

Фернандо Кортес был первым человеком, закрепившим на бумаге свою бесплодную победу над островом.

В 1519 году Кортес и его люди высадились там, чтобы запастись пресной водой, дали острову название, закрепили его за королем Карлом Пятым и больше туда не вернулись. Многие мореплаватели искали там золото и алмазы, пряности и рубины, ничего не находили, сжигали парочку туземцев для развлечения и острастки и плыли дальше.

"В 1682 году, когда Франция заявила притязания на Сан-Лоренцо, — писал Касл, — испанцы не возражали. Когда датчане в 1699 году заявили притязания на Сан-Лоренцо, французы не возражали. Когда голландцы заявили притязания на Сан-Лоренцо в 1704, датчане не возражали. Когда

Англия заявила притязания на Сан-Лоренцо в 1706-м, ни один голландец не возражал. Когда Испания снова выдвинула свои притязания на Сан-Лоренцо, ни один англичанин не возражал. Когда в 1786 году африканские негры завладели британским работорговым кораблем, высадились на Сан-Лоренцо и объявили этот остров независимым государством, испанцы не возражали.

Императором стал Тум-Бумва, единственный человек, который считал, что этот остров стоит защищать. Тум-Бумва, будучи маньяком, заставил народ воздвигнуть кафедральный собор Сан-Лоренцо и фантастические укрепления на северном берегу острова, где в настоящее время помещается личная резиденция так называемого президента республики.

Эти укрепления никто никогда не атаковал, да и ни один здравомыслящий человек не смог бы объяснить, зачем их надо атаковать. Они ничего не защищали. Говорят, что во время постройки укреплений погибло полторы тысячи человек. Из этих полутора тысяч половина была публично казнена за недостаточное усердие".

Сахарная компания «Касл и сын» появилась на Сан-Лоренцо в 1916 году, во время сахарного бума,

вызванного первой мировой войной. Никакого правительства там вообще не было. Компания решила, что даже глинистые и песчаные пустоши Сан-Лоренцо при столь высоких ценах на сахар можно обработать с прибылью. Никто не возражал.

Когда Маккэйб и Джонсон оказались на острове в 1922 году и объявили, что берут власть в свои руки, сахарная компания вяло снялась с места, словно проснувшись после скверного сна.

58. ОСОБАЯ ТИРАНИЯ

"У новых завоевателей Сан-Лоренцо было по крайней мере одно совершенно новое качество, — писал молодой Касл. — Маккэйб и Джонсон мечтали осуществить в Сан-Лоренцо утопию.

С этой целью Маккэйб переделал всю экономику острова и все законодательство.

А Джонсон придумал новую религию. Тут Касл снова процитировал очередное калипсо:

Хотелось мне во все
Какой то смысл вложить,
Чтоб нам не ведать страха
И тихо-мирно жить,
И я придумал ложь —
Лучше не найдешь! —
Что этот грустный край —
Су-щий рай!

Во время чтения кто-то потянул меня за рукав. Маленький Ньют Хониккер стоял в проходе рядом с моим креслом;

— Не хотите ли пройти в бар, — сказал он, — поднимем бокалы, а?

И мы подняли, и мы опрокинули все, что полагалось, и у крошки Ньюта настолько развязался язык, что он мне рассказал про Зику, свою приятельницу, — лилипутку, маленькую балерину. Их гнездышком, рассказал он мне, был отцовский коттедж на мысе Код.

— Может быть, у меня никогда не будет свадьбы, — сказал он, — но медовый месяц у меня уже был.

Он описал мне эту идиллию: часами они с Зикой лежали в объятиях друг друга, примостившись в отцовском плетеном кресле на самом берегу моря.

И Зика танцевала для него.

— Только представьте себе, женщина танцует только для меня.

— Вижу, вы ни о чем не жалеете.

— Она разбила мне сердце. Это не очень приятно. Но я заплатил этим за счастье. А в нашем мире ты получаешь только то, за что платишь. — И он галантно провозгласил тост:

— За наших жен и любовниц! — воскликнул он. — Пусть они никогда не встречаются!

59. ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ

Я все еще сидел в баре с Ньютом, с Лоу Кросби, еще с какими-то незнакомыми людьми, когда вдали показался остров Сан-Лоренцо.

Кросби говорил о писсантах:

— Знаете, что такое писсант?

— Слыхал этот термин, — сказал я, — но очевидно, он не вызывает у меня таких четких ассоциаций, как у вас.

Кросби здорово выпил и, как всякий пьяный, воображал, что можно говорить откровенно, лишь бы говорить с чувством. Он очень прочувствованно и откровенно говорил о росте Ньюта, о чем до сих пор никто в баре и не заикался.

— Я говорю не про такого малыша, как вот он. — И Кросби повесил на плечо Ньюта руку, похожую на окорок. — Не рост делает человека писсантом, а образ мыслей. Видал я людей, раза в четыре выше этого вот малыша, и все они были настоящими писсантами.

Видал я и маленьких людей — конечно, не таких малышей, но довольно-таки маленьких, будь я неладен, — и вы назвали бы их настоящими мужчинами.

— Благодарствую, — приветливо сказал маленький Ньют, даже не взглянув на чудовищную руку, лежавшую у него на плече. Никогда я не видел человека, который так умел справляться со своим физическим недостатком. Я был потрясен и восхищен.

— Вы говорили про писсантов, — напомнил я Кросби, надеясь, что он снимет тяжелую руку с бедного Ньюта.

— Правильно, черт побери! — Кросби расправил плечи.

— И вы нам не объяснили, что такое писсант, — сказал я.

— Писсант — это такой тип, который воображает, будто он умнее всех, и потому никогда не промолчит. Чтобы другие ни говорили, писсанту всегда надо спорить. Вы скажете, что вам что-то нравится, и, клянусь богом, он тут же начнет вам доказывать, что вы не правы и это вам нравиться не должно. При таком писсанте вы чувствуете себя окончательным болваном. Что бы вы ни сказали, он все знает лучше вас.

— Не очень привлекательный образ, — сказал я.

— Моя дочка собиралась замуж за такого писсанта, — сказал Кросби мрачно.

— И вышла за него?

— Я его раздавил, как клопа. — Кросби стукнул кулаком по стойке, вспомнив слова и дела этого писсанта. — Лопни мои глаза? — сказал он. — Да ведь мы все тоже учились в колледжах! — Он уставился на малыша Ньюта:

— Ходил в колледж?

— Да, в Корнелл, — сказал Ньют.

— В Корнелл? — радостно заорал Кросби. — Господи, я тоже учился в Корнелле!

— И он тоже. — Ньют кивнул в мою сторону.

— Три корнельца на одном самолете! — крикнул Кросби, и тут пришлось отпраздновать еще один гранфаллонский фестиваль.

Когда мы немного поутихли, Кросби спросил Ньюта, что он делает.

— Вожусь с красками.

— Дома красишь?

— Нет, пишу картины.

— Фу, черт!

— Займите свои места и пристегните ремни, пожалуйста! — предупредила стюардесса. — Приближаемся к аэропорту «Монзано», город Боливар, Сан-Лоренцо.

— А-а, черт! — сказал Кросби, глядя сверху вниз на Ньюта. — Погодите минутку, я вдруг вспом-

нил, что где-то слыхал вашу фамилию.

— Мой отец был отцом атомной бомбы. — Ньют не сказал «одним из отцов». Он сказал, что Феликс был отцом.

— Правда?

— Правда.

— Нет, мне кажется, что-то было другое, — сказал Кросби. Он напряженно вспоминал. — Что-то про танцовщицу.

— Пожалуй, надо пойти на место, — сказал Ньют, слегка насторожившись.

— Что-то про танцовщицу. — Кросби был до того пьян, что не стеснялся думать вслух:

— Помню, в газете читал, будто эта самая танцовщица была шпионка.

— Пожалуйста, джентльмены, — сказала стюардесса, — пора занять места и пристегнуть ремни.

Ньют взглянул на Лоу Кросби невинными глазами.

— Вы уверены, что там упоминалась фамилия Хониккер? — И во избежание всяких недоразумений от повторил свою фамилию по буквам.

— А может, я и ошибся, — сказал Кросби.

60. ОБЕЗДОЛЕННЫЙ НАРОД

С воздуха остров представлял собой поразительно правильный прямоугольник. Угрожающей нелепо торчали из моря каменные иглы.

Они опоясывали остров по кругу.

На южной оконечности находился портовый город Боливар.

Эго был единственный город.

Это была столица.

Город стоял на болотистом плато. Взлетные дорожки аэропорта «Монзано» спускались к берегу.

К северу от Боливара круто вздымались горы, грубыми горбами заполняя весь остальной остров. Их звали Сангре де Кристо (Кровь Христова), но, по-моему, они больше походили на стадо свиней у корыта.

Боливар раньше назывался по-разному: Казма-каз-ма, Санта-Мария, Сан-Луи, Сент-Джордж и Порт-Глория — словом, много всяких названий было у него. В 1922 году Джонсон и Маккэйб дали ему теперешнее название, в честь Симона Боливара, великого идеалиста, героя Латинской Америки.

Когда Джонсон и Маккэйб попали в этот город, он был построен из хвороста, жестянок, ящиков и глины, на останках триллионов счастливых нищих, останках, зарытых в кислой каше помоев, отбросов и слизи.

Таким же застал этот город и я, если не считать фальшивого фасада новых архитектурных сооружений на берегу.

Джонсону и Маккэйбу так и не удалось вытащить этот народ из нищеты и грязи. Не удалось и «Папе» Монзано.

И никому не могло удасться, потому что Сан-Лоренцо был бесплоден, как Сахара или Северный полюс.

И в то же время плотность населения там была больше, чем где бы то ни было, включая Индию и Китай. На каждой непригодной для жизни квадратной миле проживало четыреста пятьдесят человек.

«В тот период, когда Джон и Маккэйб, обуреваемые идеализмом, пытались реорганизовать Сан-Лоренцо, было объявлено, что весь доход острова будет разделен между взрослым населением в одинаковых долях, — писал Филипп Касл. — В первый и последний раз, когда это попробовали сделать, каждая доля составляла около шести с

лишним долларов».

61. КОНЕЦ КАПРАЛА

В помещении таможни аэропорта «Монзано» нас попросили предъявить наши вещи и обменять те деньги, которые мы собирались истратить в Сан-Лоренцо, на местную валюту — капралы.

По уверениям «Папы» Монзано, каждый капрал равнялся пятидесяти американским центам.

Помещение было чистое, новое, но множество объявлений уже было как попало наляпано на стены:

Каждый исповедующий боконизм на острове Сан-Лоренцо, гласило одно из объявлений, умрет на крюке!

На другом плакате был изображен сам Боконон — тощий старичок негр, с сигарой во рту и с добрым, умным, насмешливым лицом.

Под фотографией стояла подпись: десять тысяч капралов награды доставившему его живым или мертвым.

Я присмотрелся к плакату и увидел, что внизу напечатано что-то вроде полицейской личной карточки, которую Боконону пришлось заполнить неизвестно где в 1929 году. Напечатана эта карточка была, очевидно, для того, чтобы

показать охотникам за Бокононом отпечатки его пальцев и образец его почерка.

Но меня заинтересовали главным образом те ответы, которыми в 1929 году Боконон решил заполнить соответствующие графы. Где только возможно, он становился на космическую точку зрения, то есть принимал во внимание такие, скажем, понятия, как краткость человеческой жизни и бесконечность вечности.

Он заявлял, что его призвание — «быть живым».

Он заявлял, что его основная профессия — «быть мертвым».

Наш народ — христиане! Всякая игра пятками будет наказана крюком! — угрожал следующий плакат. Я не понял, что это значит, потому что еще не знал, что боконисты выражают родство душ, касаясь друг друга пятками. Но так как я еще не успел прочесть всю книгу Касла, то самой большой тайной для меня оставался вопрос: каким образом Боконон, лучший друг капрала Маккэйба, оказался вне закона?

62. ПОЧЕМУ ХЭЗЕЛ НЕ ИСПУГАЛАСЬ

В Сан-Лоренцо нас сошло семь человек: Ньют с Анджелой, Лоу Кросби с женой, посол Минтон с супругой и я. Когда мы прошли таможенный досмотр, нас вывели из помещения на трибуну для гостей.

Оттуда мы увидели до странности притихшую толпу.

Пять с лишним тысяч жителей Сан-Лоренцо смотрели на нас в упор. У островитян была светлая кожа, цвета овсяной муки. Все они были очень худые. Я не заметил ни одного толстого человека.

У всех не хватало зубов. Ноги у них были кривые или отечные.

И ни одной пары ясных глаз.

У женщин были обвисшие голые груди. Набедренные повязки мужчин висели уныло, и то, что они еле прикрывали, походило на маятники дедовских часов.

Там было много собак, но ни одна не лаяла. Там было много младенцев, но ни один не плакал. То там, то сям раздавалось покашливание — и все.

Перед толпой стоял военный оркестр. Он не

играл.

Перед оркестром стоял караул со знаменами. Знамен было два — американский звездно-полосатый флаг и флаг Сан-Лоренцо. Флаг Сан-Лоренцо составляли шевроны капрала морской пехоты США на ярко-синем поле. Оба флага уныло повисли в безветренном воздухе.

Мне показалось что вдали слышится барабанная дробь. Но я ошибся. Просто у меня в душе отдавалась звенящая, раскаленная, как медь, жара Сан-Лоренцо.

— Как я рада, что мы в христианской стране, — прошептала мужу Хэзел Кросби, — не то я бы немножко испугалась.

За нашими спинами стоял ксилофон.

На ксилофоне красовалась сверкающая надпись. Буквы были сделаны из гранатов и хрусталя.

Буквы составляли слово: «МОНА».

63. НАБОЖНЫЙ И ВОЛЬНЫЙ

С левой стороны нашей трибуны были выстроены в ряд шесть старых самолетов с пропеллерами — военная помощь США республике Сан-Лоренцо. На фюзеляжах с детской кровожадностью был изображен боа-констриктор, который насмерть душил черта. Из глаз, изо рта, из носа черта лилась кровь. Из окровавленных сатанинских пальцев выпадали трезубые вилы.

Перед каждым самолетом стоял пилот цвета овсяной муки и тоже молчал.

Потом над этой влажной тишиной послышалось назойливое жужжание, похожее на жужжание комара. Это звучала сирена. Сирена возвещала о приближении машины «Папы» Монзано — блестящего черного «кадиллака». Машина остановилась перед нами, подымая пыль.

Из машины вышли «Папа» Монзано, его приемная дочь Мона Эймонс Монзано и Фрэнклин Хониккер.

«Папа» повелительно махнул вялой рукой, и толпа запела национальный гимн Сан-Лоренцо. Мотив был взят у популярной песни «Дом на ранчо». Слова написал в 1922 году Лайонел Бойд

Джонсон, то есть Боконон. Вот эти слова:

Расскажите вы мне
О счастливой стране,
Где мужчины храбрее акул,
А женщины все
Сияют в красе
И с дороги никто не свернул!
Сан, Сан-Лоренцо.
Приветствует добрых гостей!
Но земля задрожит,
Когда враг побежит
От набожных вольных людей!

64. МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ

И снова толпа застыла в мертвом молчании «Папа» с Моной и с Франком присоединились к нам на трибуне. Одинокая барабанная дробь сопровождала их шаги. Барабан умолк, когда «Папа» ткнул пальцем в барабанщика.

На «Папе» поверх рубашки висела кобура. В ней был сверкающий кольт 45-го калибра. «Папа» был старый-престарый человек, как и многие члены моего карасса. Вид у него был совсем больной. Он передвигался мелкими, шаркающими шажками. И хотя он все еще был человеком в теле, но жир явно таял так быстро, что строгий мундир уже висел на нем мешком. Белки жабьих глаз отливали желтизной. Руки дрожали.

Его личным телохранителем был генерал-майор Фрэнклин Хониккер в белоснежном мундире. Фрэнк, тонкорукий, узкоплечий, походил на ребенка, которому не дали вовремя лечь спать. На груди у него сверкала медаль.

Я с трудом мог сосредоточить внимание на «Папе» и Франке — не потому, что их заслоняли, а потому, что не мог отвести глаз от Моны. Я был поражен, восхищен, я обезумел от восторга.

Все мои жадные и безрассудные сны о той единственной совершенной женщине воплотились в Моне. В ней, да благословит творец ее душу, нежную, как топленые сливки, был мир и радость во веки веков.

Эта девочка — а ей было всего лет восемнадцать — сияла блаженной безмятежностью. Казалось, она все понимала и воплощала все, что надо было понять. В Книгах Боконона упоминается ее имя. Вот одно из высказываний Боконона о ней: «Мона проста, как все сущее».

Платье на ней было белое — греческая туника.

На маленьких смуглых ногах — легкие сандалии.

Длинные прямые пряди бледно-золотистых волос…

Бедра как лира…

О господи…

Мир и радость во веки веков.

Она была единственной красавицей в Сан-Лоренцо. Она была народным достоянием. Как писал Филипп Касл, «Папа» удочерил ее, чтобы ее божественный образ смягчал жестокость его владычества.

На край трибуны выкатили ксилофон. И Мона заиграла. Она играла гимн «На склоне дня».

Сплошное тремоло звучало, замирало и снова начинало звенеть.

Красота опьяняла толпу.

Но пора было «Папе» приветствовать нас.

65. УДАЧНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ САН-ЛОРЕНЦО

«Папа» был самоучкой и раньше служил управляющим у капрала Маккэйба. Он никогда не выезжал за пределы острова. Говорил он на неплохом англо-американском языке.

Все наши выступления с трибуны передавались в толпу лаем огромных, словно на Страшном суде, рупоров.

Звуки, проходя через рупоры, воплями летели по короткому широкому переходу за спиной толпы, отскакивали от стеклянных стен трех новых зданий и с клекотом возвращались обратно.

— Привет вам, — сказал «Папа». — Вы прибыли к лучшим друзьям Америки. К Америке не правильно относятся во многих странах, но только не у нас, господин посол. — И он поклонился Лоу Кросби, фабриканту велосипедов, приняв его за нового посла.

— Знаю, знаю, у вас тут отличная страна, господин президент, — сказал Кросби. — Все, что я о ней слышал, по-моему, великолепно.

Вот только одно…

— Да?

— Я не посол, — сказал Кросби. — Я бы и рад, но я обыкновенный простой коммерсант. — Ему было неприятно назвать настоящего посла:

— Вот тот человек и есть важная шишка.

— Ага! — «Папа» улыбнулся своей ошибке. Но улыбка внезапно исчезла.

Он вздрогнул от боли, потом согнулся пополам и зажмурился, изо всех сил преодолевая эту боль.

Фрэнк Хониккер неловко и неумело попытался поддержать его:

— Что с вами?

— Простите, — пробормотал наконец «Папа», пытаясь выпрямиться.

В глазах у него стояли слезы. Он смахнул их и весь выпрямился: Прошу прощения. — Казалось, он на минуту забыл, где он, чего от него ждут. Потом вспомнил. Он пожал руку Минтону Хорлику:

— Вы тут среди друзей.

— Я в этом уверен, — мягко сказал Минтон.

— Среди христиан, — сказал «Папа».

— Очень рад.

— Среди антикоммунистов, — сказал «Папа».

— Очень рад.

— Здесь коммунистов нет, — сказал «Папа». — Они слишком боятся крюка.

— Так я и думал, — сказал Минтон.

— Вы прибыли сюда в очень удачное время, — сказал «Папа». — Завтра счастливейший день в истории нашей страны. Завтра наш великий национальный праздник. День ста мучеников за демократию. В этот день мы также отпразднуем обручение генерал-майора Фрэнклина Хоникера с Моной Эймонс Монзано, самым дорогим существом в моей жизни, в жизни всего Сан-Лоренцо.

— Желаю вам большого счастья, мисс Монзано, — горячо сказал Минтон. — И поздравляю вас, генерал Хоникер.

Молодая пара поблагодарила его поклоном.

И тут Минтон заговорил о так называемых ста мучениках за демократию и сказал вопиющую ложь:

— Нет ни одного американского школьника, который не знал бы о благородной жертве народа Сан-Лоренцо во второй мировой войне.

Сто храбрых граждан Сан-Лоренцо, чью память мы отмечаем завтра, отдали все, что может отдать свободолюбивый человек. Президент Соединенных Штатов просил меня быть его личным

представителем во время завтрашней церемонии и пустить по морским волнам венок — дар американского народа народу Сан-Лоренцо.

— Народ Сан-Лоренцо благодарит вас лично, президента Соединенных Штатов и щедрый американский народ за внимание, — сказал «Папа». — Вы окажете нам большую честь, если сами опустите в море венок во время завтрашнего праздника обручения.

— Великая честь для меня, — сказал Минтон. «Папа» пригласил всех нас оказать ему честь своим присутствием на церемонии опускания венка и на празднике в честь обручения. Нам надлежало прибыть во дворец к полудню.

— Какие у них будут дети! — сказал «Папа», направляя наши взгляды на Фрэнклина и Мону. — Какая кровь! Какая красота!

Тут его снова схватила боль.

Он снова закрыл глаза, скорчившись от мучений.

Он ждал, пока боль пройдет, но она не проходила.

В мучительном припадке он отвернулся от нас к толпе.

Он попытался что-то жестами показать толпе — и не смог. Он попытался что-то сказать им — и

не смог.

Наконец он выдавил из себя слова.

— Ступайте домой! — крикнул он, задыхаясь. — Ступайте домой!

Толпа разлетелась, как сухие листья.

«Папа» обернулся к нам, нелепо корчась от боли…

И тут же упал.

66. СИЛЬНЕЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ

Но он не умер.

Его можно было бы принять за мертвеца, если бы в этой смертной неподвижности по нему изредка не пробегала судорожная дрожь.

Фрэнк громко крикнул, что «Папа» не умер, что он не может умереть. Он был в отчаянии.

— «Папа», не умирайте! Не надо!

Фрэнк расстегнул воротник его куртки, стал растирать ему руки.

— Дайте ему воздуха! Воздуха «Папе»! — кричал он.

Летчики с истребителей побежали помочь нам. У одного из них хватило сообразительности побежать за «скорой помощью» аэропорта.

Я взглянул на Мону, увидел, что она, по-прежнему безмятежная, отошла к парапету трибуны. Даже если смерть случится при ней, ее это, вероятно, не встревожит.

Рядом с ней стоял летчик. Он не смотрел на нее. но весь сиял потным блаженством, и я объяснил это ее близостью.

«Папа» постепенно приходил в сознание. Слабой рукой, трепыхавшейся, как пойманная

птица, он указал на Фрэнка:

— Вы… — начал он.

Мы все умолкли, чтобы не пропустить его слова.

Губы у него зашевелились, но мы ничего не услыхали, кроме какого-то клокотания.

У кого-то возникла идея, тогда показавшаяся блестящей, — теперь, задним числом, видно, что идея была отвратительная. Кто-то, кажется один из летчиков, снял микрофон со стойки и поднес к сидящему «Папе», чтобы усилить звук его голоса.

И тут от стен новых зданий, как эхо в горах, стали отдаваться предсмертные хрипы и какие-то судорожные завыванья. Потом прорезались слова.

— Вы, — хрипло сказал он Фрэнку, — вы, Фрэнклин Хониккер, вы — будущий президент Сан-Лоренцо. Наука… У вас в руках наука.

Наука сильнее всего на свете. Наука, — повторил «Папа», — лед…Он закатил желтые глаза и снова потерял сознание.

Я взглянул на Мону. Выражение ее лица не изменилось.

Но зато у летчика, стоявшего рядом с ней, на лице застыла восторженная неподвижная гримаса, будто ему вручали Почетную медаль конгресса

за храбрость.

Я опустил глаза и увидал то, чего не надо было видеть.

Мона сняла сандалию. Ее маленькая смуглая ножка была голой. И этой обнаженной ступней она пожимала, мяла, мяла, непристойно мяла сквозь башмак ногу летчика.

67. КУ-РЮ-КА

На этот раз «Папа» остался жив.

Его увезли из аэропорта в огромном красном фургоне, в каких возят мясо.

Минтонов забрал в посольство американский лимузин.

Ньюта и Анджелу отвезли на квартиру Фрэнка в правительственном лимузине Сан-Лоренцо.

Чету Кросби и меня отвезли в отель «Каса Мона» в единственном сан-лоренцском такси, похожем на катафалк «крейслере» с откидными сиденьями, образца 1939 года. На машине было написано:

«Транспортное агентство Касл и Ко». Автомобиль принадлежал Филиппу Каслу, владельцу «Каса Мона», сыну бескорыстнейшего человека, у которого я приехал брать интервью.

И чета Кросби, и я были расстроены. Наше беспокойство выражалось в том, что мы непрестанно задавали вопросы, требуя немедленного ответа. Оба Кросби желали знать, кто такой Боконон.

Их шокировала мысль, Что кто-то осмелился пойти против «Папы»

Монзано.

А мне ни с того ни с сего вдруг приспичило немедленно узнать, кто такие «сто мучеников за демократию».

Сначала получили ответ супруги Кросби. Они не понимали санлоренцского диалекта, и мне пришлось им переводить. Главный их вопрос к нашему шоферу можно сформулировать так: «Что за чертовщина и кто такой этот писсант Боконон?»

— Очень плохой человек, — ответил наш шофер. Произнес он это так: «Осень прохой черовека».

— Коммунист? — спросил Кросби, выслушав мой перевод.

— Да, да!

— А у него есть последователи?

— Как, сэр?

— Кто-нибудь считает, что он прав?

— О нет, сэр, — почтительно сказал шофер. — Таких сумасшедших тут нет.

— Почему же его не поймали? — спросил Кросби.

— Его трудно найти, — сказал шофер. — Очень хитрый.

— Значит, его кто-то прячет, кто-то его кормит,

иначе его давно поймали бы.

— Никто не прячет, никто не кормит. Все умные, никто не смеет.

— Вы уверены?

— Да, уверен! — сказал шофер. — Кто этого сумасшедшего старика накормит, кто его приютит — сразу попадет на крюк. А кому хочется на крюк?

Последнее слово он произносил так: «Курюка».

68. «СИТО МУСЕНИКИ»

Я спросил шофера, кто такие «сто мучеников за демократию». Мы как раз проезжали бульвар, который так и назывался — 'бульвар имени Ста мучеников за демократию.

Шофер рассказал мне, что Сан-Лоренцо объявил войну Германии и Японии через час после нападения на Перл-Харбор.

В Сан-Лоренцо было призвано сто человек — сражаться за демократию. Эту сотню посадили на корабль, направлявшийся в США: там их должны были вооружить и обучить.

Но корабль был потоплен немецкой подлодкой у самого выхода из боливарской гавани.

— Эси рюди, сэр, — сказал шофер на своем диалекте, — и быри сито мусеники за зимокарасию.

— Эти люди, сэр, — означало по-английски, — и были «Сто мучеников за демократию».

69. ОГРОМНАЯ МОЗАИКА

Супруги Кросби и я испытывали странное ощущение: мы были первыми посетителями нового отеля. Мы первые занесли свои имена в книгу приезжих в «Каса Мона».

Оба Кросби подошли к регистратуре раньше меня, но Лоу Кросби был настолько поражен видом совершенно чистой книги записей, что не мог заставить себя расписаться. Сначала он должен был это обдумать.

— Распишитесь вы сперва, — сказал он мне. И потом, не желая, чтобы я счел его суеверным, объявил, что хочет сфотографировать человека, который украшал мозаикой оштукатуренную стену холла.

Мозаика изображала Мону Эймонс Монзано. Портрет достигал в вышину футов двадцать. Человек, работавший над мозаикой, был молод и мускулист. Он сидел на верхней ступеньке переносной лестницы. На нем ничего не было, кроме парусиновых брюк.

Он был белый человек.

Сейчас художник делал из золотой стружки тонкие волосики на затылке над лебединой шей-

кой Моны.

Кросби пошел фотографировать его; вернулся, чтобы сообщить нам, что такого писсанта он еще в жизни не встречал. Лицо у Кросби стало цвета томатного сока:

«Ему ни черта сказать невозможно, сразу все выворачивает наизнанку».

Тогда я подошел к художнику, постоял, посмотрел на его работу и сказал:

— Я вам завидую.

— Так я и знал, — вздохнул он, — знал, что, стоит мне только выждать, непременно явится кто-то и позавидует мне. Я себе все твердил — надо набраться терпения, и раньше или позже явится завистник.

— Вы — американец?

— Имею счастье. — Он продолжал работать, а взглянуть на меня, посмотреть, что я за птица, ему было неинтересно:

— А вы тоже хотите меня сфотографировать?

— Вы не возражаете?

— Я думаю — значит, существую, значит, могу быть сфотографирован.

— К несчастью, у меня нет с собой аппарата.

— Так пойдите за ним, черт подери. Разве вы из тех людей, которые доверяют своей памяти?

— Ну, это лицо на вашей мозаике я так скоро не забуду.

— Забудете, когда помрете, и я тоже забуду. Когда умру, я все забуду, чего и вам желаю.

— Она вам позировала, или вы работаете по фотографии, или еще как?

— Я работаю еще как.

— Что?

— Я работаю еще как. — Он постучал себя по виску. — Все тут, в моей достойной зависти башке.

— Вы ее знаете?

— Имею счастье.

— Фрэнк Хониккер счастливец.

— Френк Хониккер кусок дерьма.

— А вы человек откровенный.

— И к тому же богатый.

— Рад за вас.

— Хотите знать мнение опытного человека? Деньги не всегда дают людям счастье.

— Благодарю за информацию. Вы сняли с меня большую заботу.

Ведь я как раз придумал себе заработок.

— Какой?

— Хотел писать.

— Я тоже как-то написал книгу.

— Как она называлась?

— «Сан-Лоренцо. География, история, народонаселение»

70. ПИТОМЕЦ БОКОНОНА

— Значит, вы — Филипп Касл, сын Джулиаиа Касла, — сказал я художнику.

— Имею счастье.

— Я приехал повидать вашего отца.

— Вы продаете аспирин?

— Нет.

— Жаль, жаль. У отца кончается аспирин. Может, у вас есть какое-нибудь чудодейственное зелье? Папаша любит делать чудеса.

— Нет, я никакими зельями не торгую. Я писатель.

— А почему вы думаете, что писатели не торгуют зельем?

— Сдаюсь. Признаю себя виновным.

— Отцу нужна какая-нибудь книга — читать вслух людям, умирающим в страшных мучениях. Но вы, наверно, ничего такого не написали.

— Пока нет.

— Мне кажется, на этом можно бы подзаработать. Вот вам еще один ценный совет.

— Может, мне удалось бы переписать двадцать третий псалом, немножко его переделать, чтобы никто не догадался, что придумал его не я.

— Боконон уже пытался переделать этот псалом, — сообщил он мне, — и понял, что ни слова изменить нельзя.

— Вы и его знаете?

— Имею счастье. Он был моим учителем, когда я был мальчишкой. — Он с нежностью кивнул на свою мозаику:

— Мона тоже его ученица.

— А он был хороший учитель?

— Мы с Моной умеем читать, писать и решать простые задачи, — сказал Касл, — вы ведь об этом спрашиваете?

71. ИМЕЮ СЧАСТЬЕ БЫТЬ АМЕРИКАНЦЕМ

Тут подошел Лоу Кросби — еще раз взглянуть на Касла, на этого писсанта.

— Так кем вы себя считаете? — насмешливо спросил он. — Битником или еще кем?

— Я считаю себя боконистом.

— Но это же против законов этой страны?

— Я случайно имею счастье был американцем. Я называю себя боконистом, когда мне вздумается, и до сих пор никто меня за это не трогал.

— А я считаю, что надо подчиняться законам тон страны, где находишься.

— Это по вас видно.

Кросби побагровел:

— Иди ты в задницу, Джек!

— Сам иди туда, Джаспер, — мягко сказал Касл, — и все ваши праздники вместе с рождеством и Днем благодарения туда же.

Кросби прошагал через весь холл к регистратору и сказал:

— Я желаю заявить на этого человека, на этого писсанта, на этого так называемого художника. У

вас тут страна хотя и маленькая, по хорошая, старается привлечь туристов, старается заполучить новые вклады в промышленность. А этот малый так со мной разговаривал, что ноги моей больше тут не будет, и ежели меня знакомые спросят про Сан-Лоренцо, я им скажу, чтобы носа сюда не совали. Может, там, на стенке, у вас и выйдет красивая картина, но, клянусь честью, такого писсанта, такого нахального, наглого сукина сына, как этот ваш художник, я в жизни не видел.

Клерк позеленел:

— Сэр…

— Что скажете? — сказал Кросби, горя негодованием.

— Сэр, это же владелец отеля.

72. ПИССАНТНЫЙ ХИЛТОН

Лоу Кросби с супругой выбыли из отеля «Каса Мона». Кросби обозвал его «писсантный Хилтон»[5] и потребовал приюта в американском посольстве.

И я оказался единственным постояльцем отеля в сто комнат.

Номер у меня был приятный. Он, как и все другие номера, выходил на бульвар имени Ста мучеников за демократию, на аэропорт Монзано и боливарскую гавань.

«Каса Мона» архитектурой походила на книжный шкаф — глухие каменные стены позади и сбоку, а фасад сплошь из сине-зеленого стекла. Город, с его нищетой и убожеством, не был виден: он был расположен позади и по сторонам, за глухими стенами «Каса Мона».

Моя комната была снабжена вентилятором. Там было почти прохладно. Войдя с ошеломительной жары в эту прохладу, я стал чихать.

На столике у кровати стояли свежие цветы,

---

[5] notes: 5

Хилтон — название фирмы, владеющей роскошными отелями во многих странах.

но постель не была заправлена. На ней даже подушки не было, один только голый новехонький поролоновый матрас. А в шкафу — ни одной вешалки, в уборной — ни клочка туалетной бумаги.

И я вышел в коридор поискать горничную, которая снабдила бы меня всем необходимым. Там никого не было, но в дальнем конце дверь стояла открытой и смутно доносились какие-то живые звуки.

Я подошел к этой двери и увидал большие апартаменты. Пол был закрыт мешковиной. Комнату красили, но, когда я вошел, двое маляров занимались не этим. Они сидели на широких и длинных козлах под окнами.

Они сняли обувь. Они закрыли глаза. Они сидели лицом друг к другу.

И они прижимались друг к другу голыми пятками. Каждый обхватил свои щиколотки, застыв неподвижным треугольником.

Я откашлялся…

Оба скатились с козел и упали на заляпанную мешковину. Они упали на четвереньки — и так и остались, прижав носы к полу и выставив зады. Они ждали, что их сейчас убьют.

— Простите, — сказал я растерянно.

— Не говорите никому, — жалобно попросил один. — Прошу вас, никому не говорите.

— Про что?

— Про то, что видели.

— Я ничего не видел.

— Если скажете, — проговорил он, прижавшись щекой к полу, и умоляюще посмотрел на меня, — если скажете, мы умрем на ку-рюке…

— Послушайте, ребята, — сказал я, — то ли я пришел слишком рано, то ли слишком поздно, но повторяю: я ничего не видел такого, о чем стоит рассказать. Прошу вас, встаньте! Они поднялись с пола, не спуская с меня глаз. Они дрожали и ежились.

Мне еле-еле удалось их убедить, что я никому не расскажу то, что я видел.

А видел я, конечно, боконистский ритуал, так называемое боко-мару, или обмен познанием.

Мы, боконисты, верим, что, прикасаясь друг к другу пятками — конечно, если у обоих ноги чистые и ухоженные, — люди непременно почувствуют взаимную любовь. Основа этой церемонии изложена в следующем калипсо:

Пожмем друг другу пятки
И будем всех любить,

Любить как нашу Землю,
Где надо дружно жить.

73. ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ

Когда я вернулся к себе в номер, я увидел, что Филипп Касл, художник по мозаике, историк, составитель указателя к собственной книге, писсант и владелец отеля, прилаживает ролик туалетной бумаги в моей ванной комнате.

— Большое вам спасибо, — сказал я.

— Не за что.

— Вот это действительно гостеприимный отель, — сказал я. — Ну где еще найдешь владельца отеля, который сам непосредственно заботится об удобстве гостей?

— А где еще найдешь отель с одним постояльцем?

— У вас их было трое.

— Незабвенное время…

— Знаете, может быть, я лезу не в свое дело, но трудно понять, как человека с вашим кругозором, с вашими талантами могла так привлечь роль владельца гостиницы?

Он недоуменно нахмурился:

— Вам кажется, что я не совсем так обращаюсь с гостями, как надо?

— Я знал некоторых людей в Школе обслужи-

вания гостиниц в Корнелле, и мне почему-то кажется, что они обошлись бы с этим Кросби как-то по-другому.

Он сокрушенно покачал головой.

— Знаю. Знаю. — Он вдруг хлопнул себя по бокам. — Сам не понимаю, какого дьявола я выстроил эту гостиницу, должно быть захотелось чем-то заполнить жизнь. Чем-то заняться, как-то уйти от одиночества. — Он покачал головой. — Надо было либо стать отшельником, либо открыть гостиницу — выбора не было.

— Кажется, вы выросли при отцовском госпитале?

— Верно. Мы с Моной оба выросли там.

— И вас никак не соблазняла мысль строить свою жизнь, как устроил ее ваш отец?

Молодой Касл неуверенно улыбнулся, избегая прямого ответа.

— Он чудак, мой отец, — сказал он. — Наверно, он вам понравится.

— Да, по всей вероятности. Бескорыстных людей не так уж много.

— Давно, когда мне было лет пятнадцать, — заговорил Касл, — поблизости отсюда взбунтовалась команда греческого корабля, который шел из Гонконга в Гавану с грузом плетеной мебели.

Мятежники захватили корабль, но справиться с ним не могли и разбились о скалы неподалеку от замка «Папы» Монзано. Все утонули, кроме крыс. Крыс и плетеную мебель прибило к берегу.

Этим как будто и кончался его рассказ, но я неуверенно спросил:

— А потом?

— Потом часть населения получила даром плетеную мебель, а часть — бубонную чуму. У отца в госпитале за десять дней умерло около полутора тысяч человек. Вы когда-нибудь видали, как умирают от бубонной чумы?

— Меня миновало такое несчастье.

— Лимфатические железы в паху и под мышками распухают до размеров грейпфрута.

— Охотно верю.

— После смерти труп чернеет — правда, у черных чернеть нечему. Когда чума тут хозяйничала, наша Обитель Надежды и Милосердия походила на Освенцим или Бухенвальд. Трупов накопилось столько, что бульдозер заело, когда их пытались сбросить в общую могилу. Отец много дней подряд работал без сна, но и без всяких результатов: почти никого спасти не удалось.

Жуткий рассказ Касла был прерван телефонным звонком.

— Фу, черт! — сказал Касл. — Я и не знал, что телефоны уже включены.

Я поднял трубку:

— Алло?

Звонил генерал-майор Фрэнклин Хониккер. Он тяжело дышал и, видно, был перепуган до смерти:

— Слушайте! Немедленно приезжайте ко мне домой. Нам необходимо поговорить. Для вас это страшно важно!

— Вы можете мне объяснить, в чем дело?

— Только не по телефону, не по телефону! Приезжайте ко мне.

Прошу вас!

— Хорошо.

— Я не шучу. Для вас это страшно важно. Такого важного случая у вас в жизни еще никогда не было… — И он повесил трубку.

— Что случилось? — спросил Филипп Касл.

— Понятия не имею. Фрэнк Хониккер хочет немедленно видеть меня.

— Не торопитесь. Отдохните. Он же идиот.

— Говорит, очень важное дело.

— Откуда он знает — что важно, что неважно? Я бы мог вырезать из банана человечка умнее, чем он.

— Ладно, рассказывайте дальше.

— На чем я остановился?

— На бубонной чуме. Бульдозер заело — столько было трупов.

— А, да. Одну ночь я провел с отцом, помогал ему. Мы только и делали, что искали живых среди мертвецов. Но койка за койкой, койка за койкой — одни трупы.

И вдруг отец засмеялся, — продолжал Касл. — И никак не мог остановиться. Он вышел в ночь с карманным фонарем. Он все смеялся и смеялся. Свет фонаря падал на горы трупов, сложенных во дворе, а он водил по ним лучом фонаря. И вдруг он положил руку мне на голову, и знаете, что этот удивительный человек сказал мне?

— Нет.

— Сынок, — сказал мне мой отец, — когда-нибудь все это будет твоим.

74. КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ КОШКИ

Я поехал домой к Фрэнку в единственном такси Сан-Лоренцо.

Мы ехали мимо безобразной нищеты. Мы поднялись по склону горы Маккэйб. Стало прохладнее. Поднялся туман.

Фрэнк жил в бывшем доме Нестора Эймонса, отца Моны, архитектора, построившего Обитель Надежды и Милосердия в джунглях.

Эймонс сам спроектировал этот дом.

Дом нависал над водопадом, терраса выступала козырьком прямо в туман, плывший над водой. Это было хитрое переплетение очень легких стальных опор и карнизов. Просветы переплета были закрыты по-разному то куском местного гранита, то стеклом, то шторкой из парусины.

Казалось, что дом был выстроен не для того, чтобы служить людям укрытием, а чтобы продемонстрировать причуды его строителя.

Вежливый слуга приветствовал меня и сказал, что Фрэнк еще не вернулся домой. Фрэнка ждали с минуты на минуту. Фрэнк приказал, чтобы меня приняли как можно лучше, устроили поудобнее и попросили остаться ужинать и ночевать. Этот

слуга — он сказал, что его имя Стэнли, — был первым толстым жителем Сан-Лоренцо, попавшимся мне на глаза.

Стэнли провел меня в мою комнату, мы прошли по центру дома вниз по лестнице грубого камня — сбоку шли то открытые, то закрытые прямоугольники в стальной оправе. Моя постель представляла собой толстый поролоновый тюфяк, лежавший на каменной полке — полке из неотесанного камня. Стены моей комнаты были из парусины. Стэнли показал мне, как их по желанию можно подымать и опускать.

Я спросил Стэнли, кто еще дома, и он сказал, что дома только Ньют. Ньют, сказал он, сидит на висячей террасе и пишет картину.

Анджела, сказал он, ушла поглядеть Обитель Надежды и Милосердия в джунглях.

Я вышел на головокружительную террасу, нависшую над водопадом, и застал крошку Ньюта спящим в раскладном желтом кресле.

Картина, над которой работал Ньют, стояла на мольберте у алюминиевых перил. Полотно как бы вписывалось в туманный фон неба, моря и долины.

Сама картина была маленькая, черная, шершавая. Она состояла из сети царапин на густой

черной подмалевке. Царапины оплетались во что-то вроде паутины, и я подумал: не те ли это сети, что липкой бессмыслицей опутывают человеческую жизнь, вывешены здесь на просушку в безлунной ночи?

Я не стал будить лилипута, написавшего эту страшную штуку.

Я закурил, слушая воображаемые голоса в шуме водопада.

Разбудил Ньюта взрыв далеко внизу. Звук прокатился над равниной и ушел в небеса. Палила пушка на боливарской набережной, объяснил мне дворецкий Фрэнка. Она стреляла ежедневно в пять часов.

Маленький Ньют заворочался.

Еще в полусне он потер черными от краски ладонями рот и подбородок, оставляя черные пятна. Он протер глаза, измазав и веки черной краской.

— Привет, — сказал он сонным голосом.

— Привет, — сказал я, — мне нравится ваша картина.

— А вы видите, что на ней?

— Мне кажется, каждый видит ее по-своему.

— Это же кошкина колыбель.

— Ага, — сказал я, — здорово. Царапины — это веревочка.

Правильно?

— Это одна из самых древних игр — заплетать веревочку. Даже эскимосам она известна.

— Да что вы!

— Чуть ли не сто тысяч лет взрослые вертят под носом у своих детей такой переплет из веревочки.

— Угу.

Ньют все еще лежал, свернувшись в кресле. Он расставил руки, словно держа между пальцами сплетенную из веревочки «кошкину колыбель».

— Не удивительно, что ребята растут психами. Ведь такая «кошкина колыбель» — просто переплетенные иксы на чьих-то руках.

А малыши смотрят, смотрят, смотрят…

— Ну и что?

— И никакой, к черту, кошки, никакой, к черту, колыбельки нет!

75. ПЕРЕДАЙТЕ ПРИВЕТ ДОКТОРУ ШВЕЙЦЕРУ

А тут пришла Анджела Хониккер Коннерс, долговязая сестра Ньюта, и привела Джулиана Касла, отца Филиппа и основателя Обители Надежды и Милосердия в джунглях. На Касле был мешковатый костюм белого полотна и галстук веревочкой. Усы у него топорщились. Он был лысоват. Он был очень худ. Он, как я полагаю, был святой.

Тут, на висячей террасе, он познакомился с Ньютом и со мной.

Но он заранее пресек всякий разговор о его святом призвании, заговорив, как гангстер из фильма, цедя слова сквозь зубы и кривя рот.

— Как я понял, вы последователь доктора Альберта Швейцера? — сказал я ему.

— На расстоянии. — Он осклабился, как убийца. — Никогда не встречал этого господина.

— Но он, безусловно, знает о вашей работе, как и вы знаете о нем, — То ли да, то ли нет. Вы с ним встречались?

— Нет.

— Собираетесь встретиться?

— Возможно, когда-нибудь и встречусь.

— Так вот, — сказал Джулиан Касл, — если случайно в своих путешествиях вы столкнетесь с доктором Швейцером, можете сказать ему, что он не мой герой. — И он стал раскуривать длинную сигару.

Когда сигара хорошо раскурилась, он повел в мою сторону ее раскаленным кончиком.

— Можете ему сказать, что он не мой герой, — повторил он, — но можете ему сказать, что благодаря ему Христос стал моим героем.

— Думаю, что его это обрадует.

— А мне наплевать, обрадует или нет. Это личное дело — мое и Христово.

76. ДЖУЛИАН КАСЛ СОГЛАШАЕТСЯ С НЬЮТОМ, ЧТО ВСЕ НА СВЕТЕ – БЕССМЫСЛИЦА

Джулиан Касл и Анджела подошли к картине Ньюта. Касл сложил колечком указательный палец и посмотрел сквозь дырочку на картину.

— Что вы скажете? — спросил я.

— Да тут все черно. Это что же такое — ад?

— Это то, что вы видите, — сказал Ньют.

— Значит, ад, — рявкнул Касл.

— А мне только что объяснили, что это «колыбель для кошки», — сказал я.

— Объяснения автора всегда помогают, — сказал Касл.

— Мне кажется, что это нехорошо, — пожаловалась Анджела. — По-моему, очень некрасиво, правда, я ничего не понимаю в современной живописи. Иногда мне так хочется, чтобы Ньют взял хоть несколько уроков, он бы тогда знал наверняка, правильно он рисует или нет.

— Вы самоучка, а? — спросил Джулиан Касл у Ньюта.

— А разве мы все не самоучки? — спросил

Ньют.

— Прекрасный ответ, — с уважением сказал Касл. Я взялся объяснить скрытый смысл «колыбели для кошки», так как Ньюту явно не хотелось снова заводить всю эту музыку.

Касл серьезно наклонил голову:

— Значит, это картина о бессмысленности всего на свете?

Совершенно согласен.

— Вы и вправду согласны? — спросил я. — Но вы только что говорили про Христа.

— Про кого?

— Про Иисуса Христа.

— А-а! — сказал Касл. — Про него! — Он пожал плечами. — Нужно же человеку о чем-то говорить, упражнять голосовые связки, чтобы они хорошо работали, когда придется сказать что-то действительно важное.

— Понятно. — Я сообразил, что нелегко мне будет писать популярную статейку про этого человека. Придется мне сосредоточиться на его благочестивых поступках и совершенно отмести его сатанинские мысли и слова.

— Можете меня цитировать, — сказал он. — Человек гадок, и человек ничего стоящего и делать не делает и знать не знает. — Он наклонился и

пожал вымазанную краской руку маленького Ньюта:

— Правильно?

Ньют кивнул, хотя ему, как видно, показалось, что тот немного преувеличивает:

— Правильно.

И тут наш святой подошел к картине Ньюта и снял ее с мольберта. Взглянув на нас, он расплылся в улыбке:

— Мусор, мусор, как и все на свете.

И швырнул картину с висячей террасы. Она взмыла кверху в струе воздуха, остановилась, бумерангом отлетела обратно и скользнула в водопад.

Маленький Ньют промолчал.

Первой заговорила Анджела:

— У тебя все лицо в краске, детка. Поди умойся.

77. АСПИРИН И БОКО-МАРУ

— Скажите, мне, доктор, — спросил я Джулиана Касла, — как здоровье «Папы» Монзано?

— А я почем знаю?

— Но я думал, что вы его лечите.

— Мы с ним не разговариваем, — усмехнулся Касл. — Последний раз, года три назад, он мне сказал, что меня не вешают на крюк только потому, что я — американский гражданин.

— Чем же вы его обидели? Приехали сюда, на свои деньги выстроили бесплатный госпиталь для его народа…

— «Папе» не нравится, как мы обращаемся с пациентами, — сказал Касл, — особенно, как мы обращаемся с ними, когда они умирают. В Обители Надежды и Милосердия в джунглях мы напутствуем тех, кто пожелает, перед смертью по боконистскому ритуалу.

— А какой это ритуал?

— Очень простой. Умирающий начинает с повторения того, что говорится. Попробуйте повторить за мной.

— Но я еще не так близок к смерти.

Он жутко подмигнул мне:

— Правильно делаете, что осторожничаете. Умирающий, принимая последнее напутствие, от этих слов часто и умирает раньше времени. Но, наверно, мы вас до этого не допустили бы — ведь пятками мы соприкасаться не станем.

— Пятками?

Он объяснил мне теорию Боконона насчет касания пятками.

— Теперь я понимаю, что я видел в отеле. — И я рассказал ему про двух маляров.

— А знаете, это действует, — сказал он. — Люди, которые проделывают эту штуку, на самом деле начинают лучше относиться друг к другу и ко всему на свете.

— Гм-мм…

— Боко-мару.

— Простите?

— Так называют эту ножную церемонию, — сказал Касл. — Да, действует. А я радуюсь, когда что-то действует. Не так уж много вещей действуют.

— Наверно, нет.

— Мой госпиталь не мог бы работать, не будь аспирина и бокомару.

— Я так понимаю, — сказал я, — что на острове еще множество боконистов, несмотря на закон,

несмотря на «ку-рю-ку».

Он рассмеялся:

— Еще не разобрались?

— В чем это?

— Все до одного на Сан-Лоренцо истинные боконисты, несмотря на «ку-рю-ку».

78. В СТАЛЬНОМ КОЛЬЦЕ

— Когда Боконон и Маккэйб много лет назад завладели этой жалкой страной, — продолжал Джулиан Касл, — они выгнали всех попов. И Боконон, шутник и циник, изобрел новую религию.

— Слыхал, — сказал я.

— Ну вот, когда стало ясно, что никакими государственными или экономическими реформами нельзя облегчить жалкую жизнь этого народа, религия стала единственным способом вселять в людей надежду. Правда стала врагом народа, потому что правда была страшной, и Боконон поставил себе цель — давать людям ложь, приукрашивая ее все больше и больше.

— Как же случилось, что он оказался вне закона?

— Это он сам придумал. Он попросил Маккэйба объявить вне закона и его самого, и его учение, чтобы внести в жизнь верующих больше напряженности, больше остроты. Кстати, он написал об этом небольшой стишок. И Касл прочел стишок, которого нет в Книгах Боконона:

С правительством простился я,

Сказав им откровенно,
Что вера – разновидность
Государственной измены.

— Боконон и крюк придумал как самое подходящее наказание за боконизм, — сказал Касл. — Он видел когда-то такой крюк в комнате пыток в музее мадам Тюссо. — Касл жутко скривился и подмигнул: — Тоже для острастки.

— И многие погибли на крюке?

— Не с самого начала, не сразу. Сначала было одно притворство. Ловко распускались слухи насчет казней, но на самом деле никто не мог сказать, кого же казнили. Маккэйб немало повеселился, придумывая самые кровожадные угрозы по адресу боконистовы, то есть всего народа.

А Боконон уютно скрывался в джунглях, — продолжал Касл, — там писал, проповедовал целыми днями и кормился всякими вкусностями, которые приносили его последователи.

Маккэйб собирал безработных, а безработными были почти все, и организовывал огромные облавы на Боконона. Каждые полгода он объявлял торжественно, что Боконон окружен стальным кольцом и кольцо это безжалостно смыкается.

Но потом командиры этого стального кольца,

доведенные горькой неудачей чуть ли не до апоплексического удара, докладывали Маккэйбу, что Боконону удалось невозможное.

Он убежал, он испарился, он остался жив, он снова будет проповедовать. Чудо из чудес!

79. ПОЧЕМУ МАККЭЙБ ОГРУБЕЛ ДУШОЙ

— Маккэйбу и Боконону не удалось поднять то, что зовется «уровень жизни», — продолжал Касл. — По правде говоря, жизнь осталась такой же короткой, такой же грубой, такой же жалкой.

Но люди уже меньше думали об этой страшной правде. Чем больше разрасталась живая легенда о жестоком тиране и кротким святом, скрытом в джунглях, тем счастливее становился народ. Все были заняты одним делом: каждый играл свою роль в спектакле — и любой человек на свете мог этот спектакль понять, мог ему аплодировать.

— Значит, жизнь стала произведением искусства! — восхитился я.

— Да. Но тут возникла одна помеха.

— Какая?

— Вся драма ожесточила души обоих главных актеров — Маккэйба и Боконона. В молодости они очень походили друг на друга, оба были наполовину ангелами, наполовину пиратами.

Но по пьесе требовалось, чтобы пиратская половина Бокононовой души и ангельская поло-

вина души Маккэйба ссохлись и отпали. И оба, Маккэйб и Боконон, заплатили жестокой мукой за счастье народа: Маккэйб познал муки тирана, Боконон — мучения святого.

Оба, по существу, спятили с ума.

Касл согнул указательный палец левой руки крючком:

— Вот тут-то людей по-настоящему стали вешать на «ку-рю-ку».

— Но Боконона так и не поймали? — спросил я.

— Нет, у Маккэйба хватило смекалки понять, что без святого подвижника ему не с кем будет воевать и сам он превратится в бессмыслицу. «Папа» Монзано тоже это понимает.

— Неужто люди до сих пор умирают на крюке?

— Это неизбежный исход.

— Нет, я спрашиваю, неужели «Папа» и в самом деле казнит людей таким способом?

— Он казнит кого-нибудь раз в два года — так сказать, чтобы каша не остывала. — Касл вздохнул, поглядел на вечернее небо: — Дела, дела, дела…

— Как?

— Так мы, бокони́сты, говорим, — сказал он, — когда чувствуем, что заваривается что-то таинственное.

— Как, и вы? — Я был потрясен. — Вы тоже боконист?

Он спокойно поднял на меня глаза.

— И вы тоже. Скоро вы это поймете.

80. ВОДОПАД В РЕШЕТЕ

Анджела и Ньют сидели на висячей террасе со мной и Джулианом Каслом. Мы пили коктейли. О Фрэнке не было ни слуху ни духу.

И Анджела и Ньют, по-видимому, любили выпить. Касл сказал мне, что грехи молодости стоили ему одной почки и что он, к несчастью, вынужден ограничиться имбирным элем.

После нескольких бокалов Анджела стала жаловаться, что люди обманули ее отца:

— Он отдал им так много, а они дали ему так мало.

Я стал добиваться — в чем же, например, сказалась эта скупость, и добился точных цифр.

— Всеобщая сталелитейная компания платила ему по сорок пять долларов за каждый патент, полученный по его изобретениям, — сказала Анджела, — и такую же сумму платили за любой патент. — Она грустно покачала головой:

— Сорок пять долларов, а только подумать, какие это были патенты!

— Угу, — сказал я. — Но я полагаю, он и жалованье получал.

— Самое большее, что он зарабатывал. — это

двадцать восемь тысяч долларов в год.

— Я бы сказал, не так уж плохо.

Она вся вспыхнула:

— А вы знаете, сколько получают кинозвезды?

— Иногда порядочно.

— А вы знаете, что доктор Брид зарабатывал в год на десять тысяч долларов больше, чем отец?

— Это, конечно, большая несправедливость.

— Мне осточертела несправедливость.

Голос у нее стал таким истерически-крикливым, что я сразу переменил тему. Я спросил Джулиана Касла: как он думает, что сталось с картиной Ньюта, брошенной в водопад?

— Там, внизу, есть маленькая деревушка, — сказал мне Касл, — не то пять, не то шесть хижин. Кстати, там родился «Папа» Монзано.

Водопад кончается там огромным каменным бассейном. Через узкое горло бассейна, откуда вытекает река, крестьяне протянули частую металлическую сетку. Через нее и процеживается вся вода из водопада.

— Значит, по-вашему, картина Ньюта застряла в этой сетке? — спросил я.

— Страна тут нищая, как вы, может быть, заметили, — сказал Касл. — В сетке ничего не застревает надолго. Я представляю себе, что кар-

тину Ньюта сейчас уже сушат на солнце вместе с окурком моей сигары. Четыре квадратных фута проклеенного холста, четыре обточенные и обтесанные планки от подрамника, может, и пара кнопок да еще сигара. В общем, неплохой улов для какого-нибудь нищего-пренищего человека.

— Просто визжать хочется, — сказала Анджела, — как подумаю, сколько платят разным людям и сколько платили отцу — а сколько он им давал!

Видно было, что сейчас она заплачет.

— Не плачь, — ласково попросил Ньют.

— Трудно удержаться, — сказала она.

— Пойди поиграй на кларнете, — настаивал Ньют. — Это тебе всегда помогает.

Мне показалось, что такой совет довольно смешон. Но по реакции Анджелы я понял, что совет был дан всерьез и пошел ей на пользу.

— В таком настроении, — сказала она мне и Каслу, — только это иногда и помогает.

Но она постеснялась сразу побежать за кларнетом. Мы долго просили ее поиграть, но она сначала выпила еще два стакана.

— Она правда замечательно играет, — пообещал нам Ньют.

— Очень хочется вас послушать, — сказал

Касл.

— Хорошо, — сказала Анджела и встала, чуть покачиваясь. — Хорошо, я вам сыграю.

Когда она вышла, Ньют извинился за нее:

— Жизнь у нее тяжелая. Ей нужно отдохнуть.

— Она, должно быть, болела? — спросил я.

— Муж у нее скотина, — сказал Ньют. Видно было, что он люто ненавидит красивого молодого мужа Анджелы, преуспевающего Гаррисона С. Коннерса, президента компании «Фабри-Тек». — Никогда дома не бывает, а если явится, то пьяный в доску и весь измазанный губной помадой.

— А мне, по ее словам, показалось, что это очень счастливый брак, — сказал я.

Маленький Ньют расставил ладони на шесть дюймов и растопырил пальцы:

— Кошку видали? Колыбельку видали?

81. БЕЛАЯ НЕВЕСТА ДЛЯ СЫНА ПРОВОДНИКА СПАЛЬНЫХ ВАГОНОВ

Я не знал, как прозвучит кларнет Анджелы Хониккер. Никто и вообразить не мог, как он прозвучит.

Я ждал чего-то патологического, но я не ожидал той глубины, той силы, той почти невыносимой красоты этой патологии.

Анджела увлажнила и согрела дыханием мундштук кларнета, не издав ни одного звука. Глаза у нее остекленели, длинные костлявые пальцы перебирали немые клавиши инструмента.

Я ждал с тревогой, вспоминая, что рассказывал мне Марвин Брид: когда Анджеле становилось невыносимо от тяжелой жизни с отцом, она запиралась у себя в комнате и там играла под граммофонную пластинку.

Ньют уже поставил долгоиграющую пластинку на огромный проигрыватель в соседней комнате. Он вернулся и подал мне конверт от пластинки.

Пластинка называлась «Рояль в веселом доме». Это было соло на рояле, и играл Мид Люкс

Льюис.

Пока Анджела, как бы впадая в транс, дала Льюису сыграть первый номер соло, я успел прочесть то, что стояло на обложке.

"Родился в Луисвилле, штат Кентукки, в 1905 г ., — читал я. — Мистер Льюис не занимался музыкой до 16 лет, а потом отец купил ему скрипку. Через год юный Льюис услышал знаменитого пианиста Джимми Янси. «Это, — вспоминает Льюис, — и было то, что надо».

Вскоре, — читал я дальше, — Льюис стал играть на рояле буги-вуги, стараясь взять от своего старшего товарища Янси все, что возможно, — тот до самой своей смерти оставался ближайшим другом и кумиром мистера Льюиса. Так как Льюис был сыном проводника пульмановских вагонов, — читал я дальше, — Что семья Льюисов жила возле железной дороги. Ритм поездов вошел в плоть и кровь юного Льюиса. И вскоре он сочинил блюз для рояля в ритме буги-вуги, ставший уже классическим в своем роде, под названием «Тук-тук-тук вагончики».

Я поднял голову. Первый помер пластинки уже кончился, игла медленно прокладывала себе дорожку к следующему номеру. Как я прочел на обложке, следующий назывался «Блюз

„Дракон“».

Мид Люкс Льюис сыграл первые такты соло — и тут вступила Анджела Хониккер.

Глаза у нее закрылись.

Я был потрясен.

Она играла блестяще.

Она импровизировала под музыку сына проводника; она переходила от ласковой лирики и хриплой страсти к звенящим вскрикам испуганного ребенка, к бреду наркомана. Ее переходы, глиссандо, вели из рая в ад через все, что лежит между ними.

Так играть могла только шизофреничка или одержимая.

Волосы у меня встали дыбом, как будто Анджела каталась по полу с пеной у рта и бегло болтала по-древневавилонски.

Когда музыка оборвалась, я закричал Джулиану Каслу, тоже пронзенному этими звуками:

— Господи, вот вам жизнь! Да разве ее хоть чуточку поймешь?

— А вы и не старайтесь, — сказал Касл. — Просто сделайте вид, что вы все понимаете.

— Это очень хороший совет. — Я сразу обмяк. И Касл процитировал еще один стишок:

Тигру надо жрать,

Порхать-пичужкам всем,
А человеку-спрашивать:
«Зачем, зачем, зачем?»
Но тиграм время спать,
Птенцам-лететь обратно,
А человеку – утверждать,
Что все ему понятно.

— Это откуда же? — спросил я.

— Откуда же, как не из Книг Боконона.

— Очень хотелось бы достать экземпляр.

— Их нигде не достать, — сказал Касл. — Книги не печатались. Их переписывают от руки. И конечно, законченного экземпляра вообще не существует, потому что Боконон каждый день добавляет еще что-то.

Маленький Ньют фыркнул:

— Религия!

— Простите? — сказал Касл.

— Кошку видали? Колыбельку видали?

82. ЗА-МА-КИ-БО

Генерал-майор Фрэнклин Хониккер к ужину не явился.

Он позвонил по телефону и настаивал, чтобы с ним поговорил я, и никто другой. Он сказал мне, что дежурит у постели «Папы» и что «Папа» умирает в страшных муках. Голос Фрэнка звучал испуганно и одиноко.

— Слушайте, — сказал я, — а почему бы мне не вернуться в отель, а потом, когда все кончится, мы с вами могли бы встретиться.

— Нет, нет, нет. Не уходите никуда. Надо, чтобы вы были там, где я сразу смогу вас поймать. — Видно было, что он ужасно боится выпустить меня из рук. И оттого, что мне было непонятно, почему он так интересуется мной, мне тоже стало жутковато.

— А вы не можете объяснить, зачем вам надо меня видеть? — спросил я.

— Только не по телефону.

— Это насчет вашего отца?

— Насчет вас.

— Насчет того, что я сделал?

— Насчет того, что вам надо сделать.

Я услышал, как где-то там, у Фрэнка, закудахтала курица.

Услышал, как там открылись двери и откуда-то донеслась музыка — заиграли на ксилофоне. Опять играли «На склоне дня». Потом двери закрылись, и музыки я больше не слыхал.

— Я был бы очень благодарен, если бы вы мне хоть намекнули, чего вы от меня ждете, надо же мне как-то подготовиться, — сказал я.

— За-ма-ки-бо.

— Что такое?

— Это боконистское слово.

— Никаких боконистских слов я не знаю.

— Джулиан Касл там?

— Да.

— Спросите его, — сказал Фрэнк. — Мне надо идти. — И он повесил трубку.

Тогда я спросил Джулиана Касла, что значит за-ма-ки-бо.

— Хотите простой ответ или подробное разъяснение?

— Давайте начнем с простого.

— Судьба, — сказал он. — Неумолимый рок.

83. ДОКТОР ШЛИХТЕР ФОН КЕНИГСВАЛЬД ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ТОЧКЕ РАВНОВЕСИЯ

— Рак, — сказал Джулиан Касл, когда я ему сообщил, что «Папа» умирает в мучениях.

— Рак чего?

— Чуть ли не всего. Вы сказали, что он упал в обморок на трибуне?

— Ну конечно, — сказала Анджела.

— Это от наркотиков, — заявил Касл. — Он сейчас дошел до той точки, когда наркотики и боли примерно уравновешиваются.

Увеличить долю наркотиков — значит убить его.

— Наверно, я когда-нибудь покончу с собой, — пробормотал Ньют.

Он сидел на чем-то вроде высокого складного кресла, которое он брал с собой в гости. Кресло было сделано из алюминиевых трубок и парусины. — Лучше, чем подкладывать словарь, атлас и телефонный справочник, — сказал Ньют, расставляя кресло.

— А капрал Маккэйб так и сделал, — сказал Касл. — Назначил своего дворецкого себе в преемники и застрелился.

— Тоже рак? — спросил я.

— Не уверен. Скорее всего, нет. По-моему, он просто извелся от бесчисленных злодеяний. Впрочем, все это было до меня.

— До чего веселый разговор! — сказала Анджела.

— Думаю, все согласятся, что время сейчас веселое, — сказал Касл.

— Знаете что, — сказал я ему, — по-моему, у вас есть больше оснований веселиться, чем у кого бы то ни было, вы столько добра делаете.

— Знаете, а у меня когда-то была своя яхта.

— При чем тут это?

— У владельца яхты тоже больше оснований веселиться, чем у многих других.

— Кто же лечит «Папу», если не вы? — спросил я.

— Один из моих врачей, некий доктор Шлихтер фон Кенигсвальд.

— Немец?

— Вроде того. Он четырнадцать лет служил в эсэсовских частях.

Шесть лет он был лагерным врачом в Освен-

циме.

— Искупает, что ли, свою вину в Обители Надежды и Милосердия?

— Да, — сказал Касл. — И делает большие успехи, спасает жизнь направо и налево.

— Молодец.

— Да, — сказал Касл. — Если он будет продолжать такими темпами, то число спасенных им людей сравняется с числом убитых им же примерно к три тысячи десятому году.

Так в мой карасе вошел еще один человек, доктор Шлихтер фон Кенигсвальд.

84. ЗАТЕМНЕНИЕ

Прошло три часа после ужина, а Фрэнк все еще не вернулся.

Джулиан Касл попрощался с нами и ушел в Обитель Надежды и Милосердия.

Анджела, Ньют и я сидели на висячей террасе. Мягко светились внизу огни Боливара. Над административным зданием аэропорта «Монзано» высился огромный сияющий крест. Его медленно вращал какой-то механизм, распространяя электрифицированную благодать на все четыре стороны света.

На северной стороне острова находилось еще несколько ярко освещенных мест. Но горы заслоняли все, и только отсвет озарял небо. Я попросил Стэнли, дворецкого Фрэнка, объяснить мне, откуда идет это зарево.

Он назвал источник света, водя пальцем против часовой стрелки:

— Обитель Надежды и Милосердия в джунглях, дворец «Папы» и форт Иисус.

— Форт Иисус?

— Учебный лагерь для наших солдат.

— И его назвали в честь Иисуса Христа?

— Конечно. А что тут такого?

Новые клубы света озарили небо на северной стороне. Прежде чем я успел спросить, откуда идет свет, оказалось, что это фары машин, еще скрытых горами. Свет фар приближался к нам.

Это подъезжал патруль.

Патруль состоял из пяти американских грузовиков армейского образца. Пулеметчики стояли наготове у своих орудий.

Патруль остановился у въезда в поместье Фрэнка. Солдаты сразу спрыгнули с машин. Они тут же взялись за работу, копая в саду гнезда для пулеметов и небольшие окопчики. Я вышел вместе с дворецким Фрэнка узнать, что происходит.

— Приказано охранять будущего президента Сан-Лоренцо, — сказал офицер на местном диалекте.

— А его тут нет, — сообщил я ему.

— Ничего не знаю, — сказал он. — Приказано окопаться тут. Вот все, что мне известно.

Я сообщил об этом Анджеле и Ньюту.

— Как по-вашему, ему действительно грозит опасность? — спросила меня Анджела.

— Я здесь человек посторонний, — сказал я. В эту минуту испортилось электричество. Во всем Сан-Лоренцо погас свет.

85. СПЛОШНАЯ ФОМА

Слуги Фрэнка принесли керосиновые фонари, сказали, что в Сан-Лоренцо электричество портится очень часто и что тревожиться нечего. Однако мне было трудно подавить беспокойство, потому что Фрэнк говорил мне про мою за-маки-бо.

Оттого у меня и появилось такое чувство, словно моя собственная воля значила ничуть не больше, чем воля поросенка, привезенного на чикагские бойни.

Мне снова вспомнился мраморный ангел в Илиуме.

И я стал прислушиваться к солдатам в саду, их стуку, звяканью и бормотанью.

Мне было трудно сосредоточиться и слушать Анджелу и Ньюта, хотя они рассказывали довольно интересные вещи. Они рассказывали, что у их отца был брат-близнец. Но они никогда его не видели. Звали его Рудольф. В последний раз они слышали, будто у него мастерская музыкальных шкатулок в Швейцарии, в Цюрихе.

— Отец никогда о нем не вспоминал, — сказала Анджела.

— Отец почти никогда ни о ком не вспоминал, — сказал Ньют.

Как они мне рассказали, у старика еще была сестра. Ее звали Селия. Она выводила огромных шнауцеров на Шелтер-Айленде, в штате Нью-Йорк.

— До сих пор посылает нам открытки к рождеству, — сказала Анджела.

— С изображением огромного шнауцера, — сказал маленький Ньют.

— Правда, странно, какая разная судьба у разных людей в одной семье? — заметила Анджела.

— Очень верно, очень точно сказано, — подтвердил я. И, извинившись перед блестящим обществом, спросил у Стэнли, дворецкого Фрэнка, нет ли у них в доме экземпляра Книг Боконона.

Сначала Стэнли сделал вид, что не понимает, о чем я говорю.

Потом проворчал, что Книги Боконона — гадость. Потом стал утверждать, что всякого, кто читает Боконона, надо повесить на крюке. А потом принес экземпляр книги с ночной тумбочки Фрэнка.

Это был тяжелый том весом с большой словарь. Он был переписан от руки. Я унес книгу в свою спальню, на свою каменную лежанку с пороло-

новым матрасом.

Оглавления в книге не было, так что искать значение слова за-ма-ки-бо было трудно, и в тот вечер я так его и не нашел.

Кое-что я все же узнал, но мне это мало помогло. Например, я познакомился с бокононовской космогонией, где Борасизи-Солнце обнимал Пабу-Луну в надежде, что Пабу родит ему огненного младенца.

Но бедная Пабу рожала только холодных младенцев, не дававших тепла, и Борасизи с отвращением их выбрасывал. Из них и вышли планеты, закружившиеся вокруг своего грозного родителя на почтительном расстоянии.

А вскоре несчастную Пабу тоже выгнали, и она ушла жить к своей любимой дочке — Земле. Земля была любимицей Луны-Пабу, потому что на Земле жили люди, они смотрели на Пабу, любовались ею, жалели ее.

Что же думал сам Боконон о своей космогонии?

— Фо'ма! Ложь, — писал он. — Сплошная фо'ма!

86. ДВА МАЛЕНЬКИХ ТЕРМОСА

Трудно поверить, что я уснул, но все же я, наверно, поспал — иначе как мог бы меня разбудить грохот и потоки света?

Я скатился с кровати от первого же раската и ринулся с веранды в дом с безмозглым рвением пожарного — добровольца.

И тут же наткнулся на Анджелу и Ньюта, которые тоже выскочили из постелей.

Мы с ходу остановились, тупо вслушиваясь в кошмарный лязг и постепенно различая звук радио, шум электрической мойки для посуды, шум насоса; все это вернул к жизни включенный электрический ток.

Мы все трое уже настолько проснулись, что могли понять весь комизм нашего положения, понять, что мы реагировали до смешного по-человечески на вполне безобидное явление, приняв его за смертельную опасность. И чтобы показать свою власть над судьбой, я выключил радио.

Мы все трое рассмеялись.

И тут мы наперебой, спасая свое человеческое достоинство, поспешили показать себя самыми лучшими знатоками человеческих слабостей с

самым большим чувством юмора.

Ньют опередил нас всех: он сразу заметил, что у меня в руках паспорт, бумажник и наручные часы. Я даже не представлял себе, что именно я схватил перед лицом смерти, да и вообще не знал, когда я все это ухватил.

Я с восторгом отпарировал удар, спросив Анджелу и Ньюта, зачем они оба держат маленькие термосы, одинаковые, серые с красным термосики, чашки на три кофе.

Для них самих это было неожиданностью. Они были поражены, увидев термосы у себя в руках.

Но им не пришлось давать объяснения, потому что на дворе раздался страшный грохот. Мне поручили тут же узнать, что там грохочет, и с мужеством, столь же необоснованным, как первый испуг, я пошел в разведку и увидел Фрэнка Хоникера, который возился с электрическим генератором, поставленным на грузовик.

От генератора и шел ток для нашего дома. Мотор, двигавший его, стрелял и дымил. Фрэнк пытался его наладить.

Рядом с ним стояла божественная Мона. Она смотрела, что он делает, серьезно и спокойно, как всегда.

— Слушайте, ну и новость я вам скажу! — за-

кричал мне Фрэнк и пошел в дом, а мы — за ним.

Анджела и Ньют все еще стояли в гостиной, но каким-то образом они куда-то успели спрятать те маленькие термосы.

А в этих термосах, конечно, была часть наследства доктора Феликса Хоникера, часть вампитера для моего карассакусочки льда-девять.

Фрэнк отвел меня в сторону:

— Вы совсем проснулись?

— Как будто и не спал.

— Нет, правда, я надеюсь, что вы окончательно проснулись, потому что нам сейчас же надо поговорить.

— Я вас слушаю.

— Давайте отойдем. — Фрэнк попросил Мону чувствовать себя как дома. — Мы позовем тебя, когда понадобится.

Я посмотрел на Мону и подумал, что никогда в жизни я ни к кому так не стремился, как сейчас к ней.

87. Я – СВОЙ В ДОСКУ

Фрэнк Хониккер, похожий на изголодавшегося мальчишку, говорил со мной растерянно и путано, и голос у него срывался, как игрушечная пастушья дудка. Когда-то, в армии, я слышал выражение: разговаривает, будто у него кишка бумажная. Вот так и разговаривал генерал-майор Хониккер. Бедный Фрэнк совершенно не привык говорить с людьми, потому что все детство скрытничал, разыгрывая тайного агента Икс-9.

Теперь, стараясь говорить со мной душевно, по-свойски, он непрестанно вставлял заезженные фразы, вроде «вы же свой в доску» или «поговорим без дураков, как мужчина с мужчиной».

И он отвел меня в свою, как он сказал, «берлогу», чтобы там «назвать кошку кошкой», а потом «пуститься по воле волн».

И мы сошли по ступенькам, высеченным в скале, и попали в естественную пещеру, над которой шумел водопад. Там стояло несколько чертежных столов, три светлых голых скандинавских кресла, книжный шкаф с монографиями по архитектуре на немецком, французском, финском, итальянском и английском языках.

Все было залито электрическим светом, пульсировавшим в такт задыхающемуся генератору.

Но самым потрясающим в этой пещере были картины, написанные на стенах с непринужденностью пятилетнего ребенка, написанные беспримесным цветом — глина, земля, уголь — первобытного человека. Мне не пришлось спрашивать Фрэнка, древние ли это рисунки. Я легко определил период по теме картин. Не мамонты, не саблезубые тигры и не пещерные медведи были изображены на них.

На всех картинах без конца повторялся облик Моны Эймонс Монзано в раннем детстве.

— Значит, тут... тут и работал отец Моны? — спросил я.

— Да, конечно. Он тот самый финн, который построил Обитель Надежды и Милосердия в джунглях.

— Знаю.

— Но я привел вас сюда не для разговора о нем.

— Вы хотите поговорить о вашем отце?

— Нет, о вас. — Фрэнк положил мне руку на плечо и посмотрел прямо в глаза. Впечатление было ужасное. Фрэнк хотел выразить дружеские чувства, но мне показалось, что он похож на диковинного совенка, ослепленного ярким светом

и вспорхнувшего на высокий белый столб.

— Ну, выкладывайте все сразу.

— Да, вола вертеть нечего, — сказал он. — Я в людях разбираюсь, сами понимаете, а вы — свой в доску.

— Спасибо.

— По-моему, мы с вами поладим.

— Не сомневаюсь.

— У нас у обоих есть за что зацепиться Я обрадовался, когда он снял руку с моего плеча. Он сцепил пальцы обеих рук, как зубцы передачи. Должно быть, одна рука изображала меня, а другая — его самого.

— Мы нужны друг другу. — И он пошевелил пальцами, изображая взаимодействие передачи.

Я промолчал, хотя сделал дружественную мину.

— Вы меня поняли? — спросил Фрэнк.

— Вы и я, мы с вами что-то должны сделать вместе, так?

— Правильно! — Фрэнк захлопал в ладоши. — Вы человек светский, привыкли выходить на публику, а я техник, привык работать за кулисами, пускать в ход всякую механику.

— Почем вы знаете, что я за человек? Ведь мы только что познакомились.

— По вашей одежде, по разговору. — Он снова положил мне руку на плечо. — Вы — свой в доску.

— Вы уже это говорили.

Фрэнку до безумия хотелось, чтобы я сам довел до конца его мысль и пришел в восторг. Но я все еще не понимал, к чему он клонит.

— Как я понимаю, вы… вы предлагаете мне какую-то должность здесь, на Сан-Лоренцо?

Он опять захлопал в ладоши. Он был в восторге:

— Правильно. Что вы скажете о ста тысячах долларов в год?

— Черт подери! — воскликнул я. — А что мне придется делать?

— Фактически ничего. Будете пить каждый вечер из золотых бокалов, есть на золотых тарелках, жить в собственном дворце.

— Что же это за должность?

— Президент республики Сан-Лоренцо.

88. ПОЧЕМУ ФРЭНК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ

— Мне? Стать президентом?

— А кому же еще?

— Чушь!

— Не отказывайтесь, сначала хорошенько подумайте! — Фрэнк смотрел на меня с тревогой.

— Нет! Нет!

— Вы же не успели подумать!

— Я успел понять, что это бред.

Фрэнк снова сцепил пальцы:

— Мы работали бы вместе. Я бы вас всегда поддерживал.

— Отлично. Значит, если в меня запульнут, вы тоже свое получите?

— Запульнут?

— Ну пристрелят. Убьют.

Фрэнк был огорошен:

— А кому понадобится вас убивать?

— Тому, кто захочет стать президентом Сан-Лоренцо.

Фрэнк покачал головой.

— Никто в Сан-Лоренцо не хочет стать пре-

зидентом, — утешил он меня. — Это против их религии.

— И против вашей тоже? Я думал, что вы станете тут президентом.

— Я… — сказал он и запнулся. Вид у него был несчастный.

— Что вы? — спросил я.

Он повернулся к пелене воды, занавесившей пещеру.

— Зрелость, как я понимаю, — начал он, — это способность осознавать предел своих возможностей.

Он был близок к бокононовскому определению зрелости.

«Зрелость, — учит нас Боконон, — это горькое разочарование, и ничем его не излечить, если только смех не считать лекарством от всего на свете».

— Я свою ограниченность понимаю, — сказал Фрэнк. — Мой отец страдал от того же.

— Вот как?

— Замыслов, и очень хороших, у меня много, как было и у отца, — доверительно сообщил мне и водопаду Фрэнк, — но он не умел общаться с людьми, и я тоже не умею.

89. ПУФФ...

-Ну как, возьмете это место? — взволнованно спросил Фрэнк.

— Нет, — сказал я.

— А не знаете, кто бы за это взялся?

Фрэнк был классическим примером того, что Боконон зовет пуфф... А пуфф в бокононовском смысле означает судьбу тысячи людей, доверенную дурре. А дурра — значит ребенок, заблудившийся во мгле.

Я расхохотался.

— Вам смешно?

— Не обращайте внимания, если я вдруг начинаю смеяться, — попросил я. — Это у меня такой бзик.

— Вы надо мной смеетесь?

Я потряс головой:

— Нет!

— Честное слово?

— Честное слово.

— Надо мной вечно все смеялись.

— Наверно, вам просто казалось.

— Нет, мне вслед кричали всякие слова, а уж это мне не могло казаться.

— Иногда ребята выкидывают гадкие шутки, но без всякого злого умысла, — сказал я ему. Впрочем, поручиться за это я не мог бы.

— А знаете, что они мне кричали вслед?

— Нет.

— Они кричали: «Эй, Икс-девять, ты куда идешь?»

— Ну, тут ничего плохого нет.

— Они меня так дразнили. — Фрэнк помрачнел при этом воспоминании:

— «Тайный агент Икс-девять».

Я не сказал ему, что уже слышал об этом.

— «Ты куда идешь, Икс-девять»? — снова повторил Фрэнк.

Я представил себе этих задир, представил себе, куда их теперь загнала, заткнула судьба. Остряки, оравшие на Фрэнка, теперь наверняка занимали смертельно скучные места в сталелитейной компании, на электростанции в Илиуме, в правлении телефонной компании…

А тут, передо мной, честью клянусь, стоял тайный агент Икс-9, к тому же генерал-майор, и предлагал мне стать королем… Тут, в пещере, занавешенной тропическим водопадом.

— Они бы здорово удивились, скажи я им, куда я иду.

— Вы хотите сказать, что у вас было предчувствие, до чего вы дойдете? — Мой вопрос был бокононовским вопросом.

— Нет, я просто шел в «Уголок любителя» к Джеку, — сказал он, отведя мой вопрос.

— И только-то?

— Они все знали, что я туда иду, но не знали, что там делалось. Они бы не на шутку удивились — особенно девчонки, — если бы знали, что там на самом деле происходит. Девчонки считали, что я в этих делах ничего не понимаю.

— А что же там на самом деле происходило?

— Я путался с женой Джека все ночи напролет. Вот почему я вечно засыпал в школе. Вот почему я так ничего и не добился при всех своих способностях.

Он стряхнул с себя эти мрачные воспоминания:

— Слушайте. Будьте президентом Сан-Лоренцо. Ей-богу, при ваших данных вы здорово подойдете. Ну пожалуйста.

90. ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАГВОЗДКА

И ночной час, и пещера, и водопад, и мраморный ангел в Илиуме…

И 250 тысяч сигарет, и три тысячи литров спиртного, и две жены, и ни одной жены…

И нигде не ждет меня любовь.

И унылая жизнь чернильной крысы…

И Пабу-Луна, и Борасизи-Солнце, и их дети.

Все как будто сговорились создать единый космический рок — вин-дит, один мощный толчок к боконизму, к вере в то, что творец ведет мою жизнь и что он нашел для меня дело.

И я внутренне саронгировал, то есть поддался кажущимся требованиям моего вин-дита.

И мысленно я уже согласился стать президентом Сан-Лоренцо.

Внешне же я все еще был настороже и полон подозрений.

— Но, наверно, тут есть какая-то загвоздка, — настаивал я.

— Нет.

— А выборы будут?

— Никаких выборов никогда не было. Мы просто объявим, кто стал президентом.

— И никто возражать не станет?

— Никто ни на что не возражает. Им безразлично. Им все равно.

— Но должна же быть какая-то загвоздка.

— Да, что-то в этом роде есть, — сознался Фрэнк.

— Так я и знал! — Я уже открещивался от своего вин-дита. — Что именно? В чем загвоздка?

— Да нет, в сущности, никакой загвоздки нет, если не захотите, можете отказаться. Но было бы очень здорово…

— Что было бы «очень здорово»?

— Видите ли, если вы станете президентом, то хорошо было бы вам жениться на Моне. Но вас никто не заставляет, если вы не хотите. Тут вы хозяин.

— И она пошла бы за меня?!

— Раз она хотела выйти за меня, то и за вас выйдет. Вам остается только спросить ее.

— Но почему она непременно скажет «да»?

— Потому что в Книгах Боконона предсказано, что она выйдет замуж за следующего президента Сан-Лоренцо, — сказал Фрэнк.

91. МОНА

Фрэнк привел Мону в пещеру ее отца и оставил нас вдвоем.

Сначала нам трудно было разговаривать. Я оробел. Платье на ней просвечивало. Платье на ней голубело. Это было простое платье, слегка схваченное у талии тончайшим шнуром. Все остальное была сама Мона. «Перси еа как плоды граната», или как это там сказано, но на самом деле просто юная женская грудь.

Обнаженные ноги. Ничего, кроме прелестно отполированных ноготков и тоненьких золотых сандалий.

— Как... как вы себя чувствуете? — спросил я. Сердце мое бешено колотилось. В ушах стучала кровь.

— Ошибку сделать невозможно, — уверила она меня. Я не знал, что боконисты обычно приветствуют этими словами оробевшего человека. И я в ответ начал с жаром обсуждать, можно сделать ошибку или нет.

— О господи, вы и не представляете себе, сколько ошибок я уже наделал. Перед вами — чемпион мира по ошибкам, — лопотал я. — А вы знаете,

что Фрэнк сейчас сказал мне?

— Про меня?

— Про все, но особенно про вас.

— Он сказал, что я буду вашей, если вы заботите?

— Да.

— Это правда.

— Я… Я… Я…

— Что?

— Не знаю, что сказать…

— Боко-мару поможет, — предложила она.

— Как?

— Снимайте башмаки! — скомандовала она. И с непередаваемой грацией она сбросила сандалии.

Я человек поживший, и, по моему подсчету, я знал чуть ли не полсотни женщин. Могу сказать, что видел в любых вариантах, как женщина раздевается. Я видел, как раздвигается занавес перед финальной сценой.

И все же та единственная женщина, которая невольно заставила меня застонать, только сняла сандалии.

Я попытался развязать шнурки на ботинках. Хуже меня никто из женихов не запутывался. Один башмак я снял, но другой затянул еще крепче.

Я сломал ноготь об узел и в конце концов стя-

нул башмак не развязывая.

Потом я сорвал с себя носки.

Мона уже сидела, вытянув ноги, опираясь округлыми руками на пол сзади себя, откинув голову, закрыв глаза.

И я должен был совершить впервые… впервые, в первый раз… господи боже мой…

Боко-мару.

92. ПОЭТ ВОСПЕВАЕТ СВОЕ ПЕРВОЕ БОКО-МАРУ

Это сочинил не Боконон.
Это сочинил я.

Светлый призрак,
Невидимый дух – чего?
Это я,
Душа моя.
Дух, томимый любовью…
Давно
Одинокий…
Так давно…
Встретишь ли душу другую,
Родную?
Долго вел я тебя,
Душа моя,
Ложным путем
К встрече
Двух душ.
И вот душа

Ушла в пятки.
Теперь
Все в порядке.
Светлую душу другую
Нежно люблю,
Целую…
М-мм-ммм-мммммм-ммм.

93. КАК Я ЧУТЬ НЕ ПОТЕРЯЛ МОЮ МОНУ

— Теперь тебе легче говорить со мной? — спросила Мона.

— Будто мы с тобой тысячу лет знакомы, — сознался я. Мне хотелось плакать. — Люблю тебя, Мона!

— И я люблю тебя. — Она сказала эти слова совсем просто.

— Ну и дурак этот Фрэнк.

— Почему?

— Отказался от тебя.

— Он меня не любил. Он собирался на мне жениться, потому что «Папа» так захотел. Он любит другую.

— Кого?

— Одну женщину в Илиуме.

Этой счастливицей, наверно, была жена Джека, владельца «Уголка любителя».

— Он сам тебе сказал?

— Сказал сегодня, когда вернул мне слово, и сказал, чтобы я вышла за тебя.

— Мона…

— Да?

— У тебя… у тебя есть еще кто-нибудь?

Мона очень удивилась.

— Да. Много, — сказала она наконец.

— Ты любишь многих?

— Я всех люблю.

— Как… Так же, как меня?

— Да. — Она как будто и не подозревала, что это меня заденет.

Я встал с пола, сел в кресло и начал надевать носки и башмаки.

— И ты, наверно… ты выполняешь… ты делаешь то, что мы сейчас делали… с теми… с другими?

— Боко-мару?

— Боко-мару.

— Конечно.

— С сегодняшнего дня ты больше ни с кем, кроме меня, этого делать не будешь, — заявил я.

Слезы навернулись у нее на глаза. Видно, ей нравилась эта распущенность, видно, ее рассердило, что я хотел пристыдить ее.

— Но я даю людям радость. Любовь — это хорошо, а не плохо.

— Но мне, как твоему мужу, нужна вся твоя любовь.

Она испуганно уставилась на меня:

— Ты — син-ват.

— Что ты сказала?

— Ты — син-ват! — крикнула она. — Человек, который хочет забрать себе чью-то любовь всю, целиком. Это очень плохо!

— Но для брака это очень хорошо. Это единственное, что нужно.

Она все еще сидела на полу, а я, уже в носках и башмаках, стоял над ней. Я чувствовал себя очень высоким, хотя я не такой уж высокий, и очень сильным, хотя я и не так уж силен. И я с уважением, как к чужому, прислушивался к своему голосу.

Мой голос приобрел металлическую властность, которой раньше не было.

И, слушая свой назидательный тон, я вдруг понял, что со мной происходит. Я уже стал властвовать.

Я сказал Моне, что видел, как она предавалась, так сказать вертикальному боко-мару с летчиком в день моего приезда на трибуне.

— Больше ты с ним встречаться не должна, — сказал я ей. — Как его зовут?

— Я даже не знаю, — прошептала она. Она опустила глаза.

— Ас молодым Филиппом Каслом?

— Ты про боко-мару?

— И про это, и про все вообще. Как я понял, вы вместе выросли?

— Да.

— Боконон учил вас обоих?

— Да. — При этом воспоминании она снова просветлела.

— И в те дни вы боко-марничали вовсю?

— О да! — счастливым голосом сказала она.

— Больше ты с ним тоже не должна видеться. Тебе ясно?

— Нет.

— Нет?

— Я не выйду замуж за син-вата, . — Она встала. — Прощай!

— Как это «прощай»? — Я был потрясен.

— Боконон учит нас, что очень нехорошо не любить всех одинаково. А твоя религия чему учит?

— У… У меня нет религии.

— А у меня есть!

Тут моя власть кончилась.

— Вижу, что есть, — сказал я.

— Прощай, человек без религии. — Она пошла к каменной лестнице.

— Мона!

Она остановилась:

— Что?
— Могу я принять твою веру, если захочу?
— Конечно.
— Я очень хочу.
— Прекрасно. Я тебя люблю.
— А я люблю тебя, — вздохнул я.

94. САМАЯ ВЫСОКАЯ ГОРА

Так я обручился на заре с прекраснейшей женщиной в мире.

Так я согласился стать следующим президентом Сан-Лоренцо.

«Папа» еще не умер, и, по мнению Фрэнка, мне надо было бы, если возможно, получить благословение «Папы». И когда взошло солнце-Борасизи, мы с Фрэнком поехали во дворец «Папы» на джипе, реквизированном у войска, охранявшего будущего президента.

Мона осталась в доме у Фрэнка. Я поцеловал ее, благословляя, и она уснула благословенным сном.

И мы с Фрэнком поехали за горы, сквозь заросли кофейных деревьев, и справа от нас пламенела утренняя заря.

В свете этой зари мне и явилось левиафаново величие самой высокой горы острова — горы Маккэйб.

Она выгибалась, словно горбатый синий кит, с страшным диковинным каменным столбом вместо вершины.

По величине кита этот столб казался обломком

застрявшего гарпуна и таким чужеродным, что я спросил Фрэнка, не человечьи ли руки воздвигли этот столб.

Он сказал мне, что это естественное образование. Более того, он добавил, что ни один человек, насколько ему известно, никогда не бывал на вершине горы Маккэйб.

— А с виду туда не так уж трудно добраться, — добавил я. Если не считать каменного столба на вершине, гора казалась не более трудной для восхождения, чем ступенька какой-нибудь судебной палаты. Да и сам каменный бугор, по крайней мере так казалось издали, был прорезан удобными выступами и впадинами.

— Священная она, эта гора, что ли? — спросил я.

— Может, когда-нибудь и считалась священной. Но после Боконона — нет.

— Почему же никто на нее не восходил?

— Никому не хотелось.

— Может, я туда полезу.

— Валяйте. Никто вас не держит.

Мы ехали молча.

— Но что вообще священно для боконистов? — помолчав, спросил я.

— Во всяком случае, насколько я знаю, даже

не бог.

— Значит, ничего?

— Только одно.

Я попробовал угадать:

— Океан? Солнце?

— Человек, — сказал Фрэнк. — Вот и все. Просто человек.

95. Я ВИЖУ КРЮК

Наконец мы подъехали к замку.

Он был приземистый, черный, страшный.

Старинные пушки все еще торчали в амбразурах. Плющ и птичьи гнезда забили и амбразуры, и арбалетные пролеты, и зубцы.

Парапет северной стороны нависал над краем чудовищной пропасти в шестьсот футов глубиной, падавшей прямо в тепловатое море.

При виде замка возникал тот же вопрос, что и при виде всех таких каменных громад: как могли крохотные человечки двигать такие гигантские камни?

И, подобно всем таким громадам, эта скала сама отвечала на вопрос: слепой страх двигал этими гигантскими камнями.

Замок был выстроен по желанию Тум-бумвы, императора Сан-Лоренцо, беглого раба, психически больного человека. Говорили, что Тум-бумва строил его по картинке из детской книжки.

Мрачноватая, наверно, была книжица.

Перед воротами замка проезжая дорога вела под грубо сколоченную арку из двух телеграфных столбов с перекладиной.

С перекладины свисал огромный железный крюк. На крюке была выбита надпись.

«Этот крюк, — гласила надпись, — предназначен для Боконона лично».

Я обернулся, еще раз взглянул на крюк, и эта острая железная штука навела меня на простую мысль: если я и вправду буду тут править, я этот крюк сорву!

И я польстился на эту мысль, подумал, что стану твердым, справедливым и добрым правителем и что мой народ будет процветать.

Фата-моргана.

Мираж!

96. КОЛОКОЛЬЧИК, КНИГА И КУРИЦА В КАРТОНЕ

Мы с Франком не сразу попали к «Папе». Его лейб-медик, доктор Шлихтер фон Кенигсвальд, проворчал, что надо с полчаса подождать.

И мы с Фрэнком остались ждать в приемной «Папиных» покоев, большой комнате без окон. В ней было тридцать квадратных метров, обстановка состояла из простых скамей и ломберного столика. На столике стоял электрический вентилятор.

Стены были каменные. Ни картин, ни других украшений на стенах не было.

Однако в стену были вделаны железные кольца, на высоте семи футов от пола и на расстоянии футов в шесть друг от друга.

Я спросил Фрэнка, не было ли тут раньше застенка для пыток.

Фрэнк сказал: да, был, и люк, на крышке которого я стою, ведет в каменный мешок.

В приемной стоял неподвижный часовой. Тут же находился священник, который был готов по христианскому обряду подать «Папе» духов-

ную помощь. Около себя на скамье он разложил медный колокольчик для прислуги, продырявленную шляпную картонку, Библию и нож мясника.

Он сказал мне, что в картонке сидит живая курица. Курица сидит смирно, сказал он, потому что он напоил ее успокоительным лекарством.

Как всем жителям Сан-Лоренцо после двадцати пяти лет, ему с виду было лет под шестьдесят. Он сказал мне, что зовут его доктор Вокс Гумана[6], в честь органной трубы, которая угодила в его матушку, когда в 1923 году в Сан-Лоренцо взорвали собор.

Отец, сказал он без стеснения, ему неизвестен.

Я спросил его, к какой именно христианской секте он принадлежит, и откровенно добавил, что и курица и нож, насколько я знаю христианство, для меня в новинку.

— Колокольчик еще можно понять, — добавил я. Он оказался человеком неглупым. Докторский диплом, который он мне показал, был ему выдан «Университетом западного полушария по изучению Библии» в городке Литл-Рок в штате Арканзас. Он связался с этим университетом

---

[6] notes: 6
Vox Humana-человеческий голос (лат)

через объявление в журнале «Попьюлер механикс», рассказал он мне. Он еще добавил, что девиз университета стал и его девизом и что этим объясняется и курнца и нож. А девиз звучал так: «Претвори религию в жизнь!»

Он сказал, что ему пришлось нащупывать собственный путь в христианстве, так как и католицизм и протестантизм были запрещены вместе с боконизмом.

— И если я в этих условиях хочу остаться христианином, мне приходится придумывать что-то новое.

— Есери хоцу бити киристиани, — сказал он на ихнем диалекте, пириходица пиридумари читото ново.

Тут из покоев «Папы» к нам вышел доктор Шлихтер фон Кенигсвальд. Вид у него был очень немецкий я очень усталый.

— Можете зайти к «Папе», — сказал он.

— Мы постараемся его не утомлять, — обещал Фрэнк.

— Если бы вы могли его прикончить, — сказал фон Кеннсгвальд, — он, по-моему, был бы вам благодарен.

97. ВОНЮЧИЙ ЦЕРКОВНИК

«Папа» Монзано в тисках беспощадной болезни возлежал на кровати в виде золотой лодки: руль, уключины, канаты — словом, все-все было вызолочено. Эта кровать была сделана из спасательной шлюпки со старой шхуны Боконона «Туфелька» на этой спасательной шлюпке в те давние времена и прибыли в Сан-Лоренцо Боконон с капралом Маккэйбом.

Стены спальни были белые. Но «Папа» пылал таким мучительным жаром, что, казалось, от его страданий стены накалились докрасна.

Он лежал обнаженный до пояса, с лоснящимся от пота узловатым животом. И живот дрожал, как парус на ветру.

На шее у «Папы» висел тоненький цилиндрик размером с ружейный патрон. Я решил, что в цилиндрике запрятан какой-то волшебный амулет. Но я ошибся. В цилиндрике был осколок льда-девять.

«Папа» еле-еле мог говорить. Зубы у него стучали, дыхание прерывалось.

Он лежал, мучительно запрокинув голову к носу шлюпки.

Ксилофон Моны стоял у кровати. Очевидно, накануне вечером она пыталась облегчить музыкой страдания «Папы».

— «Папа», — прошептал Фрэнк.

— Прощай! — прохрипел «Папа», выкатив незрячие глаза.

— Я привел друга.

— Прощай!

— Он станет следующим президентом Сан-Лоренцо. Он будет лучшим президентом, чем я.

— Лед! — простонал «Папа».

— Все просит льда, — сказал фон Кеннгсвальд, — а принесут лед, он отказывается.

«Папа» завел глаза. Он повернул шею, стараясь не налегать на затылок всей тяжестью тела Потом снова выгнул шею.

— Все равно, — начал он, — кто будет президентом…

Он не договорил.

Я договорил за него:

— …Сан-Лоренцо.

— Сан-Лоренцо, — повторил он. Он с трудом выдавил кривую улыбку:

— Желаю удачи! — прокаркал он.

— Благодарю вас, сэр!

— Не стоит! Боконон! Поймайте Боконона!

Я попытался как-то выкрутиться. Я вспомнил, что, на радость людям, Боконона всегда надо ловить и никогда нельзя поймать.

— Хорошо, — сказал я.

— Скажите ему…

Я наклонился поближе, чтобы услыхать, что именно «Папа» хочет передать Боконону.

— Скажите: жалко, что я его не убил, — сказал «Папа». — Вы убейте его.

— Слушаюсь, сэр.

«Папа» настолько овладел своим голосом, что он зазвучал повелительно:

— Я вам серьезно говорю.

На это я ничего не ответил. Никого убивать мне не хотелось.

— Он учит людей *лжи, лжи, лжи*. Убейте его и научите людей правде.

— Слушаюсь, сэр.

— Вы с Хониккером обучите их наукам.

— Хорошо, сэр, непременно, — пообещал я.

— Наука — это колдовство, которое действует.

Он замолчал, стих, закрыл глаза. Потом простонал:

— Последнее напутствие!

Фон Кенисгвальд позвал доктора Вокс Гуману. Доктор Гумана вынул наркотизированную кури-

цу из картонки и приготовился дать больному последнее напутствие по христианскому обычаю, как он его понимал.

«Папа» открыл один глаз.

— Не ты! — оскалился он на доктора. — Убирайся!

— Сэр? — переспросил доктор Гумана.

— Я исповедую боконистскую веру! — просипел «Папа». — Убирайся, вонючий церковник.

98. ПОСЛЕДНЕЕ НАПУТСТВИЕ

Так я имел честь присутствовать при последнем напутствии по бококоновскому ритуалу.

Мы попытались найти кого-нибудь среди солдат и дворцовой челяди, кто сознался бы, что он знает эту церемонию и проделает ее над «Папой». Добровольцев не оказалось. Впрочем, это и не удивительно — слишком близко был крюк и каменный мешок.

Тогда доктор фон Кенигсвальд сказал, что придется ему самому взяться за это дело. Никогда раньше он эту церемонию не выполнял, но сто раз видел, как ее выполнял Джулиан Касл.

— А вы тоже боконист? — спросил я.

— Я согласен с одной мыслью Бококона. Я согласен, что все религии, включая и бококонизм — сплошная ложь.

— Но вас, как ученого, — спросил я, — не смутит, что придется выполнить такой ритуал?

— Я — прескверный ученый. Я готов проделать что угодно, лишь бы человек почувствовал себя лучше, даже если это ненаучно. Ни один ученый, достойный своего имени, на это не пойдет.

И он залез в золотую шлюпку к «Папе». Он сел

на корму. Из-за тесноты ему пришлось сунуть золотой руль под мышку.

Он был обут в сандалии на босу ногу, и он их снял. Потом он откинул одеяло, и оттуда высунулись «Папины» голые ступни.

Доктор приложил свои ступни к «Папиным», приняв позу бокомару.

99. «БОСА СОСИДАРА ГИРИНУ»

-Пок состал клину, — проворковал доктор фон Кенигсвальд.

— Боса сосидара гирину, — повторил «Папа» Монзано.

На самом деле они оба сказали, каждый по-своему: «Бог создал глину». Но я не стану копировать их произношение.

— Богу стало скучно, — сказал фон Кенигсвальд.

— Богу стало скучно.

— И бог сказал комку глины: «Сядь!»

— И бог сказал комку глины: «Сядь!»

— Взгляни, что я сотворил, — сказал бог, — взгляни на моря, на небеса, на звезды.

— Взгляни, что я сотворил, — сказал бог, — взгляни на моря, на небеса, на звезды.

— И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг.

— И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг.

— Счастливец я, счастливый комок.

— Счастливец я, счастливый комок. — По лицу «Папы» текли слезы.

— Я, ком глины, встал и увидел, как чудно поработал бог!

— Я, ком глины, встал и увидел, как чудно поработал бог!

— Чудная работа, бог!

— Чудная работа, бог, — повторил «Папа» от всего сердца.

— Никто, кроме тебя, не мог бы это сделать! А уж я и подавно!

— Никто, кроме тебя, не мог бы это сделать! А уж я и подавно!

— По сравнению с тобой я чувствую себя ничтожеством.

— По сравнению с тобой я чувствую себя ничтожеством.

— И, только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я хоть немного выхожу из ничтожества.

— И, только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я хоть немного выхожу из ничтожества.

— Мне дано так много, а остальной глине так мало.

— Мне дано так много, а остальной глине так мало.

— Плакотарю тепя са шесть! — воскликнул

доктор фон Кенигсвальд.

— Благодару тебя за сести! — просипел «Папа» Монзано.

На самом деле они сказали: «Благодарю тебя за честь!»

— Теперь ком глины снова ложится и засыпает.

— Теперь ком глины снова ложится и засыпает.

— Сколько воспоминаний у этого комка!

— Сколько воспоминаний у этого комка!

— Как интересно было встречать другие комки, восставшие из глины!

— Как интересно было встречать другие комки, восставшие из глины!

— Я любил все, что я видел.

— Я любил все, что я видел.

— Доброй ночи!

— Доброй ночи!

— Теперь я попаду на небо!

— Теперь я попаду на небо!

— Жду не дождусь…

— Жду не дождусь…

— …узнать точно, какой у меня вампитер…

— …узнать точно, какой у меня вампитер…

— …и кто был в моем карассе…

— …и кто был в моем карассе…

— …и сколько добра мой карасс сделал ради тебя.

— …и сколько добра мой карасс сделал ради тебя.

— Аминь.

— Аминь.

100. И ФРЭНК ПОЛЕТЕЛ В КАМЕННЫЙ МЕШОК

Но «Папа» еще не умер и на небо попал не сразу.

Я спросил Франка, как бы нам получше выбрать время, чтобы объявить мое восшествие на трон президента. Но он мне ничем не помог, ничего не хотел придумать и все предоставил мне.

— Я думал, вы меня поддержите, — жалобно сказал я.

— Да, во всем, что касается техники. — Фрэнк говорил подчеркнуто сухо. Мол, не мне подрывать его профессиональные установки. Не мне навязывать ему другие области работы.

— Понимаю.

— Как вы будете обращаться с народом, мне безразлично — это дело ваше.

Резкий отказ Франка от всякого вмешательства в мои отношения с народом меня обидел и рассердил, и я сказал ему намеренно иронически:

— Не откажите в любезности сообщить мне, какие же чисто технические планы у вас на этот высокоторжественный день?

Ответ я получил чисто технический:

— Устранить неполадки на электростанции и организовать воздушный парад.

— Прекрасно! Значит, первым моим достижением на посту президента будет электрическое освещение для моего народа.

Никакой иронии Фрэнк не почувствовал. Он отдал мне честь:

— Попытаюсь, сэр, сделаю для вас все, что смогу, сэр. Но не могу гарантировать, как скоро удастся получить свет.

— Вот это-то мне и нужно — светлая жизнь.

— Рад стараться, сэр! — Фрэнк снова отдал честь.

— А воздушный парад? — спросил я. — Это что за штука?

Фрэнк снова ответил деревянным голосом:

— В час дня сегодня, сэр, все шесть самолетов военно-воздушных сил Сан-Лоренцо сделают круг над дворцом и проведут стрельбу по целям на воде. Это часть торжественной церемонии, отмечающей День памяти «Ста мучеников за демократию».

Американский посол тогда же намеревается опустить на воду венок.

Тут я решился предложить, чтобы Фрэнк объ-

явил мое восхождение на трон сразу после опускания венка на воду и воздушного парада.

— Как вы на это смотрите? — спросил я Фрэнка.

— Вы хозяин, сэр.

— Пожалуй, надо будет подготовить речь, — сказал я. — Потом нужно будет провести что-то вроде церемонии приведения к присяге, чтобы было достойно, официально.

— Вы хозяин, сэр. — Каждый раз, как он произносил эти слова, мне казалось, что они все больше и больше звучат откуда-то издалека, словно Фрэнк опускается по лестнице в глубокое подземелье, а я вынужден оставаться наверху.

И с горечью я понял, что мое согласие стать хозяином освободило Фрэнка, дало ему возможность сделать то, что он больше всего хотел, поступить так же, как его отец: получая почести и жизненные блага, снять с себя всю личную ответственность. И, поступая так, он как бы мысленно прятался от всего в каменном мешке.

101. КАК И МОИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ, Я ОБЪЯВЛЯЮ БОКОНОНА ВНЕ ЗАКОНА

И я написал свою тронную речь в круглой пустой комнате в одной из башен. Никакой обстановки — только стол и стул. И речь, которую я написал, была тоже круглая, пустая и бедно обставленная. В ней была надежда. В ней было смирение. И я понял: невозможно обойтись без божьей помощи. Раньше я никогда не искал в ней опоры, потому и не верил, что такая опора есть.

Теперь я почувствовал, что надо верить, и я поверил. Кроме того, мне нужна была помощь людей. Я потребовал список гостей, которые должны были присутствовать на церемонии, и увидел, что ни Джулиана Касла, ни его сына среди приглашенных не было. Я немедленно послал к ним гонцов с приглашением, потому что эти люди знали мой народ лучше всех, за исключением Бокононa.

Теперь о Бокононе.

Я раздумывал, не попросить ли его войти в мое правительство и, таким образом, устроить что-то вроде Золотого века для моего народа.

И я подумал, что надо отдать приказ снять под общее ликование этот чудовищный крюк у ворот дворца.

Но потом я понял, что Золотой век должен подарить людям что-то более существенное, чем святого у власти, что всем надо дать много хорошей еды, уютное жилье, хорошие школы, хорошее здоровье, хорошие развлечения и, конечно, работу всем, кто захочет работать, а всего этого ни я, ни Боконон дать не могли.

Значит, добро и зло придется снова держать отдельно: зло — во дворце, добро — в джунглях. И это было единственное развлечение, какое мы могли предоставить народу.

В двери постучали. Вошел слуга и объявил, что гости начали прибывать.

И я сунул свою речь в карман и поднялся по винтовой лестнице моей башни. Я вошел на самую высокую башню моего замка и взглянул на моих гостей, моих слуг, мою скалу и мое тепловатое море.

102. ВРАГИ СВОБОДЫ

Когда я вспоминаю всех людей, стоявших на самой высокой башне, я вспоминаю сто девятнадцатое калипсо Боконона, где он просит нас спеть с ним вместе:

«Где вы, где вы, старые дружки?» —
Плакал грустный человек.
Я ему тихонько на ухо шепнул:
«Все они ушли навек!»

Среди присутствующих был посол Хорлик Минтон с супругой, мистер Лоу Кросби, фабрикант велосипедов со своей Хэзел, доктор Джулиан Касл, гуманист и благотворитель, и его сын, писатель и владелец отеля, крошка Ньют Хониккер, художник, и его музыкальная сестрица миссис Гаррисон С. Коннерс, моя божественная Мона, генерал-майор Фрэнклин Хониккер и двадцать отборных чиновников и военнослужащих Сан-Лоренцо.

Умерли, почти все они теперь умерли…

Как говорит нам Боконон, «слова прощания никогда не могут быть ошибкой».

На моей башне было приготовлено угощение, изобиловавшее местными деликатесами: жареные колибри в мундирчиках, сделанных из их собственных бирюзовых перышек, лиловатые крабы — их вынули из панцирей, мелко изрубили и изжарили в кокосовом масле, крошечные акулы, начиненные банановым пюре, и, наконец, кусочки вареного альбатроса на несоленых кукурузных лепешках.

Альбатроса, как мне сказали, подстрелили с той самой башни, где теперь стояло угощение.

Из напитков предлагалось два, оба без льда: пепси-кола и местный ром. Пепси-колу подавали в пластмассовых кружках, ром — в скорлупе кокосовых орехов. Я не мог понять, чем так сладковато пахнет ром, хотя запах чем-то напоминал мне давнюю юность.

Фрэнк объяснил мне, откуда я знаю этот запах.

— Ацетон, — сказал он.

— Ацетон?

— Ну да, он входит в состав для склейки моделей самолетов.

Ром я пить не стал.

Посол Минтон, с видом дипломатическим и гурманским, неоднократно вздымал в тосте свой кокосовый орех, притворяясь другом всего

человечества и ценителем всех напитков, поддерживающих людей, но я не заметил, чтобы он пил. Кстати, при нем был какой-то ящик — я никогда раньше такого не видал.

С виду ящик походил на футляр от большого тромбона, и, как потом оказалось, в нем был венок, который надлежало пустить по волнам.

Единственный, кто решался пить этот ром, был Лоу Кросби, очевидно начисто лишенный обоняния. Ему, как видно, было весело: взгромоздясь на одну из пушек так, что его жирный зад затыкал спуск, он потягивал ацетон из кокосового ореха. В огромный японский бинокль он смотрел на море. Смотрел он на мишени для стрельбы: они были установлены на плотах, стоявших на якоре неподалеку от берега, и качались на волнах. Мишени, вырезанные из картона, изображали человеческие фигуры.

В них должны были стрелять и бросать бомбы все шесть самолетов военно-воздушных сил Сан-Лоренцо.

Каждая мишень представляла собой карикатуру на какого-нибудь реального человека, причем имя этого человека было написано и сзади и спереди мишени.

Я спросил, кто рисовал карикатуры, и узнал,

что их автордоктор Вокс Гумана, христианский пастырь. Он стоял около меня.

— А я не знал, что у вас такие разнообразные таланты.

— О да. В молодости мне очень трудно было принять решение, кем быть.

— Полагаю, что вы сделали правильный выбор.

— Я молился об указаниях свыше.

— И вы их получили.

Лоу Кросби передал бинокль жене.

— Вон там Гитлер, — восторженно захихикала Хэзел. — А вот старик Муссолини и тот, косоглазый. А вон там император Вильгельм в каске! — ворковала Хэзел. — Ой, смотри, кто там! Вот уж кого не ожидала видеть. Ох и влепят ему! Ох и влепят ему, на всю жизнь запомнит! Нет, это они чудно придумали.

— Да, собрали фактически всех на свете, кто был врагом свободы! — объявил Лоу Кросби.

103. ВРАЧЕБНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЗАБАСТОВКИ ПИСАТЕЛЕЙ

Никто из гостей еще не знал, что я стану президентом. Никто не знал, как близок к смерти «Папа». Фрэнк официально сообщил, что «Папа» спокойно отдыхает и что «Папа» шлет всем наилучшие пожелания.

Торжественная часть, как объявил Фрэнк, начнется с того, что посол Минтон пустит по волнам венок в честь Ста мучеников, затем самолеты собьют мишени в воду, а затем он, Фрэнк, скажет несколько слов.

Он умолчал о том, что после его речи возьму слово я. Поэтому со мной обращались просто как с выездным корреспондентом, и я занялся безобидным, но дружественным гранфаллонством.

— Привет, мамуля! — сказал я Хэзел.

— О, да это же мой сыночек! — Хэзел заключила меня в надушенные объятия и объявила окружающим:

— Этот юноша из хужеров!

Оба Касла — и отец и сын — стояли в сторонке

от всей компании. Издавна они были нежеланными гостями во дворце «Папы», и теперь им было любопытно, зачем их пригласили.

Молодой Касл назвал меня хватом:

— Здорово, Хват! Что нового нахватали для литературы?

— Это я и вас могу спросить.

— Собираюсь объявить всеобщую забастовку писателей, пока человечество не одумается окончательно. Поддержите меня?

— Разве писатели имеют право бастовать? Это все равно, как если забастуют пожарные или полиция.

— Или профессора университетов.

— Или профессора университетов, — согласился я. И покачал головой. — Нет, мне совесть не позволит поддерживать такую забастовку. Если уж человек стал писателем — значит, он взял на себя священную обязанность: что есть силы творить красоту, нести свет и утешение людям.

— А мне все думается — вот была бы встряска этим людям, если бы вдруг не появилась ни одной новой книги, новой пьесы, ни одного нового рассказа, нового стихотворения…

— А вы бы радовались, если бы люди перемерли как мухи? — спросил я.

— Нет, они бы скорее перемерли как бешеные собаки, рычали бы друг на друга, все бы перегрызлись, перекусали собственные хвосты.

Я обратился к Каслу-старшему:

— Скажите, сэр, от чего умрет человек, если его лишить радости и утешения, которые дает литература?

— Не от одного, так от другого, — сказал он. — Либо от окаменения сердца, либо от атрофии нервной системы.

— И то и другое не очень-то приятно, — сказал я.

— Да, — сказал Касл-старший. — Нет уж, ради бога, вы оба пишите, пожалуйста, пишите!

104. СУЛЬФАТИАЗОЛ

Моя божественная Мона ко мне не подошла и ни одним взглядом не поманила меня к себе. Она играла роль хозяйки, знакомя Анджелу и крошку Ньюта с представителями жителей Сан-Лоренцо.

Сейчас, когда я размышляю о сущности этой девушки — вспоминаю, с каким полнейшим равнодушием она отнеслась и к обмороку «Папы», и к нашему с ней обручению, — я колеблюсь, и то возношу ее до небес, то совсем принижаю.

Воплощена ли в ней высшая духовность и женственность?

Или она бесчувственна, холодна, короче говоря рыбья кровь, бездумный культ ксилофона, красоты и боко-мару?

Никогда мне не узнать истины.

Боконон учит нас:

Себе влюбленный лжет,
Не верь его слезам,
Правдивый без любви живет,
Как устрицы – глаза.

Значит, мне как будто дано правильное ука-

зание. Я должен вспоминать о моей Моне как о совершенстве.

— Скажите мне, — обратился я к Филиппу Каслу в День «Ста мучеников за демократию». — Вы сегодня разговаривали с вашим другом и почитателем Лоу Кросби?

— Он меня не узнал в костюме, при галстуке и в башмаках, — ответил младший Касл, — и мы очень мило поболтали о велосипедах.

Может быть, мы с ним еще поговорим.

Я понял, что идея Кросби делать велосипеды для Сан-Лоренцо мне уже не кажется смехотворной. Как будущему правителю этого острова, мне очень и очень нужна была фабрика велосипедов. Я вдруг почувствовал уважение к тому, что собой представлял мистер Лоу Кросби и что он мог сделать.

— Как по-вашему, народ Сан-Лоренцо воспримет индустриализацию? — спросил я обоих Каслов — отца и сына.

— Народ Сан-Лоренцо, — ответил мне отец, — интересуется только тремя вещами: рыболовством, распутством и боконизмом.

— А вы не думаете, что прогресс может их заинтересовать?

— Видали они и прогресс, хоть и мало. Их увле-

кает только одно прогрессивное изобретение.

— А что именно?

— Электрогитара.

Я извинился и подошел к чете Кросби.

С ними стоял Фрэнк Хониккер и объяснял им, кто такой Боконон и против чего он выступает

— Против науки.

— Как это человек в здравом уме может быть против науки? — спросил Кросби.

— Я бы уже давно умерла, если б не пенициллин, — сказала Хэзел, — и моя мама тоже.

— Сколько же лет сейчас вашей матушке? — спросил я.

— Сто шесть. Чудо, правда?

— Конечно, — согласился я.

— И я бы давно была вдовой, если бы не то лекарство, которым лечили мужа, — сказала Хэзел. Ей пришлось спросить у мужа название лекарства:

— Котик, как называлось то лекарство, помнишь, оно в тот раз спасло тебе жизнь?

— Сульфатиазол.

И тут я сделал ошибку — взял с подноса, который проносили мимо, сандвич с альбатросовым мясом.

105. БОЛЕУТОЛЯЮЩЕЕ

И так случилось, «так должно было случиться», как сказал бы Боконон, что мясо альбатроса оказалось для меня настолько вредным, что мне стало худо, едва я откусил первый кусок. Мне пришлось срочно бежать вниз по винтовой лестнице в поисках уборной. Я еле успел добежать до уборной рядом со спальней «Папы».

Когда я вышел оттуда, пошатываясь, я столкнулся с доктором Шлихтером фон Кенигсвальдом, вылетевшим из спальни «Папы». Он посмотрел на меня дикими глазами, схватил за руку и закричал:

— Что это такое? Что там у него висело на шее?

— Простите?

— Он проглотил эту штуку. То, что было в ладанке. «Папа» глотнул — и умер.

Я вспомнил ладанку, висевшую у «Папы» на шее, и сказал наугад:

— Цианистый калий?

— Цианистый калий? Разве цианистый калий в одну секунду превращает человека в камень?

— В камень?

— В мрамор! В чугун! В жизни не видел такого

трупного окоченения. Ударьте по нему, и звук такой, будто бьешь в бубен.

Подите взгляните сами.

И доктор фон Кенигсвальд подтолкнул меня к спальне «Папы».

На кровать, на золотую шлюпку, страшно было смотреть. Да, «Папа» скончался, но про него никак нельзя было сказать:

«Упокоился с миром».

Голова «Папы» была запрокинута назад до предела. Вся тяжесть тела держалась на макушке и на пятках, а все тело было выгнуто мостом, дугой кверху. Он был похож на коромысло.

То, что его прикончило содержимое ладанки, висевшей на шее, было бесспорно. В одной руке он держал этот цилиндрик с открытой пробкой. А указательный и большой палец другой руки, сложенные щепоткой, он держал между зубами, словно только что положил в рот малую толику какого-то порошка.

Доктор фон Кенигсвальд вынул уключину из гнезда на шкафуте золоченой шлюпки. Он постучал по животу «Папы» стальной уключиной, и «Папа» действительно загудел, как бубен.

А губы и ноздри у «Папы» были покрыты иссиня-белой изморозью.

Теперь такие симптомы, видит бог, уже не новость. Но тогда их не знали. «Папа» Монзано был первым человеком, погибшим от льда-девять.

Записываю этот факт, может, он и пригодится. «Записывайте все подряд», — учит нас Бокононон. Конечно, на самом деле он хочет доказать, насколько бесполезно писать или читать исторические труды. «Разве без точных записей о прошлом можно хотя бы надеяться, что люди — и мужчины и женщины — избегнут серьезных ошибок в будущем?» — спрашивает он с иронией.

Итак, повторяю: «Папа» Монзано был первый человек в истории, скончавшийся от льда-девять.

106. ЧТО ГОВОРЯТ БОКОНИСТЫ, КОНЧАЯ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ

Доктор фон Кенигсвальд, с огромной задолженностью по Освенциму, еще не покрытой его теперешними благодеяниями был второй жертвой льда-девять.

Он говорил о трупном окоченении — я первый затронул эту тему.

— Трупное окоченение в одну минуту не наступает, — объявил он.

— Я лишь на секунду отвернулся от «Папы». Он бредил…

— Про что?

— Про боль, Мону, лед — про все такое. А потом сказал «Сейчас разрушу весь мир».

— А что он этим хотел сказать?

— Так обычно говорят боконисты, кончая жизнь самоубийством. — Фон Кенигсвальд подошел к тазу с водой, собираясь вымыть руки. — А когда я обернулся, — продолжал он, держа ладони над водой, — он был мертв, окаменел, как статуя, сами видите. Я провел пальцем по его губам, вид у них был какой-то странный.

Он опустил руки в воду.

— Какое вещество могло… — Но вопрос повис в воздухе.

Фон Кенигсвальд поднял руки из таза, и вода поднялась за ним.

Только это уже была не вода, а полушарие из льда-девять.

Фон Кенигсвальд кончиком языка коснулся таинственной иссиня-белой глыбы.

Иней расцвел у него на губах. Он застыл, зашатался и грохнулся оземь.

Сине-белое полушарие разбилось. Куски льда рассыпались по полу.

Я бросился к дверям, закричал, зовя на помощь.

Солдаты и слуги вбежали в спальню.

Я приказал немедленно привести Фрэнка, Анджелу и Ньюта в спальню «Папы».

Наконец-то я увидел лед-девять!

107. СМОТРИТЕ И РАДУЙТЕСЬ!

Я впустил трех детей доктора Феликса Хониккера в спальню «Папы» Монзано.

Я закрыл двери и припер их спиной. Я был полон величественной горечи. Я понимал, что такое лед-девять.

Я часто видел его во сне.

Не могло быть никаких сомнений, что Фрэнк дал «Папе» лед-девять. И казалось вполне вероятным, что, если Фрэнк мог раздавать лед-девять, значит, и Анджела с маленьким Ньютом тоже могли его отдать.

И я зарычал на всю эту троицу, призывая их к ответу за это чудовищное преступление. Я сказал, что их штучкам конец, что мне все известно про них и про лед-девять.

Я хотел их пугнуть, сказав, что лед-девять — средство прикончить всякую жизнь на земле. Говорил я настолько убежденно, что им и в голову не пришло спросить, откуда я знаю про лед-девять.

— Смотрите и радуйтесь! — сказал я.

Но, как сказал Боконон, «бог еще никогда в жизни не написал хорошей пьесы». На сцене, в

спальне «Папы», и декорации и бутафория были потрясающие, и мой первый монолог прозвучал отлично.

Но первая же реакция на мои слова одного из Хониккеров погубила все это великолепие.

Крошку Ньюта вдруг стошнило.

108. ФРЭНК ОБЪЯСНЯЕТ, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ

И нам всем тоже стало тошно. Ньют отреагировал совершенно правильно.

— Вполне с вами согласен, — сказал я ему и зарычал на Анджелу и Фрэнка:

— Мнение Ньюта мы уже видели, а вы оба что можете сказать?

— К-хх, — сказала Анджела, передернувшись и высунув язык. Она пожелтела, как замазка.

Чего сон. Ему казалось, что я никакого отношения к ним не имею.

Зато его брат и сестра участвовали в этом кошмаре, и с ними он заговорил как во сне:

— Ты ему дал эту вещь, — сказал он Фрэнку. — Так вот как ты стал важной шишкой, — с удивлением добавил Ньют. — Что ты ему сказал — что у тебя есть вещь почище водородной бомбы?

Фрэнк на вопрос не ответил. Он оглядывал комнату, пристально изучая ее. Зубы у него разжались, застучали мелкой дрожью, он быстро, словно в такт, заморгал глазами. Бледность стала

проходит. И сказал он так:

— Слушайте, надо убрать всю эту штуку.

109. ФРЭНК ЗАЩИЩАЕТСЯ

— Генерал, — сказал я Фрэнку, — ни один генерал-майор за весь этот год не дал более разумной команды. И каким же образом вы в качестве моего советника по технике порекомендуете нам, как вы прекрасно выразились, «убрать всю эту штуку»?

Фрэнк ответил очень точно. Он щелкнул пальцами. Я понял, что он снимает с себя ответственность за «всю эту штуку» и со все возрастающей гордостью и энергией отождествляет себя с теми, кто борется за чистоту, спасает мир, наводит порядок.

— Метлы, совки, автоген, электроплитка, ведра, — приказывал он и все прищелкивал, прищелкивал и прищелкивал пальцами.

— Хотите автогеном уничтожить трупы? — спросил я.

Фрэнк был так наэлектризован своей технической смекалкой, что просто-напросто отбивал чечетку, прищелкивая пальцами.

— Большие куски подметем с пола, растопим в ведре на плитке Потом пройдемся автогеном по всему полу, дюйм за дюймом, вдруг там застряли

микроскопические кристаллы. А что мы сделаем с трупами… — Он вдруг задумался.

— Погребальный костер! — крикнул он, радуясь своей выдумке. — Велю сложить огромный костер под крюком, вынесем тела и постель — и на костер!

Он пошел к выходу, чтобы приказать разложить костер и принести все, что нужно для очистки комнаты.

Анджела остановила его:

— Как ты мог?

Фрэнк улыбнулся остекленелой улыбкой:

— Ничего, все будет в порядке!

— Но как ты мог дать это такому человеку, как «Папа»

Монзано? — спросила его Анджела.

— Давай сначала уберем эту штуку, потом поговорим.

Но Анджела вцепилась в его руку и не отпускала.

— Как ты мог? — крикнула она, тряся его. Фрэнк расцепил руки сестры. Остекленелая улыбка исчезла, и со злой издевкой он сказал, не скрывая презрения:

— Купил себе должность той же ценой, что ты себе купила кота в мужья, той же ценой, что Ньют

купил неделю со своей лилипуткой там, на даче.

Улыбка снова застыла на его лице.

Фрэнк вышел, сильно хлопнув дверью…

110. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ТОМ

«Иногда человек совершенно не в силах объяснить, что такое пууль-па», — учит нас Боконон. В одной из Книг Боконона он переводит слово пууль-па как дождь из дерьма, а в другой — как гнев божий.

Из слов Фрэнка, брошенных перед тем, как он хлопнул дверью, я понял, что республика Сан-Лоренцо и трое Хониккеров были не единственными владельцами льда-девять…

Муж Анджелы передал секрет США, а Зика — своему посольству.

Слов у меня не нашлось…

Я склонил голову, закрыл глаза и стал ждать, пока вернется Фрэнк с немудрящим инструментом, потребным для очистки одной спальни, той единственной спальни из всех земных спален, которая была отравлена льдом-девять. Сквозь смутное забытье, охватившее меня мягким облаком, я услышал голос Анджелы. Она не пыталась защитить себя, она защищала Ньюта: «Он ничего не давал этой лилипутке, она все украла!»

Мне ее довод показался неубедительным.

«На что может надеяться человечество, —

подумал я, — если такие ученые, как Феликс Хониккер, дают такие игрушки, как лед-девять, таким близоруким детям, а ведь из них состоит почти все человечество?»

И я вспомнил Четырнадцатый том сочинений Боконона — прошлой ночью я его прочел весь целиком. Четырнадцатый том озаглавлен так:

«Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества?»

Прочесть Четырнадцатый том недолго. Он состоит всего из одного слова и точки: «Нет».

111. ВРЕМЯ ИСТЕКЛО

Фрэнк вернулся с метлами, совками, с автогеном и примусом, с добрым старым ведром и резиновыми перчатками.

Мы надели перчатки, чтобы не касаться руками льда-девять.

Фрэнк поставил примус на ксилофон божественной Моны, а наверх водрузил честное старое ведро.

И мы стали подбирать самые крупные осколки льда-девять, и мы их бросали в наше скромное ведро, и они таяли. Они становились доброй старой, милой старой, честной нашей старой водичкой.

Мы с Анджелой подметали пол, крошка Ньют заглядывал под мебель, ища осколки льда-девять: мы могли их прозевать. А Фрэнк шел за нами, поливая все очистительным пламенем автогена.

Бездумное спокойствие сторожей и уборщиц, работающих поздними ночами, сошло на нас В загаженном мире мы по крайней мере очищали хоть один наш маленький уголок.

И я поймал себя на том, что самым будничным тоном расспрашиваю Ньюта, и Анджелу, и Фрэн-

ка о том сочельнике, когда умер их отец, и прошу рассказать мне про ту собаку.

И в детской уверенности, что они все исправят, очистив эту комнату, Хониккеры рассказали мне эту историю.

Вот их рассказ.

В тот памятный сочельник Анджела пошла в деревню за лампочками для елки, а Ньют с Фрэнком вышли пройтись по пустынному зимнему пляжу, где и повстречали черного пса. Пес был ласковый, как все охотничьи псы, и пошел за Фрэнком и крошкой Ньютом к ним домой.

Феликс Хониккер умер — умер в своей белой качалке, пока детей не было дома. Весь день старик дразнил детей намеками на лед-девять, показывая им небольшую бутылочку, на которую он приклеил ярлычок с надписью:

«Опасно! Лед-девять! Беречь от влаги!»

Весь день старик надоедал своим детям такими разговорами:

— Ну же, пошевелите мозгами! — говорил он весело. — Я вам уже сказал: точка таяния у него сто четырнадцать, запятая, четыре десятых по Фаренгейту, и еще я вам сказал, что состоит он только из водорода и кислорода. Как же это объяснить? Ну подумайте же!

Не бойтесь поднапрячь мозги! Они от этого не лопнут.

— Он нам всегда говорил «напрягите мозги», — сказал Фрэнк, вспоминая прежние времена.

— А я и не пыталась напрягать мозги уже не помню с каких лет, — созналась Анджела, опираясь на метлу. — Я даже слушать не могла, когда он начинал говорить про научное. Только кивала головой и притворялась, что пытаюсь напрячь мозги, но бедные мои мозги потеряли всякую эластичность, все равно что старая резина на поясе.

Очевидно, прежде чем усесться в свою плетеную качалку, старик возился на кухне — играл с водой и льдом-девять в кастрюльках и плошках. Наверно, он превращал воду в лед-девять, а потом снова лед превращал в воду, потому что с полок были сняты все кастрюльки и миски. Там же валялся термометр — должно быть, старик измерял какую-то температуру.

Наверно, он собирался только немного посидеть в кресле, потому что оставил на кухне ужасный беспорядок. Посреди этого беспорядка стояла чашка, наполненная до краев льдом-девять.

Несомненно, он собирался растопить и этот лед, чтобы оставить на земле только осколок этого

сине-белого вещества, закупоренного в бутылке, но сделал перерыв.

Однако, как говорит Боконон, «каждый человек может объявить перерыв, но ни один человек не может сказать, когда этот перерыв окончится».

112. СУМОЧКА МАТЕРИ НЬЮТА

— Надо бы мне сразу, как только я вошла, понять, что отец умер, — сказала Анджела, опершись на метлу. — Качалка ни звука не издавала. А она всегда разговаривала, поскрипывала, даже когда отец спал.

Но Анджела все же решила, что он уснул, и ушла убирать елку.

Ньют и Фрэнк вернулись с черным ретривером. Они зашли на кухню — дать собаке поесть. И увидали, что всюду разлита вода.

На полу стояли лужи, и крошка Ньют взял тряпку для посуды и вытер пол. А мокрую тряпку бросил на шкафчик.

Но тряпка случайно попала в чашку со льдом-девять, Фрэнк решил, что в чашке приготовлена глазурь для торта, и, сняв чашку, ткнул ее под нос Ньюту — посмотри, что ты наделал.

Ньют оторвал тряпку от льда и увидел, что она приобрела какой-то странный металлический змеистый блеск, как будто она была сплетена из тонкой золотой сетки.

— Знаете, почему я говорю «золотая сетка»? — рассказывал Ньют в спальне «Папы» Монзано. —

Потому что мне эта тряпка напомнила мамину сумочку, особенно на ощупь.

Анджела прочувствованно объяснила, что Ньют в детстве обожал золотую сумочку матери. Я понял, что это была вечерняя сумочка.

— До того она была необычная на ощупь, я ничего лучшего на свете не знал, — сказал Ньют, вспоминая свою детскую любовь к сумочке. — Интересно, куда она девалась?

— Интересно, куда многое девалось, — сказала Анджела. Ее слова эхом отозвались в прошлом — грустные, растерянные.

А с тряпкой, напоминавшей на ощупь золотую сумочку, случилось вот что: Ньют протянул ее собаке, та лизнула — и сразу окоченела. Ньют пошел к отцу — рассказать ему про собаку — и увидел, что отец тоже окоченел.

113. ИСТОРИЯ

Наконец мы убрали спальню «Папы» Монзано.

Но трупы надо было еще вынести на погребальный костер. Мы решили, что сделать это нужно с помпой и что мы отложим эту церемонию до окончания торжеств в честь «Ста мучеников за демократию».

Напоследок мы поставили фон Кенигсвальда на ноги, чтобы обезвредить то место на полу, где он лежал. А потом мы спрятали его в стоячем положении в платяной шкаф «Папы».

Сам не знаю, зачем мы его спрятали. Наверно, для того, чтобы упростить картину.

Что же касается рассказа Анджелы, Фрэнка и Ньюта, того, как они в тот сочельник разделили между собой весь земной запас льда-девять, то, когда они подошли к рассказу об этом преступлении, они как-то выдохлись. Никто из них не мог припомнить, на каком основании они присвоили себе право взять лед-девять. Они рассказывали, какое это вещество, вспоминали, как отец требовал, чтобы они напрягли мозги, но о моральной стороне дела ни слова не было сказано.

— А кто его разделил? — спросил я.

Но у всех троих так основательно выпало из памяти все событие, что им даже трудно было восстановить эту подробность.

— Как будто не Ньют, — наконец сказала Анджела.~ В этом я уверена.

— Наверно, либо ты, либо я, — раздумчиво сказал Фрэнк, напрягая память.

— Я сняла три стеклянные банки с полки, — вспомнила Анджела. — А три маленьких термоса мы достали только назавтра.

— Правильно, — согласился Фрэнк. — А потом ты взяла щипчики для льда и наколола лед-девять в миску.

— Верно, — сказала Анджела. — Наколола. А потом кто-то принес из ванной пинцет.

Ньют поднял ручонку:

— Это я принес.

Анджела и Ньют сейчас сами удивлялись, до чего малыш Ньют оказался предприимчив.

— Это я брал пинцетом кусочки и клал их в стеклянные баночки, — продолжал Ньют. Он не скрывал, что немного хвастает этим делом.

— А что же вы сделали с собакой? — спросил я унылым голосом.

— Сунули в печку, — объяснил мне Фрэнк. — Больше ничего нельзя было сделать.

"История! — пишет Боконон. — Читай и плачь!,
"

114. «КОГДА МНЕ В СЕРДЦЕ ПУЛЯ ЗАЛЕТЕЛА»

И вот я снова поднялся по винтовой лестнице на свою башню, снова вышел на самую верхнюю площадку своего замка и снова посмотрел на своих гостей, своих слуг, свою скалу и свое тепловатое море.

Все Хониккеры поднялись со мной. Мы заперли спальню «Папы», а среди челяди пустили слух, что «Папе» гораздо лучше.

Солдаты уже складывали похоронный костер у крюка. Они не знали, зачем его складывают.

Много, много тайн было у нас в тот день.

Дела, дела, дела.

Я подумал, что торжественную часть уже можно начинать, и велел Фрэнку подсказать послу Минтону, что пора произнести речь.

Посол Минтон подошел к балюстраде, нависшей над морем, неся с собой венок в футляре. И он сказал поразительную речь в честь «Ста мучеников за демократию». Он восславил павших, их родину, жизнь, из которой они ушли, произнося слова «Сто мучеников за демократию» на мест-

ном наречии. Этот обрывок диалекта прозвучал в его устах легко и грациозно.

Всю остальную речь он произнес на американо-английском языке.

Речь была записана у него на бумажке — наверно, подумал я, будет говорить напыщенно и ходульно. Но когда он увидел, что придется говорить с немногими людьми, да к тому же по большей части с соотечественниками — американцами, он оставил официальный тон.

Легкий ветер с моря трепал его поредевшие волосы.

— Я буду говорить очень непосольские слова, — объявил он, — я собираюсь рассказать вам, что я испытываю на самом деле.

Может быть, Минтон вдохнул слишком много ацетоновых паров, а может, он предчувствовал, что случится со всеми, кроме меня. Во всяком случае, он произнес удивительно боконистскую речь.

— Мы собрались здесь, друзья мои, — сказал он, — чтобы почтить память «Сита мусеники за зимокарацию», память детей, всех детей, убиенных на войне. Обычно в такие дни этих детей называют мужчинами. Но я не могу назвать их мужчинами по той простой причине, что в той

же войне, в которой погибли «Сито мусенкки за зимокарацию», погиб и мой сын.

И душа моя требует, чтобы я горевал не по мужчине, а по своему ребенку.

Я вовсе не хочу сказать, что дети на войне, если им приходится умирать, умирают хуже мужчин. К их вечной славе и нашему вечному стыду, они умирают именно как мужчины, тем самым оправдывая мужественное ликование патриотических празднеств.

Но все равно все они — убитые дети.

И я предлагаю вам: если уж мы хотим проявить искреннее уважение к памяти ста погибших детей Сан-Лоренцо, то будет лучше всего, если мы проявим презрение к тому, что их убило, иначе говоря — к глупости и злобности рода человеческого.

Может быть, вспоминая о войнах, мы должны были бы снять с себя одежду и выкраситься в синий цвет, встать на четвереньки и хрюкать, как свиньи. Несомненно, это больше соответствовало бы случаю, чем пышные речи, и реяние знамен, и пальба хорошо смазанных пушек.

Я не хотел бы показаться неблагодарным — ведь нам сейчас покажут отличный военный парад, а это и в самом деле будет увлекательное

зрелище.

Он посмотрел всем нам прямо в глаза и добавил очень тихо, словно невзначай:

— И ура всем увлекательным зрелищам!

Нам пришлось напрячь слух, чтобы уловить то, что Минтон добавил дальше:

— Но если сегодня и в самом деле день памяти ста детей, убитых на войне, — сказал он, — то разве в такой день уместны увлекательные зрелища?

«Да», — ответим мы, но при одном условии: чтобы мы, празднующие этот день, сознательно и неутомимо трудились над тем, чтобы убавить и глупость, и злобу в себе самих и во всем человечестве.

— Видите, что я привез? — спросил он нас.

Он открыл футляр и показал нам алую подкладку и золотой венок. Венок был сплетен из проволоки и искусственных лавровых листьев, обрызганных серебряной автомобильной краской.

Поперек венка шла кремовая атласная лента с надписью «Pro patria!»[7].

Тут Минтон продекламировал строфы из книги

---

[7] notes: 7
«За Родину!» (лат)

Эдгара Ли Мастерса «Антология Спун-рйвер». Стихи, вероятно, были совсем непонятны присутствовавшим тут гражданам Сан-Лоренцо, а впрочем, их, наверно, не поняли и Лоу Кросби, и его Хэзел, и Фрэнк с Анджелой тоже.

Я первым пал в бою под Мишенери-Ридж.

Когда мне в сердце пуля залетела,

Я пожалел, что не остался дома,

Не сел в тюрьму за то, что крал свиней

У Карла Теннери, а взял да убежал

На фронт сражаться.

Уж лучше тыщу дней сидеть у нас в тюрьме,

Чем спать под мраморным крылатым истуканом,

Спать под плитой гранитной, где стоят

Слова «Pro patria!».

Да что же они значат?

— Да что же они значат? — повторил посол Хорлик Минтон. — Эти слова значат: «За роди-

ну!» За чью угодно родину, — как бы невзначай добавил он.

— Этот венок я приношу в дар от родины одного народа родине другого народа. Неважно, чья это родина. Думайте о народе…

И о детях, убитых на войне.

И обо всех странах.

Думайте о мире.

И о братской любви.

Подумайте о благоденствии.

Подумайте, каким раем могла бы стать земля, если бы люди были добрыми и мудрыми.

И хотя люди глупы и жестоки, смотрите, какой прекрасный нынче день, — сказал посол Хорлик Минтон. — И я от всего сердца и от имени миролюбивых людей Америки жалею, что «Сито мусеники за зимокарацию» мертвы в такой прекрасный день.

И он метнул венок вниз с парапета.

В воздухе послышалось жужжание. Шесть самолетов военно-воздушного флота Сан-Лоренцо приближались, паря над моим тепловатым морем.

Сейчас они возьмут под обстрел чучела тех, про кого Лоу Кросби сказал, что это «фактически все, кто был врагом свободы».

115. СЛУЧИЛОСЬ ТАК

Мы подошли к парапету над морем — поглядеть на это зрелище.

Самолеты казались зернышками черного перца. Мы их разглядели потому, что случилось так, что за одним из них тянулся хвост дыма.

Мы решили, что дым пустили нарочно, для вида.

Я стоял рядом с Лоу Кросби, и случилось так, что он ел бутерброд с альбатросом и запивал местным ромом. Он причмокивал губами, лоснящимися от жира альбатроса, от его дыхания пахло ацетоновым клеем. У меня к горлу снова подступила тошнота.

Я отошел и, стоя в одиночестве у другого парапета, хватал воздух ртом. Между мной и остальными оказалось шестьдесят футов старого каменного помоста.

Я сообразил, что самолеты спустятся низко, ниже подножия замка, и что я пропущу представление. Но тошнота отбила у меня все любопытство. Я повернул голову туда, откуда уже шел воющий гул. И в ту минуту, как застучали пулеметы, один из самолетов, тот, за которым тянулся хвост ды-

ма, вдруг перевернулся брюхом кверху, объятый пламенем.

Он снова исчез из моего поля зрения, сразу грохнувшись об скалу. Его бомбы и горючее взорвались.

Остальные целые самолеты с воем улетели, и вскоре их гул доносился словно комариный писк.

И тут послышался грохот обвала — одна из огромных башен «Папиного» замка, подорванная взрывом, рухнула в море.

Люди у парапета над морем в изумлении смотрели на пустой цоколь, где только что стояла башня. И тут я услыхал гул обвалов в перекличке, похожей на оркестр.

Перекличка шла торопливо, в нее вплелись новые голоса. Это заголосили подпоры замка, жалуясь на непосильную тяжесть нагрузки.

И вдруг трещина молнией прорезала пол у меня под ногами, в десяти футах от моих судорожно скрючившихся пальцев.

Трещина отделила меня от моих спутников.

Весь замок застонал и громко завыл.

Те, остальные, поняли, что им грозит гибель. Вместе с тоннами камня они сейчас рухнут вниз, в море. И хотя трещина была не шире фута, они

стали героически перескакивать через нее огромными прыжками.

И только моя безмятежная Мона спокойно перешагнула трещину.

Трещина со скрежетом закрылась и снова оскалилась еще шире.

На смертельном выступе еще стояли Лоу Кросби со своей Хэзел и посол Хорлик Минтон со своей Клэр.

Мы с Франком и Филиппом Каслом, потянувшись через пропасть, перетащили. Кросби к себе, подальше от опасности. И снова умоляюще протянули руки к Минтонам.

Их лица были невозмутимы. Могу только догадываться, о чем они думали. Предполагаю, что больше всего они думали о собственном достоинстве, о соответствующем выражении своих чувств.

Паника была не в их духе. Сомневаюсь, было ли в их духе самоубийство. Но их убила воспитанность, потому что обреченный сектор замка отошел от нас, как океанский пароход отходит от пристани.

Вероятно, Минтонам — путешественникам тоже пришел на ум этот образ, потому что они приветливо помахали нам оттуда.

Они взялись за руки.

Они повернулись лицом к морю.

Вот они двинулись, вот они рухнули вниз в громовом обвале и исчезли навеки!

116. ВЕЛИКИЙ А-БУММ!

Рваная рана погибели теперь разверзлась в нескольких дюймах от моих судорожно скрюченных пальцев. Мое тепловатое море поглотило все. Ленивое облако пыли плыло к морю — единственный след рухнувших стен.

Весь замок, сбросив с себя тяжелую маску портала, ухмылялся ухмылкой прокаженного, оскаленной и беззубой. Щетинились расщепленные концы балок. Прямо подо мной открылся огромный зал.

Пол этого зала выдавался в пустоту, без опор, словно вышка для прыжков в воду.

На миг мелькнула мысль — спрыгнуть на эту площадку, взлететь с нее ласточкой и в отчаянном прыжке, скрестив руки, без единого всплеска, врезаться в теплую, как кровь, вечность.

Меня вывел из раздумья крик птицы над головой. Она словно спрашивала меня, что случилось. «Пьюти-фьют?» — спрашивала она.

Мы взглянули на птицу, потом друг на друга.

Мы отпрянули от пропасти в диком страхе. И как только я сошел с камня, на котором стоял, камень зашатался. Он был не устойчивей волчка.

И он тут же покатился по полу.

Камень рухнул на площадку, и площадка обвалилась. И по этому обвалу покатилась мебель из комнаты внизу. Сначала вылетел ксилофон, быстро прыгая на крошечных колесиках. За ним — тумбочка, наперегонки с автогеном. В лихорадочной спешке за ним гнались стулья.

И где-то в глубине комнаты что-то неведомое, упорно не желающее двигаться, поддалось и пошло.

Оно поползло по обвалу. Показался золоченый нос. Это была шлюпка, где лежал мертвый «Папа».

Шлюпка ползла по обвалу. Нос накренился. Шлюпка перевесилась над пропастью. И полетела вверх тормашками.

«Папу» выбросило, и он летел отдельно.

Я зажмурился.

Послышался звук, словно медленно закрылись громадные врата величиной с небо, как будто тихо затворили райские врата.

Раздался великий А-бумм…

Я открыл глаза — все море превратилось в лед-девять.

Влажная зеленая земля стала синевато-белой жемчужиной.

Небо потемнело. Борасизи-Солнце — превратилось в болезненно-желтый шар, маленький и злой.

Небо наполнилось червями. Это закрутились смерчи.

117. УБЕЖИЩЕ

Я взглянул на небо, туда, где только что пролетела птица.

Огромный червяк с фиолетовой пастью плыл над головой. Он жужжал, как пчела. Он качался. Непристойно сжимаясь и разжимаясь, он переваривал воздух.

Мы, люди, разбежались, мы бросились с моей разрушенной крепости, шатаясь, сбежали по лестнице поближе к суше.

Только Лоу Кросби и его Хэзел закричали. «Мы американцы! Мы американцы!» — орали они, словно смерчи интересовались, к какому именно гранфаллону принадлежат их жертвы.

Я потерял чету Кросби из виду. Они спустились по другой лестнице. Откуда-то из коридора замка до меня донеслись их вопли, тяжелый топот и пыхтенье всех беглецов. Моей единственной спутницей была моя божественная Мона, неслышно последовавшая за мной.

Когда я остановился, она проскользнула мимо меня и открыла дверь в приемную перед апартаментами «Папы». Ни стен, ни крыши там не было. Оставался лишь каменный пол. И посреди него

была крышка люка, закрывавшая вход в подземелье. Под кишащим червями небом, в фиолетовом мелькании смерчей, разинувших пасти, чтобы нас поглотить, я поднял эту крышку.

В стенку каменной кишки, ведущей в подземелье, были вделаны железные скобы. Я закрыл крышку изнутри. И мы стали спускаться по железным скобам.

И внизу мы открыли государственную тайну. «Папа» Монзано велел оборудовать там уютное бомбоубежище. В нем была вентиляционная шахта с велосипедным механизмом, приводящим в движение вентилятор. В одну из стен был вмурован бак для воды.

Вода была пресная, мокрая, еще не зараженная льдом-девять. Был там и химический туалет, и коротковолновый приемник, и каталог Сирса и Роубека, и ящики с деликатесами и спиртным, и свечи. А кроме того, там были переплетенные номера «Национального географического вестника» за последние двадцать лет.

И было там полное собрание сочинений Боконона.

И стояли там две кровати.

Я зажег свечу. Я открыл банку куриного супа и поставил на плитку. И я налил два бокала вир-

гинского рома.

Мона присела на одну постель. Я присел на другую.

— Сейчас я скажу то, что уже много раз говорил мужчина женщине, — сообщил я ей. — Однако не думаю, чтобы эти слова когда-нибудь были так полны смысла, как сейчас.

Я развел руками.

— Что?

— Наконец мы одни, — сказал я.

118. ЖЕЛЕЗНАЯ ДЕВА И КАМЕННЫЙ МЕШОК

Шестая книга Боконона посвящена боли, и в частности пыткам и мукам, которым люди подвергают людей. «Если меня когда-нибудь сразу казнят на крюке, — предупреждает нас Боконон, — то это, можно сказать, будет очень гуманный способ».

Потом он рассказывает о дыбе, об «испанском сапоге», о железной деве, о колесе и о каменном мешке.

> *Ты перед всякой смертью слезами изойдешь.*
>
> *Но только в каменном мешке для дум ты время обретешь.*

Так оно и было в каменном чреве, где оказались мы с Моной.

Времени для дум у нас хватало. И прежде всего я подумал о том, что бытовые удобства никак не смягчают ощущение полной заброшенности.

В первый день и в первую ночь нашего пребывания под землей ураган тряс крышку нашего люка почти непрестанно. При каждом порыве

давление в нашей норе внезапно падало, в ушах стоял шум и звенело в голове.

Из приемника слышался только треск разрядов, и все. По всему коротковолновому диапазону ни слова, ни одного телеграфного сигнала я не слыхал. Если мир еще где-то жил, то он ничего не передавал по радио.

И мир молчит до сегодняшнего дня.

И вот что я предположил: вихри повсюду разносят ядовитый лед-девять, рвут на куски все, что находится на земле. Все, что еще живо, скоро погибнет от жажды, от голода, от бешенства или от полной апатии.

Я обратился к книгам Боконона, все еще думая в своем невежестве, что найду в них утешение. Я торопливо пропустил предостережение на титульной странице первого тома:

«Не будь глупцом! Сейчас же закрой эту книгу! Тут все — сплошная фо'ма!»

Фо'ма, конечно, значит ложь.

А потом я прочел вот что:

"Вначале бог создал землю и посмотрел на нее из своего космического одиночества.

И бог сказал: «Создадим живые существа из глины, пусть глина взглянет, что сотворено нами».

И бог создал все живые существа, какие до

сих пор двигаются по земле, и одно из них было человеком. И только этот ком глины, ставший человеком, умел говорить. И бог наклонился поближе, когда созданный из глины человек привстал, оглянулся и заговорил. Человек подмигнул и вежливо спросил: «А в чем смысл всего этого?»

— Разве у всего должен быть смысл? — спросил бог.

— Конечно, — сказал человек.

— Тогда предоставляю тебе найти этот смысл! — сказал бог и удалился".

Я подумал: что за чушь?

«Конечно, чушь», — пишет Боконон.

И я обратился к моей божественной Моне, ища утешений в тайнах, гораздо более глубоких.

Влюбленно глядя на нее через проход, разделявший наши постели, я вообразил, что в глубине ее дивных глаз таится тайна, древняя, как праматерь Ева.

Не стану описывать мрачную любовную сцену, которая разыгралась между нами.

Достаточно сказать, что я вел себя отталкивающе и был оттолкнут.

Эта девушка не интересовалась продолжением рода человеческого — ей претила даже мысль об этом.

Под конец этой бессмысленной возни и ей, и мне самому показалось, что я во всем виноват, что это я выдумал нелепый способ, задыхаясь и потея, создавать новые человеческие существа.

Скрипя зубами, я вернулся на свою кровать и подумал, что Мона честно не имеет ни малейшего представления, зачем люди занимаются любовью. Но тут она сказала мне очень ласково:

— Так грустно было бы завести сейчас ребеночка! Ты согласен?

— Да, — мрачно сказал я.

— Может быть, ты не знаешь, что именно от этого и бывают дети, — сказала она.

119. МОНА БЛАГОДАРИТ МЕНЯ

«Сегодня я — министр народного образования, — пишет Боконон, — а завтра буду Еленой Прекрасной». Смысл этих слов яснее ясного: каждому из нас надо быть самим собой. Об этом я и думал в каменном мешке подземелья, и творения Боконона мне помогли.

Боконон просит меня петь вместе с ним:

Ра-ра-ра, работать пора,
Ла-ла-ла, делай дела,
Но-но-но – как суждено,
Пых-пах-пох, пока не издох.

Я сочинил на эти слова мелодию и потихоньку насвистывал ее, крутя велосипед, который в свою очередь крутил вентилятор, дававший нам воздух добрый старый воздух.

— Человек вдыхает кислород и выдыхает углекислоту, — сказал я Моне.

— Как?

— Наука!

— А-а…

— Это одна из тайн жизни, которую человек

долго не мог понять. Животные вдыхают то, что другие животные выдыхают, и наоборот.

— А я не знала.

— Теперь знаешь.

— Благодарю тебя.

— Не за что.

Когда я допедалировал нашу атмосферу до свежести и прохлады, я слез с велосипеда и взобрался по железным скобам — взглянуть, какая там, наверху, погода. Я лазил наверх несколько раз в день.

В этот четвертый день я увидел сквозь узкую щелку приподнятой крышки люка, что погода стабилизировалась.

Но стабильность эта была сплошным диким движением, потому что смерчи бушевали, и по сей день бушуют. Но их пасти уже не сжирали все на земле. Смерчи поднялись на почтительное расстояние, мили на полторы. И это расстояние так мало менялось, — будто Сан-Лоренцо был защищен от этих смерчей непроницаемой стеклянной крышей.

Мы переждали еще три дня, удостоверившись, что смерчи стали безобидными не только с виду. И тогда мы наполнили водой фляжки и поднялись наверх.

Воздух был сух и мертвенно-тих.

Как-то я слыхал мнение, что в умеренном климате должно быть шесть времен года, а не четыре: лето, осень, замыкание, зима, размыкание, весна. И я об этом вспомнил, встав во весь рост рядом с люком, приглядываясь, прислушиваясь, принюхиваясь.

Запахов не было. Движения не было. От каждого моего шага сухо трещал сине-белый лед. И каждый треск будил громкое эхо.

Кончилась пора замыкания. Земля была замкнута накрепко. Настала зима, вечная и бесконечная. Я помог моей Моне выйти из нашего подземелья. Я предупредил ее, что нельзя трогать руками сине-белый лед, нельзя подносить руки ко рту.

— Никогда смерть не была так доступна, — объяснил я ей. — Достаточно коснуться земли, а потом — губ, и конец.

Она покачала головой, вздохнула.

— Очень злая мать, — сказала она.

— Кто?

— Мать-земля, она уже не та добрая мать.

— Алло! Алло! — закричал я в развалины замка. Страшная буря проложила огромные ходы сквозь гигантскую груду камней. Мы с Моной довольно

машинально попытались поискать, не остался ли кто в живых, я говорю «машинально», потому что никакой жизни мы не чувствовали. Даже ни одна суетливо шмыгающая носом крыса не мелькнула мимо нас.

Из всего, что понастроил человек, сохранилась лишь арка замковых ворот. Мы с Моной подошли к ней. У подножья белой краской было написано бокононовское калипсо. Буквы были аккуратные. Краска свежая — доказательство, что кто-то еще, кроме нас, пережил бурю.

Калипсо звучало так:

Настанет день, настанет час,

Придет земле конец.

И нам придется все вернуть,

Что дал нам в долг творец.

Но если мы, его кляня, подымем шум и вой,

Он только усмехнется, качая головой.

120. ВСЕМ, КОГО ЭТО КАСАЕТСЯ

Как-то мне попалась реклама детской книжки под названием «Книга знаний». В рекламе мальчик и девочка, доверчиво глядя на своего папу, спрашивали: «Папочка, а отчего небо синее?» Ответ, очевидно, можно было найти в «Книге знаний».

Если бы мой папочка был рядом, когда мы с Моной вышли из дворца на дорогу, я бы задал ему не один, а уйму вопросиков, доверчиво цепляясь за его руку: «Папочка, почему все деревья сломаны? Папочка, почему все птички умерли? Папочка, почему небо такое скучное, почему на нем какие-то червяки? Папочка, почему море такое твердое и тихое?»

Но мне пришло в голову, что я-то смог бы ответить на эти заковыристые вопросы лучше любого человека на свете, если только на свете остался в живых хоть один человек. Если бы кто-нибудь захотел узнать, я бы рассказал, что стряслось, и где, и каким образом.

А какой толк?

Я подумал: где же мертвецы? Мы с Моной отважились отойти от нашего подземелья чуть ли не

на милю и ни одного мертвеца не увидали.

Меня меньше интересовали живые, так как я понимал, что сначала наткнусь на груду мертвых. Нигде ни дымка от костров, но, может, их трудно было разглядеть на червивом небе.

И вдруг я увидел: вершина горы Маккэйб была окружена сиреневым ореолом.

Казалось, он манил меня, и глупая кинематографическая картина встала передо мной: мы с Моной взбираемся на эту вершину. Но какой в этом смысл?

Мы дошли до предгорья у подножия горы. И Мона как-то бездумно выпустила мою руку и поднялась на один из холмов. Я последовал за ней.

Я догнал ее на верхушке холма. Она как зачарованная смотрела вниз, в широкую естественную воронку. Она не плакала.

А плакать было отчего.

В воронке лежали тысячи тысяч мертвецов. На губах каждого покойника синеватой пеной застыл лед-девять.

Так как тела лежали не врассыпную, не как попало, было ясно, что люди там собрались, когда стихли жуткие смерчи. И так как каждый покойник держал палец у губ или во рту, я понял, что все они сознательно собрались в этом печальном

месте и отравились льдом-девять.

Там были и мужчины, и женщины, и дети, многие в позе бокомару. И лица у всех были обращены к центру воронки, как у зрителей в амфитеатре.

Мы с Моной посмотрели, куда глядят эти застывшие глаза, перевели взгляд на центр воронки. Он представлял собой круглую площадку, где мог бы поместиться один оратор.

Мы с Моной осторожно подошли к этой площадке, стараясь не касаться страшных статуй. Там мы нашли камень. А под камнем лежала нацарапанная карандашом записка:

«Всем, кого это касается: эти люди вокруг вас — почти все, кто оставался в живых на острове Сан-Лоренцо после страшных вихрей, возникших от замерзания моря. Люди эти поймали лжесвятого по имени Боконон. Они привели его сюда, поставили в середину круга и потребовали, чтобы он им точно объяснил, что затеял господь бог и что им теперь делать. Этот шут сказал им, что бог явно хочет их убить — вероятно, потому, что они ему надоели и что им из вежливости надо самим умереть. Что, как вы видите, они и сделали».

Записка была подписана Бокононом.

121. Я ОТВЕЧАЮ НЕ СРАЗУ

— Какой циник! — ахнул я. Прочитав записку, я обвел глазами мертвецкую в воронке. — Он где-нибудь тут?

— Я его не вижу, — мягко сказала Мона. Она не огорчилась, не рассердилась. — Он всегда говорил, что своих советов слушаться не будет, потому что знает нм цену.

— Пусть только покажется тут! — сказал я с горечью. — Только представить себе эту наглость — посоветовать всем этим людям покончить жизнь самоубийством!

И тут Мона рассмеялась. Я еще ни разу не слышал ее смеха.

Страшный это был смех, неожиданно низкий и резкий.

— По-твоему, это смешно?

Она лениво развела руками:

— Это очень просто, вот и все. Для многих это выход, и такой простой.

И она прошла по склону между окаменевшими телами. Посреди склона она остановилась и обернулась ко мне. И крикнула мне оттуда, сверху:

— А ты бы захотел воскресить хоть кого-нибудь

из них, если бы мог? Отвечай сразу!

— Вот ты сразу и не ответил! — весело крикнула она через полминуты. И, все еще посмеиваясь, она прикоснулась пальцем к земле, выпрямилась, поднесла палец к губам — и умерла.

Плакал ли я? Говорят, плакал. Таким меня встретили на дороге Лоу Кросби с супругой и малютка Ньют. Они ехали в единственном боливарском такси, его пощадил ураган. Они-то и сказали, что я плакал. И Хэзел расплакалась от радости.

Они силком посадили меня в такси.

Хэзел обняла меня за плечи:

— Ничего, теперь ты возле своей мамули. Не надо так расстраиваться.

Я постарался забыться. Я закрыл глаза. И с глубочайшим идиотическим облегчением я прислонился к этой рыхлой, сырой деревенской дуре.

122. СЕМЕЙСТВО РОБИНЗОНОВ

Меня отвезли на место у самого водопада, где был дом Фрэнклина Хониккера. Осталась от него только пещера под водопадом, похожая теперь на и'тлу — ледяную хижину под прозрачным сине-белым колпаком льда-девять.

Семья состояла из Фрэнка, крошки Ньюта и четы Кросби. Они выжили, попав в темницу при замке, куда более тесную и неприятную, чем наш каменный мешок. Как только улеглись смерчи, они оттуда вышли, в то время как мы с Моной просидели под землей еще три дня.

И надо же было случиться, что такси каким-то чудом ждало их у въезда в замок.

Они нашли банку белой краски, и Фрэнк нарисовал на кузове машины белые звезды, а на крыше — буквы, обозначающие гранфаллон: США.

— И оставили банку краски под аркой? — сказал я.

— Откуда вы знаете? — спросил Кросби.

— Потом пришел один человек и написал стишок.

Я не стал спрашивать как погибла Анджела

Хониккер-Коннерс, Филипп и Джулиан Каслы, потому что пришлось бы заговорить о Моне, а на это у меня еще не было сил.

Мне особенно не хотелось говорить о смерти Моны, потому что, пока мы ехали в такси, чета Кросби и крошка Ньют были как-то неестественно веселы.

Хэзел открыла мне секрет их хорошего настроения:

— Вот погоди, увидишь, как мы живем. У нас и еды хорошей много. А понадобится вода — мы просто разводим костер и растапливаем лед. Настоящее семейство робинзонов, вот мы кто.

123. О МЫШАХ И ЛЮДЯХ

Прошло полгода — странные полгода, когда я писал эту книгу.

Хэзел совершенно точно назвала нашу небольшую компанию семейством робинзонов — мы пережили ураган, были отрезаны от всего мира, а потом жизнь для нас стала действительно очень легкой. В ней даже было какое-то очарование диснеевского фильма.

Правда, ни растений, ни животных в живых не осталось. Но благодаря льду-девять отлично сохранились туши свиней и коров и мелкая лесная дичь, сохранились выводки птиц и ягоды, ожидая, когда мы дадим им оттаять и сварим их. Кроме того, в развалинах Боливара можно было откопать целые тонны консервов. И мы были единственными людьми на всем Сан-Лоренцо. Ни о еде, ни о жилье и одежде заботиться не приходилось, потому что погода все время стояла сухая, мертвая и жаркая. И здоровье наше было до однообразия ровным. Наверно, все вирусы вымерли или же дремали.

Мы так ко всему приспособились, так приладились, что никто не удивился и не возразил, когда

Хэзел сказала:

— Хорошо хоть комаров нету.

Она сидела на трехногой табуретке на той лужайке, где раньше стоял дом Фрэнка. Она сшивала полосы красной, белой и синей материи. Как Бетси Росс[8], она шила американский флаг. И ни у кого не хватило духу сказать ей, что красная материя больше отдает оранжевым, синяя — цветом морской волны и что вместо пятидесяти пятиконечных американских звезд она вырезала пятьдесят шестиконечных звезд Давида.

Ее муж, всегда хорошо стряпавший, теперь тушил рагу в чугунном котелке над костром. Он нам все готовил, он очень любил это занятие.

— Вид приятный, и пахнет славно, — заметил я. Он подмигнул мне:

— В повара не стрелять! Старается как может! Нашему уютному разговору аккомпанировало издали тиканье автоматического передатчика, сконструированного Фрэнком и беспрерывно выстукивающего «SOS». День и ночь передатчик взывал о помощи.

— Спаси-ии-те наши ду-ууу-ши! — замурлыкала Хэзел в такт передатчику:

---

[8] notes: 8

Бетси Росс (1752-1836)-легендарная создательница американского флага.

— Спа-аси-те на-ши дуу-ши!

— Ну, как писанье? — спросила она меня.

— Славно, мамуля, славно.

— Когда вы нам почитаете?

— Когда будет готово, мамуля, как будет готово.

— Много знаменитых писателей вышло из хужеров.

— Знаю.

— И вы будете одним из многих и многих. — Она улыбнулась с надеждой. — А книжка смешная?

— Надеюсь, что да, мамуля.

— Люблю посмеяться.

— Знаю, что любите.

— Тут у каждого своя специальность, каждый что-то дает остальным. Вы пишете для нас смешные книжки, Фрэнк делает свои научные штуки, крошка Ньют — тот картинки рисует, я шью, а Лоу стряпает.

— Чем больше рук, тем работа легче. Старая китайская пословица.

— А они были умные, эти китайцы.

— Да, царство им небесное.

— Жаль, что я их так мало изучала.

— Это было трудно, даже в самых идеальных условиях.

— Вообще, мне жалко, что я так мало чему-то училась.

— Всем нам чего-то жаль, мамуля.

— Да, что теперь горевать над пролитым молоком!

— Да, как сказал поэт: "Мышам и людям не забыть печальных слов: «Могло бы быть»[9].

— Как это красиво сказано — и как верно!

---

[9] notes: 9
Перифраз строки из стихотворения Р. Бернса «Полевой мыши».

124. МУРАВЬИНЫЙ ПИТОМНИК ФРЭНКА

Я с ужасом ждал, когда Хэзел закончит шитье флага, потому что она меня безнадежно впутала в свои планы. Она решила, что я согласился воздвигнуть эту идиотскую штуку на вершине горы Маккэйб.

— Будь мы с Лоу помоложе, мы бы сами туда полезли. А теперь можем только отдать вам флаг и пожелать успеха.

— Не знаю, мамуля, подходящее ли это место для флага.

— А куда же его еще?

— Придется пораскинуть мозгами, — сказал я. Попросив разрешения уйти, я спустился в пещеру посмотреть, что там затеял Фрэнк.

Ничего нового он не затевал. Он наблюдал за муравьиным питомником, который сделал сам. Он откопал несколько выживших муравьев в трехмерных развалинах Боливара и создал свой двухмерный мир, зажав сандвич из муравьев и земли между двумя стеклами. Муравьи не могли ничего сделать без ведома Фрэнкаон все видел и

все комментировал.

Опыт вскоре показал, каким образом муравьи смогли выжить в мире, лишенном воды. Насколько я знаю, это были единственные насекомые, оставшиеся в живых, и выжили они потому, что скоплялись в виде плотных шариков вокруг зернышек льда-девять.

В центре шарика их тела выделяли достаточно тепла, чтобы превратить лед в капельку росы, хотя при этом половина из них погибала. Росу можно было пить. Трупики можно было есть.

— Ешь, пей, веселись, завтра все равно умрешь! — сказал я Фрэнку и его крохотным каннибалам.

Но он повторял одно и то же. Он раздраженно объяснял мне, чему именно люди могут научиться у муравьев.

И я тоже отвечал как положено:

— Природа — великое дело, Фрэнк. Великое дело.

— Знаете, почему муравьям все удается? — спрашивал он меня в сотый раз. — Потому что они со-труд-ни-чают.

— Отличное слово, черт побери, «со-труд-ниче-ство».

— Кто научил их делать воду?

— А меня кто научил делать лужи?

— Дурацкий ответ, и вы это знаете.

— Виноват.

— Было время, когда я все дурацкие ответы принимал всерьез.

Прошло это время.

— Это шаг вперед.

— Я стал куда взрослее.

— За счет некоторых потерь в мировом масштабе. — Я мог говорить что угодно, в полной уверенности, что он все равно не слушает.

— Было время, когда каждый мог меня обставить, оттого что я не очень-то был в себе уверен.

— Ваши сложные отношения с обществом чрезвычайно упростились хотя бы потому, что число людей на земле значительно сократилось, — подсказал я ему. И снова он пропустил мои слова мимо ушей, как глухой.

— Нет, вы мне скажите, вы мне объясните: кто научил муравьев делать воду? — настаивал он без конца.

Несколько раз я предлагал обычное решение — все от бога, он их и научил. Но, к сожалению, из разговора стало ясно, что эту теорию он и не принимает, и не отвергает. Просто он злился все больше и больше и упрямо повторял свой

вопрос.

И я отошел от Фрэнка, как учили меня Книги Боконона.

«Берегись человека, который упорно трудится, чтобы получить знания, а получив их, обнаруживает, что не стал ничуть умнее, — пишет Боконон. — И он начинает смертельно ненавидеть тех людей, которые так же невежественны, как он, но никакого труда к этому не приложили».

И я пошел искать нашего художника, нашего маленького Ньюта.

125. ТАСМАНИЙЦЫ

Крошка Ньют писал развороченный пейзаж неподалеку от нашей пещеры, и, когда я к нему подошел, он меня попросил подъехать с ним в Боливар, поискать там краски. Сам он вести машину не мог.

Ноги не доставали до педалей.

И мы поехали, а по дороге я его спросил, осталось ли у него хоть какое-нибудь сексуальное влечение. С грустью я ему поведал, что у меня ничего такого не осталось — ни снов на эту тему, ничего.

— Мне раньше снились великанши двадцати, тридцати, сорока футов ростом, — сказал мне Ньют. — А теперь? Господи, да я даже не могу вспомнить, как выглядела моя лилипуточка.

Я вспомнил, что когда-то я читал про туземцев Тасмании, ходивших всегда голышом. В семнадцатом веке, когда их: открыли белые люди, они не знали ни земледелия, ни скотоводства, ни строительства, даже огня как будто не знали. И в глазам белых людей они были такими ничтожествами, что те первые колонисты, бывшие английские каторжники, охотились на них для

забавы. И туземцам жизнь показалась такой непривлекательной, что они совсем перестали размножаться.

Я сказал Ньюту, что именно от безнадежности нашего положения мы стали бессильными.

Ньют высказал неглупое предположение — Мне кажется, что все любовные радости гораздо больше, чем полагают, связаны с радостной мыслью, что продолжаешь род человеческий.

— Конечно, будь с нами женщина, способная рожать, положение изменилось бы самым коренным образом. Но наша старушка Хэзел уже давным-давно не способна родить даже идиота-дауна.

Оказалось, что Ньют очень хорошо знает, что такое идиоты-дауны. Когда-то он учился в специальной школе для неполноценных детей, и среди его одноклассников было несколько даунов.

— Одна девочка-даун, звали ее Мирна, писала лучше всех — я хочу сказать, почерк у нее был самый лучший, а вовсе не то, что она писала. Господи, сколько лет я о ней и не вспоминал!

— А школа была хорошая?

— Я только помню слова нашего директора — он их повторял постоянно. Вечно он на нас кричал по громкоговорителю за какие-нибудь

провинности и всегда начинал одинаково: «Мне до смерти надоело…»

— Довольно точно соответствует моему теперешнему настроению.

— У вас такое настроение?

— Вы рассуждаете как боконист, Ньют.

— А почему бы и нет? Насколько мне известно, боконизм — единственная религия, уделившая внимание лилипутам.

Когда я не писал свою книгу, я изучал Книги Боконона, но как-то пропустил упоминание о лилипутах. Я был очень благодарен Ньюту за то, что он обратил внимание на это место, потому что тут, в короткое четверостишие, Боконон вложил парадоксальную мысль, что существует печальная необходимость лгать о реальной жизни и еще более печальная невозможность солгать о ней.

Важничает карлик.
Он выше всех людей.
Не мешает малый рост
Величию идей.

126. ИГРАЙТЕ, ТИХИЕ ФЛЕЙТЫ!

-Все-таки удивительно мрачная религия! — воскликнул я.

И я перевел разговор в область утопий и стал рассуждать о том, что могло бы быть и что еще может быть, если мир вдруг оттает.

Но Боконон и об этом подумал, он даже целый том посвятил утопиям.

Седьмой том своих сочинений он назвал: «Республика Боконона».

В этой книге много жутких афоризмов:

«Рука, снабжающая товарами кафе и лавки, правит миром».

«Сначала организуем в нашей республике кафе, продуктовые лавки, газовые камеры и национальный спорт. После этого можно написать нашу конституцию».

Я обругал Боконона черномазым жуликом и снова переменил тему.

Я заговорил о выдающихся, героических поступках отдельных людей.

Особенно я хвалил Джулиана Касла и его сына за то, как они пошли навстречу смерти. Еще бушевали смерчи, а они уже ушли пешком в джунгли,

в Обитель Милосердия и Надежды, чтобы проявить милосердие и подать надежду, насколько это было возможно. И я видел не меньше величия в смерти бедной Анджелы. Она нашла свой кларнет среди развалин Боливара и тут же стала на нем играть, пренебрегая тем, что на мундштук могли попасть крупинки льда-девять.

— Играйте, тихие флейты! — глухо пробормотал я.

— Ну что ж, может быть, вы тоже найдете хороший способ умереть, — сказал Ньют.

Так мог говорить только боконист.

Я выболтал ему свою мечту — взобраться на вершину горы Маккэйб с каким-нибудь великолепным символом в руках и водрузить его там.

На миг я даже бросил руль и развел руками — никакого символа у меня не было.

— А какой, к черту, символ можно найти, Ньют? Какой, к черту, символ? — Я снова взялся за руль:

— Вот он, конец света, и вот он я, один из последних людей на свете, а вот она, самая высокая гора в этом краю. И я понял, к чему вел меня мой карасс, Ньют.

Он день и ночь — может, полмиллиона лет подряд — работал на то, чтобы загнать меня на

эту гору. — Я покрутил головой, чуть не плача:

— Но что, скажите, бога ради, что я должен там водрузить?

Я поглядел вокруг из машины невидящими глазами, настолько невидящими, что, лишь проехав больше мили, я понял, что взглянул прямо в глаза старому негру, живому старику, сидевшему у обочины.

И тут я затормозил. И остановился. И закрыл глаза рукой.

— Что с вами? — спросил Ньют.

— Я видел Боконона.

127. КОНЕЦ

Он сидел на камне. Он был бос.

Ноги его были покрыты изморозью льда-девять. Единственной его одеждой было белое одеяло с синими помпонами. На одеяле было вышито «Каса-Мона». Он не обратил на нас внимания. В одной руке он держал карандаш, в другой — лист бумаги.

— Боконон?

— Да.

— Можно спросить, о чем вы думаете?

— Я думал, молодой человек, о заключительной фразе Книг Боконона. Пришло время дописать последнюю фразу.

— Ну и как, удалось?

Он пожал плечами и подал мне листок бумаги.

Вот что я прочитал:

> Будь я помоложе, я написал бы историю человеческой глупости, взобрался бы на гору Маккэйб и лег на спину, подложив под голову эту рукопись. И я взял бы с земли сине-белую отраву, превращающую людей в статуи. И я стал бы статуей,

и лежал бы на спине, жутко скаля зубы и показывая длинный нос – САМИ ЗНАЕТЕ КОМУ!